

# СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



**2023**  
**Том 22. №2**

---

---

ISSN 1728-1938

Эл. почта: puma7@yandex.ru

Веб-сайт: sociologica.hse.ru

Адрес редакции: ул. Старая Басманная, д. 21/4, к. А205, Москва 105066

Тел.: +7-(495)-772-95-90\*12454

## Международный редакционный совет

Николя Айо (Университета Фрибура, Швейцария)  
Джеффри Александер (Йельский университет, США)  
Ян Вальсинер (Университет Альборга, Дания)  
Гэри Дейвид (Университет Бентли, США)  
Владимир Камнев (СПбГУ, Россия)  
Александр Марей (НИУ ВШЭ, Россия)  
Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)  
Альбер Ожьен (Высшая школа социальных наук, Франция)  
Энн Роулз (Университет Бентли, США)  
Ирина Савельева (НИУ ВШЭ, Россия)  
Ирина Троцук (РУДН, Россия)  
Никита Харламов (Университет Альборга, Дания)

## Учредители

Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»  
Александр Фридрихович Филиппов

## Редакционная коллегия

*Главный редактор*  
Александр Фридрихович Филиппов

*Зам. главного редактора*  
Марина Геннадиевна Пугачева

*Члены редколлегии*  
Светлана Петровна Баньковская  
Дмитрий Юрьевич Куракин  
Александр Владимирович Павлов  
Наиль Галимханович Фархатдинов  
Руслан Заурбекович Хестанов

*Литературные редакторы*  
Максим Сергеевич Фетисов  
Перри Франц

*Корректор*  
Инна Евгеньевна Кроль

*Верстальщик*  
Анастасия Валериановна Меерсон

## О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

## Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

## Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присылать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнометодология и разговорный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

## Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

## Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получить сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: [farkhatdinov@gmail.com](mailto:farkhatdinov@gmail.com).

# RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



**2023**  
**Volume 22. Issue 2**

---

---

ISSN 1728-1938

Email: [puma7@yandex.ru](mailto:puma7@yandex.ru)

Web-site: [sociologica.hse.ru/en](http://sociologica.hse.ru/en)

Address: Staraya Basmannaya str., 21/4, Room A205, Moscow, Russian Federation 105066

Phone: +7-(495)-772-95-90\*12454

## International Advisory Board

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)  
Gary David (Bentley University, USA)  
Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)  
Vladimir Kamnev (Saint-Petersburg State University, Russia)  
Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)  
Alexander Marey (HSE University, Russia)  
Peter Manning (Northeastern University, USA)  
Albert Ogien (EHESS, France)  
Anne W. Rawls (Bentley University, USA)  
Irina Savelieva (HSE University, Russia)  
Irina Trotsuk (People's Friendship University of Russia, Russia)  
Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

## Establishers

HSE University  
Alexander F. Filippov

## Editorial Board

*Editor-in-Chief*  
Alexander F. Filippov

*Deputy Editor*  
Marina Pugacheva

*Editorial Board Members*  
Svetlana Bankovskaya  
Nail Farkhatdinov  
Ruslan Khestanov  
Dmitry Kurakin  
Alexander Pavlov

*Copy Editors*  
Maxim Fetisov  
Perry Franz

*Russian Proofreader*  
Inna Krol

*Layout Designer*  
Anastasia Meyerson

## About the Journal

*The Russian Sociological Review* is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

*The Russian Sociological Review* publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

## Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

## Scope and Topics

*The Russian Sociological Review* invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

*The Russian Sociological Review* covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

## Our Audience

*The Russian Sociological Review* aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

## Subscription

*The Russian Sociological Review* is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

# Содержание

## **СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ**

- Проблема необратимости . . . . . 9  
*Вадим Волков*
- Миф Дюркгейма: что Витгенштейн и Райл могли бы сказать о пригодности  
основных понятий социальных наук. . . . . 29  
*Виктор Каплун*
- Writing Sociology: Writing History. . . . . 50  
*João Carlos Graça*

## **WEBER-PERSPEKTIVE**

- Между этосом научности и полицией нравов:  
Макс Вебер как полемист . . . . . 71  
*Олег Кильдюшов*
- Первая антикритика на «Дух капитализма». . . . . 85  
*Макс Вебер*
- Концептуальные основания социологии права П.А. Сорокина  
и М. Вебера . . . . . 108  
*Арсений Краевский*

## **СОЦИОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА**

- Постгород (IV): политики сопространственности  
и планетарные онтологии . . . . . 124  
*Дмитрий Замятин*

## **СТАТЬИ И ЭССЕ**

- Национализм, чистота и опасность: «crossborder intimacy»  
в российских цифровых медиа. . . . . 154  
*Дмитрий Тимошкин*

## **СОЦИОЛОГИЯ ПРЕСТУПНОСТИ**

- Жертвы своего страха: субъективная безопасность и опыт  
виктимизации в России. . . . . 179  
*Арсений Веркеев, Дмитрий Серебрянников*

Fear of crime: The concept's evolution from 2001 to 2021. . . . .	207
<i>Jesús-Alberto Valero-Matas, Carlos Andrés Muñoz Sandoval</i>	

**ОБЗОРЫ**

Социальное участие людей старшего возраста: подходы к анализу и инструменты оценки . . . . .	225
<i>Татьяна Киенко</i>	

**СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

«Польский крестьянин в Европе и Америке»: социально-политические, биографические и научные контексты . . . . .	261
<i>Елена Рождественская, Виктория Семенова</i>	

**РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ**

Еще одна из рода утопий, или Как возможна социальная справедливость в мире влюбленных в дальнего своего . . . . .	285
<i>Ирина Троцук</i>	

**РЕЦЕНЗИИ**

Angeli et caelum: рождение схоластических полиса и космоса . . . . .	310
<i>Федор Нехаенко</i>	

Цензура и цензоры в русском литературном процессе 2-ой половины 1850-х — 1860-х годов . . . . .	320
<i>Андрей Тесля</i>	

**IN MEMORIAM**

Памяти Маргарет Арчер . . . . .	328
<i>Уильям Аутвейт, Александр Филиппов</i>	

# Contents

## **SOCIOLOGICAL THEORY AND RESEARCH METHODOLOGY**

- The Problem of Irreversibility . . . . . 9  
*Vadim Volkov*
- Durkheim’s Myth: What Wittgenstein and Ryle Might Have to Say About  
the Validity of the Basic Concepts of the Social Sciences . . . . . 29  
*Viktor Kaploun*
- Writing Sociology: Writing History. . . . . 50  
*João Carlos Graça*

## **WEBER-PERSPEKTIVE**

- Between the Ethos of Science and “Vice Squad”: Max Weber as Polemicist . . . . . 71  
*Oleg Kildyushov*
- The First Anti-Criticism on the “Spirit of Capitalism” . . . . . 85  
*Max Weber*
- The Conceptual Foundations of the Sociology of Law by Pitirim Sorokin  
and Max Weber. . . . . 108  
*Arseny Kraevsky*

## **SOCIOLOGY OF SPACE**

- Post-City (IV): Co-Spatiality Politics and Planetary Ontologies . . . . . 124  
*Dmitry Zamyatin*

## **PAPERS AND ESSAYS**

- Nationalism, Purity, and Danger: “Cross-Border Intimacy”  
in Russian Digital Media . . . . . 154  
*Dmitry Timoshkin*

## **SOCIOLOGY OF DEVIANCE**

- Victims of Their Own Fear: the Perceived Safety and Crime Victim  
Experience in Russia. . . . . 179  
*Arseny Verkeev, Dmitriy Serebrennikov*

Fear of crime: The concept's evolution from 2001 to 2021. . . . .	207
<i>Jesús-Alberto Valero-Matas, Carlos Andrés Muñoz Sandoval</i>	

**REVIEWS**

Social Participation of the Elderly: Approaches to Analysis and Assessment Tools. . . . .	225
<i>Tatyana Kienko</i>	

**EDUCATION**

“The Polish Peasant in Europe and America”: Socio-Political, Biographical and Scientific Contexts. . . . .	261
<i>Elena Rozhdestvenskaya, Victoria Semenova</i>	

**REFLECTIONS ON A BOOK**

The Other Kind of Utopia, Or How Social Justice Is Possible in the World of Those Loving One's Non-Neighbor . . . . .	285
<i>Irina Trotsuk</i>	

**BOOK REVIEWS**

Angeli et Caelum: the Birth of Polis and Cosmos in Medieval Scholastics . . . . .	310
<i>Fedor Nekhaenko</i>	
Censorship and Censors in the Russian Literary Process of the 2nd Half of the 1850s — 1860s . . . . .	320
<i>Andrey A. Teslya</i>	

**IN MEMORIAM**

In Memoriam Margaret Archer . . . . .	328
<i>William Outhwaite, Alexander Filippov</i>	



# Проблема необратимости<sup>1</sup>

*Вадим Волков*

Доктор социологических наук, PhD, ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Адрес: ул. Гагаринская, 6/1 А, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191187

E-mail: volkov@eu.spb.ru

Проблема необратимости была поставлена во второй половине XIX века сначала в области термодинамики и немного позже – в эволюционной биологии. В 1970-е годы в контексте вызываемых человеческой деятельностью экологических изменений на проблему необратимости обратили внимание экономисты. В отношении социальной реальности проблема не ставилась. В данной статье предпринимается попытка восполнить этот пробел. Для этого необратимость определяется не как свойство процесса, как она ранее понималась в науках о природе и науках о жизни, а как социальная ситуация, характеризующая исчезновением одной реальности без возможности ее восстановления и возникновением другой реальности. Далее предлагается типология ситуаций необратимости: аноэтические, рациональные и этические и даются характеристики каждой из них. В завершение делаются предположения о предпосылках возникновения ситуаций необратимости, способах их проживания, а также ограничениях описательного языка.

*Ключевые слова:* необратимость, энтропия, ситуация, этика, социальная теория

## Введение

«Время разрушает всё», произносит второстепенный персонаж в самом начале фильма «Необратимость», как бы подводя итог своей распавшейся жизни. Вскоре зритель понимает, что фильм выстроен в обратной последовательности. Отматывая назад эпизод за эпизодом, режиссер фильма Гаспар Ноэ помещает зрителя в позицию наблюдателя, чье время обратимо. Оно движется в противоположную сторону по отношению к времени персонажей фильма. В отличие от реальной жизни, зритель с первых минут знает будущее, но не знает, это будущее чего. Формально у «Необратимости» счастливый конец, но благодаря обратному времени это не более чем картинка исчезнувшего навсегда мира героев фильма.

Андрей Тарковский определял кинематограф как «запечатленное время». Он спрашивал: в чем суть авторской работы в кино? Условно ее можно определить как ваяние из времени, отвечал он (Тарковский, 2021: 11). Ноэ так же замечает в одном из комментариев к фильму: когда люди играют со временем, вы можете увидеть вещи по-другому.<sup>2</sup> Он применяет хорошо известный кинематографу прием, но делает это более радикальным способом, чем другие режиссеры, использовавшие обратную хронологию. В фильме Ноэ кинокритиков обычно интересуют сце-

1. Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

2. <https://www.salon.com/2003/03/12/noe/>

ны с шокирующим контентом и, фокусируясь на этих частностях, они проходят мимо целого, то есть самого фильма как высказывания.

Между тем, и обратная хронология, и насилие, в том числе над зрителем, выбивающее его из привычной колеи восприятия, подчинены некоторой задаче и дают результат, в чем-то даже превзошедший замысел автора. Ноэ говорит, что обратная хронология усиливает драматизм, показывая неизбежность того, что должно произойти.<sup>3</sup> Но вот загвоздка: фильм-то называется «Необратимость», а не «неизбежность» и не «предопределение»<sup>4</sup>. И само название дает правильный ключ, указывая на вопрос о природе необратимости. Применительно к физическому и биологическому миру проблема необратимости была поставлена более 150 лет назад в области термодинамики. Попытки объяснить необратимость некоторого класса явлений возникали в нескольких областях знания, транслировались из одной в другую, образуя общее для них проблемное поле. В этом поле возникли связанные понятия, такие как «энтропия» и «стрела времени». В 1970-е годы в контексте вызываемых человеческой деятельностью экологических изменений на проблему необратимости обратили внимание экономисты.

Применительно к социальной реальности проблема необратимости в прямом виде не ставилась. Она могла бы возникнуть в рамках размышлений о непреднамеренных последствиях социального действия, представляя отдельный класс последствий. Но социальная теория слишком сосредоточена на действиях и деятелях, чтобы заметить решающее различие в типах последствий кроме их общего соотношения с намерениями. Это потребовало бы своего рода обратной хронологии, которой сильна историческая наука, но слаба социология. Возможно, причина недостаточного внимания попросту в том, что устройство повседневной жизни с трудом допускает мысли про необратимость, выталкивая их на периферию сознания. Чтобы вытащить ее на передний план потребовался радикальный кинематографический акт Ноэ. Он и послужил первоначальным импульсом к этим размышлениям.<sup>5</sup>

## Время в термодинамике

Физики открыли необратимость в 1860-х годах, исследуя термодинамику — закономерности передачи тепловой энергии в природных системах. Тепло, как установил Рудольф Клаузиус, естественным образом передается от горячих тел к холод-

---

3. Там же

4. В первом прокате в России в 2002 г. фильм назывался «Необратимость». Во французском оригинале фильм называется «Irreversible», что в буквальном переводе звучало бы как «Необратимое». Но и это звучание отсылает нас не к неизбежности, а к невозможности вернуться назад к началу, последовательно восстановить все в обратном порядке — хотя именно это как раз и делает фильм с помощью обратной хронологии.

5. В предыдущем фильме «Один против всех» герой говорит: «Поступки нельзя обратить назад». Последующие два фильма «Любовь» и «Экстаз» также содержат ключевые моменты, запускающие необратимость, с которой герои потом вынуждены иметь дело.

ным до момента выравнивания температур, но обратный процесс невозможен без компенсаторного добавления энергии. Математическую меру этой компенсации или, наоборот, рассеивания энергии при передаче тепла от одной субстанции к другой Клаузиус окрестил «энтропией». Сформулированный на основе этого понятия второй закон термодинамики позже получил множество нестрогих философских и космологических формулировок, а понятие энтропии стало ассоциироваться с необратимым разрушением порядка при условии отсутствия внешнего вмешательства или добавления энергии (идея так называемой «энтропии замкнутой системы»). Отчасти такая философская диффузия термодинамики произошла стараниями самого Клаузиуса, который в 1865 году в знаменитой публичной лекции во Франкфурте сформулировал второй закон термодинамики фразой «энтропия Вселенной стремится к максимуму» и предсказал неизбежную тепловую смерть Вселенной.

Связь между необратимостью и ростом энтропии, двумя фундаментальными свойствами физического мира, стала еще прочнее, когда Людвиг Больцман и Джеймс Максвелл предприняли попытку спроецировать классическую механику Ньютона на взаимодействие молекул газа. Проблема, с которой они столкнулись, состояла в том, что в классической механике на уровне физических тел законы действуют в обе стороны шкалы времени (время симметрично), а в молекулярном мире этого наблюдать никак нельзя. Бильярдные шары, взаимодействующие по законам механики, будут двигаться через моменты столкновений  $A - B - C$  так же предсказуемо по законам Ньютона и в обратном порядке  $C - B - A$ , как если бы в кино пустили пленку назад и система вернулась бы в исходное состояние. Однако все эксперименты с распространением тепла в газах и жидкостях, понимаемые как столкновения множества молекул наподобие ньютоновских шариков, показывали наличие процессов, которые могут идти только в одну сторону. Если в одну часть контейнера поместить нагретый газ, а в другую — холодный и открыть перегородку между ними, то в результате хаотического движения молекул через некоторое время газ станет одинаковой температуры во всем контейнере. И как бы долго потом ни продолжалось хаотичное столкновение молекул, обратный процесс, т.е. возврат к упорядоченному состоянию (половина нагрета, половина холодная) сам по себе в природе не наблюдается.

Простую иллюстрацию необратимости приводит Максвелл в письме коллеге в 1868 году (Моисе, 2008: 71-72). Допустим, пишет он, вы положили на дно ящика несколько слоев черных шариков. Поверх них положили несколько слоев таких же по физическим свойствам, но белых шариков, закрыли ящик и начали его трясти. Постепенно шарики начнут перемешиваться, и сколько бы вы ни трясли, невозможно получить обратно первоначальное упорядоченное состояние, хотя законы механики это допускают. Теоретически возврат к упорядоченному состоянию возможен, но в реальности это вопрос времени, причем настолько большого, что делает эксперимент невыполнимым.

Эволюция, движимая производством необратимости/энтропии, лежит в основе так называемой асимметрии времени или «стрелы времени», то есть его направленности из того, что мы называем прошлым, в то, что называем будущим, и никак не наоборот. Термодинамическое время связано с истечением некоторого потенциала или энергии, заложенных на микроуровне в упорядоченных состояниях системы, и приведением этих состояний в соответствие с внешней средой. Течение времени — это увеличение некоторой статистической меры беспорядка. Если система изолирована, т.е. не происходит компенсаторного «наводящего порядка» или дающего энергию вмешательства, то ее прошлое всегда будет более упорядоченным, чем ее будущее (Хокинг, 2000: 200–206). Тогда протекание термодинамического времени в биологических системах будет тождественно тому, что мы называем старением, а смерть тождественна исчерпанию возможностей выбрасывать энтропию вовне (Silva, Annamali, 2008).

В 1950-х годах Карл Поппер поставил под сомнение термодинамическую концепцию времени — тезис о том, что направленность времени задается путем производства энтропии в необратимых процессах (то самое «время разрушает всё»). В трех эссе, опубликованных в журнале *Nature*, он предложил модель необратимого процесса, который не производит энтропии. Его пример — камень, брошенный на середину пруда, и концентрические волны, расходящиеся кругами по воде от места падения камня. Представить себе этот процесс, запущенный в обратном направлении, невозможно. Кино о падении камня в пруд, пущенное в обратную сторону, показало бы нам некие волны, генерируемые со всех краев пруда так, чтобы они потом сошлись в одной точке. Физические законы это допускают, но условия, при которых они реализуются таким образом, неизвестны или невероятны: процесс необратим. Аргумент Поппера, однако, касается того, что в таких процессах — впоследствии они получили название «необратимые процессы радиации» — энтропия не производится. Это может быть проиллюстрировано примером распространения газа в бесконечном пространстве, и тогда весь вопрос в наличии препятствия. Рассеивание без производства беспорядка<sup>6</sup>, писал Поппер, происходит в потенциально бесконечном пространстве, когда волны или частицы не встречают препятствий и самые быстрые частицы оказываются на периферии, а медленные — ближе к центру. Иное дело — рассеивание в замкнутых пространствах. Там неизбежно происходит выравнивание, тождественное беспорядку (Popper, 1956: 382).

## Необратимость в биологии и экономике

Примерно в то же время, когда эта проблема захватила физиков, необратимость обнаружили биологи. Компактно сформулированная в 1893 году палеонтологом

---

6. Поппер употребляет термины «энтропия» и «беспорядок» взаимозаменяемым образом, поскольку подвергал ревизии феноменологические формулировки закона энтропии (Popper, 1957: 152–153).

Луисом Долло эволюционная закономерность — организмы не возвращаются в предыдущее состояние, даже если они помещены в те же условия, в которых жили до этого — была возведена в ранг чуть ли не космологического закона. Эволюция организмов не может повториться в обратную сторону, пернатые не превратятся снова в лысых рептилий, хотя мелкие отступления вроде атавизмов или появления утраченного в ходе эволюции элемента наблюдаются регулярно. Если эволюционное время представить подобно дарвиновскому ветвящемуся дереву видов, то в этом случае обратимость означала бы обратное схождение всех развилки от более сложных видов к простым и в конечном счете опять к исходному протовиду. Такой ход событий трудно вообразить, как и изменения условий внешней среды, которые бы к этому привели. Если учесть, что воспроизводство и изменчивость видов задается геномом, который был открыт много позже, чем Долло сформулировал свою закономерность, то становится понятно, что для обратимости эволюции потребовалось бы точное повторение комбинации десятков тысяч генов, соответствующих коду предыдущей стадии. Вероятность такого события исчезающе мала в силу сложности кода (MacBeth, 1980).

Кеннет Денби, английский химик и философ, был, пожалуй, единственным, кто попытался обобщить концепции необратимости, возникшие в разных дисциплинах, создать типологию и вывести нечто общее. Сама необратимость относится не к вещам, а к последовательностям или процессам, которые невозможно наблюдать или даже представить обратимыми, т.е. идущими точно в обратном порядке от конечной точки к начальной (Denbigh, 1989: 506). Кроме термодинамических процессов, процессов радиации и биологической эволюции Денби предлагает считать необратимыми также класс когнитивных процессов, таких как восприятие и запоминание. Будучи, по сути, построением новых связей, которые добавляются к существующим, ментальные процессы усложняют нейронную структуру мозга наподобие отрастания новых веток. Раз узнав что-то, человек не может это раз-узнать: ментальный процесс не может сам собой совершить обратное движение в направлении *tabula rasa*, вы не сотрете из памяти прочитанную книгу, если станете читать ее с конца в обратном порядке. Рассуждая на эту тему, Денби делает оптимистичное замечание, что мы не можем терять опыт и мудрость, а только набирать, и то, что человек в течение жизни не глупеет, свидетельствует о наличии определенного типа необратимого процесса (Denbigh, 1989: 505). Тем не менее, легко представить себе старческую деменцию, при которой память и соответствующий опыт сотрутся как запись на магнитофонной пленке. Вот это действительно необратимость!

Денби предлагает увидеть нечто общее во всех типах необратимости, а именно ветвление или дивергенцию по направлению к будущему, похожее на древо эволюции. Этот образ переключается с концепцией времени из рассказа Хорхе Борхеса «Сад расходящихся тропок», написанного под влиянием идей о времени, изложенных в популярной в 1930-е годы книге Джона Данна «Эксперимент со временем», которую Ноэ вложил в руки героини Моники Белуччи в последних

(логически — первых) кадрах «Необратимости»<sup>7</sup>. Денби утверждал, что ветвление по направлению к будущему производит не столько разложение и энтропию, сколько увеличивает разнообразие и богатство мира. Этот образ, может, и уместен в отношении природных процессов, но к социальным ситуациям его применить сложнее, а социальный мир Денби не рассматривал вовсе.

Биологическая эволюция содержит развилки и механизмы отбора, но не содержит выбора, т.е. элемента принятия решения — если только мы не включаем в картинку божественный промысел. Вмешательство в процессы окружающей среды подсказали экономистам идею того, что и некоторые человеческие решения могут обладать свойством необратимости и должны рассматриваться как особый класс ситуаций. Так, решение о вырубке лесов для постройки горного курорта или кольцевой автодороги вокруг мегаполиса должно учитывать тот факт, что, раз сделав выбор в пользу нарушения природной среды, вернуться к исходным условиям и поменять решение будет уже невозможно. Цена, а в данном случае это временной горизонт восстановления исходной природной среды, находится за пределами реалистичного планирования, может пониматься как условия, которых «никогда» невозможно снова достичь, хотя, опять же теоретически, возврат возможен через несколько поколений.

В общем виде в экономике, по определению Клода Анри, «решение можно считать необратимым, если оно существенно и на длительное время сокращает набор вариантов выбора в будущем» (Henry, 1974: 1006). Например, мы выбираем между тем, чтобы оставить Норт-Дам или снести его и построить на его месте парковку. Если мы решаем оставить собор, то это обратимое решение, поскольку в будущем мы сможем вернуться, например, к выбору между Нотр-Дамом и бизнес-центром. Но если мы решим построить парковку, то не сможем сделать выбор в пользу Нотр-Дама; это уже необратимое решение. Экономисты, таким образом, пришли к более мягкому, чем в физике, пониманию необратимости — относительно к уровню приемлемых материальных или временных затрат экономического агента, требуемых для того, чтобы отыграть назад. Анри пишет, что его интересуют «степени необратимости» и их влияние на инвестиционные решения. При принятии инвестиционных решений идентификация ситуации как потенциально необратимой требует более консервативной оценки рисков или откладывания решений до момента наступления большей определенности. Поскольку многие ситуации необратимых трансформаций уникальны, то их вообще трудно идентифицировать, а даже если это удалось, то предсказание их последствий выходит за пределы общепринятых процедур анализа рисков (Perrings, Brock, 2008: 224).

Экономическое прочтение необратимости, так или иначе ассоциированное с невозвратными потерями, может быть спроецировано на более широкий набор индивидуальных и социальных ситуаций, включающих инвестиции в специфиче-

---

7. Книга Джона Данна «Эксперимент со временем» вышла в 1927 году и была бестселлером своего времени. В ней автор излагает философско-психологическую концепцию, объясняющую, каким образом во сне можно наблюдать события, принадлежащие будущему времени. См.: Данн, 2000.



ские активы не строго экономического свойства, а в такие, например, как профессиональная карьера или, шире, человеческий капитал. Получая образование и профессию, инвестируя в специфические навыки, человек, часто не ведая того, сокращает набор вариантов рода занятий в будущем и лишает себя возможности что-либо изменить в своей судьбе-карьере. Это как если бы он прошел несколько развилок в собственной эволюции, лишив себя возможности вернуться в некоторое предыдущее состояние и сделать эти выборы заново и по-другому, поскольку чем дольше продолжал в той же профессии, тем больше адаптивных изменений в себе произвел, став не годным к чему-то еще. В этом смысле в любой биографии есть элементы необратимости, для этого не обязательно умирать. Социологи, однако, связывают такие ловушки преданности единожды случившемуся варианту карьеры, особенно если этот выбор оказался неудачным, с желанием избежать досады и сожаления по аналогии со стремлением любой ценой продолжать безнадежно убыточный проект в надежде вернуть инвестиции и все же избежать потерь<sup>8</sup>.

### Ситуации необратимости

Чтобы помыслить необратимость в социальном контексте, придется определить ее по-другому, выбросив то главное, что выдает ее происхождение из наук о природе, а именно понятие процесса. Вместо «процесса» логично использовать термин «ситуация»: процессы протекают автономно, а ситуации создаются и проживаются людьми. Ситуация необратимости будет означать, что своими индивидуальными или коллективными действиями люди создают предпосылки для перехода из одного состояния в другое, в результате чего некоторая социальная реальность, которая была до этого, исчезнет, как если бы она целиком оказалась в прошлом, без возможности восстановления или возврата. Физическая смерть здесь не является необходимым условием. В отличие от производства энтропии в термодинамике, от биологической эволюции или разложения, идущих постоянно, в социальном мире необратимость производится ситуативно. Это значит, что она производится не всегда или остается не распознанной, покуда не явлена со всей очевидностью. Использование термина «ситуация» также подразумевает, что необратимость создается «здесь-и-сейчас», но наступает в некотором отнесенном во времени будущем.

Если принять такую поправку по отношению к традиционному пониманию, то следует сразу вывести за пределы этого рассмотрения два класса явлений, хотя именно они могут первыми приходить на ум. Прежде всего это фоновые процессы, связанные как с биологическим старением, так и с износом, разложением социаль-

---

8. См. проницательный текст Михаила Соколова о социологии досады и сожаления (Соколов, 2020). Про эту во всем остальном замечательную статью можно сказать, что автор анализирует поведение, связанное с эмоциями, сопровождающими открытие человеком необратимости, а не причину этих эмоций, т.е. не саму необратимость.

ных институтов, похожих на потерю энергии или уменьшение отдачи, — словом, все, что происходит в термодинамическом времени. Хотя фоновая необратимость, про которую сказано *tempus edax rerum*, имеет огромное значение в устройстве общества, у нее природная основа. Кроме этого, за скобки следует вывести и макроисторию, т.е. парадигматические социальные процессы, такие как модернизация, расцвет и упадок цивилизаций, несмотря на то что именно вопрос о причинах их необратимости, если таковая действительно имеет место, может представлять отдельный интерес. Что же тогда остается?

Если, как было сказано выше, вынести за скобки фоновую необратимость и посмотреть на социальные ситуации, то можно различить три ее типа. Их можно обозначить как *аноэтические*, *рациональные* и *этические*. Термин «аноэтический» заимствован из когнитивной психологии, где он обозначает состояние сознания, связанное с восприятием и переработкой информации в режиме «здесь и сейчас», нерелективное знание<sup>9</sup>.

*Аноэтическая необратимость* может быть названа так потому, что, создавая ее, человек или сообщество попадает в нее без проявления сознательного усилия, непреднамеренно. Скорее даже благодаря отсутствию такого усилия или его направленности на что-то другое. Поэтому она «случается», «накрывает», а люди себя в ней только обнаруживают: оказывается, сделать что-то уже невозможно или поздно. Обнаружение сопровождается сильными негативными эмоциями, такими как ужас, тревога или сожаление. Можно сказать, что у нее горький привкус.

*Рациональная ситуация* создается в момент распознавания потенциальной необратимости — как предстоящее прохождение точки невозврата или совершения действий, имеющих непропорционально масштабные последствия, когда еще возможно принятие решения о дальнейших шагах. Это означает выход за пределы аноэтического состояния в рациональную субъектность и обращение к определенным процедурам принятия решения. Если невозможность возврата к первоначальным условиям сочетается с радикальной неопределенностью, что типично для таких ситуаций, то аргументы «против» решения, как правило, перевешивают аргументы «за».

*Этическая необратимость* создается поступком, т.е. решением и действием, совершенным с пониманием его последствий после распознавания ситуации необратимости в качестве таковой. Для таких ситуаций характерны максимальная осознанность и включенность, скорее, спокойствие и ясность, а не спутанность; последовательность, а не стихийность, несмотря на то что поступок открывает множественность вариантов будущего, включая максимально трагические<sup>10</sup>.

---

9. Понятие «аноэтический» происходит от греческого *a-noetikos* — не понимающий, неразумный. В когнитивную психологию введено канадским ученым эстонского происхождения Энделем Тулвингом в контексте исследований работы памяти и разделения на эпизодическую и семантическую память. Аноэтический уровень сознания связан с текущим местом и временем, аффективным или практическим опытом, без его осмысления. См.: Tulving, 1985; Vandekerckhove, Bulnes, Panksepp, 2014. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3879583/>

10. В классификации Тулвинга такое состояние сильной осознанности называется автоэтическим.



Создание ситуаций необратимости можно понять на простом примере такого действия, как вызов на дуэль. Вызвать на дуэль — значит перевести конфликт в форму насилия с потенциально смертельным исходом. Но необратимость возникает не в момент меткого выстрела, а в момент самого вызова, т.е. речевого действия, когда все еще целы и невредимы, поскольку в контексте той социальной структуры, где дуэль была в явном виде способом разрешения конфликта, а в своей латентной функции — способом подтверждения высокого социального статуса («дело чести»), взять вызов назад означало потерять уважение, причем без шансов восстановить.

### Аноэтическая необратимость

Вернемся ненадолго к «Необратимости» Гаспара Ноэ. Фильм смонтирован от полного хаоса, творящегося в «Прямой кишке» (гомосексуальный клуб *Rectum*), куда попадают герои и где даже картинка и звук качаются и распадаются, как если бы человек уже не мог воспринимать этот мир осмысленным, к почти райскому порядку — идиллическим кадрам, служащим концом фильма, но исходным моментом всего сюжета. В них царит солнечное спокойствие, трава зеленая, дети играют, и Алекс, героиня Моника Белуччи, еще цела и полна мыслей о будущем. В течение одного дня счастливый человеческий мир распадается, причем действия или бездействие героев — часть этого распада. В каждом из таких действий при желании можно найти намерения и мотивы, но нет попытки оценить возможные последствия. Большинство действий совершаются, от счастья или от несчастья, но бездумно либо импульсивно, потому что каждый персонаж занят собой и захвачен своим внутренним состоянием. Оказывается, что для создания и поддержания «естественного» мира нужны постоянные усилия или хотя бы элементарная внимательность; без таких усилий предоставленный сам себе человеческий мир может только разрушаться. Поэтому, стоит человеку ослабить внимание, проявить беспечность, отсутствие надлежащей заботы о мире или счесть его самоподдерживающимся, вероятность разрушения нарастает, в какой-то момент материализуя необратимость. Если мы пустим все на самотек, то непременно окажемся в аду. Такой урок можно было бы приписать режиссеру.

Ноэ намеревался показать трагизм в жизни — что должно случиться, случится. Для этой цели прекрасно сработал такой прием, как обратная хронология. Когда время повернуто назад, и то, что уже случилось, показывается сначала, а то, что к этому привело, — потом, то исчезает какая-либо возможность представить другой ход событий, который легко можно представить в прямом времени: перспектива открыта, развилок много, и много чего может произойти или не произойти<sup>11</sup>.

---

11. Так, можно себе представить, что Алекс, узнав о своей беременности, отказывается ехать с двумя мужчинами на вечеринку, где все пьют и употребляют наркотики; или что Маркус или Пьер решают проводить Алекс, после того, как она собралась поехать домой, или поехать с ней; или что Алекс тихо проходит по подземному переходу и не обращает на себя внимание человека по кличке Солитёр;

Тот же фильм, смонтированный в прямой хронологии и вышедший через 20 лет, не обладает такой силой, не несет тех смыслов, как первоначальная версия, — получается тяжелая, но банальная история про насилие. А обратная хронология и нарезка на эпизоды, каждый из которых обладает своим временем и напряжением в кадре, оказывается совсем про другое и создает даже больше, чем, наверное, ожидал сам режиссер. Он говорил про неизбежность, а получилось про необратимость, которую можно увидеть. Зная финал, зритель может гораздо внимательнее смотреть предыдущие эпизоды и понять: так вот где люди допустили сбой! А если вы смотрите в прямом времени и не знаете, чем все закончится, то вам и неведомо, на что обратить внимание, какие именно действия или бездействия привели к такого рода необратимости, пока она не накроет. В жизни аноэтическая необратимость создается абсолютно так же: проживая многое в естественной беспечности или ложной уверенности, мы не знаем, где быть настороже, до тех пор, пока не окажемся в ситуации, в которой очень бы хотелось отмотать «это кино» назад и прожить более осознанно — но невозможно. В подобных случаях (или к подобным случаям) нас подводит комфортный режим повседневной жизни, не требующий собственного суждения, и масса даруемых коллективной жизнью возможностей избегать принятия решений.

Чтобы не создавать впечатления, будто бы аноэтическая необратимость всегда связана с некоторой беспечностью, отстраненностью или даже глупостью, приведем другой пример. В высотном альпинизме многочисленны случаи гибели людей не из-за плохой физической подготовки, несчастных случаев или других очевидных причин. Во многих восхождениях, особенно выше 8000 метров, присутствует момент времени, когда альпинист или группа должны повернуть назад и начать спуск, независимо от того, достигли они вершины или нет. Иначе, как правило, они не успевают вернуться в лагерь, где можно переночевать, и обречены на смерть от холода и гипоксии. В альпинизм, как правило, идут люди более волевые и целеустремленные, те, кто видит перед собой вершину, которую надо покорить, и они будут склонны продолжать восхождение, игнорируя момент возврата. К тому же если не продолжить, то год подготовки и недели усилий по достижению штурмового лагеря придется признать потраченными зря. Волей и целеустремленностью запускается ситуация необратимости: кажется, что потом еще можно будет что-то сделать, хотя на самом деле они уже обречены. Такая ситуация детально описана Джоном Кракауэром в книге «В разреженном воздухе» о гибели двух экспедиций на Эвересте в 1996 году (Кракауэр, 2016).

---

или что ее друзья, увидев последствия насилия, едут в больницу, чтобы позаботиться об Алекс (и она поправится), а не занимаются поиском насильника... И так далее. Все эти развилки можно даже нарисовать. Просмотр в обычном времени дает потенциально много счастливых финалов и совсем ничего не скажет про то, как в нашу жизнь напращивается необратимость. А вот в обратном времени это видно хорошо, как видно и то, что каждый из героев фильма проявляет беспечность и не останавливает своей волей поток естественных событий, когда проскакивает эти возможные развилки.

## Рациональное воздержание

Значит ли это, что при постановке проблемы необратимости в социальном контексте речь всегда должна идти о несчастном случае, смерти или каком-то нежелательном исходе, которого хотелось бы избежать? Иными словами, словами термодинамики, всегда ли подразумевается некий социальный или экзистенциальный эквивалент производства энтропии, как у Ноэ? В аноэтических ситуациях это именно так, ибо благоприятное развитие событий вообще не образует какой-либо значимый опыт. Поэтому различие проходит в первую очередь по наличию или отсутствию момента распознавания ситуации, как несущей необратимые последствия и требующей остановки для принятия решения.

Такие ситуации, как уже было сказано, известны в экономической деятельности, и по их поводу имеются практические рекомендации. С точки зрения рационального игрока, необратимость понимается не абсолютно, а относительно к цене возврата к исходным условиям; она возникает, когда эта цена запрети-тельно высока. На практике это значит, что распознавание такой ситуации должно менять процедуру принятия решения, вплоть до воздержания от него. Если мы входим в помещение, куда дверь открывается только с внешней стороны, то решение об этом должно приниматься методично, внимательно, медленно, с широкими обсуждениями и консультациями, пишет Джефф Безос, основатель *Amazon.com*, в одном из своих открытых писем акционерам компании. А решения, которые обратимы, должны приниматься быстро, единолично или малой группой<sup>12</sup>.

Медленная процедура призвана обеспечить максимум информированности и более строгие стандарты, чтобы не дать принять необратимого решения, которое может оказаться плохим. Затягивание решения вполне оправданно в контексте той рациональности, с которой действует компания: за это время может появиться дополнительная информация, помогающая избежать ошибки. Но достичь полноты информации, как правило, все равно не удастся, поэтому вопрос риска и ответственности никуда не девается. В итоге рациональная процедура в большей степени способствует тому, чтобы избежать необратимых решений, чем принять их, а если все же принять, то в режиме коллективной ответственности или групповой солидарности. Перефразируя известную «теорему Томаса», если люди определяют ситуацию как потенциально необратимую, то она скорее всего не будет иметь реальных последствий<sup>13</sup>.

---

12. Для Безоса такое правило служит цели сохранения инновационного характера компании в условиях роста размеров организации. При росте размеров организация начинает принимать все решения согласно сложным и долгим процедурам и поэтому теряет способность к инновациям. См.: <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/000119312516530910/d168744dex991.htm>

13. Теорему Томаса (если люди рассматривают ситуацию как реальную, то она реальна по своим последствиям) изложил Роберт Мертон в статье о самоисполняющемся пророчестве. См.: Merton, 1948.

Тогда остается самый трудный вопрос: как возникают исключения? Ведь необратимые решения все же принимаются вместе с сопутствующими им рисками и неопределенностью, и часто оказывается, что именно такие решения делают историю.

### Этическая необратимость

Набрасывая философию поступка, Михаил Бахтин замечает: «Поступок в его целостности более чем рационален — он *ответствен*». Ответственный поступок — всегда «осуществление решения уже безысходно, непоправимо и невозвратно» (Бахтин, 2003: 19). В его описании это более сильный модус присутствия, нежели субъектность. Бахтин называет его «единственностью». Это нечто другое, чем то, что мы знаем, например, как единоличное или авторитарное принятие решения. В последних двух случаях человек отбирает у других и присваивает себе право принимать решения, руководствуясь своими интересами. А в единственности — берет решение на себя, поскольку никто другой не захочет, не осмелится или не сможет решиться взять на себя ответственность, а с радостью переложит решение на другого. Поступок имеет дело «лишь с одним-единственным лицом и предметом, причем они даны ему в индивидуальных эмоционально-волевых тонах. Это мир собственных имен, *этих* предметов и определенных хронологических дат жизни» (Бахтин, 2003: 33).

В отличие от «социального действия», которое безлично и понимается в универсалистских терминах, поступок всегда имеет автора. Им не обязательно должен быть исторический персонаж. Единственность имеет место и в обычных биографиях, не говоря уже о вымышленных. Но поскольку поступки персонажей, «сделавших» историю, хорошо изучены, и многие из них превращаются в практическую мифологию и до сих пор служат моделями практического действия, то их удобно брать в качестве примеров.

Благодаря римским историкам до нас дошел эпизод из 49 года до н.э. — переход Юлия Цезаря, на тот момент проконсула в Галлии, через реку Рубикон, отделявшую Галлию от Италии. Сам факт перехода этой границы и ввода войск в Италию по римским законам означал для Цезаря смертную казнь, т.к. считался бы мятежом. Он также понимал, что выступление его легионов в направлении Рима влекло за собой решение политических противоречий исключительно силой оружия, гражданскую войну и непредсказуемые бедствия<sup>14</sup>. Поэтому переход Рубикона отпечатался в культуре не как техническая переправа через небольшое водное препятствие, а в качестве символа принятия окончательного решения, последствия которого хоть и отложены, но неминуемо наступят<sup>15</sup>.

14. Различные описания римскими историками этого эпизода изложены в книге историка Сергея Утченко (1976) о Цезаре.

15. В конечном итоге это решение Юлия Цезаря привело к закату республики и рождению новой реальности — Римской империи.

Переход Рубикона был перформативен, поскольку одно это действие, технически не содержащее никакого риска, меняло реальность без возможности возврата к прежнему состоянию и обязывало продолжать раз избранный курс, уже ничего, кроме риска, не содержащего. В логической связи с этим эпизодом находится целый класс решений по инструментальному созданию ситуаций, гарантирующих переход к насилию. К форсированию водной преграды пристыковывается дополнительное действие, однозначно ликвидирующее возможность возврата, такое как разрушение («сжигание») за собой кораблей или мостов<sup>16</sup>. Подобные действия относятся, скорее, к стратегии, нежели к этике, поскольку содержат элемент инструментальной рациональности. Для тех, кто так поступил, они создают мотивацию к коллективному действию с максимальной отдачей: каждый знает, что другой не отступит, ибо некуда, и так создается единство судьбы, решаемой здесь и сейчас. А противной стороне посылается сигнал о предельной решительности и готовности идти до конца<sup>17</sup>.

Переход к насилию, каков бы ни был его масштаб, от бытового до государственного, представляет собой класс ситуаций, мультиплицирующих необратимость, и поэтому вне зависимости от масштаба этот переход предполагает элемент остановки и принятия решения, коллективного либо индивидуального, вместе с ответственностью за все, что случится потом<sup>18</sup>. Эти же ситуации, как известно, рождают поистине чудовищные исторические ошибки. Но существенное различие проходит не по степени соответствия замысла и результата, которые на войне или в драке *всегда* далеки друг от друга, а по степени осознанности и ответственности в моменте принятия решения. В аноэтических ситуациях — мы называем это «спонтанным насилием» — этот момент слаб или вовсе отсутствует.

Еще один класс необратимых действий — это раскрытие секрета, поскольку после этого обратный ход, вроде удаления информации из памяти всех, кто его узнал, вообразить трудно. Не менее существенно и то, что после разглашения возникают принципиально другие представления о реальности, к которой относится секрет, а предыдущие лишаются силы. Предельным случаем, сконцентрировавшим поступок с этическим содержанием и последующее изменение реальности, можно считать передачу Клаусом Фуксом технологии изготовления атомной бомбы Советскому Союзу в 1943–1949 годах.

Фукс эмигрировал из фашистской Германии в Англию и во время войны работал в лаборатории Бирмингемского университета над проблемами расщепления урана. Он по своей инициативе установил контакт с советской разведкой и начал передавать сведения о разработке ядерного оружия, рано поняв, какое значение

---

16. В перечне поступков по типу «сжигание кораблей или мостов» находятся Александр Македонский при высадке в Персию; Эрнан Кортес при завоевании Мексики; Вильгельм Завоеватель перед битвой за английский престол; Дмитрий Донской перед Куликовской битвой на Дону и многие другие.

17. Чтобы быть успешной и убедительной (credible), стратегия должна быть необратимой, утверждают экономисты (Dixit, Nalebuff, 1991).

18. Юридическое вменение ответственности сильнее в случае умысла на насильственные действия, что отражается в тяжести наказания.

оно будет иметь для мировой политики. В 1944–1946 годах Фукс был переведен в США в лабораторию в Лос-Аламосе и стал одним из ключевых участников Манхэттенского проекта. В эти годы он передал СССР чертежи и параметры американской плутониевой бомбы, сброшенной на Хиросиму, позже — схему водородной бомбы, а также анализ результатов всех ядерных испытаний США. В 1950 году, уже снова будучи в Англии, Фукс, как и многие другие участники атомного проекта, попал под подозрение контрразведки и принял решение сознаться, после чего английский суд приговорил его к 14 годам тюрьмы и лишил британского гражданства. Согласись английские власти на требование депортации Фукса в США, его бы ждал электрический стул, как супругов Розенбергов, разоблаченных в рамках того же расследования годом позже.

С первых встреч с советским связным Фукс категорически отказался от денег за сотрудничество и сам не считал, что занимается шпионажем. Историки, изучавшие этот кейс, сходятся на том, что основной мотивацией Фукса были не столько его коммунистические симпатии, сколько идея восстановления баланса сил, который опасно нарушался из-за возникавшей монополии США на ядерное оружие. Позже выяснилось, что идеи Фукса не были уникальны, а разделялись другими сотрудниками лаборатории в Лос-Аламосе, включая Роберта Оппенгеймера, который обсуждал с Франклином Рузвельтом необходимость передать русским ядерные технологии для того, чтобы установить более стабильный мировой порядок (Fuchs-Kittowski, 2003: 157). То, о чем другие физики только начали говорить, Фукс уже делал<sup>19</sup>.

Сам Фукс не произносил громких слов по поводу своих заслуг в установлении биполярного мира. Однако Норман Мосс, подробно исследовавший его историю, приводит любопытное замечание, сделанное Фуксом в тюрьме в марте 1955 года после того, как он прочитал речь Черчилля, посвященную водородной бомбе и стабильности, созданной благодаря ядерному сдерживанию. Черчилль, в частности, описывал парадокс «чем хуже, тем лучше»: благодаря ходу возвышенной иронии судьбы мы подошли к тому моменту во всей этой истории, когда безопасность стала здоровым ребенком страха, а выживание — братом-близнецом уничтожения<sup>20</sup>. На что Фукс заметил своему сокамернику: «Я полагаю, что ход возвышенной иронии судьбы все же не распространится на мое освобождение из тюрьмы в качестве благодетеля человечества». Помогая русским создать атомную бомбу, Фукс, конечно, внес свой вклад в то, чтобы привести страх в состояние равновесия, заключил Мосс (Moss, 1987: 187).

Понятно, что военно-технологическая реальность того момента была гораздо шире, чем охота за секретами, и что создание в СССР ядерного оружия состоялось

19. Сравнительно мягкий приговор британского суда объясняется тем, что СССР на момент совершения преступления считался союзником Великобритании, которая к тому же по существовавшему соглашению была обязана передавать союзнику военные технологии. Суд счел, что он не вправе считать дело Фукса шпионажем в пользу врага.

20. Речь, произнесенная в палате общин 1 марта 1955 года, называлась «Не впадайте в отчаяние!» (*Never Dispair!*). Оригинал доступен здесь: <https://churchill.pw/1300.html>



бы и без Фукса, пусть на несколько лет позднее. Суть примера — в наличии всех составляющих этической ситуации необратимости: распознавание ситуации как содержащей необратимые последствия; ответственное (за пределами рациональности) решение одного человека, принимающего все последствия; предполагаемое поступком, хотя полностью им и не определяемое, изменение реальности (исчезновение монополярного и возникновение биполярного мира).

### **О чем «следует молчать»?**

Уходя от термодинамической концепции необратимости, где время разрушает всё, но ничего не создает, а также от биологического образа дерева видов, где имеют место случайность мутаций и отбор, мы пришли к пониманию необратимости как свойству социальной реальности. К ней ближе образ структуры, а не процесса, поэтому время не играет главенствующей роли. Во многих примерах фигурировала смерть. Но она значима не как физически необратимое событие, а как исчезновение связанного с нею фрагмента реальности — мира таких-то людей или организаций (вплоть до государства). Поэтому «чего» необратимости относится к структуре представлений наподобие картины мира, которая меняется без возможности возврата к прежней, каким бы сильным ни было стремление вернуться назад. Эта невозможность и есть сопротивление, образующее опыт социальной реальности, признак того, что нечто реально (а не надумано, сконструировано или нафантазировано). Типы необратимости были разделены по способу обращения с ней или проживания соответствующих ситуаций. Остался вопрос о том, как различается опыт проживания таких ситуаций.

Может показаться, что аноэтическая необратимость, ранее обозначенная так, поскольку происходит из действий с ограниченным горизонтом осознанности, обусловлена личными качествами или случайными состояниями человека вроде беспечности или невнимания. В действительности ее предпосылки создаются структурой повседневной жизни и теми идеями, которые рождаются на пересечении бытовых и социологических представлений о реальности. Обыденные и разделяемые людьми формы опыта, говорит нам социология повседневности начиная с Альфреда Шюца, строятся на типизации и повторяемости, приведении незнакомого к знакомому, шаблонах и неявных установках на то, что мир, как он был устроен вчера, сегодня утром не изменится, и все, чему человек научился, продолжит работать. Участники взаимодействия неявным образом заинтересованы в сохранении привычного порядка, избегая брешей, неловкостей и ситуаций, когда «починка» взаимодействия становится невозможной. Соответственно, в таком мире всегда есть возможность передоговориться, выздороветь, взять свои слова назад, сделать еще одну попытку.

Структура повседневного мира, таким образом, производит иллюзию обратимости — практическое предположение, что мы всегда можем вернуться назад и пересобрать реальность. Подобную иллюзию некритически транслируют и те

социологические теории, которые оперируют «облегченной» концепцией реальности — отождествления социальной реальности с игрой, конструированием и говорением. У игры, будь то игра по правилам в смысле *game* или игра по сценарию в смысле *play*, есть сквозное свойство, и оно заключается в том, что у нее есть начало и конец и, следовательно, возможность закончить, выйти из игры, сказать «стоп» или «я не играю». Общим логическим свойством игры является встроенный предохранитель против необратимости. От нее страхуют либо сами правила игры, предотвращающие чрезмерные риски, либо возможность выхода, если игра зашла слишком далеко. Верно и обратное: понятие игры предполагает обратимость как возможность сыграть заново, переиграть, ибо там, где игра, потери и приобретения не окончательные. Иначе это уже не игра. Предельным случаем игры как таковой можно считать русскую рулетку, которая, если четко следовать ее правилам, может быть сыграна данными игроками только один раз, хотя надежных свидетельств того, что в нее где-либо по-настоящему играли, нет. Парадокс, зашитый в понятие игры, заключается в том, что игра заканчивается тогда, когда из нее невозможно выйти. Игра кажется адекватным инструментом познания реальности до тех пор, пока не становится ясно, что реальность начинается там, где игра кончается, а игра кончается тогда, когда из нее невозможно выйти.

Взяв понятия «роли», «сцены» и «зрителей», т.е. театральную форму жизни в качестве универсальной модели социальной реальности, американская социология построила свою онтологию на метафоре игры. Эвристическая ценность такого подхода состояла в возможности отделить роли от актеров и описывать с помощью понятия «структура роли» повторяющиеся образцы поведения, соответствующие позиции человека в социуме. Ирвинг Гоффман (2000) довел ролевую теорию до совершенства, обнажив не только приемы убеждения окружающих в том, что исполнитель определенной роли является носителем соответствующей личности, но и то, что в действительности личность есть лишь компетентный манипулятор постановок в соответствии с контекстом.<sup>21</sup>

В изначальной версии теории социального конструирования реальности присутствует идея того, что элементы реальности — смыслы, образцы, роли, идентичности — являются не прямым, а побочным продуктом взаимодействия людей (Бергер, Лукман, 1995). Это значит, что возможности для прямых и осознанных манипуляций с реальностью крайне ограничены, поскольку опосредованы множеством практик, регулируемых коллективно. В более поздних версиях, опирающихся на критическую теорию дискурса — предположение о том, что язык («игра означающих») может определять или менять реальность, последняя уже стала настолько пластичной, что в представлении своих сторонников вообще утратила

---

21. В комментариях к черновой версии этой статьи Михаил Соколов указал автору на то, что у Ирвинга Гоффмана в книге «Где экшн» (“Where the Action Is”) содержится более аутентичная концепция действия и роли, относящаяся к ситуациям, связанным с высокими ставками и риском, в том числе, для жизни. См. Goffman (1969).



способность сопротивляться. Когда ареной воображаемой борьбы за реальность становятся репрезентации, а методом — запреты и дискурсивная цензура, именно в такой момент реальность более всего способна давать сдачу. Необратимость обнаруживается как свершившийся факт, но не как события в мире, а как происходящее с самим миром. С точки зрения участников, это выглядит, как если бы один мир прекратил свое существование, а на его месте возникал бы какой-то другой (как будто кто-то перетряхнул коробку с максвелловскими черными и белыми шариками).

В отличие от этого, распознавание ситуации потенциальной необратимости предполагает выход из естественной установки повседневной социальности (или деятельности, полагающейся на рутинные процедуры) и переход в состояние субъекта, принимающего решение. Объяснить способность к такому переходу возможно только научением или образованием, где тренируется навык наблюдения закономерностей и их проецирования на будущее.

Решение может быть рациональным либо этическим, у них разные основания. Первое основано на процедурах расчета выгод и потерь, оценке вероятностей и упущенных будущих возможностей. А основание этического решения — только внутренняя готовность конкретного человека его принять. Следствием рационального анализа в условиях потенциальной необратимости, от обычного бытового расчета до моделирования инвестиционного поведения в экономических категориях, скорее всего будет откладывание и воздержание от решения (условный Рубикон не будет перейден). И здесь дело не в том, что рациональность рождает какую-то особую осторожность. Переописание ситуации в абстрактных терминах делает ее внешней по отношению к любому участнику, и тогда получается, что решиться и осуществить решение просто некому; все это понимают, поэтому всё уже как бы решено. Ведь когда расчеты и де-libерации заканчиваются, кто-то *должен* принять на себя неопределенность, риск и ответственность, и только это может поменять решение с отрицательного на положительное. В момент долженствования возникает другая ситуация, и она уже характеризуется как этическая, а предшествующие расчеты выступают, используя выражение Бахтина, всего лишь «техническим аппаратом поступка» (Бахтин, 2003: 25).

Дальнейшая трудность состоит в том, что объяснить какие-либо закономерности поступка невозможно, и на этом рассуждения должны закончиться. Бахтин настаивал на том, что единственным основанием этического решения является решимость самого поступающего. Любые попытки транскрибировать этическую ситуацию в теоретических терминах и выразить как постоянный закон поступка рождают только пустую формулу, которая сама нуждается в действительном единственном признании изнутри поступка (Бахтин, 2003: 20). Бахтин все же допускал, что язык способен ясно выразить правду поступающего, но сам такой язык не продемонстрировал. Можно сказать, что такой язык создал Мартин Хайдеггер — для того, чтобы выразить развертывание бытия из уникальной точки «здесь», начинаю-

щеся в состоянии «заброшенности в людях» и приходящее к «решимость быть» или «способности-быть-целым» (Хайдеггер, 1997). Язык Хайдеггера не назовешь ясным, но и переводить его обратно на общепонятный язык сущего внутри-мира (привычный язык фактов) так же бессмысленно, как пересказывать авторское кино.

Людвиг Витгенштейн приблизился к границе того, «о чем следует молчать», с другой стороны, исчерпывающе, как он считал, описав логические формы того, что ясно выразимо в языке — в предложениях о фактах и их связях, т.е. о событиях внутри мира. Относительная ценность чего-либо, как в экономике, может быть выражена предложениями языка, но абсолютная ценность, которую подразумевает этическое должествование, находится за границами языка фактов, поэтому, как он утверждал в «Лекции об этике», предложения этики изначально бессмысленны (Витгенштейн, 1989: 240). Место предложений этики занимают сами поступки, они говорят за себя. Этическое показывает себя в поступке, не требующем слов или внешнего вознаграждения, поскольку «должны существовать и этическое вознаграждение, и этическое наказание, но они должны заключаться в самом поступке» (Витгенштейн, 1994: 70-71). Соответственно, мы способны говорить и об уже случившейся необратимости (хотя авторское кино это делает несравненно лучше), и о том, как ее можно и нужно избежать, но не о готовности принять ее возможность, положить ей начало и находиться внутри.

## Литература

- Бахтин М. (2003). К философии поступка. / Собрание сочинений. Т.1. М.: Языки славянской культуры.
- Бергер П., Лукман Т. (1995). Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / Пер. Е. Д. Руткевич. М.: «Медиум».
- Витгенштейн Л. (1989). Лекция об этике // Историко-философский ежегодник. М. С. 238–245.
- Витгенштейн Л. (1994). Философские исследования / Витгенштейн Л. Философские работы. М.: Наука.
- Гофман И. (2000). Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. и вступ. статья А. Д. Ковалева. М.: КАНОН-пресс-Ц.
- Данн Дж. (2000). Эксперимент со временем. М.: Аграф.
- Кракауэр Дж. (2016). В разреженном воздухе. Самая страшная трагедия в истории Эвереста / Пер. с англ. А. В. Андреева. М.: Издательство Э.
- Соколов М. М. (2019). Элементы социологии досады и сожаления // Социологическое обозрение. Т. 18. № 4. С. 9–46.
- Тарковский А. (1989). Лекции о кинорежиссуре. Л.: Ленфильм.
- Хайдеггер М. (1997). Бытие и время / Пер. В. В. Бибихина. М.: Ad Marginem.
- Утченко С. (2012). Юлий Цезарь. М.: Вита Нова.
- Хокинг С. (2000). Краткая история времени. СПб: Амфора.

- Denbigh K.* (1989). The Many Faces of Irreversibility // The British Journal for the Philosophy of Science. Dec. Vol. 40. No. 4. P. 501-518.
- Dixit A., Nalebuff B.* (1991). Thinking Strategically: The Competitive Edge in Business, Politics, and Everyday Life. London: Norton.
- Goffman I.* (1969). Where the Action Is: Three Essays. New York: Allen Lane.
- Henry C.* (1974). Investment Decisions Under Uncertainty: The “Irreversibility” Effect // The American Economic Review. Vol. 64, No. 6. P. 1006-1012.
- MacBeth N.* (1980). Reflections on Irreversibility // Systematic Zoology. Vol. 29, No. 4 P. 402-404.
- Merton R.* (1948). The Self-Fulfilling Prophecy // The Antioch Review. Summer. Vol. 8, No. 2. P. 193-210.
- Moue A. S.* (2008). The Thought Experiment of Maxwell’s Demon and the Origin of Irreversibility // Journal for General Philosophy of Science // Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie. Vol. 39, No. 1 P. 69-84.
- Perrings C., Brock W.* (2008). Irreversibility in Economics // Annual Review of Resource Economics. Vol. 1. P. 219-238.
- Popper K.* (1956). Nature. Vol. 178. August. P. 382.
- Popper K.* (1957). Irreversibility; or Entropy since 1905 // The British Journal for the Philosophy of Science. Aug. Vol. 8, No. 30 P. 151-155.
- Silva C, Annamali K.* (2008). Entropy Generation and Human Aging: Lifespan Entropy and Effect of Physical Activity Level // Entropy №10. P. 100-123.
- Tulving, E.* (1985). Memory and consciousness // Canadian Psychology. Vol. 26. P. 1-12.
- Vandekerckhove M, Bulnes LC, Panksepp J.* (2014). The emergence of primary anoetic consciousness in episodic memory // Frontiers in Behavioral Neuroscience. Vol 7. P. 1-8.

## The problem of irreversibility

*Vadim Volkov*

Doctor of Sociology, PhD, Rector European University at St.Peterburg

Address: Gagarinskaya Str., 6/1 A, Sankt-Peterburg, 191187. Russia

E-mail: volkov@eu.spb.ru

The problem of irreversibility was raised in the second half of the 19th century in thermodynamics and, a few years later, in evolutionary biology. In the 1970s, economists accounted for the problem of irreversibility in the context of human-driven ecological change. Social theory missed the problem – with regard to social reality it did not receive any attention. This paper seeks to fill the gap. In order to do so irreversibility has to be redefined. In physics and life sciences it is conceived as a property of a process. In this paper, irreversibility is defined as a social situation wherein one reality is bound to disappear without any chance of recovery and another reality to emerge in its stead. Social situations of irreversibility are further classified into anoetic, rational, and ethical with each type discussed separately. The concluding section addresses formative conditions of respective situations of irreversibility, types of experience, and limitations of descriptive language.

*Keywords:* irreversibility, entropy, situation, ethics, social theory

## References

- Bahtin M. (2003) K filosofii postupka [To the Philosophy of Action]. *Sobranie sochinenij* [Collected Works], vol.1, Moscow: Jazyki slavjanskoj kul'tury.
- Berger P., Luckmann T. (1995) Social'noe konstruirovanie real'nosti. Traktat po sociologii znaniya [The Social Construction of Reality. A Treatise on Sociology of Knowledge]. Tr. by E. D. Rutkevich, Moscow: «Medium».
- Denbigh K. (1989) The Many Faces of Irreversibility. *The British Journal for the Philosophy of Science*, vol. 40, no 4, pp. 501-518.
- Dunne J. (2000) Jeksperiment so vremenem [An Experiment with Time], Moscow: Agraf.
- Hawking S. (2000) Kratkaja istorija vremeni [A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes]
- Heidegger M. (1997) Bytie i vremja [Being and Time]. Tr. by V.V. Bibihin, Moscow: Ad Marginem.
- Henry C. (1974) Investment Decisions Under Uncertainty: The "Irreversibility" Effect. *The American Economic Review*, vol. 64, no 6, pp. 1006- 1012.
- Krakauer J. (2016) V razrezhenom vozduhe. Samaja strashnaja tragedija v istorii Jeveresta [Into Thin Air: A Personal Account of the Mt. Everest Disaster]. Tr. by A.V. Andreeva, Moscow: Izdatel'stvo Je.
- MacBeth N. (1980) Reflections on Irreversibility. *Systematic Zoology*, vol. 29, no 4, pp. 402-404.
- Merton R. (1948) The Self-Fulfilling Prophecy. *The Antioch Review. Summer*, vol. 8, no 2, pp. 193-210.
- Moue A. S. (2008) The Thought Experiment of Maxwell's Demon and the Origin of Irreversibility. *Journal for General Philosophy of Science Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie*, vol. 39, no 1, pp. 69-84.
- Perrings C., Brock W (2008) Irreversibility in Economics. *Annual Review of Resource Economics*, vol. 1, pp. 219-238.
- Popper K. (1956) *Nature*, vol. 178, pp. 382.
- Popper K. (1957) Irreversibility; or Entropy since 1905. *The British Journal for the Philosophy of Science*, vol. 8, no 30, pp. 151-155.
- Silva C, Annamali K. (2008) Entropy Generation and Human Aging: Lifespan Entropy and Effect of Physical Activity Level. *Entropy*, no 10., pp. 100-123.
- Sokolov M. M. (2019). Jelementy sociologii dosady i sozhalenija [Elements of the Sociology of Annoyance and Regret] *Sociologicheskoe obozrenie*, vol. 18, no 4, pp. 9–46.
- Tarkovsky A. (1989) Lekcii o kinorezhissure [Lectures on Film Directing], Leningrad: Lenfil'm.
- Tulving, E. (1985) Memory and consciousness. *Canadian Psychology*, vol. 26, pp. 1-12.
- Utchenko S. (2012) Julij Cezar' [Julius Caesar], Moscow: Vita Nova.
- Vandekerckhove M, Bulnes LC, Panksepp J. (2014) *The emergence of primary anoetic consciousness in episodic memory. Frontiers in Behavioral Neuroscienc*, vol 7, pp. 1-8.
- Wittgenstein L. (1989) Lekcija ob jetike [A Lecture on Ethics]. *Istoriko-filosofskij ezhegodnik*.
- Wittgenstein L. (1994) Filozofskie issledovanija [Philosophical Investigations]. *Filozofskie raboty* [Philosophical Works], Moscow: Nauka.

# Миф Дюркгейма: что Витгенштейн и Райл могли бы сказать о пригодности основных понятий социальных наук

*Виктор Каплун*

Кандидат философских наук, научный руководитель исследовательского центра Res Publica Европейского университета в Санкт-Петербурге; доцент департамента социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге  
Адрес: Гагаринская ул., д. 6/1, А, Санкт-Петербург, 191187.  
E-mail: kaploun@eu.spb.ru

Концептуальные инструменты, разработанные авторами оксфордско-кембриджской традиции философии языка и действия (в первую очередь Райлом и Витгенштейном), позволяют переосмыслить и переопределить базовый понятийный аппарат социальных наук, сложившийся в конце XIX и в первые десятилетия XX века, в период их становления как формы позитивного знания об «обществе». В статье анализируется «грамматика» (в витгенштейновском смысле слова) некоторых основных понятий социальной теории («реальность», «действие», «сознание» и др.) — какой она формируется в первую очередь в языке социальной теории Дюркгейма. Основное внимание уделяется понятию «институт», занимающему привилегированное место в языке современных социальных наук.

Показывается, что в язык классической социальной теории оказались встроены концептуальные проблемы, логические нонсенсы и философские мифы, пришедшие из философского языка XIX века, который, в свою очередь, унаследовал их от многовековой традиции европейской метафизики. В силу специфического метафорического использования концептов этот язык может в определенных контекстах не прояснять реальность, но, наоборот, скрывать реальные механизмы функционирования институтов и реальные отношения власти.

В статье также анализируется грамматика понятия «хабитус», введенного М. Моссом, и показывается, как некоторые традиционные понятия социальной теории могут быть переинтерпретированы в методологической перспективе прагматического поворота в социальных науках («теории практик»).

*Ключевые слова:* социальная теория, политическая теория, философия языка, теория практик, социальная реальность, действие, институт, хабитус, Г. Райл, Л. Витгенштейн, Э. Дюркгейм, М. Мосс, М. Фуко

Оксфордско-кембриджская традиция философии языка — та ее ветвь, которую можно условно обозначить как праксеологическую философию языка и действия и которую связывают в первую очередь с именами Л. Витгенштейна, Г. Райла и Дж. Остина — начинает активно влиять на социальные науки с 1960-1970-х годов. Это период глубоких трансформаций в самом типе европейских обществ и одновременно эпоха кризиса старых типов социального знания, когда классические парадигмы социальной и политической теории (остающиеся во многом в границах философского языка и проблематик, пришедших из XIX века) перестают быть адекватными реальности и, как следствие, убедительными.

В данной статье я попытаюсь показать, каким образом концептуальные инструменты, разработанные авторами этой традиции, позволяют переосмыслить и переопределить базовые понятия классической социальной теории. Под базовыми понятиями я имею в виду понятийный аппарат, который начал складываться в конце XIX — начале XX века, в период становления новой науки, «социологии», провозгласившей себя новой позитивной формой знания о реальности особого типа — «обществе». Я попытаюсь проделать краткий критический анализ некоторых из этих понятий и указать на связанные с ними концептуальные трудности и недоразумения, объясняющиеся влиянием языка европейской философской традиции этой эпохи. В качестве инструментов анализа я буду использовать в основном интеллектуальные изобретения Гилберта Райла — такие как критика менталистской модели субъекта (Райл обозначил эту модель как «миф Декарта», или миф о «Духе в машине») и аналитика «знания, что» и «знания, как», а также разработанную Людвигом Витгенштейном проблематику «следования правилу».

Основное внимание в статье будет уделено понятию «институт». Это понятие занимает привилегированное место в языке позитивных социальных наук с момента их возникновения. Я рассмотрю, как оно вводится и операционализируется в социальной теории Дюркгейма — вместе с рядом других понятий, введенных Дюркгеймом и до сих пор составляющих основу языка социальных наук. В языке Дюркгейма понятие «институт» играет ключевую роль; через него в конечном итоге определяется самое фундаментальное понятие социальной науки, обозначающее ее предмет — понятие «реальность» («социальная реальность»). Язык дюркгеймовской социальной теории оказал фундаментальное влияние на все последующее развитие социальных наук, а дюркгеймовская операционализация понятия «институт» до сих пор продолжает служить основой концептуального аппарата, в том числе и для новых, активно развивающихся дисциплин. Между тем этот язык был языком своего времени, и, как я попытаюсь показать ниже, в него оказались встроены концептуальные проблемы, логические нонсенсы и философские мифологемы, пришедшие из философского языка XIX века, который, в свою очередь, унаследовал их от многовековой традиции европейской метафизики. В итоге опирающиеся на этот язык современные формы знания, апеллируя к научной объективности, на деле часто не проясняют, но, наоборот, затемняют реальность — в частности, реальные отношения власти.

### **Понятие «институт» в социальной теории Дюркгейма**

Понятийный аппарат классической социальной теории складывается в работах отцов-основателей «социальной науки» в момент возникновения социологии как позитивной эмпирической формы знания. Я не буду рассматривать здесь язык и стиль мышления веберовской ветви социальной теории, связанной с немецкоязычной традицией *Geisteswissenschaften*. Для целей данной статьи основной интерес представляет язык и стиль мышления другой — объективистской — ветви классической социологической традиции, связанной с именем Дюркгейма.

Напомним, что само слово «социология» употребляется у Дюркгейма не совсем так, как у современных авторов. Называя, вслед за Контом, новую науку «социологией» и употребляя в соответствующих контекстах выражение «социальная наука» (в единственном числе), Дюркгейм обозначает этим зонтичным термином всю совокупность дисциплин, которые мы сегодня относим к «социальным наукам»<sup>1</sup>. Как и любая наука, социальная наука есть форма знания о «реальности», но в данном случае речь идет о реальности особого типа, о реальности, которую не в состоянии анализировать (и даже просто увидеть) другие науки, имеющие дело либо с природными явлениями (естественные науки), либо с индивидуальной человеческой психикой (психология). В то же время, утверждает Дюркгейм, анализ этой особой «социальной реальности», ее законов (а она, с точки зрения Дюркгейма, подчиняется своим собственным законам) оказывается важнейшим условием для понимания условий человеческого существования и возможности изменения их в желаемую сторону.

Создавая новую науку, Дюркгейм вынужден прежде всего решить задачу формирования для нее нового языка. Понятия «институт» и «реальность» («социальная реальность») — наиболее базовые среди введенных им понятий — со временем начнут использоваться в качестве само собой разумеющихся и непроблематизированных концептуальных инструментов социальных наук. В языке Дюркгейма они неразрывно связаны друг с другом: понятие реальности операционализируется в конечном итоге через понятие института. При этом «институт», в свою очередь, определяется через еще одно важнейшее понятие социальной теории — понятие «действие».

Напомним обстоятельства, при которых в языке дюркгеймовской социальной теории появляется термин «институт».

Дюркгейм вводит его в Предисловии ко второму изданию «Правил социологического метода», книги-манифеста, написанной в период «бури и натиска» социологии и призванной утвердить право новой науки на существование. Первое издание, вышедшее в 1895 году, вызвало много споров. Основными объектами критики оказались введенное здесь понятие «социальный факт» и заявленное как главный лозунг новой науки методологическое правило: «рассматривать социальные факты как вещи»<sup>2</sup>.

Что такое «социальный факт» и что означает «рассматривать социальные факты как вещи»?

«Социальный факт» — наиболее фундаментальное понятие дюркгеймовской социальной теории. Именно с него Дюркгейм начинает операционализацию поня-

---

1. См., например, статью Дюркгейма 1909 года «Социология и социальные науки» (Дюркгейм, 1995б).

2. «Первое и наиболее фундаментальное правило: *рассматривать социальные факты как вещи*» (Durkheim, 2007: 15) — курсив Дюркгейма. Здесь и ниже, если это не оговорено отдельно, я даю собственный перевод текста Дюркгейма по французскому оригиналу.



тия реальности («социальный факт» — элементарный фрагмент «социальной реальности»). Социальные факты, гласит знаменитое определение Дюркгейма, это:

«...способы действовать, мыслить и чувствовать, представляющие то примечательное свойство, что они существуют вне индивидуальных сознаний [en dehors des consciences individuelles]» (Durkheim, 2007: 4)<sup>3</sup>.

Используя язык современных социальных наук, мы могли бы сказать, что речь идет о «моделях действия», которые индивиды воспроизводят в своем поведении, или о «паттернах действия», или еще о «правилах действия». Глаголами «мыслить» и «чувствовать» здесь обозначены специфические разновидности человеческих действий — «внутренние действия», которые Дюркгейм считает нужным упомянуть отдельно. Но в общем случае они охватываются более широким понятием «действие».

Напомню несколько хрестоматийных тезисов Дюркгейма. «Социальный факт» характеризуется двумя отличительными признаками. Во-первых, «социальные факты» имеют специфическое место локализации: они «внешни» по отношению к индивидам — или, уточняет Дюркгейм, по отношению к «индивидуальным сознаниям». Это основное свойство социального факта; оно упомянуто в процитированном выше определении и настойчиво повторяется во множестве сходных формулировок в других местах трактата Дюркгейма. Во-вторых, «социальные факты» обладают по отношению к индивидам «принудительной силой»:

3. Формулой «способы действовать, мыслить и чувствовать» я передаю дюркгеймовское *manières d'agir, de penser et de sentir*. В существующем современном русском переводе А. Б. Гофмана это место передано так: «способы мышления, деятельности и чувствования» (Дюркгейм, 1995а: 30). С моей точки зрения, такой перевод не совсем удачен. У Дюркгейма речь идет не о «деятельности» вообще (как, например, можно говорить о недифференцированной человеческой деятельности, или практике, в рамках марксистской парадигмы в социальных науках), но о предзаданных индивидам в данном обществе конкретных «способах действовать» (*manières d'agir*). То же самое Дюркгейм имеет в виду в отношении «способов мыслить» и «способов чувствовать».

С моей точки зрения, само название трактата Дюркгейма также передано в русском переводе не совсем удачно — «Метод социологии». А. Б. Гофман, будучи не только переводчиком, но одновременно авторитетнейшим специалистом по истории социологии и, в частности, по творчеству Дюркгейма, сам в послесловии указывает на оригинальное название трактата: «...Точное название в оригинале — “Правила социологического метода”» (Гофман, 1995: 331). Тем не менее по непонятной причине он делает выбор в пользу неточного названия. Между тем в традиции социальной теории в качестве хрестоматийного закрепилось именно название «Правила социологического метода» (*Les Règles de la méthode sociologique, The Rules of Sociological Method*). Это расхождение, естественно, ничего не меняет для читателя-специалиста, но для начинающего социального теоретика, знакомого с работой Дюркгейма только в русском переводе, оно в определенных ситуациях может создавать затруднения. Например, название опубликованной в 1976 году книги Э. Гидденса «New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies» (см.: Giddens, 1993) прямо отсылает читателя к названию трактата Дюркгейма и тем самым предвещает о революционных намерениях автора: пришел новый Дюркгейм, настало время новой социальной науки. Но для читателя, знающего Дюркгейма только в русском переводе, эта переключка названий оказывается не столь очевидной.



«...Они состоят в способах [manières] действовать, мыслить и чувствовать, внешних [extérieures] по отношению к индивиду и наделенных способностью к принуждению [pouvoir de coercion], благодаря которой они навязывают себя ему» (Durkheim, 2007: 5).

Социальные факты — реальны, но в особом смысле слова. В силу парадоксального сочетания свойств, отличающих социальные факты (с одной стороны, социальные факты «внешни» по отношению к «индивидуальным сознаниям», с другой — они есть не природные феномены, но человеческие «способы действовать»), социальная реальность представляет собой особый тип реальности, отличающейся и от природной реальности (от «органических фактов»), и от психических феноменов (от «фактов», находящихся «в» сознании индивидов, т. е. в области «внутреннего» по отношению к сознанию, или, говоря современным языком, от «содержания сознания» индивидов):

«...Они не могут быть смешаны ни с феноменами органическими, потому что они являют собой представления и действия; ни с феноменами психическими, которые могут существовать только в индивидуальном сознании и посредством него. Они, следовательно, образуют новый вид, и именно им в силу их свойств должно дать — и закрепить за ними — именование *социальные*» (Durkheim, 2007: 5).

Именно потому, что «социальные факты» представляют собой особый тип реальности, для их изучения и требуется особая наука, не совпадающая ни с «естественными» науками, ни с «психологическими».

Важно подчеркнуть, что в логике Дюркгейма эти «способы действовать», из которых состоит «социальная реальность», существуют не просто «вне» индивидов, но и «независимо» от них, т. е. от того, как индивиды их понимают и используют. Социальный факт, по определению, есть

*«...способ делать [maniere de faire] ..., который является общим [générale] на протяжении данного общества, имея при этом собственное существование, независящее от его индивидуальных проявлений»* (Durkheim, 2007: 14 — курсив Дюркгейма).

Этот тезис Дюркгейма, по-видимому, связан с его общей идеей о том, что «социальная реальность» в своей «вещности» подобна реальности физического мира и обладает схожим онтологическим статусом. В логике позитивистской эпистемологии XIX века именно это дает возможность говорить о ней как об «объективной реальности», хотя и особого типа.

В Предисловии ко второму изданию «Правил социологического метода», где вводится понятие «институт», Дюркгейм, отвечая критикам, вновь формулирует главный принцип своего социологического метода. Хотя социальная реальность состоит не из материальных феноменов, а из «способов действовать и мыслить»,

социология должна рассматривать ее как «объективную реальность». Именно эту задачу, полагал Дюркгейм, необходимо было решить, создавая понятийный аппарат новой науки. Два главных признака социального факта (социальные факты «внешни по отношению к сознанию» индивидов, социальные факты «обладают по отношению к индивидуальным сознаниям принудительной силой») были выделены как раз для того, чтобы операционализировать «объективность» социальной реальности и одновременно сделать социальные факты эмпирически опознаваемыми.

Именно этот принципиальный тезис об «объективности» социальных фактов стал главным предметом критики, обрушившейся на Дюркгейма после выхода в свет «Правил социологического метода». Дюркгейм сам подчеркивает это в Предисловии ко второму изданию трактата:

«...Возражения очень часто были вызваны тем, что отказывались принимать — или отказывались принимать без серьезных оговорок — наш фундаментальный принцип: объективную реальность социальных фактов» (Durkheim, 2007: XXI).

Ибо как возможно, чтобы социальный факт был «объективным» — то есть, в логике рассматриваемого стиля мышления, внеположным по отношению к «индивидуальным сознаниям» и независимым от них? Если «способы действовать и мыслить» создаются людьми и если действуют и мыслят в соответствии с ними сами люди, то как такие «факты» могут быть «объективными», т. е. полностью независимыми от индивидов? Если мы рассматриваем социальные факты как «вещи», имеющие «собственное существование», независимое от действующих людей, — не означает ли это радикальный пересмотр всей великой гуманистической традиции понимания человека как субъекта своих действий, мыслей, чувств? Не означает ли это, что мы рассматриваем человека не как моральное существо, наделенное разумом и свободой воли, но как «вещь», управляемую другими «вещами», как это имеет место в физическом мире, подчиненном принципу причинности, — и тем самым лишаем человека его «антропологической сущности»? Если мы объясняем действия, мысли и чувства людей принудительной силой «внешней» реальности, в причинно-следственной логике, то что остается в таком понимании человека от принципа «внутренней свободы», которая должна быть свойственна человеку в силу его особой человеческой «природы»?

Понятие «институт» возникает у Дюркгейма как ответ на эти вопросы критики его времени. С его помощью он пытается подчеркнуть особый онтологический статус социального факта: социальные факты по своей природе есть институты. Действительно, социальные факты создаются самими индивидами, но они есть результат синтеза, возникающего из действий многих индивидуальных сознаний. Этот результат, будучи чем-то принципиально отличным от субъективных представлений каждого отдельного индивида, закрепляется

«вне» индивидуальных сознаний и таким образом становится «объективным» фактом. Каждый отдельный индивид сталкивается с этим фактом уже как с чем-то «внешним» и «принудительным», обладающим свойством «объективной реальности». Социальные факты могут быть названы «институтами», потому что создаются — «институируются» — людьми, но возникнув, они получают свое собственное, независящее от индивидов существование и обретают свойство «вещности».

В конечном итоге, этот тезис у Дюркгейма призван утвердить «превосходство» (слово, которое использует Дюркгейм) общества как некоего единого солидарного целого над каждым отдельным частным индивидом:

«Это — вещи, имеющие свое собственное существование. <...> Они связаны с материальным и моральным превосходством, которое имеет общество над своими членами. Очевидно, индивид играет определенную роль в их происхождении. Но чтобы был социальный факт, нужно, чтобы по меньшей мере несколько индивидов смешали бы свое действие, и чтобы эта комбинация выделила некий новый продукт. И поскольку этот синтез имеет место вне каждого из нас (ибо в него входит множественность сознаний), он в качестве следствия по необходимости фиксирует, институирует вне нас определенные способы действовать [certains façon d'agir] и определенные суждения [certains jugements], не зависящие от каждой частной воли, взятой в отдельности. Как было отмечено<sup>4</sup>, есть слово, которое — если только немного расширить его обыденное значение — достаточно хорошо выражает этот очень особый способ бытия; это слово “институт” [institution]. Действительно, не искажая смысл этого выражения, можно называть *институтом* все верования, все типы поведения, институированные коллективностью; социология тогда может быть определена так: наука об институтах, их генезисе и функционировании» (Durkheim, 2007: XX).

---

4. В этом месте текста трактата Дюркгейм дает ссылку на статью М. Мосса и П. Фоконне «Социология: объект и метод», опубликованную в 1901 году в Большой французской энциклопедии. Пространная статья Мосса и Фоконне, учеников и соратников Дюркгейма, была написана с целью популяризировать новую науку «социологию» в издании, адресованном широкой публике. Однако если рассматривать эту работу в перспективе нашей проблематики, можно сказать, что в теоретическом отношении она представляет собой нечто большее, чем просто популяризацию дюркгеймовской концепции социальных фактов. Действительно, понятие «институт» в связи с дюркгеймовской социальной теорией впервые вводится именно в этой статье, и понятие «социальный факт», действительно, впервые переопределяется через понятие «институт» именно здесь. Однако содержание понятия «институт», как оно вводится Моссом и Фоконне, отличается от его последующего прочтения Дюркгеймом в Предисловии ко второму изданию «Правил социологического метода», где Дюркгейм навязывает ему семантику, соответствующую ранее предложенному им самим определению социального факта. В определении института Мосса и Фоконне содержится важное концептуальное новшество, благодаря которому в нем преодолеваются логические проблемы и нонсенсы аналитического языка Дюркгейма. Это понимание института оказывается во многом близким к тому, что будет предложено в рамках «прагматического поворота» в социальных науках второй половины XX века. Я вернусь к этому определению института ниже (см. раздел «Понятие института в перспективе теории практик: Марсель Мосс и понятие “хабитус”»).

Таким образом, понятие института оказывается важнейшим понятием дюркгеймовской социальной теории; именно через него Дюркгейм определяет и операционализирует сам объект изучения социальной науки: социология есть «наука об институтах, их генезисе и функционировании».

### **Что не так с понятием «институт» в социальной теории Дюркгейма?**

В перспективе теории практик, опирающейся на праксеологическую философию языка и действия, проблематичной оказывается вся логика построения понятийного аппарата дюркгеймовской социальной теории. Дюркгейм мыслит «социальную реальность» как человек своего времени. «Реальное», если оно — реально, должно быть чем-то «объективным». Для стиля мышления Дюркгейма это означает две вещи. Во-первых, социальная реальность как «объективное» противоположна «субъективному». Для рассматриваемого стиля мышления эта концептуальная оппозиция автоматически связана с еще одной бинарной оппозицией, описываемой уже в пространственных терминах: «внешнее по отношению к сознанию» vs. «внутреннее по отношению к сознанию» (сознанию каждого отдельного индивида). Во-вторых, социальная реальность — как нечто «внешнее» и «объективное» — должна быть чем-то «жестким», иными словами, сопротивляющимся «внутренним» и «субъективным» желаниям и представлениям индивидов; индивиды наталкиваются на «реальное» как на «объекты», реальности они вынуждены подчиняться, хотя бы они этого или нет, осознают они это или нет. Отсюда — знаменитый лозунг дюркгеймовской социальной теории: «рассматривать социальные факты как вещи».

В этой своей операционализации нового аналитического языка Дюркгейм использует ряд понятий современного ему философского и обыденного языка, которые он берет как само собой разумеющиеся и смысл которых не считает нужным прояснять. Между тем они оказываются фундаментом, на который опирается весь основной понятийный ряд Дюркгейма. И именно эти понятия окажутся проблематизированы в работах авторов праксеологической философии языка и прагматического поворота в социальных науках середины и второй половины XX века — в частности, в работах Г. Райла.

Речь идет в первую очередь о понятиях «сознание» и «действие». Критический анализ способов употребления этих понятий в языке современных обществ — как в обыденном, так и в научном — одна из основных тем Райла. Ниже я попытаюсь показать, что анализ Райла хорошо применим и к языку дюркгеймовской социальной теории. Я коротко напомню основные аргументы Райла, а затем с их помощью рассмотрю, как Дюркгейм — явно или неявно для самого себя — понимает «сознание» и «действие» и как в языке социальной теории Дюркгейма семантика этих понятий определяет семантику понятия «институт».

## Понятия «сознание», «действие», «институт» у Дюркгейма в перспективе философии языка Райла и Витгенштейна

Используя проделанный Райлом анализ понятий «сознание» и «действие», не сложно показать, что Дюркгейм — вместе с философией и социальными науками своего времени — наследует логику этих понятий, сложившуюся в долгой традиции западной метафизики и уходящую корнями в философию сознания Декарта<sup>5</sup>.

Понимание «сознания» в этой традиции опирается на специфический философский миф, который Райл называет «мифом Декарта», или мифом о «Духе в машине». Он представляет собой сочетание ряда философских предрассудков, объясняющихся неправильным использованием языка, в частности специфическими логическими ошибками, или нонсенсами, — «категориальными ошибками», как называет их сам Райл<sup>6</sup>.

«Миф Декарта» (который Райл также называет «официальным учением») опирается на идею радикального онтологического дуализма, закрепленного в базовой для западной метафизической традиции концептуальной оппозиции «духа» и «материи»<sup>7</sup>. Из универсальной противоположности духа и материи вытекает определенная концепция универсальной, вневременной и внеисторической, «природы человека» как субъекта собственного мышления и собственных действий. Схематично эту концепцию можно представить следующим образом.

Человек есть существо, состоящее из тела и сознания (или в чуть более сложной формулировке — «существо, обладающее телом и сознанием»). Сознание и тело принадлежат к двум онтологически разным мирам. Тело принадлежит материальному миру; оно есть нечто протяженное, находится в пространстве и подчиняется физическим (механическим) законам. Сознание есть нечто «нематериальное», не входящее в состав природного, физического, или органического, мира; оно непространственно, не имеет протяженности; его функционирование не подчиняется законам механики и другим законам физического мира, но подчиняется особым законам — «ментальным».

Каждое человеческое «я» имеет непосредственный доступ к «содержанию» своего сознания посредством интроспекции. Если у других людей, «внешних» наблюдателей, нет непосредственного доступа к сознанию индивида (они могут судить о его «внутренней» жизни только по косвенным признакам — движениям

---

5. Понятия «сознание» и «действие», как они используются в языке философской традиции и в обыденных языках современных западных обществ, анализируются в тех или иных аспектах во многих работах Райла. Я ограничусь в основном ссылками на его классическую книгу «Понятие сознания», впервые опубликованную в 1949 году. Я буду использовать имеющийся русский перевод, но там, где для анализа важны нюансы смысла, недостаточно ясно переданные в переводе, я привожу собственный по оригинальному тексту.

6. См. главу «Миф Декарта» в: Райл, 1999: 21-33.

7. Райл, в частности, подчеркивает, что знаменитый философский спор между «материализмом» и «идеализмом» есть результат фундаментального непонимания логики функционирования концептов и их связи с реальностью: «Идеализм и Материализм — ответы на неверно поставленный вопрос» (Райл, 1999: 32).

его тела, выражениям лица, звукам, производимым его голосовыми связками, или, например, по написанным им текстам), то его собственному «внутреннему взору» всегда доступно то, что творится у него «в душе» или «в уме»<sup>8</sup>. При этом, несмотря на то что сознание не находится в пространстве, оно парадоксальным образом мыслится одновременно как некое место — область, где протекают ментальные процессы. Этот стиль мышления подталкивает нас к тому, чтобы разделять нашу реальность на «внешний мир» и «внутренний мир»<sup>9</sup>, и даже если мы пытаемся напоминать себе, что, когда мы обсуждаем «сознание», эти выражения представляют собой метафоры, и их нельзя понимать буквально, это все равно не спасает нас от застарелых привычек и рецидивов мышления с помощью нонсенов и логических (категориальных) ошибок, связанных, в частности, с не отрефлексированной буквализацией метафор нашего языка.

В рамках этого стиля мышления мы неизбежным образом оказываемся перед старым парадоксом декартовской традиции философии сознания — вопросом о взаимосвязи «сознания» и «тела», знаменитой «mind/body problem». Заметим в скобках, что, несмотря на то что этот вопрос имеет многовековую печальную славу неразрешимой философской проблемы, он и сегодня по-прежнему продолжает подспудно подпитывать бесконечные мировоззренческие дискуссии в философии и в когнитивных науках.

Как показывает Райл, такое понимание «сознания» оказалось встроено как в академические дискурсы (в философии, в психологии, в этике и др.), так и в обыденные языки современных западных обществ. Сам Райл уделяет мало внимания вопросу об историчности этого стиля мышления и о его происхождении<sup>10</sup>, но фактически он анализирует стиль мышления о феномене сознания, характерный для обществ его времени, первой половины и середины XX века. Впрочем, явным или неявным образом подобное понимание «сознания», очевидно, продолжает при-

---

8. Райл не забывает сделать реверанс в сторону изобретенного в первой половине XX века психоанализа. Согласно этим новым «данным», самому субъекту содержание его «внутреннего мира» доступно не полностью, но лишь в той или иной степени. Однако дополнения, привносимые психоанализом в «официальное учение» о субъекте, не меняют его базовой концептуальной логики (Райл, 1999: 24).

9. В философии языка XX века понятие «внешний мир» становится предметом отдельного технического анализа, начиная, по-видимому, со статьи Д.Э. Мура «Доказательство внешнего мира», впервые опубликованной в 1939 году (русский перевод см.: Мур, 1993). На аргументы Мура откликнется Норман Малкольм, один из учеников Витгенштейна, статьей «Мур и обыденный язык», опубликованной в 1942 году (Малкольм, 1993). Этой проблематике уделяет существенное внимание и сам Витгенштейн, в частности в «Философских исследованиях», над которыми он работал в течение многих лет, начиная с 1930-х годов (Витгенштейн, 1994а). С отсылки к аргументам Мура начинается одна из последних работ Витгенштейна «О достоверности» (Витгенштейн, 1994б).

10. Райл все же считает нужным упомянуть о генеалогии такого стиля мышления. Он посвящает этой теме небольшой параграф в конце главы о «мифе Декарта» (Райл, 1999: 32-33). Он делает в нем набросок своего рода критической истории «мифа Декарта» в традиции европейской мысли, от античных учений о бессмертии души до современных антропологических и психологических теорий. Несмотря на краткость, этот фрагмент очень интересен, и сам по себе может рассматриваться как резюме отдельной программы исследований, в чем-то перекликающейся с фукианским проектом критической генеалогии современных форм знания.



существовать на уровне концептуального бэкграунда и в современных обыденных языках и академических дискурсах.

Используя терминологию Райла, мы можем сказать, что «миф Декарта» лежит и в основе того, как понимается «сознание» в языке дюркгеймовской социальной теории. Как мы видели выше, Дюркгейм мыслит индивидуальное сознание в пространственных категориях. Он понимает его как некую область, у которой есть «внутри» и «вовне» — возможно, не отдавая себе отчет в том, что следует при этом предзаданному философской традицией словоупотреблению. Именно это, очевидно, означает тезис Дюркгейма о том, что «институты» — способы действовать, мыслить и чувствовать — существуют «вне индивидуальных сознаний». Как мы видели выше, в логике мышления Дюркгейма принадлежность институтов к «внешнему миру» является важнейшим их свойством — как элементов «объективной» реальности. Этим, по Дюркгейму, они отличаются от «субъективных» мыслей и чувств индивида, находящихся «внутри» его сознания.

Логика употребления у Дюркгейма понятий «действие» и «институт» — или, как сказал бы Л. Витгенштейн, «грамматика» этих понятий — напрямую связана с логикой употребления в его языке понятия «сознание». При этом совершенно очевидно, что Дюркгейм вообще не замечает здесь проблемы. Определяя «социальный факт», или «институт», через «действие», он оставляет само понятие действия без всякого внимания, не считая нужным хоть как-то его определить и операционализировать. Однако в дюркгеймовской «грамматике» понятия действия (если еще раз воспользоваться термином Витгенштейна) неявным образом уже заложено определенное, но самим Дюркгеймом, вероятно, не отрефлексированное представление о природе и механизме человеческого действия, согласующееся с «грамматикой» остальных базовых понятий дюркгеймовской социальной теории.

Это представление можно охарактеризовать как «менталистскую концепцию действия». Критический анализ ее мы находим во второй главе книги Райла «Понятие сознания», которая носит название «“Знание как” и “знание что”» (Райл, 1999: 34-69)<sup>11</sup>.

11. Так название главы передано в существующем русском переводе. Оригинальное название главы: “Knowing How and Knowing That”. Очевидно, более точным был бы перевод с запятой перед союзными словами «что» и «как»: «“Знание, что” и “знание, как”». В этой главе Райл проводит различие между двумя видами знания — теоретическим и практическим. Теоретическое знание — «знание, что» — это знание тех или иных фактов, теорий или правил поведения. Другими словами, это либо знание об истинности тех или иных высказываний, об их соответствии фактам, либо знание формальных или неформальных инструкций и предписаний по поводу правил поведения (например: «я знаю, что высота Эвереста — 8848 м»; «я знаю, что, увидев утром знакомого, необходимо с ним поздороваться»). Практическое знание — «знание, как» — это знание, как осуществлять практику, иными словами, умение действовать. Это различие позволяет Райлу показать ошибочность представлений о механизме человеческого действия, вытекающих из картезианской модели субъекта. Поведение является разумным действием («осмысленным» действием, «намеренным» действием — в противоположность чисто рефлекторным движениям и жестам), не потому, что ему предшествует или его сопровождает некая чисто теоретическая, ментальная, операция (например, теоретическое понимание правила, согласно которому я должен действовать в данной ситуации), а потому, что оно

## Менталистская концепция действия

Менталистская концепция человеческого действия неизбежным образом вытекает из «мифа Декарта» и опирается на то, что Райл назвал «интеллектуалистской легендой». Схематично ее можно резюмировать следующим образом.

Любое социальное действие есть, по определению, действие в соответствии с неким правилом. При этом действие считается «осмысленным» («сознательным», «разумным», «намеренным», «интенциональным») — то есть собственно оказывается действием, а не просто рефлекторным поведением — только в том случае, если «в сознании» субъекта ему предшествует чисто ментальная (интеллектуальная, когнитивная) операция по осознанию правила, т. е. некий «внутренний» процесс понимания и принятия для себя правила. Действующий субъект должен вначале обязательно предварительно **теоретически** понять правило и представить себе, что именно он должен делать, а уже затем как бы отдать самому себе команду действовать соответствующим образом — только в таком случае действие будет действительным следованием этому правилу. Он должен проинструктировать себя в отношении того, как действовать, прежде чем начать собственно практику:

«Повар должен пересказать самому себе рецепты, прежде чем приступить к приготовлению блюд; герой должен уловить внутренним слухом соответствующий моральный императив до того, как он бросится спасать тонущего человека; шахматист должен мысленно пробежать по всем релевантным для данной ситуации правилам и тактическим максимам прежде, чем он сможет сделать корректные и мастерские ходы. Делать что-либо, думая над тем, что делаешь, означает, согласно данной легенде, всегда делать две вещи. Во-первых, принимать во внимание определенные, соответствующие сути дела утверждения или предписания и, во-вторых, практически осуществлять то, что включают в себя эти утверждения и предписания. Это значит сначала делать теоретический, а затем практический ход» (Райл, 1999: 38).

Вынося за скобки неразрешимый вопрос о том, как «сознание» (нематериальное) может управлять телом (материальным), эта концепция предлагает универсальную схему человеческого действия. Согласно этой схеме, действие (если оно — действие, а не просто рефлекторное движение) всегда предполагает два параллельных (или последовательных) действия: одно ментальное (когнитивная операция «в сознании», заключающаяся в осознании и принятии правила или модели действия) и одно практическое (собственно действие во «внешнем» мире).

---

всегда осуществляется как-то, а именно — разумным образом, в соответствии с критериями осмысленного действия. Возможность действия обеспечивается наличием у субъекта «знания, как» (умения, мастерства), которое более фундаментально, чем «знание, что» — причем даже в отношении чисто «умственных операций». Райл поясняет: «Основная цель этой главы — показать, что существует множество видов деятельности, которые прямо демонстрируют свойства сознания, но при этом сами не являются ни интеллектуальными операциями, ни следствиями интеллектуальных операций. Разумная практика — не падчерица теории. Напротив, теоретизирование — одна из практик среди прочих, и само осуществляется разумно или глупо» (Ryle, 2009: 15-16).



Очевидно, именно такую концепцию действия предполагает понятийная аксиоматика дюркгеймовской социальной теории<sup>12</sup>. Согласно Дюркгейму, социальная реальность состоит из «институтов». Институт есть определенный «способ действовать» (мы можем сказать — «правило действия»), который существует «вне» сознаний индивидов и имеет независимое от индивидов «собственное существование». Но как может реальное правило действия существовать вне индивидуальных сознаний и независимо от них? И как возможно, чтобы правило, «внешнее» по отношению к «моему сознанию», направляло мое собственное действие? Где конкретно в реальности закреплено «правило» и каков предполагаемый этой схемой механизм «следования правилу»?<sup>13</sup>

Мыслить «способ действовать», или «правило», в таких категориях (как нечто «внешнее» по отношению к «сознанию» индивидов) — значит неизбежно опираться на менталистскую концепцию субъекта («миф Декарта») и соответствующую мифологическую концепцию действия.

Рассмотрим простейший пример института, существующего, очевидно, во всех современных обществах — институт приветствия. Говоря языком дюркгеймовской социальной теории, он представляет собой способ действовать (мы можем сказать — правило действия), которому я должен следовать, когда встречаю знакомого: «Встретив знакомого, поздоровайся». Согласно Дюркгейму, это правило находится где-то «вне» моего сознания. Оставляя в стороне логически неразрешимый вопрос о том, в каком именно «месте» за пределами моего сознания находится это правило, поставим вопрос так: каким образом это «внешнее» правило может направлять мое действие? В логике Дюркгейма, это возможно, очевидно, только благодаря тому, что мое сознание способно предварительно произвести

---

12. Заметим в скобках, что веберовское определение действия как поведения, с которым индивид связывает *субъективный* смысл, тоже, по-видимому, явно или неявно опирается на ту же менталистскую концепцию действия и декартовскую модель субъекта.

13. Анализ проблематики действия в терминах «правила» и «следования правилу» — одна из основных тем «Философских исследований» Л. Витгенштейна. Витгенштейн, в частности, показывает, что такое понимание правила есть логическое недоразумение. Например, в знаменитом §199 «Философских исследований», анализируя грамматику понятий «правило» и «следование правилу», Витгенштейн определяет «следование правилу» через понятие «институт» и подчеркивает важность практического знания (техники), которое должно иметься у акторов, для того чтобы институты (конкретные устойчивые способы «следования правилу», которые акторы воспроизводят в своих действиях) могли существовать:

«Является ли то, что мы называем “следованием правилу”, чем-то таким, что мог бы совершить лишь *один* человек, и только раз в жизни? — А это, конечно, замечание о *грамматике* выражения “следовать правилу”.

Невозможно, чтобы правилу следовал только один человек, и всего лишь однажды. Не может быть, чтобы лишь однажды делалось сообщение, давалось или понималось задание и т. д. Следовать правилу, делать сообщение, давать задание, играть партию в шахматы — все это *практики* (применения, институты).

Понимать предложение — значит понимать язык. Понимать язык — значит владеть некой техникой» (Витгенштейн, 1994: 162).

О значении разработанной Витгенштейном проблематики «следования правилу» для обновления языка современной социологии и других социальных наук см.: Волков, 1998.

чисто ментальную операцию понимания этого «внешнего правила» — за которой, в свою очередь, должна последовать операция понимания (или, возможно, воспоминания) того, как именно в данной культуре следуют этому правилу (например, машут приятелю рукой и кричат: «Привет, Вася!»). Только после этого мое сознание сможет отдать приказ моему телу, и я приступаю к практике, т. е. в качестве субъекта совершаю социальное действие «приветствие» (машу рукой и произвожу голосовыми связками восклицание «Привет, Вася!»).

Таким образом, имея в виду проделанный Райлом и Витгенштейном анализ базовых концептов нашего мышления, мы должны, очевидно, признать, что дюркгеймовское определение понятия «институт» (а вместе с ним и вся логика построения понятийного аппарата социальной теории Дюркгейма) в значительной степени основана на категориальных ошибках и связанных с ними мифологических представлениях о «сознании», «субъекте» и «действии», унаследованных Дюркгеймом из старой традиции философской метафизики.

### **От «интериоризации» к «субъективации»**

Благодаря критической концептуальной работе, проделанной авторами праксеологической традиции философии языка и действия, мы можем, очевидно, сделать еще один вывод — в отношении важного для классической социальной теории понятия «интериоризация». Ясно, что все более поздние попытки соединить дюркгеймовскую «объективистскую» социальную теорию с веберовской «понимающей» социологией и разрешить концептуальные трудности обеих традиций с помощью понятия интериоризации (к таким попыткам можно отнести, в частности, и теорию социального действия Парсонса, и концепцию социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана), в эпистемологическом отношении были изначально обречены на неуспех, поскольку опираются на те же самые проанализированные выше метафизические представления о сознании и действии, связанные с логическими ошибками концептуализации.

Понятие «интериоризация» вводится в социальную теорию с целью объяснить, как «общество», т. е. «внешнее» по отношению к сознанию субъекта (ценности, социальные структуры, институты, модели социального действия), становится «внутренним» (субъективными смыслами и мотивами действий) и как это «внешнее» уже «изнутри» сознания субъекта определяет возможные для него способы действовать. Ясно, что такая «грамматика» понятия интериоризации содержит в себе все ту же категориальную ошибку. В конечном итоге термин «интериоризация» в применении к сознанию и теории социального действия есть лишь метафора, которая не столько проясняет, сколько затемняет дело. Так, несложно представить себе, что может означать термин «интериоризация», когда речь идет о материальных и пространственных объектах. Например, можно счесть логически корректным — хотя и немного странным — высказывание типа: «Вчера вечером во время ужина я успешно интериоризировал хорошо прожаренный стейк с картошкой

фри в качестве гарнира». Но как логически корректно можно говорить об «интериоризации» социальных норм, ценностей или способов действовать? Как если бы «социальные нормы» и «способы действовать» были чем-то пространственным, обладающим протяженностью и находящимся где-то «вне» нашего сознания, подобно прожаренным стейкам, и как если бы само человеческое «сознание», подобно телу, тоже было чем-то пространственным, у которого есть область «внутри» и область «вовне».

А если мы все же принимаем, что речь здесь идет о метафорах (а не просто о неосознаваемых логических нонсенсах), то необходимо ставить вопрос о том, что эти метафоры на самом деле означают в реальных ситуациях конкретных культур и сообществ, которые мы изучаем. И адекватные реальности ответы на этот вопрос могут быть предложены только на языке социальной или политической теории с логически корректным понятийным аппаратом, который позволил бы описывать реальные феномены, маскируемые от нас метафорами — поскольку метафоры, среди прочего, нередко оказываются инструментами затемняющих реальность идеологий, скрывающих в том числе реальные отношения власти. Так, парсоновская теория социального действия, в которой понятие интериоризации играет важную роль, уже к 1960-м годам начинает восприниматься многими из нового поколения социальных теоретиков как слишком консервативная и идеологизированная.

С точки зрения теории практик в социальных науках уместнее было бы говорить не об «интериоризации», но о «практиках субъективации»<sup>14</sup>.

### **Понятие института в перспективе теории практик: Марсель Мосс и понятие «хабитус»**

Если верно, что дюркгеймовское определение института как внешнего по отношению к сознанию индивидов «способа действовать» (или как зафиксированного «вне сознания» правила действия) представляет собой нонсенс (категориальную

---

14. Я имею в виду прежде всего понятие, введенное Мишелем Фуко, и его исследования современных практик субъективации (практик, посредством которых индивиды в той или иной культуре формируют себя в качестве субъектов — субъектов собственных действий, чувств, мыслей, сексуальности и т. д.), а также исследования генеалогии практик субъективации в европейской истории — от практик пастырской власти (см., напр.: Фуко, 2021) до принудительных практик субъективации, характерных для дисциплинарных форм власти в современных обществах (см.: Фуко, 2018) или свободных «практик себя», позволяющих актерам в некоторых сообществах, начиная с классической Античности, свободно выстраивать себя как субъектов своих собственных действий (Фуко, 2004). Эти исследования потребовали от Фуко отказа от использования многих концептов старой классической социальной и политической теории — и, в частности, от использования понятия интериоризации — и выработки в значительной степени нового аналитического языка, позволяющего выявлять и анализировать, среди прочего, реальные отношения власти, задействованные в практиках субъективации, которые язык старой классической социальной теории, скорее, затушевывал. В этом отношении исследовательская работа Фуко вписывалась в общее движение обновления социальных наук, начавшееся с 1960-х годов, периода кризиса классической традиции социального знания, когда старые парадигмы социальной и политической теории перестают быть убедительными.

ошибку) и основывается на мифологическом представлении о механизме человеческого действия, то возможно ли корректно переопределить понятие института и спасти его в качестве эффективного инструмента анализа в социальных науках? Один из способов решения этой задачи был предложен в рамках методологической перспективы «теории практик», или прагматического поворота в социальных науках, где институт предлагается определять не через понятие правила, но через понятие практики, или «следования правилу» — в соответствии с витгенштейновским анализом грамматики понятий «правило» и «следование правилу» и райловским анализом понятий действия и «знания, как»<sup>15</sup>.

В определенном смысле возможность такой альтернативной концептуализации понятия «институт» была намечена уже в тот момент, когда это понятие было впервые введено в язык социальной теории. Как мы помним, Дюркгейм заимствует понятие «институт» у Марселя Мосса. Однако, как было сказано выше, он интерпретирует предложенное Моссом понятие в соответствии с собственным изначальным определением «социального факта» — как правила действия, зафиксированного «вне сознания» индивидов и принудительного по отношению к ним.

Мосс же определяет институт несколько иначе. Реальные институты, подчеркивает он, не могут быть сведены к внешним, фиксированным в виде статичной формулировки правилам-предписаниям:

«В реальности так понимаемые институты есть лишь абстракция. Настоящие институты живут, иными словами, беспрестанно меняются: правила действия и понимаются, и применяются неодинаково в разные периоды времени, притом что выражающие их формулы остаются в буквальном выражении теми же самыми. Таким образом, собственно социальные явления, объекты социологии, — это живые институты, такие, какими они формируются, функционируют и трансформируются в разные моменты времени» (Mauss, 1969: 151).

В этом простом определении заложен тезис, остающийся во многом новаторским и сегодня: институты не закреплены в формулах, призванных выражать правило, поскольку реальные правила действия не сводятся к этим формулам. Одна и та же формулировка правила может пониматься и применяться по-разному в разные эпохи и в разных культурах — т. е. служить формулировкой для разных реальных правил, или, говоря точнее, разных практик следования правилу. Реальное правило выражается в конкретной практике — т. е. в том, как люди в данной культуре устойчивым повторяющимся образом понимают формулировки правила и действуют — считая, что их способ действия соответствует этим формулировкам.

Иными словами, никакая формулировка правила сама по себе не говорит, как ее надо понимать и применять. В соответствии с «одной и той же» фиксированной формулировкой правила социальные акторы в двух разных культурах или в два

15. См.: Волков, Хархордин, 2008.

разных периода времени могут устойчивым образом действовать по-разному — в обоих случаях считая, что действуют в соответствии с данной формулой. «Живой институт» — это практика, устойчиво воспроизводимый тип действия, который акторы в данной культуре в данный момент исторического времени считают «следованием данному правилу».

Например, «одной и той же» Конституции или системе законов в «одной и той же» стране в разные моменты исторического времени могут «соответствовать» очень разные типы правоприменения. Реальным (живым) институтом права здесь будет не текст Конституции как набор формулировок, но совокупность практик, устойчиво повторяющихся действий людей, которые они в данный период времени считают соответствующими этим формулировкам (или допустимыми в соответствии с ними). «Одному и тому же» тексту Библии в разные эпохи и в разных сообществах могут считаться соответствующими очень разные практики — в зависимости от того, как верующие в этих сообществах понимают ее предписания и как они привыкли действовать, считая, что действуют в соответствии с ними.

Этот тезис Мосса перекликается с разработанным Витгенштейном пониманием «правила» как устойчивой практики. Витгенштейн, вероятно, первым в традиции философии языка в явной форме поставил вопрос о концептуальной связи «правила» и «его применения», или «действия в соответствии с правилом». Откуда социальный актор знает, какого типа действие диктует ему то или иное правило? Как мы достигаем согласия в том, что то или иное действие должно считаться соответствующим или не соответствующим правилу? Ни одно фиксированное правило — будь оно формальным или неформальным — само по себе не говорит нам, как мы должны его понимать и применять. Говоря на языке Витгенштейна, ни одно правило не содержит в себе правил собственного применения (у Райла мы находим тот же аргумент, получивший в философии действия название «регресс правил в бесконечность»). Действительное правило не может быть сведено к инструкциям или формулам — как формальным, так и неформальным, как писаным, так и неписаным. Действительное правило проявляется в практике, в реальных действиях людей, в том, как люди *употребляют* инструкции и формулы<sup>16</sup>.

Вернемся теперь к проблематичному тезису Дюркгейма о том, что институты «внешни» по отношению к индивидуальным сознаниям. Как с позиций «праксеологической» операционализации понятий «правило» и «институт» ответить на вопрос о том, где закреплены правила действия (институты) — если они не закреплены во «внешних по отношению к индивидуальным сознаниям» формулировках?

Для ответа на этот вопрос Мосс вводит в социальную теорию понятие, которое впоследствии превратится в одно из основных понятий прагматического поворота в социальных науках. Это понятие «хабитус», которое станет знаменитым благодаря Пьеру Бурдьё. Мосс вводит его в статье «Техники тела» (1934). У Мосса это

---

16. См. также примеч. 13.

понятие, впрочем, формулируется проще и оказывается удобнее в применении в эмпирических исследованиях, чем его последующая интерпретация у Бурдье.

«Таким образом, в течение многих лет у меня было такое представление о социальной природе *habitus*'а... Слово это передает суть дела несравненно лучше, чем «привычка» (*habitude*), «предрасположение» (греч. *exis*), «навык» (*acquis*) и «способность» (*faculté*) в истолковании Аристотеля (который был психологом). Оно обозначает не те метафизические привычки и таинственную «память», о которых говорится в солидных томах или в небольших и знаменитых диссертациях. Эти «привычки» варьируются не просто в зависимости от индивидов и их подражательных действий, но главным образом в зависимости от различий в обществах, воспитании, престиже, обычаях и модах. Необходимо видеть техники и деятельность коллективного практического разума там, где обычно видят лишь душу и ее способности к повторению» (Мосс, 2011: 307-308).

Хабитус есть совокупность техник тела (говоря точнее, Мосс имеет в виду психофизические техники), одновременно коллективных и индивидуальных, наличие которых у индивида позволяет ему быть «компетентным социальным актором» — т. е. действовать «правильно» в соответствующих социальных ситуациях повседневности. Для того чтобы жесты индивида были действиями в соответствии с правилом, актору не нужно совершать параллельно (или предварительно) чисто ментальные действия понимания или вспоминания некоего якобы закрепленного где-то «вовне сознания» правила, как требует того модель действия, предполагаемая описанными выше «мифом Декарта» и интеллектуалистской легендой. Он может совершать такие ментальные действия, а может не совершать — это не имеет отношения к квалификации его жестов как действий по правилу (и, как известно, нередки случаи, когда индивид может думать, что «понимает правило», но действовать неправильно). Компетентные члены любого данного сообщества «владеют техниками», а не просто «знают правила». Мы здороваемся друг с другом по утрам — и каждый раз делаем это «правильно», махая рукой или кивая головой, или говоря нужные слова — но не потому, что наше сознание обладает памятью, чтобы в нужный момент вспомнить нужное правило и отдать нужный приказ телу. Мы воспроизводим нужное действие в соответствующей ситуации не потому, что наше сознание предварительно вспоминает, *что* именно нужно делать в этой конкретной ситуации (и *как* именно это делается), но потому, что мы «умеем действовать» — или, как сказал бы Райл, обладаем «знанием, как». Реальные институты — если под ними понимать практики — закреплены не где-то «вне сознания» индивидов, но в навыках акторов, в психофизических техниках, сформированных каждым актором индивидуально и одновременно общих у членов данного сообщества — в тех техниках, наличие которых у актора, собственно, и означает на практике его принадлежность к сообществу. Благодаря разделяемым всеми компетентными членами сообщества практическим навыкам и оказывается возможным социальный порядок — акторы в соответствующих повторяющихся ситуациях устойчивым образом воспроизво-



дят нужные модели действия, практики, институты. «Необходимо видеть техники и деятельность коллективного практического разума там, где обычно видят лишь душу и ее способности к повторению», — подчеркивает Мосс.

Понятие хабитуса, вместе с другими концептуальными новшествами, окажется востребованным в социальных науках в тот же период кризиса старых языков и парадигм классической социальной теории, начинающегося с 1960-х, о котором шла речь выше, — и будет иметь счастливую судьбу. Но эта тема заслуживает отдельного рассмотрения.

## Литература

- Витгенштейн Л.* (1994а). Философские исследования // *Витгенштейн Л.* Философские работы. Часть 1 / Сост., вступ. статья, примеч. М. С. Козловой и Ю. А. Асеева. М.: Гнозис. С. 75-319.
- Витгенштейн Л.* (1994б). О достоверности // *Витгенштейн Л.* Философские работы. Часть 1 / Сост., вступ. статья, примеч. М. С. Козловой и Ю. А. Асеева. М.: Гнозис. С. 321-405.
- Волков В.* (1998). «Следование правилу» как социологическая проблема // Социологический журнал. 1998. № 3/4. С. 156-170.
- Волков В., Хархордин О.* (2008). Теория практик. СПб.: Европ. ун-т в СПб.
- Гофман А. Б.* (1995). Социология Эмиля Дюркгейма // *Дюркгейм Э.* Социология: ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., сост., послесл. и примеч. А. Б. Гофмана. М.: Канон. С. 307-344.
- Дюркгейм Э.* (1995а). Метод социологии // *Дюркгейм Э.* Социология: ее предмет метод, предназначение / Пер. с фр. А. Б. Гофмана. М.: Канон. С. 5-164.
- Дюркгейм Э.* (1995б). Социология и социальные науки // *Дюркгейм Э.* Социология: ее предмет метод, предназначение / Пер. с фр. А. Б. Гофмана. М.: Канон. С. 265-285.
- Мосс М.* (2011). Техники тела // *Мосс М.* Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / Сост., пер. с фр., предисловие, вступит, статья, коммент. А. Б. Гофмана. М.: КДУ. С. 304-325.
- Мур Д. Э.* (1993). Доказательство внешнего мира // Аналитическая философия. Избранные тексты / Сост., вступ. ст. и коммент. А. Ф. Грязнова. М.: Изд-во МГУ. С. 66-84.
- Малкольм Н.* (1993). Мур и обыденный язык // Аналитическая философия. Избранные тексты / Сост., вступ. ст. и коммент. А. Ф. Грязнова. М.: Изд-во МГУ. С. 84-99.
- Райл Г.* (1999). Понятие сознания / Пер. с англ., общ. ред. В. П. Филатова. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги.
- Фуко М.* (2004). Использование удовольствий (История сексуальности. Т. 2) / Пер. с фр. В. Каплуна. СПб.: Академический проект.
- Фуко М.* (2018). Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. с фр. В. Наумова. М.: Ad Marginem.



- Фуко М. (2021). История сексуальности 4. Признания плоти / Пер. с фр. С. Гашкова. М.: Ад Маргинем Пресс; Музей современного искусства «Гараж».
- Durkheim É. (2007). *Les règles de la méthode sociologique*. Paris: PUF, coll. «Quadrige Grands textes».
- Giddens A. (1993). *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies*. 2nd Edition. Cambridge: Polity Press.
- Fauconnet P., Mauss M. (1969). *Sociologie : objet et méthode // Mauss M. Oeuvres complètes en 3 tomes*. T. 3: Cohésion sociale et divisions de la sociologie / ed. V. Karodi. Paris: Les Editions de Minuit. P. 139-177.
- Ryle G. (2009). *The Concept of Mind*. London & New York: Routledge.

## Durkheim's myth: what Wittgenstein and Ryle might have to say about the validity of the basic concepts of the social sciences

*Viktor Kaploun*

PhD, Academic Supervisor, Res Publica Research Center; Associate Professor, Department of Sociology, Saint-Petersburg School of Social Sciences and Area Studies,  
Address: European University at St. Petersburg (EUSP),  
6/1A Gagarinskaya St., 191187 St. Petersburg, Russia  
E-mail: kaploun@eu.spb.ru

This paper uses some of the conceptual tools developed by the primary authors of the Oxford-Cambridge tradition in the philosophy of language (especially G. Ryle and L. Wittgenstein) to analyze the "grammar" (in the specific Wittgensteinian sense of the word) of some basic concepts of social sciences such as "reality", "action", "consciousness", etc., having mainly emerged in the language of E. Durkheim's tradition in social theory. The focus of the paper is the concept of "institution", which still occupies a privileged place in the language of contemporary social sciences. The paper highlights some conceptual problems, logical nonsenses, and philosophical myths embedded in the language of classical social theory coming from the philosophical language of the 19th century that, in turn, had inherited them from the centuries-old tradition of European metaphysics. Due to the specific metaphorical use of concepts, this language may undermine the clarification of reality and hide the real mechanisms of the functioning of institutions and real power relations in certain contexts.

The paper also examines the grammar of the concept of "habitus" as introduced by M. Mauss, and argues that some traditional concepts in social theory can be effectively re-interpreted in the methodological perspective of the pragmatic turn in the social sciences ("theory of practices").

Keywords; social theory, political theory, philosophy of language, theory of practices, G. Ryle, L. Wittgenstein, E. Durkheim, M. Mauss

### References

- Durkheim E. (1995b) *Sociologija i social'nye nauki* [Sociology and social sciences]. Durkheim E. *Sociologija: ee predmet, metod, prednaznachenie* [Sociology: its subject, method, purpose]. ed. A.B. Gofman, Moscow: Kanon, pp. 265-285.

- Durkheim E. (1995a) Metod sociologii [Method of sociology]. Durkheim E. *Sociologija: ee predmet, metod, prednaznachenie* [Sociology: its subject, method, purpose]. ed. A. B. Gofman, Moscow: Kanon, pp. 5–164.
- Durkheim E. (2007) *Les règles de la méthode sociologique*, Paris: PUF, coll. «Quadrige Grands textes».
- Fauconnet P. & Mauss M. (1969) Sociologie: objet et méthode. Mauss M. *Oeuvres complètes en 3 tomes. T. 3: Cohésion sociale et divisions de la sociologie*, ed. V. Karodi, Paris: Les Editions de Minuit, pp. 139–177.
- Foucault M. (2004) *Ispol'zovanie udovol'stvij* (Istorija seksual'nosti. T. 2) [The use of pleasure (History of sexuality. Vol. 2)]. transl. by V. Kaploun, Saint-Peterburg: Akademicheskij proekt.
- Foucault M. (2018) *Nadzirat' i nakazyvat'. Rozhdenie tjur'my* [Discipline and Punish: The Birth of the Prison]. transl. by V. Naumov, Moscow: Ad Marginem.
- Foucault M. (2021) *Istorija seksual'nosti 4. Priznanija ploti* [The History of Sexuality: 4: Confessions of the Flesh]. transl. by S. Gashkov, Moscow: Ad Marginem Press; Muzej sovremennogo iskusstva «Garazh».
- Giddens A. (1993) *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies*. 2nd edition, Cambridge: Polity Press.
- Gofman A. B. (1995) Sociologija Emilja Durkheima. Durkheim E. *Sociologija: ee predmet, metod, prednaznachenie* [Sociology: its subject, method, purpose]. ed. A. B. Gofman, Moscow: Kanon, pp. 307–344.
- Malcolm N. (1993) Moore i obydenyj jazyk [Moore and ordinary language]. *Analiticheskaja filosofija. Izbrannye teksty* [Analytical philosophy. Selected texts]. ed. A. F. Grjaznov, Moscow: Moscou State University Press, pp. 84–99.
- Mauss M. (2011) Tehniki tela [Techniques of the body]. Mauss M. *Obshhestva. Obmen. Lichnost'. Trudy po social'noj antropologii* [Societies. Exchange. Personality. Proceedings in Social Anthropology]. ed. A. B. Gofman, Moscow: KDU, pp. 304–325.
- Moore D. E. (1993) Dokazatel'stvo vneshnego mira [Proof of an External World]. *Analiticheskaja filosofija. Izbrannye teksty* [Analytical philosophy. Selected texts]. ed. A. F. Grjaznov, Moscow: Moscou State University Press, pp. 66–84.
- Ryle G. (1999) *Ponjatje soznaniya* [The Concept of Mind]. ed. V. P. Filatov, Moscow: Moscow: Idea-Press, House of Intellectual Books.
- Ryle G. (2009) *The Concept of Mind*, London & New York: Routledge.
- Volkov V. (1998) "Sledovanie pravilu" kak sociologicheskaja problema [The rule-following as a sociological problem. *Sociologicheskij zhurnal* [Journal of Sociology], no ¾, pp. 156–170.
- Wittgenstein L. (1994a) Filosofskie issledovanija [Philosophical Investigations]. Wittgenstein L. *Filosofskie raboty. Chast' 1*. [Philosophical Works. Part I. ed. M. S. Kozlova & Ju.A. Aseev, Moscow: Izd-vo «Gnozis», pp. 75–319.
- Wittgenstein L. (1994a) O dostovernosti [On Certainty]. Wittgenstein L. *Filosofskie raboty. Chast' 1*. [Philosophical Works. Part I. ed. M. S. Kozlova & Ju.A. Aseev, Moscow: Izd-vo «Gnozis», pp. 75–319.

# Writing Sociology: Writing History<sup>1</sup>

João Carlos Graça

Professor, ISEG, Lisbon Institute of Economics and Management, Lisbon University; Researcher of SOCIUS/CSG, the Research Centre on Economic Sociology and Sociology of Organizations.

Address: Rua do Quelhas, no 6, 1200-781 Lisbon, Portugal

E-mails: jogra1958@netcabo.pt and jgraca@iseg.ulisboa.pt

French historian and archaeologist Paul Veyne argued for what he saw as the fundamental lack of object in sociology in 1971. This academic field would definitely not be a science, but, at most, an auxiliary to historiography, itself devoid of any scientific condition since it refers to sublunary causalities, not allowing predictions, only “retrodictions”. Conversely, a set of “praxeologies” could be identified, the core of a future science of man, radically different from both sociology and history, including instead pure economics, operational research, and game theory. While history (and sociology) would inevitably be “Aristotelian”, that is, sublunary and imprecise, scientific disciplines could and should be predominantly “Platonic”, aiming at formal logical elegance.

Veyne was only partly right, since economics itself cannot be considered a science *stricto sensu*. Admittedly, sociology is going through a state of multilevel crisis, allowing us to confront this situation with important recent trends for the emergence of socio-historical grand narratives, sometimes officially called history, less often historical sociology, but all eminently trans-disciplinary. The aim of this research is to overcome the limitations associated with the biographical, elitist, and Eurocentric biases characteristic of traditional historiography. On the whole, the tendency of these studies is nomothetic, but the “laws” identified are at best, approximate. Therefore, they, like economics, are condemned to operate on a mere “Aristotelian” level, and thus, the great “novel of humanity” is bound to remain essentially indeterminate.

*Keywords:* history, sociology, economics, sublunary causality, praxeologies, grand narratives, Eurocentrism

## Introduction

In his 1971 book *Writing History*, the French historian and archeologist Paul Veyne highlighted what he perceived to be the fundamental lack of object in sociology. This discipline was deemed not to constitute a science, being at best an auxiliary field for historiography, itself with a non-scientific status, given that it deals with imprecise, “sublunary” causalities. Both were to be distinguished from a set of “praxeologies”, the core of some future science of man, including that which is referred to as pure economics. It is argued here that Veyne’s thesis (discussed in the first two sections) is only partially valid: while it is true that sociology represents a variety of historiography, the very field of economics may only very obliquely be considered as *stricto sensu* scientific. The state of crisis experienced by sociology is recognized and contrasted against the recent trend towards the emergence of major socio-historical narratives, fundamentally nomothetic in approach,

---

1. Acknowledgements: This work was supported by FCT, I. P., the Portuguese national funding agency for science, research and technology, under the Project UIDB/04521/2020.

sometimes officially labelled as historiography and, on occasions, as historical sociology within which is a perceivable purpose to correct the biographic, elitist, and Eurocentric biases of traditional historiography. This emerges especially in works such as *Why the West Rules (For Now)* by Ian Morris, and *How the West Came to Rule* by Alexander Anievas and Karem Nişancıoğlu, as discussed in the third and fourth sections of the article. The conclusion proposes that, irrespective of their merits, these projects of a trans-disciplinary nature nevertheless do not overcome the prominently “sublunary” nature of sociological-historiographic efforts, correspondingly remaining themselves shorn of any specifically scientific character.

### **Spinoza’s dream and Parsons’ truth-and-a-half**

Veyne refers explicitly to the argument in *The Rules of Sociological Method*: “for sociology to be possible, there must be social types, social species”, Durkheim reasoned. This would require the present to be more than a mere consequence of the past, having instead its own structure. “It must resemble an organism, rather than a kaleidoscope” (1984, 269). Fortunately, these conditions are met: we have the “social milieu”, defined by “volume” and “concentration”, exercising a preponderant influence on the “concomitant facts”. We can therefore think in terms of anatomy and types, assuming the existence of genuine causal relations with sociology thus legitimately aspiring to become “a sort of biology” of societies. “Three quarters of a century have passed since those beautifully lucid pages were written”, Veyne added sarcastically; and given the fact that sociology has never since discovered any social types or dominant orders of facts, we must recognize that the “nominalism of historians” is epistemologically well founded and conclude that the object of sociological analysis is still lacking. Nevertheless, he concluded in a cheerfully provocative manner, given that it does exist, “or at least sociologists exist, it is because the latter do, under that name, something other than sociology” (270).

More than a half-century after these inspired and witty pages were written, it seems time to review what they contain, both truth and falsehoods. According to Veyne, it is against the essentially unscientific nature of historians’ procedures that we can oppose a set of “praxeologies”, defined by their own internal coherence and appealing to a hypothetical-deductive methodology rather than by any actual capacity to predict facts, that can appropriately be designated as “sciences”. Obviously, in concrete terms and given that these circumstances and their logical components can multiply indefinitely, what really happens may diverge significantly from what models indicate. However, this apparent failure does not provide the grounds to contest their scientific validity. A certain number of academic practices do meet these criteria, and in doing so, they are more concerned with logical “formal elegance” than with any kind of correspondence to empirical reality. For example, while economic agents do not behave as *homines economici*, nothing decisive can be inferred from this. What really matters is that to the extent that they deviate from the prescriptions of the models, they will have to pay an inevitable price: according to Veyne, sooner or later “the event will avenge” (248) the theoretical model that was

disobeyed, whether this disobedience is an expression of the free will in human action or (which in the end is all the same) of the infinite multiplicity of effective human determinations.

Under the category of the human sciences, or “praxeologies”, Paul Veyne brings a small group of academic subjects together, including what is known as “pure economics”, defined as the comparative analysis of action in an environment of scarce resources and with a multiplicity of objectives, allowing for certain rates of reciprocal exchange, or the “opportunity-cost”. Regarding the preferences of agents, they should be left undefined. Economic science has never set out to research their origins or nature, postulating only the “transitivity of choices”: preferring A to B, and B to C, obviously implies preferring A to C. From this relatively small list of theoretical assumptions, Veyne conveniently excludes the famous “independence of utility functions”, which was much debated before and ever since. He does, however, include the principle of time-discount equivalent to interest, proposed by Bohm-Bawerk, to which any real economy, regardless of the nature of ownership, would have to be subject in order to subsequently avoid the aforementioned “vengeance” of events: this is a fact, he assures us, that even Soviet economists were forced to admit and incorporate into their calculations albeit belatedly and against their will (Ibid.).

It is not only “pure economics” that is considered worthy of scientific status. Chomskyan linguistics, for which the fundamental problem is not the practical relevance of any linguistics system, rather the fact that these systems do exist, endowed with logical coherence, emerges as a candidate meeting the conditions of “formal elegance” that allow for recognition according to the criteria set forth by Veyne. Hence his approving quotation from Chomsky: the true question does not reside in how we might build a grammar without appealing to meaning, but rather in how we might ever build a grammar at all (323, note). The same applies to the philosophical reflections that Kant designated as “practical reason”. Their purpose is to identify the logical quintessence of moral actions regardless of the actors’ intentions. It is not a matter of investigating the degree of adherence of a particular scheme to factual reality or of scrutinizing the motivations of the actors involved. Such matters may be highly interesting from the point of view of some History of Morals, but they have no relevance to knowledge the deep logos of morality. In fact, all this basically configures a distraction for a scientific activity that is perceived as being much closer to “Platonic formalism” than to “Aristotelian experience” (252).

In the practice of history on the contrary, we plunge into a very distinctly Aristotelian environment of “sublunary causality” (145), imprecise, allowing not prediction but only “retrodiction” (Ibid.) and correspondingly never able to find “what Wittgenstein calls the hard of the soft” (251), a precondition for any science. On the one hand, causality is not constant, since the same causes do not always produce the same effects. Moreover, “we do not succeed in passing from the quality to the essence” (Ibid.): we know how to recognize a behavior as religious, but we cannot define religion. In the group of “praxeologies”, Veyne includes operational research and game theory. In fact, the then-novel device of the “prisoner’s dilemma” seems to fascinate him with a particular intensity, even if he

understandably does not discuss the extensions and ramifications of this dilemma (ultimatum and dictator games, etc.). Although he praises Kenneth Arrow in his reference, he does not analyze his “impossibility theorem”. Furthermore, he obviously ignores the group of considerations associated with “network theory”, especially the notion of small-world networks which have become famous, and with such vast fields of application, allegedly transversal, to the generality of the “human sciences” (Mendes, 2004; Gintis, 2006).

At a completely different level from this “science of man” cluster which by then had only the status of a project, Veyne recognizes the practices of historians as dealing with an “empirical” reality, whether more prone to generalization or individualization, but always escaping the abyss of *individuum est ineffabile* to the extent that they consider each concrete case as the result of a series of determinations, referable to an analytical scheme endowed with a certain general (albeit weak) validity. In other words, the activity of the historian would focus on the “specific”, that is, the singular variation within a more generic pattern, not exactly the individual. However, this specific occurrence, this “event”, can be mentally constructed with very different levels of generality, ranging from the history of the Battle of Marathon at one extreme to the history of War at the other, while always assuming that “there is no atomic fact” (Veyne, 1987: 34). This may all be the subject of history, inasmuch it is assumed to be the result of “sublunary” causality: with a fundamental weakness in the determinations stemming from various logical orders of facts, their crossing and mixing establishing the effective causal nexuses, clearly precarious, if not absent.

All this is capable of providing the central point of interest and analysis, sometimes more événementiel, sometimes less, depending on the degree to which the generality increases, and the statistical regularities end up imposing their weight. Nevertheless, even in this second case, we should not think that we have left the closed sea of historiography to enter a pretended ocean of a science of man, whether labelled sociology or otherwise. In terms of scientific dignity, Veyne does not consider the peculiarity of a certain perspective or point of view worthy of recognition, as for example, the supposed determination of the “ultimate goals” of human action by culture in accordance with the original project of Parsons (1931; 1932; 1934; 1935a; 1935b; Graça, 2008; 2012), or according to Ralf Dahrendorf’s 1973 model of the *homo sociologicus*, the human being who performs roles and interacts with others as if the whole world were a stage and everyone merely an actor, even though within scripts with highly variable levels of compulsion. None of this provides an analytical justification for any scientific claim. Most decidedly, according to Veyne, neither sociology nor history constitute sciences:

“Parsons spoke truly, more than he perhaps thought, when he wrote that history is “an empirical, synthetic science which needs to mobilize all the theoretical knowledge necessary to explain the historical processes”. To put it more precisely, the knowledge that is necessary — laws in detail — in the measure that they complete the understanding of the plot and are inserted in sublunary causality. Spinoza’s dream of a complete determination of history is only a dream, science will never be able to explain the novel of humanity, taking it in whole chapters or only in para-

graphs. All it can do is to explain a few isolated words of it, always the same ones, that you come across on many a page of text" (1984, 253-4).

Moreover, even economic analysis, inasmuch as it deviates from its "pure" model and becomes "institutionalist" to some extent, whether in the path of Keynes, Veblen, or any other researcher with an empirical bent, is immediately removed from the scientific pedestal precisely to the extent that it tends to become "sociological". Many studies on the consumption function, says Veyne, are completely outside of the realm of economics just as is the case with technological studies of the production function. While economic sociology informs the historian that there are consumers who purchase products precisely because they are more expensive, thereby showing off their wealth, and that this is known as "conspicuous consumption", the historian will simply shrug his shoulders in impatience and weariness since conspicuous consumption can take many different forms. Thus, he must deal with "who consumes conspicuously, why, and whom to bluff [...]. The sociological economist being content to put names on truisms, all the work remaining to be done is for the historian" (258).

Under the banner of sociology, Veyne affirms, there has been the production of either philosophy (especially political philosophy) or contemporary history, particularly non-*événementiel* contemporary history, or, finally, a genre of literature resembling the works of the *moralistes* in the seventeenth-eighteenth centuries, that is, a genre whose value resides primarily in its inherently aesthetic qualities (271). It is true that these activities do not mutually recognize each other and do not perceive themselves as such, although it would be advantageous and clarifying if they did. History, for example, is generally defined on a very narrow basis: hence the fact that "France in the seventeenth century" is usually presented as history, whereas "The city through the ages", on the other hand, is labeled precisely as... sociology (264). Nevertheless, the different academic niches do not mean different criteria for the definition of facts: we are essentially dealing with the same type of activity, and the real academic misfortune here is that while "history doesn't do enough", its vision abusively limited by units of time and space, "sociology does too much" and, not recognizing itself as history, "it believes itself obliged to do science" (Ibid.).

By the same logic, it would be wrong to claim that a study on Emperor Friedrich Wilhelm is really history or that he deserves to be included in it, while his tailor enters the scene only indirectly through his connection to the star of the show, or is included in the general category of tailors, which would then make the study less "individualizing" and more "generalizing"... or, in other words, more sociological than historiographic. Even if one recognizes that the academic tradition, for easily understandable reasons, has tended to incorporate a "value-relation" that has induced the far-easier acceptance of Friedrich Wilhelm as an object of interest than his tailor, there is nothing to prevent (except perhaps for some prejudice of Nietzschean genealogy) that the situation henceforth undergoes radical change with "Tailor X" becoming the main actor in the historiographic script (48-53). The same goes for the American Indians and the Bantu tribes, who, in



Max Weber's explicit opinion, were supposedly less worthy of study than the Athenians. But this is only due to a certain set of circumstances of the historiographic practice that Weber had abusively elevated to the status of tragic choice: "One does not prefer the Athenians to the Indians in the name of certain established values; it is the fact that one prefers them that makes them into values; a tragic gesture of unjustifiable selection would serve as a basis for every possible vision of history" (51). However, this is all abusive and rather illogical: "Weber, who was fundamentally a follower of Nietzsche [...] thus raises to the level of tragedy a state of historiography that was to reveal itself as very temporary" (Ibid.). Symmetrically, within the false continuity that is sociology, the real question is not to ask what the sociologists Durkheim and Weber have in common, "for they have nothing in common, but why the latter took the name of sociologist" (276), which is explained by his above-mentioned considerations on value-relations, and the corresponding abusive limitations of the historian's work.

Nevertheless, some will retort, does not this opposite academic trajectory (the attention paid to small "repetitive", general events) correspond precisely to sociology and its academic triumph? Not so, according to Veyne. In this other case, we are dealing with the practice of history, perhaps even excellent history, but certainly not a supposedly scientific sociology. In this regard, it might be assumed that Veyne would be able to agree in substance with Fernand Braudel and his proclamation of the fundamental identity of the work of the historian and the sociologist (1962, 88), or when he states that in the "long duration" these two subjects fields tend to merge (93), or that the defining limits of these disciplines are the same, so that the two apparently tend to fuse with each other (91). This fusion, Braudel added, would probably only be resisted if sociologists insisted on preventing historians from being historians of the present. However, this (merely corporate) reaction was something to be avoided (91). Veyne, however, is much more emphatic; and clearly far less diplomatic than Braudel. The alleged novelty in the academic panorama, sociology, is, in his view, mortally wounded from the outset by pointlessness. It may be history under a different label; it may be philosophy or literature; it may even be highly meritorious, but it is definitely not science. However, some may reply, is this field not capable of identifying the regularities and the patterns within the infinity of historical narratives? Does Veyne completely ignore "community" and "society", "status" and "role", "values" and "attitudes", "manifest function" and "latent function", "universalism" and "particularism", "functional requisites" and "needs-dispositions"? Does he really want to cast all this aside in denying these categories any heuristic value?

Here, we touch upon a crucial point. According to Veyne, as we have said, it is primarily history that has been written under the label of sociology. Indeed, whether the individual scholar is aware of it or not, the activities of a historian have an absolute need for a topic qua a group of means to define the material as well as to assist in its memorization. This has been precisely the focus of sociology's activities. However, any topic, whatever it might be, is important above all as an auxiliary device: the most important part of the historian's work is not the choice of topic, but rather the density and richness of the way in which he conceptually captures specific realities. Sociologists, in turn,

trained in the subtleties of their analytical framework, often try to hammer reality into categories, discovering or inventing “communities” and “societies” at every turn, or reducing realities to combinations of these “ideal-types”:  $x$  percent of “community”, so to speak,  $(100 - x)$  percent of “society”, no more and no less. Hence, the real value of most official sociological works often lies primarily in those facets that their authors rank as secondary, sometimes in the openly artistic features, while the aspects that are officially considered to be of greatest importance turn out to be nothing more than schemes serving to simplify and “synthetize”. In fact, they are unable to truly explain and frequently slide into endless logomachies and self-crippling obsessions: sociologists often presume to find the “community” and its “values” wherever they look, just as the ancient Ionian physicists managed to identify “fire”, “earth”, etc. in everything they looked at (Veyne, 1984; 239, 279). Similarly, Parsons wants us “to consider society as Kant considered nature: as a work of art executed according to goals; he does not add, like Kant, that that finalism will never teach us anything about nature or society” (274).

### **Rules, avenging events, evasions (and rationalizations)**

We must recognize a kernel of truth in the comments via which Veyne, in his own terms, disputes in sociology “the flag and not the goods” (271). Nevertheless, some facets of his reasoning seem questionable. First, is economics really a science worthy of the name? In that case, and beyond the mentioned aspects of its “formal elegance” and “praxeology”, should it not be predictive? In reality, though, the arguments stemming from economic science tend to configure narratives that constantly shift from situations of a simple duality (either we obey the rule or the famous avenging event is triggered, with the corresponding cost of non-compliance), to other situations where human history consists of moving on from a rigorous dualism to a constant triangulation, an endless “either-or-or...”. In other words, there are repeated cases where the rule is not obeyed while the agents nevertheless manage to avoid suffering the “vengeance of the event”, because in fact, it is possible to indefinitely postpone, escape and/or transfer the costs of non-compliance to others. And if, in fact, this game of transfers is susceptible to maintenance and the payment of these costs is postponed sine die, where does this leave the Veynean notion of a true “science of man” that is conceptually distinct from the level on which history operates? Is it not the case that all causality hereby becomes merely sublunary, and we are thus left with the pronouncement of mere retrodictions?

Let us consider some examples. According to “pure economics”, the productivity of factors and the utility of goods should decline marginally according to the quantities used... except, of course, for those cases in which they clearly do not decline. Here, in turn, we have the “economies of agglomeration” stepping in to explain economic growth, according to which the gap between rich societies and poor societies will tend to grow spontaneously, contrary to what is suggested by the logic of the decline of marginal productivities. Alternatively, we verify that international trade takes place primarily among

countries with similar production structures, but not only for vague “institutional” or “sublunary” reasons. On the contrary, the more sophisticated explanatory models clarify, by means of logical, strictly scientific coherence, referring to the demons hidden in the various possible details, such as the indeterminacy of the order, after which marginal productivity really declines. In fact, in such cases, whenever we baptize the apparently uncomfortable aspects with the name of an academic celebrity and label them as “paradoxes”, the room for ill-feeling tends to diminish, and each situation returns to an apparent normality: hence the “Lucas paradox” of course, but also the “Leontief paradox”, the “Kaldor paradox”, and so forth (Graça, 2012: 22-23).

Of course, we can follow a similar line of questioning if, for example, the famous independence of utility-functions is the focus of the discussion. Moreover, even the notion of interest that Veyne borrows from the so-called “Austrian school” of economics is not as rigorously insurmountable as he suggests. However, these issues are not our main concern. The crucial point is that Veyne’s fascination with the “formal elegance” of mathematical models (economic and others), which is visibly conveyed, for example, in his encomiastic references to the works of Nicolas Bourbaki (1984: 315, note), contains the clear risk of sliding off into a game of subtleties, in which (just like with the logomachies mentioned with regard to functionalist sociologists) the purpose is simply to find out in facts what have already been decided, and nothing else; and certainly no refutation. Given that subsequent “adjustments” are infinitely possible (marginal productivity does decline but only from a certain point on, utility-functions are indeed independent to the extent and only to the extent that they can be defined as such, etc.), what remains of the falsifiable character of the theories? What enables the maintenance of the “scientific” arrogance?

The actual history of “pure economics” over the last century demonstrates, as is widely known, an unstoppable trend towards mathematics essentially based on the justification, as suggested by Veyne and many others, that this is somehow advantageous given its supposed capacity to proceed with deductions and reach conclusions that would otherwise be unattainable through common language (in other words, to proceed with “synthetic a priori judgements”, in Kant’s terminology). However, in this regard, other commentators have also highlighted concerns about the merely complementary character that these procedures should acquire given the risks of “autistic” involutions imported through this recourse to mathematics (Marshall, 1964: XII; Mirowski, 1989). Still others, and probably with some reason, wonder about the effects of this inclination towards the cryptic and to apparent sophistication, often associated with fundamentally failed structures of argument, repetitive, and addicted to simplicity: might the Nietzschean maxim be true that those who navigate shallow waters tend to make ripples in order to convey the false impression of depth?

However, we must add a safeguard. While it may be indeed argued with some justification that economists tend to use mathematics in the same way that other professional groups cultivate their own exclusive jargon as “barriers to entry” that guarantee the production and maintenance of the aura surrounding the respective professions,

this still does not serve to offset the substance of Veayne's criticism of the effective practices of sociologists. Instead, perhaps we should take the completely opposite route, extending thereby to other academic fields this suggestion of reduction to the "sublunary" (and thus to history and the "Aristotelian" level) that he makes with respect to sociology. Consider, for example, Parsons' efforts to carve out a distinct academic niche for sociology. Beginning with his formulations in the 1930s which sought to establish a particular distinction from economics (research on the "ultimate goals" of action versus the study of the rational and peaceful uses of scarce resources), to the meta-theoretical aims characteristic of the 1950s and 1960s, when the concern about academic boundaries referred primarily to anthropology (Graça, 2008), it seems relatively reasonable to accept the fundamental validity of Veayne's criticisms of the tendency toward logomachies. Yet, what can we say about the campaigns, diametrically opposed in many respects, for the application to sociology of mental frameworks imported from "pure economics" (that is, the so-called "rational choice theory")? Is it not also true that here, too, we can easily find the materials for the construction of a libel based on argumentative circularity and/or the hammering of the facts in order to make them fit the explanatory frameworks?

Moreover, even admitting that sociology has primarily produced history under a different label, it would seem to make sense to apply to its existence as an academically recognized field a set of mental dispositions corresponding to what economists call "opportunity cost", what historians try to capture with the notion of "counterfactual", and what sociologists think they recognize with such terms as "functional equivalent" and "latent function". Briefly: should sociology not exist, what would the academic panorama look like, or what would have emerged in its place? If there are advantages in contrasting that which really exists with its absence, how can we evaluate the case of sociology? In its absence, this niche would probably be filled, but by what? Perhaps by a history less *événementiel*, which would also be more elastic regarding "value-relations"? An economics more inclined to institutionalism? A psychology more inclined to the social? An anthropology more open to modernity? A geography containing a more developed "human" component? A more eclectic form of demography?

One aspect seems reasonably clear: the "postmodern" inclination to reverse the process of specialization-differentiation, the relentless tendency toward "de-differentiation" and "undisciplinarity" typical of the last half-a-century (Anderson 1998), would have had the same effect. Correspondingly, discussions about the boundaries of disciplines would have continued, with as much uncertainty about the outcome as they do now. However, the effects of this "life without sociology" on its neighboring academic fields seem more debatable: would economics, for example, also tend to become more, or instead less open to institutionalism in its absence? Expressing this in another way, would there be an occupation of the same conceptual niche under a different label, or would the niche itself tend to disappear altogether? In such a scenario, would history tend to be less *événementiel* and biographical, or would these traditional traits simply be reinforced by sociology's departure from the academic landscape? Similarly, would psychology become

more social, or instead move closer to neurology and biochemistry? And analogously for all the other academic fields. In any case, it would certainly remain valid to apply to all these studies the derisory comments that Veyne reserves for sociology. According to the French historian,

“One sign does not deceive: to study sociology is not to study a body of doctrine, as one studies chemistry or economics; it is to study the successive doctrines of sociology, the placita of present and past sociologists. For there are reigning doctrines, national schools, styles of a period, great theories fallen into disuse, others that are sociology itself so long as the “big boss” who is its author controls access to sociological careers — but there is no cumulative process of knowledge” (1984: 277-278).

### **The patterns of history and the future**

Actually, the history of sociology suggests in various ways that, rather than being a disciplinary field in crisis or linked in an umbilical way to the idea-motive of crisis, it actually represents a discipline that is itself the crisis, embodying at once crisis and the idea of crisis. However, the reasons for this are far more difficult to identify. They stem from a lack of awareness of the political assumptions implicit in the work of sociologists (Gouldner, 1970), passing through a consistent fixation on its own tradition, accompanied by the discrepancies between the discipline’s excessive ambition and its theoretical incapacities preventing it from being capable of identifying any law (Lopreato, Crippen, 2017), an excessive attachment to outdated methodological obsessions, that, over time, lead it to be increasingly overtaken in practice by various research studies that are productive on their own terms and dispense with any specifically supplementary sociological theorizing (Savage, Burrows, 2007) and, finally, to the very straitjacket that the imperative of expressing ideas in articles so well illustrates: “The article of 8,000 words is a good way of clarifying questions and solidifying small improvements but remains very limited when the purpose is to try and make some kind of declaration about the nature of society” (Graça, Marques, 2012: 22-23).

However, irrespective of such inquiries, it is undeniable that the sociological landscape of the last few decades has produced “empirical research” above all, and micro-theorizing as the age of the “grand theory” seems to have been left behind, possibly except for those academic celebrities able to generate momentary fashions, soon falling into oblivion upon the disappearance of the respective figures and those closest to their causes. Does this provide the reasons to concur with the pitiless diagnostic of Veyne above? Partially, perhaps. However, it should be noted from the outset that, in contrast to this author, for whom the absence of any true cumulative knowledge represents the logical crux of sociology’s poverty, from Max Weber’s perspective the opposite holds true: it is precisely cumulative progress (knowledge being perceived as tending towards the infinite) that rapidly annihilates the relevance of any academic research, rendering it impossible to die old and “fulfilled” by life, but only to be “tired” of it, as the German soci-

ologist so painfully diagnosed with regard to research activities, invoking Tolstoy and the Bible (Weber, 2004: 13). It is therefore exactly the scientific nature (not its absence) and the cumulative character of knowledge that would render sociological work worthy of a rapid fall into oblivion.

Whatever the case may be, it is equally undeniable that a set of problems and diverse theoretical stances have emerged in the field of historiography, which strongly suggest the need and the scope for the possible return of the “grand theory”. Economic history has proven to be a highly fertile terrain for this, through the work of Angus Maddison, Paul Bairoch, and the authors belonging to the so-called “California School”, especially Kenneth Pomeranz with his notion of the “Great Divergence”, as well as the series of correlate debates associated with the magna quaestio of eurocentrism and its repercussions. We can also note how ironic it is that historiography, originally biographical in approach, has, in the course of a long academic migration, come to claim this mega-theoretical and eminently nomothetic vocation,<sup>2</sup> just as sociology, on the contrary, has become increasingly oriented towards the minor registering of an ideographic inclination.

Within this other “mega-theorizing” approach, the exact opposite of Veyne’s radical skepticism is well expressed in a much more recent work that asserts the contrary, and thus the scope for setting down clear laws about the trajectories of human societies. I refer here to the boldly titled book *Why the West rules (For now)* and bearing the no less sweeping subtitle *The patterns of history and what they reveal about the future*, published about a decade ago by the British historian and archaeologist, Ian Morris. The book became a bestseller with its purpose to delineate a multi-millennial contest between a civilizational entity called the “West” (which slowly migrates from the Fertile Crescent to southeastern Europe, northwestern Europe, the British Isles, and then to North America) and another entity generically called the “East”, but in fact representing China. Among other aspects, Morris advocates for an essential equality in the capacities of all large human groups. This is due to biology decisively conditioning all societies in essentially the same way. After considering the biological questions, there is the need for the historian to allow the sociologist to appear on the scene for a moment, Morris affirms, deploying this term in a declarative way as an abbreviated designation for all the social sciences. He adds that his purpose is to refer to “the branches that generalize about how all societies function rather than those that focus on differences” (2011: 27, note). A nomothetic inclination, therefore, far more than an ideographic one, which is easily understandable in a work that openly sets out to detect patterns.

The sociologist, clarifies Morris, informs us about what causes social changes, as well as about what these changes subsequently produce. Is there an identifiable ‘catalyst’ for such changes that enables the crucial separation of the human condition from that of chim-

---

2. As soon as in 1971, in his review of Veyne’s book, and amidst various other relatively minor issues, Raymond Aron ends up raising what is arguably the central question. For Veyne, “history has no big lines” (“L’histoire n’a pas de grandes lignes”, Aron, 1971: 1353). But this idea, according to the reviewer, is contradictory to what Veyne himself often assumes, and besides, also to the sound common sense: obviously, history cannot be a mere kaleidoscope. Aron has arguably gone for the jugular of the problem here.



panzees, despite the unquestionable intelligence of these and their renowned tool-making capacity? Morris believes that there is, basically following the science-fiction writer Robert Heinlein's suggestion that "progress is made by lazy men looking for easier ways to do things". Morris adds/corrects that this "Heinlein Theorem" is only partially true, because, in fact, "lazy women are just as important as the lazy men, sloth is not the only mother of invention, and "progress" is often a rather upbeat word for what happens" (27-28). However, he then details and confesses, reduced to its kernel, this conception of social change may well be, when all is said and done, the very best that we are ever going to find. The simultaneously expanded and smoothed version would therefore correspond to the "Morris Theorem" that states "Change is caused by lazy, greedy, frightened people looking for easier, more profitable, and safer ways to do things. And they rarely know what they're doing". Morris adds that "History teaches us that when the pressure is on, change takes off" (28).

Consequently, here we encounter the trend, already mentioned above, for the systematic triangulation of problems by avoiding and overcoming dichotomies where both terms are unacceptable. This side-stepping, this permanent evasion, this disobedience to the norm which can at the same time avoid the vengeful event since we become capable of reshaping the previous basic formulation of problems (hence inducing "structural" changes, to use the economists' jargon), thus progress, if such a notion still makes any sense when we have learned to thoroughly distrust any teleology or any meaning/purpose of/in history and its respective changes. Its invariable origins are conflict, tension, and difficulties, but also the correlative goal to overcome them. Polemos is thereby ascertained, in Morris' mental framework, as the true "father of all things", but this derives from the clash between the harshness of the environment and the cunning of that simultaneously lazy and disobedient primate that is the human being. This game of skill and ingenuity between the harsh environment, on the one hand, and laziness, greed, and fear on the other hand, induces a system of displacements or successive triangulations in the effort to disobey while at the same time avoiding paying the cost of disobedience. This, in essence, what is called "progress" or, at least, "social change".

As for the distribution of the credit for such inventiveness throughout the social corpus, Morris takes an overwhelmingly egalitarian point of view. Large masses of human beings under similar circumstances systematically tend to arrive at levels of creativity and achievement of an equally similar nature, whether in comparing different societies or in considering the ambit of each one. Morris thus aligns himself with a tendency towards geographic determinism that can also be seen, for example, in the work of Jared Diamond to whom he often appeals while simultaneously emphasizing the opposite causal nexuses (human societies significantly retroacting in their geographic environments). Stripped of its traditional biographic inclination, history, through the "law of great numbers", thus veers unstoppably towards sociology; but this same movement irresistibly induces both to enter the (now apparently wider) orbit of geography. The humorist Edmund Bentley had jokingly pointed out in 1905 that, if the art of biography was "about chaps", geography would in contrast be "about maps". Morris wholeheartedly agrees, but the traditional British "chaps", in the sense of "upper-class men" would, in the meantime, have found



their group open to countless “honorary chaps”, particularly “women, lower-class men, and children” (29), thereby producing a far more interesting choral polyphony. Having said that, Morris ventures a theoretic great leap forwards: “once we recognize that chaps (in large groups and in the newer, broader sense of the word) are all much the same, I will argue, all that is left is maps” (Ibid.).

The so-called “subjective factor”, or the “role of the individual” in history, he adds and specifies, is not eliminated from the conceptual framework. Morris basically contrasts the ideal-type of the intelligent leader with what he calls the “bungling idiots” who, in truth, proliferate to a far greater extent in universal history. These bungling idiots, he notes, may just as well be societal leaders as ordinary, anonymous people. Nevertheless, even when distinguishing great men from idiots, there are profound reasons for doubting the decisive importance of whether it is ones or the other that make the most crucial decisions for society. Morris tends, resolutely, towards the weighting of the large number, the statistical and the anonymous: “great men/women and bungling idiots have never played as big a part in shaping history as they have believed they did” (616). The scant value of individual factors is complemented by the low importance attributed to cultural differences in the face of the overwhelming weight of geography: “latitudes, not attitudes”, as he also wrote (Morris cit. in Duchesne, 2011: 11). This downplaying of cultural differences, this lack of sensitivity to cultural characteristics, especially western cultural characteristics, provoked disappointment and shock in his reviewer Ricardo Duchesne, who confessed that he was deeply offended by this merely “anthropological” approach to western culture. From the anthropological point of view, Morris writes, the history of the West appears as a mere example of more general patterns, and devoid of any uniqueness or exceptionality;

“The key word here is “anthropological”. Anthropology studies the repeatable behaviours of large numbers of faceless people, and, as such, it is a discipline which has been effectively set against the elite culture of the West. From the perspective of what thousands and millions of humans do routinely to survive — the energy they consume, the tools they have, the fertility of the land — the achievements of singular individuals seem trivial. “Humans are all much the same wherever we find them; and, because of this, human societies have all followed much the same sequence of cultural development. There is nothing special about the West”” (Duchesne, 2011: 10).

Morris then proceeds to draft a list of analytical patterns of supposedly universal validity that allow for the comparison and measurement of highly different civilizations. In practice, what he adds to the tradition of geographical determinism is above all a conceptual grid for measuring progress, an “index of social development” (4), constructed by applying a group of criteria corresponding to the dimensions of energy capture, organization/urbanization, information and war making capacities (Morris, 2011: 135-71, 623-45; 2013: 1-6). Based on this “index of social development” he contrasts the millennia of development of the West and China, indicating the most important turning points in their respective trajectories. We can repeatedly verify the existence of periods of civilizational advances alongside periods of

stagnation and retreat, although there remains an extremely long-term trend for the civilizational level of each society to be higher than those of its predecessors.

Along their historical paths, according to Morris (223-226), these civilizations were repeatedly threatened by what he calls the five “Horsemen of the Apocalypse”, climate change, famine, state failure, unstoppable migration, and disease. The ability or inability to deal with these problems is a crucial factor in determining whether a society is on its way to a higher level of civilization or, on the contrary, heading towards a disastrous period of collapse and “dark ages”. Finally, we would like to add that Morris, for whom these crucial questions regularly interfere with the direction of the march of humanity, including contemporary societies, also concludes with the inevitable and imminent ending of Western global hegemony. Meanwhile, he extends his opinion much further regarding the crucial emergence of an already “post-human” reality (appealing to the notion of androids, a human-machine hybrid) as a necessary condition for the very survival of the species, both in terms of the risks of warlike conflicts and related state-failures, and in terms of unsustainable levels of resource consumption, especially energy. Only the decisive turn to the “post-human” might, according to Morris’ view, save humanity (582-622).

### **Europe and the privileges of backwardness**

Similar efforts, with considerable attention given to non-European realities coupled with a careful consideration of the importance of geographic or environmental factors in the evolution of societies, permeate the works of various other authors. In addition to the already-mentioned Jared Diamond, on whose work Morris partly relies, James Blaut, John M. Hobson, Sugata Bose, Giovanni Arrighi, Phillip Hoffman, and, finally, Alexander Anievas and Karem Nişancıoğlu should be mentioned here. Diamond (1999, 2005) has brought into the foreground the importance of geographic, epidemiological and military factors, often neglected by socio-historical studies, as well as the real scope for the occurrence of mass civilizational refluxes, including entire societal collapses. According to Blaut (2000), the fundamental reason for European hegemony and the advantage it gained over China resided in Europe’s relative proximity to the Americas, and its partly fortuitous encounter with this vast landmass which freed Europeans from the typical Malthusian limits to growth, providing them with almost unbounded territories and resources, the use of which was later optimized by recourse to the mass enslavement of Africans. These turn out to be the fundamental leverages of European supremacy, definitely not any fantastic “superiority” or “exceptionality” whether cultural, political, or otherwise.

Hobson (2004), in turn, set out the issue of Europe’s debt (cultural, scientific, economic, etc.) to Asia, especially China, as his central research theme. Meanwhile, Bose (2006) focused his research attention on the close dependence of Britain’s success from both its military domain of India and the correlative crude economic exploitation of this subcontinent. Arrighi (2009), on the other hand, speculates on the possible emergence in contemporary China of a social model capable of blocking the “financializing” dimension that has characterized the various previous cycles of capitalist hegemony, simultane-

ously retaining in official political powers the effective control over events, and releasing (more than any capitalist society has achieved to date) the creative economic energies that correspond to market dispositions. Phillip Hoffman (2015) asks “why did Europe conquer the world” before providing an answer based on military aspects. In this case, fundamental importance is attributed to the idea of a “tournament” that encouraged various potential rivals to engage in incessant technical improvements, yet a certain amount of isolation occasionally proving advantageous. Hence, for example, Russia’s supremacy in Europe. The variety of enemies to be confronted can induce technological path-dependencies that end up being harmful, as would have been the case in traditional China, where the usual conflicts with the horse-riding archers from the steppes of Central Asia supposedly kept the Chinese from a systematic military use of gunpowder.

In this group of works, the book by Anievas and Nişancıoğlu (2015) stands out. Officially presenting it as a work of historical sociology, they openly assume that Europe was a mere “periphery” politically, militarily, economically, and culturally until very late, when a chain of events took place that allowed Europeans to benefit from the advantages frequently associated with the “privileges of backwardness”, this in a global panorama characterized by various mutually connected paces and interchanges of “unequal and combined development”. Accordingly, they explain that their work seeks to systematically establish a schematic framework incorporating what they posit to be the key theoretical concepts: “unevenness and combination — from which the ‘whip of external necessity’, ‘privilege of historical backwardness’, ‘advantages’ and ‘penalties of priority’, ‘contradictions of sociological amalgamation’, and ‘substitutionism’ necessarily follow” (44).

They draw recognizably on Trotsky for the notion of “uneven and combined development”, a concept that plays a truly central role in their argument. This argument, at least, has the clear advantage of being fairly easy to follow, as Michael Mann notes in his review of the book. “Societies with very different cultures and practices of social reproduction interact with each other culturally, economically, politically, and militarily and these different combinations produce social change. Who could argue with this? It sounds very Weberian” (2017: 4). Having said that, however, the most difficult facet remains identifying the interactions that truly matter.<sup>3</sup> This model, it should be added, can be applied to

---

3. It would be very difficult to discuss how much Anievas and Nişancıoğlu are really presenting a theoretical novelty, or mostly just reprocessing what others had already advanced. For example, the idea of ‘combined and uneven development’, posited to be an important theoretical acquisition by Trotsky, might instead be presented as an idea of the Indian 19th century economist Dadabhai Naoroji. India, argued Naoroji, should not be considered a ‘backward’ country (although obviously it was poor), and Britain a ‘developed’ one. Instead, Britain’s ‘development’ and India’s ‘backwardness’ were arguably the two sides of the same ‘international’ reality. In a clear disagreement with one of the basic tenets of mainstream Marxism until the early 20th century, Britain was certainly not showing India its future (as in Marx’s famous “*de te fabula narratur*”). However, on the other hand, Naoroji, being a loyal British subject, tried to present the factual reality of his time as an “un-British” aspect of British policies; hence his book’s title, *Poverty and Un-British Rule in India* (1901). The theories of this period that oppositely took imperialism as a crucial device in international relations are to be referred mostly to John Hobson’s *Imperialism: A Study* (1902), and later, with a (strongly heterodox) Marxist wrapping, Vladimir Lenin’s *Imperialism, the Last Stage of Capitalism* (1917).

different European regions as well as to intercontinental relations. Regarding the latter, Anievas and Nişancıoğlu declare to have identified:

“‘privileges of backwardness’ in Europe against the ‘penalty of progressiveness’ of the more advanced tributary empires of Asia [...]. They have also proceeded beyond the normal Marxian focus on the economy to include as determinants all four sources of social power [ideological, economic, political and military, according to Mann’s own typology], although the main dependent variables remain various ‘assemblages constitutive of capitalism’. I had some difficulty in understanding what they mean by capitalism” (Ibid.).

Anievas and Nişancıoğlu, like the authors of the so-called “California School” of historiography, especially Kenneth Pomeranz, underline the external component to the causes of European domination. However, simultaneously and contrary to the tendency of many others, they also emphasize the allegedly-deep historical reasons for the European rise. Indeed, while on the one hand they believe it necessary to extend the analysis of the West’s emergence to conditions and determining factors with origins outside of Europe, precisely “in order to dislodge the familiar Eurocentric claims of some innate European dynamism” (2017a: 10), on the other hand, there are also what they consider to be structural features, specific to late medieval and modern European history that deserve greater attention, as they provide important insights for understanding Europe’s advantages, whether in warfare or in the economy. Thus, they emphasize that “the decentralized and politically fragmented nature of European feudal relations” (11) would have produced a particularly competitive and aggressive interstate system.

Indeed, this high level of conflict in the European multi-state system is often cited as a crucial factor in the standard literature on what is usually termed as the “‘rise of the West’, especially among neo-Weberians who cling to a ‘geopolitical competition model’ of development” (11). However, in the opinion of Anievas and Nişancıoğlu, this geopolitical competition should be approached not in isolation, abstracted from the nature of the interacting societies, as so frequently occurs in “international relations” studies, which see “the role of geopolitical competition as a kind of Darwinian selection mechanism sorting out the weak from the strong” (Ibid.), but articulating the “international” dimensions of processes by means of a sociological analysis of the social formations in interaction, thereby enabling the detection of the truly relevant specific characteristics of each of the resulting “amalgamations” or “conglomerates” (cf. Anievas, Nişancıoğlu, 2017b; 2018).

As they make abundantly clear in their book, this alleged European specificity, which made the respective history uniquely violent, finally providing Europeans with advantages in confrontations with third parties, is posited as a distinctive feature of European feudalism, especially when confronted with the so-called “tributary mode of production” (Anievas, Nişancıoğlu, 2015: 96); or, to be more precise, when the Ottoman Empire is compared with the typical attitude of European powers. In contrast to the consistently territorial and agricultural orientation of the former, the latter were much more “explicitly focused

on bringing commercially valuable territories under direct conquest and political control for specifically [...] economic purposes” (105). The trope of European singularity, usually formulated in cultural terms, thus ends up reappearing in the discourse, but in this case, it is carefully relegated to the supposedly distinctive facets of the “feudal mode of production”, arguably more promising for the future capitalist expansion if compared with the “tributary mode of production”. This an aspect under which this work can easily be approximated to those of Perry Anderson (1974a; 1974b), whose tutelary influence is indeed easily perceivable.

Still furthermore, attempting to overcome the mere “East versus West” dichotomy, Anievas and Nişancıoğlu operate an enormous historical zoom right back to the ancient civilizational distinction/opposition between nomadic and agricultural peoples, which culminates in a lengthy consideration of what they see as the legacy of the Mongol Empire. “They draw from recent revisionist history of the Mongols which sees them as rather nice people who left major legacies for the world”, wrote Mann (2017: 4), half-jocosely, regardless of the fact that he mostly accepts the well-foundedness of this attitude, and also recognizing the truth that the Silk Road, from China to the Black Sea, along which Asian-European trade could flourish, was really protected for some time by the *Pax Mongolica*. This undoubtedly constitutes a legacy worthy of a generally positive assessment; but it was not always so, Mann adds cautiously.

Anievas and Nişancıoğlu, we would like to emphasize here, arrive at this point through an attitude of appreciation of the influence of the nomadic peoples on the agricultural civilizations of the Eurasian peripheries, in direct opposition to the basic theses of Morris. For Morris, the nomads generally brought the “Horsemen of the Apocalypse” with them, as we have seen above, and a higher level of civilization obtained by the societies on the Eurasian peripheries could only be realized inasmuch as it became possible after the decisive entente reached by the Russian and Chinese empires in Nerchinsk in 1689. It provided for “closing the steppes”, thereby definitively solving the military problem that the nomadic horsemen had repeatedly posed (Morris, 2011: 455-459) while the Europeans were resolutely turning to the domination of the seas. The same intellectual movement thus renders Anievas and Nişancıoğlu, on the one hand, prone to a positive evaluation of the role of the nomadic pastoral peoples while, on the other hand, they tend to deny the scale of the influx that the Europeans received from China. In contrast, Mann, basically in line with John Hobson’s thesis, argues for the positive civilizational influence of China, which never actually ceased to be felt; even in Europe, this backwards geographic periphery that was left relatively isolated by the invasions of the nomads from the steppes.

### Concluding observations

Let me provide a balance of what has been written. Acknowledging the basic validity of Paul Veyne’s initial thesis that sociology is basically history under another name, or an auxiliary discipline to it, it seems reasonable to immediately add that the tendency towards the nomothetic (usually taken as a proxy for science itself) constitutes a prac-

tically unavoidable feature, in fact, a truly overwhelming dimension of the intellectual trajectory of contemporary societies. This inclination towards the nomothetic is additionally accompanied by a shift of attention away from not only “great events”, but also from “great men” and “more developed” societies in favor of general/repetitive facts, the crowds, the “common people”, and/or statistical aggregates and, finally, non-Western societies themselves.

Within this framework, and with due recognition of the merely “sublunary” character of the causal relations identified therein, we should nevertheless add that what Veyne takes to be a group of praxeologies, especially “pure economics”, is in truth no more than an equivalent of sociology, that is, a “way of seeing”, and also a way of mentally mapping (a topic), a perspective that supposedly allows for a certain range of analysis while simultaneously (and perhaps inevitably) inhibiting others. It is always reduced to this level and thus incapable of returning anything other than probabilistic or statistical causalities resulting from the respective mental frameworks (intended to be) endowed with logical coherence, and thus usually issuing only mere retrodictions. In other words, we can finally ask whether, and to what extent, the mental apparatus of “pure economics”, which Veyne classifies as a scientific “praxeology” based on core ideas about scarce resources, the trade-offs between different resources and different objectives, the temporal discounting associated with interest, decreasing marginal productivity and utilities, individual and independent utility-functions, but also including the transitivity of choices, generates a decisive empirical relevance more than any other intellectual framework, especially that typical of sociology based on notions such as the supposed regulation of social practices through cultural values, the scenic universal metaphor, and so on. In other words, we should recognize that “the Spinozist dream of the complete determination of history” is really just this and only this, a dream; however, such an assertion cuts in all directions: including that of sociology, certainly, but also incising into “pure economics”.

Hence, the corresponding necessity to accept the universal reduction to the “sublunary”. All these academic disciplines (economics, sociology, and every other “social science”) are merely supporting subjects for the infinitely expandable writing of the great “novel of humanity” that is history/historiography<sup>4</sup> — which, in the last decades, has

---

4. Although Veyne disputes the very notion of social sciences, this does not mean he favors abandoning its entire idea in exchange for simple literature and comparative literary studies, in line with the project that was promoted by American pragmatists like Richard Rorty, wherein fiction, evolutionary biology, and continental philosophy should form some vague amalgamation whose aim would be to narrate (in an ironic way) the contingency of human existence. There are various important aspects that make Veyne’s endeavor rather different from (and indeed incompatible with) Rorty’s. Veyne’s book is “an essay on epistemology” (its subtitle), and it really is about discussing the theoretical assumptions of the procedures of various disciplines, all done in a rather traditional philosophical way. The notions that, for example, we should ‘abandon the idea of knowledge as an exact representation’, or that culture should not ‘be dominated by the ideal of objective cognition, but by the one of aesthetic elevation’ (as in Rorty’s *Philosophy and the Mirror of Nature*) are rather alien to him. Unlike Rorty, Veyne would certainly not praise Wittgenstein, Heidegger, or Dewey for having ‘annihilated epistemology and metaphysics as possible disciplines’. For Veyne history is indeed a novel because it is intrinsically unpredictable, unpredictable beyond appeal -, but a true novel nevertheless: definitely, not a



revealed the return of an immense appetite for “grand narratives” that in times not so distant were considered totally disposable and even avoidable. The field of historiography rather than sociology (with the possible exception of the so-called “historical sociology”) has apparently been better able to respond to this will for grand narratives, given the theoretical dead ends into which the discipline of sociology tends to drag itself, and its intimate intellectual malaise which it often avoids by taking refuge in a repetitive (or even neurotic-compulsive) inclination toward small stories, monographic sub-theoretical research, and short essays. Given this panorama, the mentioned works of Morris, and Anievas and Nişancıoğlu undoubtedly deserve applause, and are worthy of academic signposting, especially in view of their officially trans-disciplinary characteristics and their goals of a consciously non-Eurocentric orientation. However, we should emphasize that this does not enable them to overcome their intrinsic logical problems, or the difficulties of conceptual mapping described at the beginning of this article.

## References

- Anderson P. (1974a) *Passages from Antiquity to Feudalism*, London: New Left Books.
- Anderson P. (1974b) *Lineages of the Absolutist State*, London: New Left Books.
- Anderson P. (1998) *The Origins of Postmodernity*, London/New York: Verso.
- Anievas A., Nişancıoğlu K. (2015) *How the West came to Rule — the Geopolitical Origins of Capitalism*, London: Pluto Press.
- Anievas A., Nişancıoğlu K. (2017a) How Did the West Usurp the Rest? Origins of the Great Divergence over the Longue Durée. *Comparative Studies in Society and History*, vol. 59 (1), pp. 34-67. <https://eprints.soas.ac.uk/24382/> (accessed October 31st, 2022)
- Anievas A., Nişancıoğlu K. (2017b) Why Europe? Anti-Eurocentric Theory, History, and the Rise of Capitalism. *Spectrum Journal of Global Studies*, vol. 8, no 1, pp. 70-98. <http://spectrumjournalofglobalstudies.net/why-europe-anti-eurocentric-theory-history-and-the-rise-of-capitalismalexander-anievas-kerem-nisanocioglu/> (accessed October 31st, 2022)
- Anievas A., Nişancıoğlu K. (2018) Lineages of Capital. *Historical Materialism*, vol. 26, no 3, pp. 167–196.
- Arrighi G. (2009) *Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century*, London: Verso.
- Aron R. (1971) Comment l'historien écrit l'épistémologie: a propos du livre de Paul Veyne [“How the historian writes epistemology: on Paul Veyne’s book”]. *Annales. Economies, Sociétés, Civilisations*, vol. 26, no 6, pp. 1319-1354.
- Bairoch P. (1999) [Orig. pub. 1993] *Mythes et Paradoxes de l'Histoire Économique*, Paris: La De couverte/Poche.
- Blaut J. M. (2000) *Eight Eurocentric Historians*, New York: The Guilford Press.
- Bose S. (2006) *A Hundred Horizons — The Indian Ocean in the Age of Global Empire*, Cambridge, Massachusetts & London, England: Harvard University Press.
- Braudel F. (1962) Chapitre IV — Histoire et Sociologie. G. Gurvitch. *Traité de Sociologie*, Paris: Presses Universitaires de France, vol. I, pp. 83-98.
- Dahrendorf R. (1973) [Orig. pub. 1968] *Homo Sociologicus*, London: Routledge & Kegan Paul.

---

fiction or ‘fake news’. A narrative, yes; but a factually true narrative. This holds entirely, notwithstanding the fact that the book’s title in the French original version, “Comment on écrit l’histoire”, is probably inspired by the comments of the Russian general Nikolay Raevsky on the Battle of Saltanovka, and particularly regarding the presence or absence of his two sons in a famous Russian attack. A rumor was by then produced that the two boys were present, but Raevsky himself wrote otherwise stating the opposite, and adding in disgust: “And that is how history is written!” (“*Et voilà comment on écrit l’histoire!*”). Historiographical criticism, however, is supposedly capable of endlessly chasing lies and misunderstandings, thus reestablishing the factual truth.



- Duchesne R. (2011) Review of Why the West Rules — For Now: The Patterns of History and what they Reveal about the Future. *Reviews in History*, vol. 1091. <https://reviews.history.ac.uk/review/1091> (accessed October 31st, 2022)
- Diamond J. (1999) *Guns, Germs and Steel — The Fates of Human Societies*, New York & London: W.W. Norton & Company.
- Diamond J. (2005) *Collapse — How Societies Choose to Fail or Succeed*, New York: Viking Penguin.
- Gintis H. (2006) Towards a Unity of the Human Behavioral Sciences. *Papers: Revista de Sociologia*, vol. 80, pp. 97-122.
- Gouldner A. (1970) *The Coming Crisis of Western Sociology*, London: Heinemann.
- Graça J.C. (2008) The Economics-Sociology Divide: the Cost of Parsons as an Academic Social Entrepreneur. *Journal of Classical Sociology*, vol. 8 (4), pp. 467-499.
- Graça J.C. (2012) Acerca da Instabilidade da Condição da Sociologia Económica [On the Instability of Economic Sociology's Condition]. *Análise Social*, vol. 47 (202), pp. 4-27.
- Graça J.C., Marques R. (2012) Writing Sociology at the Beginning of the Twenty-first Century, Working-Paper SOCIUS/CSG, ISEG, Lisbon University, <https://ideas.repec.org/p/soc/wpaper/wpo32012.html> (accessed October 31st, 2022)
- Hobson J.M. (2004) *The Eastern Origins of Western Civilization*, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Hoffman Ph. (2015) *Why Did Europe Conquer the World?* Princeton, NJ & Oxford, UK: Princeton University Press.
- Lopreato J., Crippen, T. (2017) [Orig. pub. 1999]. *Crisis in Sociology: The Need for Darwin*, London and New York: Routledge.
- Maddison A. (2007) *Contours of the World Economy 1-2030*, Oxford: Oxford University Press.
- Mann M. (2018) Review Article: The Great Divergence. *Millennium: Journal of International Studies*, vol. 46(2), pp. 1-8, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0305829817730666> (accessed October 31st, 2022)
- Marshall A. (1964) [Orig. pub. 1890] *Principles of Economics*, London: Macmillan and Co, Ltd.
- Mendes R.V. (2004) Network dependence of strong reciprocity. *Advances in Complex Systems*, (ACS), World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., vol. 7 (03n04), pp. 357-368. <https://ideas.repec.org/a/wsi/acsxxx/v07y2004i03n04ns0219525904000226.html> (accessed October 31st, 2022)
- Mirowski Ph. (1989) *More Heat than Light*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Morris I. (2011) *Why the West Rules (For Now) — The Patterns of History and What They Reveal about the Future*, London: Profile Books.
- Morris I. (2013) *The Measure of Civilization: How Social Development Decides the Fate of Nations*, Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Parsons T. (1931) Wants and activities in Marshall. *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 46 (1), pp. 101-140.
- Parsons T. (1932) Economics and sociology: Marshall in relation to the thought of his time. *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 46 (2), pp. 316-347.
- Parsons T. (1934) Some reflections on 'The nature and significance of economics'. *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 48 (3), pp. 511-545.
- Parsons T. (1935a) Sociological elements of economic thought. *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 49 (3), pp. 414-453.
- Parsons T. (1935b) Sociological elements of economic thought. *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 49 (4), pp. 646-667.
- Pomeranz K. (2000) *The Great Divergence — China, Europe, and the Making of the Modern World Economy*, Princeton, NJ & Oxford, UK: Princeton University Press.
- Savage M., Burrows R. (2007) The Coming Crisis of Empirical Sociology. *Sociology*, vol. 41, pp. 885-899.
- Veyne P. (1984) [Orig. pub. 1971] *Writing History, Essay on Epistemology*, Middletown, Connecticut, USA: Wesleyan University Press. [Original French edition: *Comment on Écrit l'Histoire. Essai d'Épistémologie*, Paris: Seuil.]
- Weber M. (2004) [Orig. pub. 1919] *The Vocation Lectures: Science as a Vocation, Politics as a Vocation*, Indianapolis/Cambridge, Hackett Publishing Companies, <https://hscif.org/wp-content/uploads/2018/04/Max-Weber-Science-as-a-Vocation.pdf> (accessed October 31st, 2022).

## Писать социологию — писать историю

*Жуан Карлуш Граса*

Профессор ISEG, Института экономики и менеджмента Лиссабонского университета; научный сотрудник SOCIUS/CSG, Исследовательского центра экономической социологии и социологии организаций.

Адрес: улица до Куэльхас, 6, 1200-781, Лиссабон, Португалия

E-mails: jogra1958@netcabo.pt and jgraca@iseg.ulisboa.pt

В 1971 году Французский историк и археолог Поль Вен выдвинул свои аргументы в пользу того, что казалось ему фундаментальным отсутствием собственного предмета у социологии. Данное академическое поле и не могло быть наукой, в лучшем случае лишь служанкой историографии, которая сама лишена какого-либо научного статуса, поскольку оперирует «подлунными» причинными связями, позволяющими делать только «ретроспективные оценки», а не предсказания. И наоборот, представлялось возможным определить набор «праксеологий», составляющих ядро будущей науки о человеке, радикально отличающейся как от социологии, так и от истории, и включающих в себя чистую экономику, исследования операций и теорию игр. Поэтому, если история и социология будут неизбежно носить «аристотелианский», т. е., неточный, «подлунный» характер, то научные дисциплины могут и должны быть «платоновскими», стремясь к формальной и логической элегантности.

Вен был прав лишь отчасти, поскольку экономику также нельзя считать наукой в строгом смысле. Многоуровневый кризис, в котором, по мнению многих, пребывает социология, позволяет нам сопоставить эту ситуацию с относительно недавними важными тенденциями появления социо-исторических «больших нарративов», иногда официально именуемых историей, и не столь часто — исторической социологией, но, так или иначе, имеющих трансдисциплинарный характер. Цель настоящей статьи — преодолеть ограничения, связанные с биографическими, элитистскими и европоцентричными искажениями, характеризующими традиционную историографию. Задачи подобных исследований можно в целом назвать номотетическими, однако устанавливаемые ими «законы» в лучшем случае весьма приближительны. Поэтому они, как и экономика, обречены действовать на простом «аристотелианском» уровне, а значит великой «повести человечества» суждено остаться неопределенной в самой своей сути.

*Ключевые слова:* история, социология, экономика, подлунная причинность, праксеологии, «большие нарративы», европоцентризм.

# Между этосом научности и полицией нравов: Макс Вебер как полемист<sup>1</sup>

*Олег Кильдюшов*

Научный сотрудник, Центр фундаментальной социологии,  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация, 101000  
E-mail: kildyushov@mail.ru

Статья посвящена уникально-специфическому публичному профилю Макса Вебера, который, с одной стороны, вошел в историю социальной мысли в качестве убежденного сторонника ценностной нейтральности научного труда, а с другой стороны, являлся страстным полемистом, готовым даже по незначительному поводу устроить общественный скандал. Вначале указывается на амбивалентное понимание Вебером этоса современной науки как методически контролируемого поиска объективного знания о мире на грани самоотречения ученого, свободного от воздействия вненаучных мотивов. При этом фиксируется парадоксальное сочетание в веберовской антропологии науки императивов аналитической трезвости и страстного служения своему «демону». Утверждается, что подобная амбивалентность была свойственна самому классику немецкой и мировой социологии, соединявшему в своей титанической личности крайности ученого отшельника и мировой знаменитости, имеющей репутацию неуравновешенного скандалиста. Далее приводятся суждения о выдающемся социальном мыслителе, сделанные представителями противоположных политических течений, причем как правых консерваторов, так и левых экстремистов. На материале ряда громких скандалов, ставших достоянием научной и широкой общественности Германии начала XX века, показан механизм веберовского вовлечения в конфликты с различными оппонентами на личном и институциональном уровне. Ставится вопрос о практической значимости для самого Вебера его собственных научно-теоретических и методологических принципов, канонических для самопонимания профессии ученого модерного типа. В заключение анализируется страстная полемика вокруг знаменитого веберовского сочинения «Протестантская этика и дух капитализма», реконструируемая на примере критики историка Ф. Рахфала и ответной «Первой антикритики».

*Ключевые слова:* Макс Вебер, наука как профессия/призвание, этос ученого, ценностная нейтральность, сфера публичности, скандалы, научная полемика

Классик немецкой и мировой социологии Макс Вебер, помимо прочего, вошел в историю социальной мысли как автор канонического для современной теории и методологии науки текста «Наука как призвание/профессия», прочитанного в виде доклада в ноябре 1917 года и в доработанной версии опубликованного в 1919 году. Как известно всем изучавшим историю и философию науки, в этом сочинении он обсуждает внешний институциональный дизайн и внутренний этос науки как определенной ценностной сферы и жизненного порядка. Про-

---

1. Публикация подготовлена в рамках исследовательского проекта «Стратегии нормализации повседневности в чрезвычайных ситуациях: инерция аффекта и открытость вызовам», реализуемого Центром фундаментальной социологии НИУ ВШЭ в 2023 году в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

должая центральную линию на ценностную нейтральность всего научного предприятия модерного типа, Вебер защищал автономию науки как уникального для истории человечества ресурса познания — как самого себя, так и «фактических взаимосвязей». В «методологически-логических» работах, объединенных вдовой ученого Марианной Вебер в 1922 году в томе под названием «Избранные сочинения по наукоучению», им отстаивается идеал профессионализма как методически контролируемой трезвости и строгой предметности на грани самоотречения — по ту сторону политической или любой иной идеологической ангажированности и самопрезентации (Weber, 1985).

При этом Вебер прямо противопоставлял интеллектуальной честности и сознательной предметной ограниченности ученого всякого рода попытки мировоззренческой индоктринации студентов посредством «кафедрального пророчества». Одним из наиболее опасных академических грехов он считал профессорское злоупотребление свободой слова в виде ловли душ молодых людей на идеологических проповедях «пророков» и «демагогов» с университетской кафедры, под прикрытием различных наукообразных нарративов. Кете Ляйхтер, защитившая свою диссертацию по национальной экономике у Вебера в 1918 году, позже писала о мощной харизме учителя, производившей неизгладимое впечатление на окружавшую его молодежь. Согласно ее воспоминаниям, классик сознательно всячески избегал образования «свиты» из числа юных последователей (см.: Leichter, 1963).

На первый, поверхностный, взгляд наука, по Веберу, оказывается сугубо рационализированной сферой узкоспециализированного производства объективированного знания, лишенного в результате расколдовывания мира какого-либо экзистенциального измерения или предельных смыслов человеческого бытия. Однако уже специфический — отчасти религиозно-психологический и даже теологический — словарь наукоучения М. Вебера не допускает такого рода позитивистского редукционизма в отношении фактических практик научного производства<sup>2</sup>. Так, ключевыми понятиями веберовской антропологии науки эпохи технизации и интеллектуализации парадоксальным образом оказываются «вдохновение», «убежденность», «политеизм» и даже «демоны»! А центральным мотивом научного творчества он — несколько неожиданным для протагониста аналитической трезвости образом — и вовсе называет «страсть»: «Ведь для человека как такового

---

2. На крайне оценочный и эмоциональный характер научного языка Вебера справедливо обращал внимание известный политический философ Лео Штраус в своем труде «Естественное право и история». Ср.: «Его работы, были бы не просто скучными, а абсолютно бессмысленными, если бы он не говорил почти постоянно о практически всех интеллектуальных и моральных добродетелях и пороках соответствующим языком, т. е. языком похвалы и порицания. Я имею в виду выражения, подобные этим: «великие личности», «несравненное величие», «непревзойденное совершенство», «псевдосистематика», «эта распушенность была, несомненно, продуктом упадка», «абсолютно нехудожественный», «остроумное толкование», «высокообразованный», «непревзойденное величественное изложение», «мощность, гибкость и точность формулировки», «возвышенный характер этических требований», «безупречное внутреннее постоянство», «грубое и путаное представление», «мужественная красота», «чистое и глубокое убеждение», «впечатляющее достижение», «мастерская работа высшей степени». См.: Штраус, 2007: 53.

не имеет никакой ценности то, что он не может делать со страстью» (Вебер, 2006). Как показывает исследовательская, преподавательская и публикационная биография самого Вебера, здесь он говорит прежде всего о самом себе.

В мировом вебероведении сложился своеобразный консенсус относительно личного профиля Вебера как обладателя довольно страстного темперамента и крайне импульсивного полемиста, которому лишь с большим трудом и далеко не всегда удавалось реализовывать сформулированные научно-методологические принципы<sup>3</sup> в собственной академической и публицистическо-издательской практике. Очень точная оценка личности классика социологии дана в недавней книге Л. Г. Ионина: «по характеру своему он спорщик, скандалист, иногда даже с элементами истеричности. Будучи человеком публичным, активным в политике и публицистике, он не раз впоследствии затевал по различным поводам медийные скандалы, доходящие до суда или почти до дуэли» (Ионин, 2022: 48).

По сути, ему приходилось наступать на горло собственной песне, чтобы умерить страстность своих оценок в отношении коллег и их работ. По собственному признанию ученого, своей критикой он пытался играть в своего рода «литературную полицию нравов», устанавливающую стандарты «добропорядочной литературной дискуссии» (MWG I/13: 441, 418). Однако демоническое начало часто брало в нем верх, даже когда речь шла о чисто предметных вопросах в чисто научных интересах. Тимофей Дмитриев в своей недавней статье, ссылаясь на воспоминания Ф. Зома-ри (Somary, 1994: 178-180), приводит крайне показательный случай, произошедший весной 1918 года в венском кафе «Ландман» на Рингштрассе. Заведение находилось рядом с Венским университетом и потому активно посещалось преподавателями и учеными, которые и «стали невольными свидетелями спора между несколькими уважаемыми господами, который, начавшись вполне мирно, затем перерос в ожесточенную перепалку и кончился тем, что один из участников спора в сильном волнении выбежал на улицу». Этим страстным полемистом был Макс Вебер, а его оппонентом — выдающийся австрийский экономист и социолог Йозеф Шумпетер<sup>4</sup>.

Стоит ли говорить, что изначально уважаемые ученые собрались для того, чтобы обсудить важный академический вопрос — помимо Вебера и Шумпетера в разговоре также принимал участие крупный специалист по античной истории Людо Мориц Гартман. К несчастью для окружающих, в ходе дискуссии речь зашла о революции в России: «Шумпетер заявил, что благодаря ей социализм перестал быть “бумажной дискуссией” и теперь вынужден доказывать свою жизнеспособ-

---

3. Научно-полемическая прагматика Вебера обсуждается в недавней статье: Филиппов, 2020.

4. По иронии истории, ранее Вебер в своем экспертном заключении для юридического факультета Венского университета, подготовленного в рамках процедуры замещения вакантной кафедры, настаивал на приглашении именно Шумпетера как выдающегося теоретика в области национальной экономики. Он требовал включения молодого коллеги в список кандидатов под № 1, используя свой типичный аргумент, что тот был обойден исключительно по ненаучным соображениям. См.: Schluchter W., 2020: 165-166. При этом Шумпетер был совершенно иного мнения о Вебере как ученом-экономисте: в своей «Истории экономического анализа» он прямо говорил о «почти полной некомпетентности Вебера в экономической теории»: Шумпетер, 2001: 1079.

ность на практике. На что Вебер возразил, что попытка ввести социализм в России, учитывая уровень ее экономического развития, есть, по сути дела, преступление и что социалистический эксперимент неминуемо окончится катастрофой. В ответ Шумпетер холодно заметил, что такой исход вполне вероятен, но что Россия при этом представляет собой «прекрасную лабораторию». Тут Вебер не выдержал и взорвался: «Лабораторию с горой трупов!» Шумпетер парировал: «Как и любой другой анатомический театр». Спор перекинулся на социальные изменения, вызванные войной. Вебер начал критиковать Великобританию за отход от либерализма, Шумпетер возражал ему. Вебер, как вспоминает Зомари, говорит «все резче и громче, Шумпетер — саркастичнее и тише». К спору начали прислушиваться посетители кафе. Наконец, Вебер в сильном возбуждении вскочил со своего места и со словами «Это уже невозможно выносить!» выбежал из кафе на Рингштрассе. Гартман догнал его, вручил забытую в кафе шляпу и попытался успокоить, но все напрасно. На что Шумпетер флегматично заметил: «Ну как можно поднимать такой крик в кафе?» (Дмитриев, 2017: 90–91).

Между тем неизбежно возникает вопрос — в какой мере Вебер вообще был «методологическим веберянцем», т. е. насколько он в своих конкретно-эмпирических работах и научно-политических высказываниях следовал максиме аналитической трезвости и ценностной нейтральности, появившейся довольно рано в его мысли и ставшей программной для его идентичности как социального ученого. Как бы то ни было, веберовский демон науки как страсти никогда не отпускал его — в прямом соответствии с последними строками трактата «Наука как призвание/профессия», где содержится довольно неожиданный для привычного сциентизма призыв найти своего демона и подчиниться ему (Вебер, 2006а: 546).

Примечателен взгляд на Макса Вебера со стороны его недоброжелателей — а великий социальный теоретик обладал редким даром своими резкими формулировками провоцировать общественность, в том числе прессу. Будучи одаренным оратором, он своими публичными интервенциями неоднократно привлекал к себе внимание широкой публики, часто представляя при этом в довольно негативном свете. Это особенно проявилось во время процедуры приглашения Вебера на вакантную кафедру профессора национальной экономики Мюнхенского университета в 1917–1919 годах, когда он столкнулся с резкой критикой со стороны носителей идеологически противоположных течений. Причем как правые консерваторы, так и левые экстремисты отвергали его кандидатуру из-за «неправильных» политических взглядов. Например, контролируемая крупным капиталом пресса писала о нем следующее: «Вебер из Гейдельберга писал в *Frankfurter Zeitung* статьи о парламентаризме и монархической системе, которые наряду с правильными взглядами заходили за рамки либерализма далеко влево. При этом проявилось его странное самодовольство в ходе резкой полемики с другими авторами» (Aschenbrenner, 1917: 629f. Цит. по: MWG II/10: 423). Не менее амбивалентное отношение к Веберу содержалось в экспертном заключении Баварского министерства культов и преподавания, составленном в ноябре 1918 года: наряду с левизной его взглядов



также отмечалось, что он является «одним из умнейших среди нынешних немецких национал-экономов», однако «занимает настолько крайние позиции в своих научных взглядах и столь эксцентричен и бесцеремонен в своих манерах, что многократно приводило к неприятным выступлениям на конгрессах и других мероприятиях» (Ibid.: 424).

Для полноты картины можно привести в этой связи и отзыв о Вебере со стороны левых активистов, заседавших в Мюнхенском совете рабочих и солдатских депутатов 26 марта 1919 года, т. е. менее чем за две недели до провозглашения Баварской советской республики. Протокол заседания одного из комитетов зафиксировал голоса выступавших товарищей, что сегодня представляет интерес как попытка социалистов перейти к прямой идеологической индоктринации посредством науки — т. е. ровно то, с чем всю жизнь программно боролся сам Вебер. Примечательно, что некоторые участники этой дискуссии были известными левыми интеллектуалами, в последующем сыгравшими заметную роль в политической и интеллектуальной истории Германии. Приведем пространную цитату из протокола, чтобы максимально аутентично передать научно-политические обстоятельства, в которых пришлось действовать выдающемуся ученому в последний период своей жизни:

«Пункт 2. Никиш<sup>5</sup>: В здешнем университете на освободившееся после Брентано место ординарного профессора национальной экономики приглашен Макс Вебер из Гейдельберга. Эта дисциплина имеет огромное значение для будущего. Студенты этого факультета позже займут важнейшие хозяйственные должности и от их настроения зависит очень многое. Поэтому на эту ответственную должность должен быть назначен человек, который сумеет пропитать взгляды молодежи социалистическим духом. Брентано отравлял наше студенчество, и Макс Вебер находится в кругу буржуазно-капиталистических идей. Он враг идеи Советов и еще незадолго до революции выступал за монархию. <...> Вебер уже согласился, но есть выход — сообщить общественности о протесте комитета. Насколько известно о веберовском характере, он после этого добровольно откажется ехать в Мюнхен. Мы уже составили такой протест. (Зачитывает.)

Толлер<sup>6</sup> подчеркивает враждебное отношение Вебера к Советам, но хочет добавить предложение: «несмотря на его научные заслуги». <...>

Толлер: Речь идет об ординариате, который он не должен получить. Но то, что мы вообще не обсуждаем его как национал-эконома, опозорит нас.

Хагемайстер: Не важно, что Вебер имеет мировую славу. Мы должны получить хотя бы и незначительного человека, лишь бы он прививал молодежи социалистические идеи» (Ibid.).

---

5. В период Веймарской Германии радикальный социал-демократ Эрнст Никиш сблизится с представителями движения «консервативной революции» и станет ведущим идеологом национал-большевизма.

6. Уже в апреле 1919 года Эрнст Толлер станет одним из руководителей Баварской советской республики. После ее падения Вебер во время суда над ее лидерами фактически спас Толлера от казни, засвидетельствовав идеалистический характер его убежденности.



По иронии истории, сам Вебер, яростно критикуя тенденцию преобладания в немецком университете ненаучных критериев при замещении ключевых позиций, прежде всего политических и мировоззренческих, отстаивал в том числе и права левых в рамках академии<sup>7</sup>. Так, самым ярким примером нечестного обращения с меньшинствами для него, помимо явной дискриминации еврея Г. Зиммеля при получении ординарной профессуры, был случай социал-демократа Роберта Михельса, которому было отказано в реабилитации в Германии именно по идеологическим основаниям. Ситуация атеиста Михельса осложнялась его отказом крестить детей из-за собственных социалистических убеждений. Для Вебера же это стало поводом для резкой критики, ставшей достоянием как научной, так и более широкой общественности. В качестве примера такого рода интервенций в защиту свободы мнений можно привести его выступление на Втором съезде преподавателей высшей школы, проходившем в сентябре 1908 года в Йене (Schluchter, 2020: 143-144). Его слова были восприняты как приговор всей немецкой университетской системе: «В любом случае, в интересах хорошего вкуса и добросовестности следует потребовать прекратить постоянные разговоры о наличии в Германии «свободы науки и преподавания». Ведь очевидно, что мнимая «свобода преподавания» явно обусловлена: 1) наличием политически правильных взглядов и, кроме того, зависит 2) от некоторого минимума реальной или лицемерной религиозности. В Германии свобода науки существует в пределах политически и церковно допустимого, но не вне их» (MWG I/13: 118).

Примечательно, что предложенная Альфредом Вебером резолюция в защиту широко понимаемой автономии исследований и преподавания не была принята съездом. Это не помешало Максусу Веберу возвращаться к данной теме с резко критическими высказываниями о системе высшей школы Германии, что воспринималось многими его коллегами как неадекватная оценка фактических практик немецкой академии начала XX века. Так, его высказывание на съезде преподавателей в Дрездене в октябре 1911 года после газетных публикаций привело к серии опровержений и уточнений смысла сказанного и имевшегося в виду, что увеличило не только число его сторонников. Благодаря мгновенному освещению целого ряда

---

7. Иногда подобные жесты были связаны для Вебера с риском для его собственной безопасности. В этом смысле показателен публичный скандал в Мюнхенском университете, произошедший в январе 1920 года в связи со студенческими столкновениями в контексте суда над правым экстремистом графом А. фон Арко, застрелившим годом ранее социалистического премьер-министра Баварии К. Эйслера. Вебера возмутила дискриминация левого меньшинства со стороны правого большинства в Общем студенческом совете (AStA) при полном попустительстве ректора университета. Он присутствовал на собрании некоторое время и безуспешно пытался обратить внимание ректора на нарушение внутриуниверситетских правил свободы высказываний. Перед своей следующей лекцией Вебер сделал соответствующее политическое заявление, эксплицитно отделив его от самого занятия — как бы в полном соответствии с собственным «запретом» на пропаганду с кафедры. В результате его последующая лекция была сорвана правыми активистами, и до конца семестра осуществлялся контроль при входе на его занятия. Помимо прочего, AStA подал на Вебера жалобу в связи со злоупотреблением лекциями в политических целях — опять-таки вполне в духе веберовских представлений о ценностной нейтральности университета! См.: MWG I/16: 268-272.

такого рода событий в прессе по всему рейху Вебер приобрел репутацию социально-токсичного скандалиста, готового ради собственных моральных принципов идти на открытые конфликты не только с отдельными персонами, включая родственников и близких друзей<sup>8</sup>, но и с целыми организациями вроде факультетов, научных обществ или газет.

Патриарх немецкого вебероведения Вольфганг Шлюхтер в качестве такого рода примеров неумеренного ригоризма называет несколько громких случаев, привлечших внимание немецкой академии и не только. Среди них — научно-этический скандал 1913 года, вызванный разгромной рецензией пражского ученого П. Зандера на работу ученика Альфреда Вебера А. Зальца. Оскорбленный обвинениями в плагиате, Зальц попросил у Макса Вебера место в издававшемся им журнале «Архив социальной науки и социальной политики» для развернутого ответа. Вебер не только пошел навстречу молодому исследователю, но и добавил к его антикритике пространную редакционную статью, в которой обвинил представителя факультета юридических и государственных наук Пражского университета в ничем необоснованном доносительстве, грубо нарушающем академическую этику и просто правила приличия. В результате из обычной рецензии<sup>9</sup> на аспирантскую диссертацию вырос целый публичный скандал, получивший известность как «Вебер против пражского юридического факультета»!

Другим общественно заметным случаем стал конфликт Вебера с прессой, стоивший ему шансов на реализацию крайне амбициозного исследовательского проекта по изучению журналистской общественности, инициированного им самим на первом конгрессе Немецкого социологического общества во Франкфурте в октябре 1910 года (Вебер, 2022). Поводом для судебного процесса и последующего внутриуниверситетского разбирательства стало анонимное сообщение одной из дрезденских газет о том, что Вебер якобы из-за плохого самочувствия отказался от дуэли. Ученый потребовал от издания назвать автора публикации и его источник, поскольку редакционная тайна не может покрывать явную ложь,

---

8. Редкое исключение в этом отношении представляет протестантский теолог и либеральный политик Фридрих Науман. Судя по всему, Вебер был не способен к близким отношениям и настоящей дружбе, поскольку его патологическая готовность к полемике неизбежно приводила к разрыву с любым партнером. На этом конфликтогенном фоне взаимодействие с Науманом продолжалось в разные периоды жизни Вебера, и серьезного разрыва отношений, видимо, у них так и не произошло. При этом Вебер нередко позволял себе довольно резкие комментарии в адрес друга и соратника, которого он ценил не только как политического единомышленника, но и как человека, способного заниматься практической работой с удивительной теплотой и спокойствием, а главное — идти на компромиссы. Именно на это был не способен сам Вебер, не пропускавший возможности устроить острые дебаты, вплоть до перехода на личности, угрожать своим выходом отовсюду и т. д. См.: Кильдюшов, 2021: 661.

9. При этом рецензии самого Вебера также отличались резко полемическим тоном даже в отношении уважаемых в научном сообществе коллег. Вебер в своих откликах эксплицитно ориентировался на обсуждаемый в их трудах предмет, а не личность и статус автора. В качестве примера см. его разгромную рецензию на сочинение крупного национал-эконома Луйо Brentano, которого он позже сменил на кафедре в Мюнхене: Вебер, 2020а: 204-216. Еще более уничтожающим был отзыв социолога на попытки некомпетентного вторжения в область науки о культуре со стороны наивно-сциентистски ориентированных представителей естественных наук: Вебер, 2020б.

оскорбляющую его личную честь. В ходе суда ему удалось добиться огласки имен как редактора, так и информанта, однако отношения с прессой были окончательно испорчены: ее представители обоснованно увидели в данном деле угрозу сложившимся практикам журналистики. А поскольку источником оскорбляющего достоинства Вебера слуха оказался приват-доцент журналистики Гейдельбергского университета А. Кох, данный скандал быстро перекинулся и на академическое сообщество, в результате чего два преподавателя были лишены *venia legendi*<sup>10</sup>.

На основании материалов различных скандалов выдающиеся исследователи веберовского наследия М. Райнер Лепсиус и В. Моммзен пришли к выводу, что для классика социологии был характерен агрессивно-провокационный стиль: он всегда стремился максимально раздуть конфликт, подчеркнуть его моральное измерение, сделать скандал достоянием общественности, спровоцировать противника на обвинение в оскорблении, запустить процедуру в рамках комиссии по академической этике, а в идеале — заманить оппонента в суд (MWG II/7: 6).

По мнению В. Шлюхтера, на часто непримиримый тон Вебера в полемике в значительной мере повлияла та — абсолютно несправедливая, на его взгляд — критика, с которой столкнулись его прорывные статьи о протестантизме (Schluchter, 2020: 171). Таким образом, работы, впоследствии принесшие ученому статус основателя социологии как научной дисциплины и навсегда вошедшие в ее канон<sup>11</sup>, первоначально встретили довольно холодную реакцию со стороны академического сообщества. Взглянем на полемическую ситуацию с «Первой антикритикой» (Weber, 1910a), написанной Вебером в ответ на отзыв одного из его коллег — историка Феликса Рахфала, опубликовавшего в научно-популярном издании целый цикл из пяти частей под названием «Кальвинизм и протестантизм» (Rachfahl, 1909).

В примечаниях к «Предварительному замечанию» к Собранию сочинений по социологии религии, составленному самим Вебером в 1920 году, он из обширной критической литературы в связи с «Протестантской этикой» выделяет именно вышеупомянутую пространную критику Ф. Рахфала и свою первую ответную антикритику, а также вторую критику того же автора (Rachfahl, 1910) и свою вторую антикритику в ответ на нее (Weber, 1910b). При этом он сразу поясняет свое скептическое отношение к данному эпическому по масштабам и по затраченной энергии интеллектуальному агону периода 1909–1910 годов: «Я не включил в настоящее издание ничего из моей довольно бесплодной полемики с Рахфалем —

---

10. Помимо сплетника Коха, позже права преподавания лишился и философ А. Руте, который позволил себе инвективы в адрес семьи Веберов: сначала он оскорбил Марианну Вебер, а затем, получив жесткий ответ от Макса Вебера, распространял конспирологические теории о его влиянии на философский факультет в Гейдельберге. Причем, по его данным, Вебер состоял на службе у крупного еврейского издания *Frankfurter Zeitung*.

11. Согласно опросу, проведенному в 1997 году Международной социологической ассоциацией среди своих членов, «Протестантская этика» заняла почетное 4-е место в списке книг, оказавших наибольшее влияние на их профессиональное становление. Причем на первой позиции оказался веберовский же посмертный комpendиум «Хозяйство и общество». См.: Ионин, 2016: 10.

весьма мною ценимым ученым, который в данном случае вышел за пределы своей компетенции; я ограничился (очень немногочисленными) цитатами из моей антикритики, вставками и замечаниями, которые, как мне представляется, должны в дальнейшем устранить все возможные недоразумения» (Вебер, 2006б: 51-52).

Еще более уничижительным было отношение Вебера к критическим замечаниям со стороны философа Карла Фишера: он даже опубликовал их в 1907 году в своем журнале «Архив социальной науки и социальной политики» (Fisher, 1907), предварив фразой об ошибочном понимании рецензентом веберовской концепции генезиса капиталистического духа (Fisher, 1908a). Как и позже в случае с Рахфалем, на повторную реплику Фишера (Fisher, 1908b) Вебер ответил повторными антикритическими замечаниями (Weber, 1908). Всего четыре антикритики заняли 85 напечатанных мелким шрифтом страниц «Архива», что вполне соизмеримо со 164 нормальными страницами самих статей о протестантизме — почти 75% их объема. Однако заметна разница в отношении Вебера к двум критикам: в версии 1920 года Фишер вообще не упоминается, Рахфаль же лишь однажды, вместе с приведенным выше издевательским замечанием про «недоразумения». Между тем являвшийся признанным специалистом по нидерландской революции Рахфаль<sup>12</sup> своими фактологическими экскурсами публично поставил под сомнение то, насколько Вебер владел историческим материалом по кальвинистской Реформации! Для такого прирожденного полемиста это было сродни объявлению войны, поэтому он сразу переходит на личности<sup>13</sup>...

При этом как минимум часть вопросов Рахфаля сохраняет релевантность до сих пор — прежде всего с учетом не слишком терминологически и стилистически удачной конструкции «Протестантской этики». Несмотря на допустимую между коллегами дружескую иронию, общая тональность рецензии была вполне деловой, ориентированной на предметное обсуждение, но никак не «издевательской». В целом Рахфаль просил Вебера более отчетливо прояснить ключевые аспекты его тезиса, указав на ряд проблемных моментов, например, неконвенциональное употребление понятий вроде «дух», «аскеза» и др.

В мировом вебероведении отмечалось, насколько глубоко его затронула критика Рахфаля (Hennis, 1996: 48). В последующем переводе первой антикритики содержится множество нелестных эпитетов, которыми Вебер характеризует коллегу, осмелившегося бросить ему столь дерзкий интеллектуальный вызов: «Кто действительно читал наши статьи...», «критики типа Рахфаля», «Но что это за “историк”...», «То, что историк не способен различать...», «Если историк позволяет себе...». Саму полемику с Рахфалем он именуется не иначе как «бессодержательной и странной», его контрдоводы — «искусственной и намеренной путаницей»,

12. См.: Rachfahl, 1898; 1906-1924.

13. По мнению одного из биографов Вебера, своим, далеким от научного, тоном тот пытался спровоцировать Рахфаля на дуэль: Каубе, 2016: 394. Когда конфликт Вебера с экономистом Бернхардом Хармсом из Килия чуть не дошел до дуэли (на саблях!), Рахфаль не преминул отметить, что при последующем отказе от вызова Вебер грубо нарушил правила проведения поединков (Там же: 395).

созданной посредством «чисто словесной “критики”». Некоторые замечания Рахфала являются для него лишь «классическим свидетельством его полной некомпетентности» и т. д.

Вебер явно раздраженно твердит, что критик просто не понял его метод и аргумент, что на все его мнимые возражения даны ответы в самой «Протестантской этике», что в своей «Антикритике» он вынужден повторяться и т. д. В качестве арбитра он призывает читателя, предлагая тому после «критики» Рахфала непредвзято перечитать сами веберовские статьи о «духе» капитализма. Причем делает это неоднократно, видимо, осознавая всю малореалистичность такого рода ожиданий даже от лояльной ему аудитории. В заключение Вебер сетует на «издевательский тон» своего критика и на его «нежелание понимать». В его глазах Рахфаль воплощает «недобрый профессорский тип», из-за которого на столь неплодотворную полемику пришлось отвести так много места в «Архиве». Вебер завершает свою отповедь своеобразным дисквалифицирующим приговором историку, явно вышедшему за пределы своих базовых компетенций: он заверяет публику в том, что из-за такого рода критики ему не придется поменять в своих работах ни одного слова...

Стоит ли говорить, что непропорциональная эмоциональность и повышенная конфликтность, даже склочность, автора классических работ о ценностной нейтральности научного труда как минимум проблематизирует значимость научно-этических принципов, сформулированных им в методологических сочинениях, для его собственной практики как ученого и публичной фигуры. Парадоксальным — лишь на первый взгляд — образом резкая полемика Вебера и его современников заняла достойное место в истории социальной науки и стала хрестоматийной для реконструкции рецепции. В конце 60-х в знаменитом двухтомнике под редакцией Й. Винкельмана были собраны все критики и антикритики, включая и отклики Рахфала (Weber, 1968). Судя по всему, более детальное ознакомление социологов второй половины XX века с полемическим стилем основателя дисциплины не только не помешало возрождению веберизма, но даже способствовало росту интереса к наследию страстного классика. Теперь такая возможность появляется и у русского читателя.

## Литература

- Вебер М. (2020б). «Энергетические» теории культуры / Пер. с нем. О. В. Кильдюшов // Социология власти. Т. 32. № 4. С. 180-203.
- Вебер М. (2022). Деловой отчет Немецкого социологического общества / Пер. с нем. О. В. Кильдюшов // Социологическое обозрение. Т. 21. № 2. С. 131-148.
- Вебер М. (2006а). Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН.
- Вебер М. (2006б). Предварительное замечание // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН. С. 51-52.

- Вебер М.* (2020a). Теория предельной полезности и «основной психофизический закон» / Пер. с нем. О. В. Кильдюшов // Социология власти. Т. 32. № 4. С. 204-216.
- Дмитриев Т. А.* (2017). Русская революция как опытное опровержение социализма: версия Макса Вебера // Социологическое обозрение. Т. 16. № 3. С. 90-91.
- Ионин Л. Г.* (2016). Вступительная статья редактора русского издания // *Вебер М.* (2016–2019) Хозяйство и общество: Очерки понимающей социологии. В 4 т. Т. 1. Социология. М.: ИД ВШЭ.
- Ионин Л. Г.* (2022). Драма жизни Макса Вебера. М.: Дело.
- Каубе Ю.* (2016). Макс Вебер: жизнь на рубеже эпох. М.: Дело.
- Кильдюшов О. В.* (2021). Макс Вебер и политическая теология Фридриха Наумана // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. Т. 21. № 4.
- Филиппов А. Ф.* (2020). Макс Вебер в научной полемике. К публикации новых переводов // Социология власти. Т. 32. № 4. С. 167-179.
- Штраус Л.* (2007). Естественное право и история. М.: Водолей.
- Шумпетер Й. А.* (2001). История экономического анализа. В 3 т. / Под ред. В. С. Автономова Т. 3. СПб.: Экономическая школа.
- Aschenbrenner W.* (1917). Die volkswirtschaftlichen Lehrstühle der Universität München // Allgemeine Rundschau. Nr. 38 vom 22 September.
- Fischer H. K.* (1907). Kritische Beiträge zu Prof. M. Webers Abhandlung: „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 25. Band, 1. Heft. S. 232–242.
- Fischer H. K.* (1908). Protestantische Ethik und „Geist des Kapitalismus“: Replik auf Herrn Prof. Max Webers Gegenkritik // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 26. Band, 1. Heft. S. 270–274.
- Hennis W.* (1996). Max Webers Wissenschaft vom Menschen: neue Studien zur Biographie des Werks. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Leichter K.* (1963). Max Weber als Lehrer und Politiker // Max Weber zum Gedächtnis: Materialien und Dokumente zur Bewertung von Werk und Persönlichkeit, hrsg. von R. König und J. Winckelmann. — Köln und Opladen: Westdeutscher Verlag. S. 125-142.
- Max Weber-Gesamtausgabe (2016). Band I/13: Hochschulwesen und Wissenschaftspolitik. Schriften und Reden 1895–1920 / Hrsg. v. M. Rainer Lepsius u. Wolfgang Schluchter in Zus.-Arb. m. Heide-Marie Lauterer u. Anne Munding. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Max Weber-Gesamtausgabe (1988). Band I/16: Zur Neuordnung Deutschlands. Schriften und Reden 1918–1920 / Hrsg. v. Wolfgang J. Mommsen, in Zus.-Arb. m. Wolfgang Schwentker. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Max Weber-Gesamtausgabe (2012). Band II/10: Briefe 1918–1920 / Hrsg. v. Gerd Krumeich u. M. Rainer Lepsius, in Zus.-Arb. m. Uta Hinz, Sybille Oßwald-Bargende u. Manfred Schön. Tübingen: Mohr Siebeck.



- Max Weber-Gesamtausgabe (1998). Band II/7: Briefe 1911–1912 / Hrsg. v. M. Rainer Lepsius u. Wolfgang J. Mommsen, unter Mitarb. v. Birgit Rudhard u. Manfred Schön. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Rachfahl F.* (1898). Margaretha von Parma, Statthalterin der Niederlande (1559–1567). München/Leipzig: Oldenbourg.
- Rachfahl F.* (1906-1924). Wilhelm von Oranien und der niederländische Aufstand. Bände 1-3. Halle/Haag: Niemeyer/Nijhoff.
- Rachfahl F.* (1909). Calvinismus und Kapitalismus // Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik. № 39-43.
- Rachfahl F.* (1910). Nochmals Calvinismus und Kapitalismus // Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik. № 22-25.
- Schluchter W.* (2020). Mit Max Weber. — Tübingen: Mohr Siebeck.
- Somary F.* (1994). Erinnerungen eines politischen Meteorologen, München: Matthes & Seitz.
- Weber M.* (1910a). Antikritisches zum „Geist“ des Kapitalismus // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Band 30. Heft 1. S. 176–202.
- Weber M.* (1910b). Antikritisches Schlusswort zum „Geist“ des Kapitalismus // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Band 31. S. 554–599.
- Weber M.* (1908). Bemerkungen zu der vorstehenden „Replik“ // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 26. Band, 1. Heft. S. 275–283.
- Weber M.* (1985). Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Hrsg. von Johannes Winckelmann. 6. Aufl. — Tübingen: Mohr Siebeck.
- Weber M.* (1907). Kritische Bemerkungen zu den vorstehenden „Kritischen Beiträgen“ // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 25. Band, 1. Heft. S. 243–249.
- Weber M.* (1968). Die protestantische Ethik II. Kritiken und Antikritiken. Eine Aufsatzsammlung. Hrsg. von Johannes Winckelmann. Hamburg: Siebenstern Taschenbuch Verlag.

## Between the Ethos of Science and the “Vice Squad”: Max Weber as Polemicist

*Oleg Kildyushov*

Research Fellow, Centre for Fundamental Sociology, National Research University — Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya Str., 20, Moscow, Russian Federation 101000 E-mail: kildyushov@mail.ru

The article deals with the uniquely specific public profile of Max Weber, who, on the one hand, entered the history of social thought as a staunch supporter of the value-free scientific work, and on the other hand, was a passionate polemicist ready to cause a public scandal even for a minor occasion. At the outset, Weber's ambivalent understanding of the ethos of modern science as a methodically-controlled search for objective knowledge of the world at the edge of the scientist's self-denial and free from the influence of extra-scientific motives is pointed out. In so doing, the paradoxical combination in Weber's anthropology of science of the imperatives of



analytical sobriety and passionate loyalty to one's "daemon" is recorded. It has been argued that his ambivalence was a specific trait of the classicist of German and world sociology, combining his titanic personality with the extremes of a scholarly hermit and a world celebrity with a reputation for unbalanced scandals. Following then are the judgments about the eminent social thinker made by representatives of opposing political currents, both right-wing conservatives and left-wing extremists. On the basis of a number of high-profile scandals that became known to the scientific and general public in early-20th century Germany, the mechanism of Weber's involvement in conflicts with various opponents at the personal and institutional level is demonstrated. The practical significance for Weber himself of his scientific-theoretical and methodological principles, which became canonical for the self-understanding of the modern scholarly profession, is questioned. Finally, the passionate controversy surrounding Weber's famous work *Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism* is analyzed, reconstructed on the example of historian F. Raphael's critique and the response of Weber's *First Anticritique*.

Keywords: Max Weber, science as a profession/vocation, scientist ethos, value neutrality, public sphere, scandals, scientific controversy

## References

- Aschenbrenner W. (1917) Die volkswirtschaftlichen Lehrstühle der Universität München. *Allgemeine Rundschau*, no 38, 22 September.
- Dmitriev T. A. (2017) Russkaya revolyutsiya kak opytnoye oproverzheniye sotsializma: versiya Maksa Webera [The Russian Revolution as an Experimental Refutation of Socialism: Max Weber's Version]. *Russian Sociological Review*, vol. 16, no 3, pp. 90-91.
- Filippov A. F. (2020) Maks Weber v nauchnoy polemike. K publikatsii novykh perevodov [Max Weber in scientific controversy. To the publication of new translations]. *Sociology of power*, vol. 32, no 4, pp. 167-179.
- Fischer H. K. (1907) Kritische Beiträge zu Prof. M. Webers Abhandlung: „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“. *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, 25 Band, 1 Heft, pp. 232-242.
- Fischer H. K. (1908) Protestantische Ethik und „Geist des Kapitalismus“: Replik auf Herrn Prof. Max Webers Gegenkritik. *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, 26 Band, 1 Heft, pp. 270-274.
- Hennis W. (1996) *Max Webers Wissenschaft vom Menschen: neue Studien zur Biographie des Werks*, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Ionin L. G. (2016) Vstupitel'naya stat'ya redaktora russkogo izdaniya. Weber M. (2016-2019) Khozyaystvo i obshchestvo: Ocherki ponimayushchey sotsiologii. [Introductory article by the editor of the Russian edition. Weber M. (2016-2019) Economy and society: Essays on understanding sociology]. In 4 vols. Vol. 1. *Sociology*, Moscow: ID HSE.
- Ionin L. G. (2022) Drama zhizni Maksa Webera [The drama of the life of Max Weber], Moscow: Delo.
- Kaube Yu. (2016) Maks Weber: zhizn' na rubezhe epokh [Max Weber: life at the turn of the eras], Moscow: Delo.
- Kildyushov O. V. (2021) Maks Weber i politicheskaya teologiya Fridrikha Naumana [Max Weber and the political theology of Friedrich Naumann]. *Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia*. Series: Sociology, vol. 21, no 4.
- Leichter K. (1963) Max Weber als Lehrer und Politiker. *Max Weber zum Gedächtnis: Materialien und Dokumente zur Bewertung von Werk und Persönlichkeit*. hrsg. von R. König und J. Winkelmann, Köln und Opladen: Westdeutscher Verlag, pp. 125-142.
- Max Weber-Gesamtausgabe (2016) Band I/13: *Hochschulwesen und Wissenschaftspolitik. Schriften und Reden 1895-1920*. Hrsg. v. M. Rainer Lepsius u. Wolfgang Schluchter in Zus.-Arb. m. Heide-Marie Lauterer u. Anne Munding, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Max Weber-Gesamtausgabe (1988) Band I/16: *Zur Neuordnung Deutschlands. Schriften und Reden 1918-1920*. Hrsg. v. Wolfgang J. Mommsen, in Zus.-Arb. m. Wolfgang Schwentker, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Max Weber-Gesamtausgabe (2012) Band II/10: *Briefe 1918-1920*. Hrsg. v. Gerd Krumeich u. M. Rainer Lepsius, in Zus.-Arb. m. Uta Hinz, Sybille Oßwald-Bargende u. Manfred Schön, Tübingen: Mohr Siebeck.

- Max Weber-Gesamtausgabe (1998) Band II/7: *Briefe 1911–1912*. Hrsg. v. M. Rainer Lepsius u. Wolfgang J. Mommsen, unter Mitarb. v. Birgit Rudhard u. Manfred Schön, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Rachfahl F. (1898). *Margaretha von Parma, Statthalterin der Niederlande (1559–1567)*. München/Leipzig: Oldenbourg.
- Rachfahl F. (1906-1924). *Wilhelm von Oranien und der niederländische Aufstand*. Bände 1-3. Halle/ Haag: Niemeyer/Nijhoff.
- Rachfahl F. (1909) Calvinismus und Kapitalismus. *Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik*, no 39-43.
- Rachfahl F. (1910) Nochmals Calvinismus und Kapitalismus. *Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik*, № 22-25.
- Schluchter W. (2020) *Mit Max Weber*, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Schumpeter J. A. (2001) Istoriya ekonomicheskogo analiza [History of economic analysis]. In 3 volumes. Ed. V. S. Avtonomova, vol. 3, Sankt-Petersburg: HSE.
- Somary F. (1994) *Erinnerungen eines politischen Meteorologen*, München: Matthes & Seitz.
- Weber M. (1907) Kritische Bemerkungen zu den vorstehenden „Kritischen Beiträgen“. *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, Band 25, Heft 1, pp. 243–249.
- Weber M. (1908) Bemerkungen zu der vorstehenden „Replik“. *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, Band 26, Heft 1, pp. 275–283.
- Weber M. (1910a) Antikritisches zum „Geist“ des Kapitalismus. *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, Band 30, Heft 1, pp. 176–202.
- Weber M. (1910b) Antikritisches Schlusswort zum „Geist“ des Kapitalismus. *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, Band 31, pp. 554–599.
- Weber M. (1968). *Die protestantische Ethik II. Kritiken und Antikritiken. Eine Aufsatzsammlung*. Hrsg. von Johannes Winckelmann. Hamburg: Siebenstern Taschenbuch Verlag.
- Weber M. (1985) *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*. Hrsg. von Johannes Winckelmann. 6. Aufl., Tübingen: Mohr Siebeck.
- Weber M. (2006a) Nauka kak prizvaniye i professiya [Science as a vocation and profession]. Weber M. Izbrannoye: Protestantskaya etika i dukh kapitalizma [Weber M. Selected: Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism], Moscow: ROSSPEN.
- Weber M. (2006b) Predvaritel'noye zamechaniye [Preliminary note] Weber M. Izbrannoye: Protestantskaya etika i dukh kapitalizma [Weber M. Selected: Protestant ethics and the spirit of capitalism], Moscow: ROSSPEN, pp. 51-52.
- Weber M. (2020a) Teoriya predel'noy poleznosti i «osnovnoy psikhofizicheskoy zakon» [The theory of marginal utility and the “basic psychophysical law”]. Per. from German: O.V. Kildyushov. *Sociology of power*, vol. 32, no 4, pp. 204-216.
- Weber M. (2020b) «Energeticheskiye» teorii kul'tury [“Energy” theories of culture]. Per. from German: O.V. Kildyushov. *Sociology of power*, vol. 32, no 4, pp. 180-203.
- Weber M. (2022) Delovoy otchet Nemetskogo sotsiologicheskogo obshchestva [Business Report of the German Sociological Society]. Per. from German: O.V. Kildyushov. *Russian Sociological Review*, vol. 21, no 2, pp. 131-148.

# Первая антикритика на «Дух капитализма»<sup>1</sup>

Макс Вебер

Олег Кильдюшов (переводчик)

Научный сотрудник, Центр фундаментальной социологии,  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».  
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000.  
E-mail: kildyushov@mail.ru

Полемическая статья классика социологии Макса Вебера в жанре «антикритики» содержит его ответ на цикл критических публикаций крупного немецкого историка Феликса Рахфалья. Будучи специалистом по истории Нидерландской революции второй половины 16 века, тот написал пять статей под общим названием «Кальвинизм и протестантизм», в которых попытался опровергнуть взгляды М. Вебера на генезис капитализма из духа пуританской трудовой этики. В довольно резкой по тону реплике Вебер в свою очередь пытается продемонстрировать читателю всю несостоятельность критики Рахфалья. В целом он оценивает возникшую дискуссию как недобросовестную со стороны оппонента и потому малосодержательную с точки зрения самого предмета — культурного значения хозяйственной этики протестантизма для возникновения капиталистической экономики современного типа. Он обвиняет Рахфалья в намеренном искажении как собственного аргумента, так и взглядов его друга и коллеги, выдающегося теолога и историка церкви Э. Трельча. Пытаясь защитить свои тезисы, выдвинутые в статьях из цикла «Протестантская этика и дух капитализма», Вебер риторически выбирает крайне агрессивный тон, допуская при этом ряд оскорбительных эпитетов в адрес признанного в своей области специалиста. Его общая стратегия в полемике направлена на дискредитацию самого критикующего историка как типичного представителя смежной научной дисциплины, явно вышедшего за пределы своих компетенций. При этом Вебер возлагает роль объективного арбитра в данном споре на своего читателя, призывая того к непредвзятому восприятию выдвинутых аргументов. Завершается реплика утверждением Вебера о том, что пространная критика Рахфалья бьет мимо цели настолько, что ему нет необходимости менять в своих статьях ни единого слова.

*Ключевые слова.* Макс Вебер, Феликс Рахфаль, Реформация, кальвинизм, протестантская трудовая этика, внутримирская аскеза, дух капитализма

Профессор Рахфаль опубликовал в *Internationale Wochenschrift* критический отзыв<sup>2</sup> на мои статьи о протестантской этике и «духе» капитализма в «Архиве соци-

---

1. Перевод с нем. выполнен с оригинала: Weber M. (1910). Antikritisches zum "Geist" des Kapitalismus // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Band 30. Heft 1. S. 176–202.

Публикация подготовлена в рамках исследовательского проекта «Стратегии нормализации повседневности в чрезвычайных ситуациях: инерция аффекта и открытость вызовам» Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ в 2023 году в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

2. *Rachfahl F.* (1909). Calvinismus und Kapitalismus // Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik. № 39–43.

альных наук и социальной политики»<sup>3</sup> и на статью в «Христианском мире»<sup>4</sup>. Поскольку эта критика также была (мимоходом) направлена и на моего друга Эрнста Трёлча, он ответил на нее в том же издании. Ответить там же было бы наиболее естественным и целесообразным и для меня. К сожалению, это оказалось невозможным, несмотря на все мое уважение к издателю, заслужившему признание в качестве руководителя «Немецкой литературной газеты»<sup>5</sup>. Основанное Фридрихом Альтхофом<sup>6</sup> издание *Internationale Wochenschrift* имеет некоторые редакционные правила, следовать которым у меня нет никакого желания. Конечно, я мог бы проигнорировать это сейчас, когда речь идет о чистой полемике, — точно так же, как это делает Э. Трёлч. Однако редакция предложила ответить на эту статью, направленную почти исключительно против *меня*, только моему коллеге Трёлчу. Конечно, я мог бы проигнорировать и эту явную неучтивость. Однако мой критик взял за привычку рассматривать нас коллективно — это удобно ему тем, что действительные или мнимые заблуждения одного выглядят как затрагивающие и второго. С другой стороны, он не мог не воспользоваться тем, чтобы в зависимости от ситуации противопоставлять нас друг другу. В результате коллективный «Вебер-Трёлч», который оказывается носителем взглядов обоих, предстает явно запутавшимся во внутренних противоречиях. Ввиду подобной — кстати, не слишком честной — практики мне кажется целесообразным пойти своим путем. Помимо прочего, это позволит категорически снять с себя ответственность за то, что я *не говорил*. Никаких сомнений, что так поступил бы и Трёлч. Позволю себе добавить следующее. Кто действительно читал наши статьи, тот знает, что Трёлчу для достижения *его* целей и построений *вовсе не нужны мои* результаты (кроме, пожалуй, не затронутой Рахфалем статьи о понятии «секта»). Его результаты могут быть верными, а мои — ошибочными, и наоборот. Он разрабатывает теорию исторического процесса создания *социальных учений* христианских церквей, я же пока

3. Weber M. (1905). Die protestantische Ethik und der "Geist" des Kapitalismus I. Das Problem // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 20. Band. 1. Heft. S. 1–54; Weber M. (1905). Die protestantische Ethik und der "Geist" des Kapitalismus II. Die Berufsidee des asketischen Protestantismus // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 21. Band. 1. Heft. S. 1–110; Weber M. (1907). Kritische Bemerkungen zu den vorstehenden "Kritischen Beiträgen" // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 25. Band. 1. Heft. S. 243–249; Weber M. (1908). Bemerkungen zu der vorstehenden "Replik" // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 26. Band. 1. Heft. S. 275–283.

4. Weber M. (1906). "Kirchen" und "Sekten" in Nordamerika. Eine kirchen- und sozialpolitische Skizze 1 // Die Christliche Welt. 20. Jahrgang. № 24. S. 558–562; Weber M. (1906). "Kirchen" und "Sekten" in Nordamerika. Eine kirchen- und sozialpolitische Skizze 2 // Die Christliche Welt. 20. Jahrgang. № 25. S. 577–583. Эту процитированную Трёлчем статью Рахфалу оказалось удобнее полностью проигнорировать. — *Здесь и далее примечания самого М. Вебера, если не указано иначе.*

5. Издававший с 1907 по 1910 год еженедельник *Internationale Wochenschrift*, Пауль Хиннеберг с 1892 года редактировал журнал научных рецензий *Deutsche Literaturzeitung*, ставший престижным изданием под его руководством. — *Прим. переводчика.*

6. Чиновник прусского министерства духовных дел и преподавания, оказавший в конце XIX — начале XX века значительное влияние на развитие немецких университетов. Несмотря на то что Альтхоф в ранге директора возглавлял лишь один из министерских департаментов, он считался тайным министром культов Пруссии и часто именовался «Бисмарком немецкой университетской системы». — *Прим. переводчика.*

лишь попытался прояснить определенный феномен *ведения жизни* в его изначальной, т. е. религиозной обусловленности. Если он иногда и ссылается на мои рассуждения<sup>7</sup>, то (кроме не упоминавшегося здесь случая «Церквей и сект») всегда речь идет о пересечениях его результатов с моими, являющихся периферийными для его проблемы. И мне кажется уместным настаивать здесь на том, что у нас нет вообще никакой коллективной работы. Мои доклады об этих вещах, с которыми я выступал в коллегии еще 12 лет назад<sup>8</sup>, были вызваны вовсе не «Капитализмом» Зомбарта<sup>9</sup>. Вполне возможно, что Трёлча, который абсолютно своим путем уже давно подошел к интересующей *его* теме, могли побудить к пересмотру некоторых экономико-социологических аспектов как другие авторы, так и отдельные замечания в моих статьях. Однако это не «заимствование» некой «теории» одним автором у другого, а просто *следствие того*, что каждый обнаруживающий эти взаимосвязи вынужденно приходит к схожему способу рассмотрения. Впрочем, это привело к тому, что результаты Трёлча в широко взятой проблемной области хорошо *дополняют* то, что я рассматривал в качестве своей проблемы. Если бы я продолжал свою статью, то мне пришлось бы рассмотреть и значительную часть того, что было проработано сейчас Трёлчем. Не будучи теологом, конечно, я никогда не смог бы сделать это так, как сделал Трёлч. Но насколько позволяют мне судить мои собственные предыдущие исследования, у меня нет никакого серьезного основания опровергать изложенное им. Менее всего таковым могут служить те банальности, которые Рахфаль ставит ему в упрек. Однако научную *ответственность* за сказанное по поводу критики, конечно, Трёлч должен нести исключительно сам — как и я за мои суждения. Данное замечание о статье Трёлча я сделал только для того, чтобы критики типа Рахфалья не вычитали из этого разделения ответственности еще и *неприятия* мною выводов Трёлча. Теперь к делу.

Перекосы в полемике Рахфалья начинаются уже с первого слова названия его статьи: «Кальвинизм и капитализм». С самого первого упоминания кальвинизма<sup>10</sup>, в отличие от католицизма и лютеранства, рассматривается у меня совершенно

7. При этом у Трёлча в некоторых (совершенно нерелевантных для *его* темы) моментах порой встречаются формулировки, не совсем соответствующие моим статьям, что почти неизбежно при таком, вынужденно сильно укороченном пересказе чужих взглядов. Пожинать плоды этого обстоятельства я предоставил невольной мелочности «исторической» критики: у Рахфалья *ни разу не возникло* сомнений на сей счет.

8. Вероятно, речь идет о лекциях Вебера по национальной экономике, прочитанных им в Гейдельберге в 1897–1898 годах. — *Прим. переводчика.*

9. Weber M. (1905). Protestantische Ethik I. S. 19, Anm. 1. Далее цитируется как PE I. — *Прим. переводчика.*

10. PE I. S. 10, 50, 52. На S. 10 подчеркивается, что по крайней мере прямая взаимосвязь между «аскезой» и буржуазным накоплением богатства в аскетических сектах (квакеры, меннониты) часто «еще более поразительна», чем в случае кальвинизма. Почему далее в первую очередь и детально рассматривался кальвинизм (PE II, S. 5–38), подробно объясняется на S. 36: поскольку с точки зрения стимулов к *методическому* ведению жизни, содержащихся в его догматике, именно он кажется мне наиболее подходящим в качестве «самого последовательного» антитезиса к (католицизму и) лютеранству. Поэтому за 33 страницами, на которых анализируется кальвинизм, сразу следует столько же (S. 39–72) об остальных аскетических деноминациях.

равноправно с теми *сектами* или похожими на секты образованиями внутри церкви, которые в заголовке второй главы моей статьи и внутри нее всегда объединяются под общим понятием «аскетический протестантизм». Далее Рахфаль максимально широко полемизирует против применения *названия* «аскеза» к тому способу ведения жизни, который я пытался анализировать, и это единственное, что безусловно сохраняется до конца его странной «критики». При этом в начале своей статьи он сам не избежал того, чтобы использовать то же выражение для того же предмета<sup>11</sup>. Хотя мы еще увидим, что его несколько не тревожит постоянное применение в его «критике» различных мерок для себя самого и для других. А ведь в конце концов есть разница, говорит ли всегда одно и то же конструирующий прошлое историк-«специалист» или дилетант! Для него аскеза есть «бегство от мира», и поскольку пуритане (в широком смысле, включающем все «аскетические» секты) не являлись монахами или схожими созерцателями, то все, что я называю «*внутримировой аскезой*», само по себе оказывается «ошибочным» понятием, предполагающим родство с католической аскезой. Мне трудно представить более бессмысленную полемику, чем спор о *названиях*. Для меня приемлемо любое *название*, лишь бы оно соответствовало предмету. Но пока мы не решили, каждый раз *ad hoc* придумывать совершенно новые слова или, по примеру химии или философии Авенариуса, оперировать буквенными обозначениями<sup>12</sup>, нам приходится для еще не имеющего обозначения предмета брать наиболее близкие и характеризующие слова традиционного языка, беспокоясь лишь об однозначности *определения*. На мой взгляд, я достаточным образом оговорил это применительно к «*внутримировой аскезе*». Что касается самого предмета, т. е. внутреннего родства с католической аскезой, то лишь мельком напомним о Ричле, который далеко зашел с отождествлением аскетических черт широко им понимаемого «*пиетизма*» с «*католическими*» остатками в протестантизме. В этом отношении я пытался прямо его *ограничить*. И когда современники Реформации (вроде Себастиана Франка, которого по праву цитирует Трёлч) считали прямо-таки одним из ее достижений то, что отныне не только монахи, но и *каждый* человек на протяжении всей жизни должен стать своего рода монахом, по сути, они имели в виду то же самое, что и я. Так что они тоже заслуживают от Рахфала серьезного предупреждения о необходимости все же обратить внимание на то, что монах не может иметь жены, зарабатывать деньги и вообще не вправе цепляться за материальные вещи этого мира, т. е. о том, что подобное выражение крайне неуместно. Однако нынче каждый знает, что когда мы *сегодня* говорим об «аскезе», хоть специально

---

11. Его отличие от меня заключается исключительно в том, что слово «аскетический» взято у него в кавычки. (О цитате здесь речь не идет.)

12. Здесь не обсуждается, насколько было бы полезным первое. Я считаю заслугой Георга Фридриха Кнаппа то, что он имел мужество сделать это в своем труде всеобъемлющим образом. Точно так же бросается в глаза однозначность, достигнутая, например, в книге Альфреда Вебера о размещении промышленности. Лишь у наших читателей это даже сегодня слишком часто вызывает резкое отторжение. Профессорское тщеславие принципиально препятствует принятию любого обозначения, предложенного кем-то *другим*.



в сексуальной сфере или вообще в сфере «жизненных наслаждений», хоть в сфере эстетических или иных «неэтических» ценностей, то под этим мы имеем в виду именно ведение жизни, которого требовал весь пуританизм (и не только кальвинизм, а прежде всего баптизм и близкие к нему течения). Иными словами, это жизненный идеал, который действительно был общим по «духу» тем протестантским направлениям с *рациональными* формами упорядоченной монашеской аскезы в качестве *методики* жизни. И с той лишь разницей, что «аскеза» должна была протекать *внутри* мирских порядков: семьи, трудовой жизни, социальной общности, и, следовательно, модифицировалась в соответствии с их материальными требованиями. Я показал это применительно к различным сферам жизни, даже лежащим вне сферы «приобретательства», пусть и кратко, но все же настолько недвусмысленно, что могу здесь не повторяться<sup>13</sup>. С другой стороны, я упоминал, что именно аскеза монастырей позволила им достичь столь значительных экономических достижений. Я мог бы добавить к этому, что рационально-аскетические секты или сектоподобные образования Средневековья при всей уникальности своего буржуазного поведения довольно регулярно проявляли вполне схожие черты, что и баптистские секты позднее или соответствующая категория русских сект вплоть до последнего времени. То, что «старый протестантизм» *в целом* заимствовал аскезу «у средневекового католицизма» (S. 1263), является одним из многочисленных нелепых утверждений, приписываемых Рахфалем мне. У меня можно подробно прочесть о том, насколько резко и безжалостно эти проанализированные мною черты были атакованы со стороны лютеровского, англиканского и прочего *не аскетического* старого протестантизма как «синергизм» — точно так же, как критиковалось и монашество в католицизме. Протестантизм был очень далек от формирования единого отношения к аскезе. Пока я не нахожу лучшего слова, чем «аскетический», для *общей* характеристики рассмотренных мною групп, отличных от лютеранства, англиканства и более ослабленных вариантов реформированной конфессии. Хотя *имеются общие* различия. И развитие подобных «аскетических» групп является таким же продуктом процессов, объединенных названием «Реформация», как и «гнезиолютеранство», «дух» которого, видит Бог,

---

13. Рахфаль говорит: «Богатому предпринимателю, о котором Вебер рассказывает, что того с трудом удавалось сподвигнуть на употребление выписанных врачом устриц, каждый вполне может противопоставить более чем одного капиталиста, в капиталистическом духе которого *в обычном смысле* (NB!) невозможно сомневаться, но который готов поглощать деликатесных моллюсков. Можно подумать, что торговцы моллюсками при внезапном проникновении в сферу капиталистического духа аскетических жизненных привычек должны были закрывать свои лавки из-за недостатка клиентов» (S. 1249). Насколько же невысок уровень этой «критики»! Меня не заботит, что такое «обычный смысл» «капиталистического духа», как и то, потребляют ли большую часть устриц жители квартала Тиргартен, «аграрии», лейтенанты или иные молодые люди с тугими кошельками. В совершенно мимоходом приведенном примере у меня речь шла об иллюстрации для очень специфического внутреннего отношения к заработку и владению: чувства «ответственности» в отношении собственного состояния, которое отрицает «иррациональные» расходы, рассматривая их как своего рода «прегрешение» (что невозможно объяснить обычной жадностью, о которой говорит Рахфаль). Это *аскетическое* сомнение относительно *наслаждения* как такового.



отличался от лютеровского периода 1520-х годов ничуть не меньше, чем и интересующий меня кальвинизм от личных взглядов самого Кальвина. *Я сам это прямо подчеркиваю*<sup>14</sup> и несмотря на это или даже именно поэтому почти всегда получаю поучения от Рахфаля. Но что это за «историк», у которого некое явление (пури-танская деловая этика) явно огромной значимости не вписывается в *понятийную* схему, выведенную им для хода развития протестантской этики, каким этот ход *должен* был бы быть. Именно об этом в действительности идет речь, и все потому, что это явление не «этическое» и *антипатичное*? Он заваливает данное явление (заметьте, *само* явление, а не его *отображение* у меня) *ценностными суждениями* вроде: «искажение» и т.п. Что это за методист, который выдвигает столь изумительный тезис<sup>15</sup>: в Англии существование капиталистического духа следует «понимать и без религиозного момента», хотя «мы ни в коем случае не можем отрицать его влияния». То есть некий «момент» был каузально значим для определенной взаимосвязи, тем не менее «историк» может игнорировать его как нерелевантный, пытаясь «познать» подобную взаимосвязь. Вместо «познать» мы вполне можем сказать здесь «конструировать»: ведь у Рахфаля, вместе со страстной приверженностью своей дисциплине и неприятием не принадлежащих к его цеху «конструкторов истории», мы встречаем «идеальный тип» частого для историков случая, когда те используют *не проясненные*, нагруженные предрассудками и оценками *понятия*, не замечая этого.

Официально утвержденного понятия аскезы не существует<sup>16</sup>. Само собой разумеется, что это понятие можно применять гораздо шире, чем сделал я, сравнивая названный мною «*внутримировой*» аскезой способ ведения жизни с «*внемировой*» аскезой монашества. Я сам признаю это и в случае католической аскезы *отчетливо* говорю о *рационализированной* аскезе (максимально реализованной в ордене иезуитов), *в отличие* от, например, «бессистемного бегства от мира» у католиков и простой эмоциональной «аскезе» у протестантов. Таким образом, мое понятие явно *отличается* от понятия Трельча, что при наличии доброй воли заметит каждый — даже Рахфаль. Он и «увидел». Он даже говорит о «*фундаментальных*» противоречиях между нашими подходами<sup>17</sup>. Тем не менее, где ему выгодно, он носится с «трельчевски-веберовским» понятием аскезы, собирая для его опровержения сколь угодно отличные между собой понятия аскезы у других авторов, которые могут соответствовать *их* целям, но не моим. То, что «рационализация» жизни может рассматриваться с очень разных аспектов и что тем самым под нею могут пониматься сильно разные вещи, прямо указывается в начале моих рассуждений

14. PE II, S. 6, Anm. 5.

15. Как всегда, здесь Рахфалью важно не просто высказать прямо противоположное для эффективной полемики. Стремление к победе ради победы может привести к появлению на S. 1320 «этической максимы ведения жизни» у Фуггеров, которая на S. 1250 и 1255 вообще не может называться «этической», поскольку Рахфаль находит это предосудительным.

16. Ср. рассуждения Рахфаля на S. 1260–1261.

17. См. на S. 1257. Правда, он говорит это довольно нелепо: речь идет просто о *терминологической* разнице, а не о предметной.

и с избытком подчеркивается позже. Тем не менее (или скорее именно поэтому) Рахфаль и выдвигает это мне в качестве «возражения» — хотя и здесь, как ему точно известно, было сказано достаточно ясно, *что* я понимаю под этим в *своих* целях. Признаюсь, что считаю такого рода дискуссию довольно бессодержательной и странной: автор, который живет за счет путаницы, искусственно и намеренно созданной посредством чисто *словесной* «критики», выражает опасение, что мое ясно созданное *ad hoc* словоупотребление может «размыть основополагающие различия». Попробуйте вычленив позитивное из размытых речей Рахфалья и спросите себя: где *здесь* можно найти «основополагающие» различия?

Однако вернемся к исходной точке. Совершенно произвольное ограничение Рахфалем темы до «кальвинизма» остается основополагающим для всей его аргументации против меня<sup>18</sup>. Сразу вся полемика сводится к этому, и в многочисленных местах статей повторяется подобное искажение объекта дискуссии, которое и делает вообще возможным единственный серьезный тезис, противопоставляемый им мне.

С этим тезисом нужно разобраться в первую очередь. Рахфаль убежден в выдающейся роли, которую играла «терпимость» в экономическом развитии. Однако в этом отношении, как знает каждый читатель моих статей, я никак ему не противоречу. Более того, я сам упоминал эту взаимосвязь, хотя она до сих пор не рассматривалась мною в деталях. Однако важный для меня пункт заключается здесь в следующем: совершенно точно, что любого рода терпимость в тогдашних обстоятельствах способствовала тому, чтобы «населить землю», импортировать иностранные *состояния* и ремесла, — но меня *эта* сторона дела не интересует. Для развития того *габитуса*, который я крестил в качестве «капиталистического духа», было очевидно значимо то, *кому* способствовала *терпимость* в конкретном случае. Если это были евреи или «аскетические» христианские деноминации, *тогда* она регулярно воздействовала в смысле расширения этого «духа» — но, конечно, это воздействие не было просто следствием «терпимости» как таковой. И наконец, в целом *степень* «терпимости» была очень далека от того, чтобы определять степень развития «капиталистического духа». Ведь, наоборот, известно, что *неполная* терпимость, а именно систематическое исключение конфессиональных меньшинств из числа равноправных в государственном и социальном отношении, очень часто могла особенно *мощно* направить деклассированных на путь экономической деятельности. И этому соответствует то, что «церкви под крестом» кажутся *наиболее* активными в этом смысле. Именно этот факт настойчиво подчеркивает процитированный Рахфалем сэр Уильям Петти<sup>19</sup>: иноверцы повсюду держали в своих руках «бизнес», особенно в контролируемых римской церковью землях, где «три четверти» бизнеса принадлежало еретикам. Но теперь — и это дополнение придает ситуации лишь оттенки — мы оказываемся перед тем *фак-*

18. Хотя при передаче содержания моей статьи (S. 1228) и совершенно случайно позже он не мог обойти соответствующие рассуждения у меня.

19. *Sir William Petty* (1691). *Political Arithmetick*. London. P. 26.

том, что лишенные прав или просто оттесненные *католические* меньшинства нигде не проявили этого в каком-нибудь несомненном виде, не проявили до сих пор<sup>20</sup>. Более того, ничего подобного также нигде не обнаруживалось у лютеранских меньшинств в таком же виде, как у «аскетических» деноминаций. С другой стороны, не только находящиеся в меньшинстве, но также и явно *господствующие* кальвинистские, квакерские и баптистские слои демонстрировали свойства, и так характерные для их экономического поведения и способа ведения жизни. А там, где «аскетические» протестантские равноправно конкурировали с другими христианскими деноминациями, правилом было, что именно первые определяли деловую жизнь. Еще у последнего поколения в классическом старом промышленном районе Вуппертала способ ведения жизни «реформированных» принципиально отличался от нерепформированных, причем *именно в важнейших чертах*.

Деловая активность «человека призвания», связанная с тем, что я *ad hoc* назвал «аскетическим принуждением к бережливости», была очень заметна у реформированных и пиетистских кругов (а пиетизм имеет реформационное происхождение), несмотря на всю выдуманную Рахфалем *ad hoc* «общехристианскую нравственность». В тех местах это может подтвердить каждый местный житель. Какой бы явно несовершенной ни была моя попытка, все содержание подобного ведения жизни все же соответствовало сказанному мною настолько, что представители этих кругов неоднократно заверяли меня, что специфическое своеобразие собственной традиции они полностью поняли лишь благодаря этому изложению. И в ответ на противопоставление Рахфалем лютеранского Гамбурга как места, где «капиталистический дух» расцвел и цветет *без* «аскетически»-протестантских влияний, мне сейчас будет достаточно сослаться на дружеское письмо гамбургского коллеги Адальберта Валя. По его данным, в отличие от уже изученной им ситуации в реформированном Базеле с его бережливо сохраняемым богатством старого патрициата, в Гамбурге крайне показательным образом *ни одно* из значимых сегодня семейных состояний, в том числе считающихся унаследованными, не появилось ранее XVII века. За *одним-единственным* исключением — и то оно относится к известной *реформированной* семье.

Однако достаточно подобных частных случаев, которые я мог бы дополнить многими другими личными сообщениями о положении баптистов и т. д. Мой важнейший «тезис» о значимости «призвания» содержит новизну лишь в способе формулировки, что я хотел бы особенно подчеркнуть. С точки зрения самого предмета, я думаю, все останется так, как сказал все тот же выдающийся современник — сэр Уильям Петти. Рахфаль знает его хорошо и признает в качестве авторитета, когда надеется использовать против меня его высказывания об экономической благодати терпимости. Как мы видим, делает он это очень превратным образом, поскольку всего двумя страницами ранее Петти пишет о причинах, по которым терпимость (именно в Голландии, которую он там обсуждает) оказалась столь бла-

---

20. Экономическая реакция у поляков (которую я сам упоминаю) имеет *национальную* основу.

готовворной для «бизнеса»: «Теперь я перехожу к первой политике голландцев, т. е. свободе совести. Несогласные такого рода (имеются в виду участники голландской борьбы за свободу, в первую очередь кальвинисты) были по большей части трезво мыслящие и терпеливые люди, которые верили, что их труд и промыслы являются их долгом перед Богом (какими ошибочными ни были бы их мнения)»<sup>21</sup>. Мне почти кажется, что это место очень хорошо подходит для того, чтобы объявить один из основных тезисов моей статьи своеобразным — к сожалению, невольным — *плагиатом* из Петти<sup>22</sup>, так что я могу предоставить читателю выбирать между авторитетом Петти и авторитетом современных критиков, а сам выхожу из этой дискуссии<sup>23</sup>.

---

21. Шекспир как тонкий знаток пуританства очень хорошо отдавал себе отчет, каким образом карикатурные «средние классы» у него выстраивают свою «программу» на принципе: «Ибо написано: труд есть ваше призвание».

22. Со времени моих занятий торговой историей я больше не держал книги Петти в руках и поэтому благодарен г-ну коллеге Герману Леви за то, что он обратил мое внимание на это, уже забытое мною место.

23. Я могу лишь отметить, что когда противопоставлял строго *нетерпимую* кальвинистскую Новую Англию, *видимо*, менее развитому в плане «капиталистического духа» *терпимому* Род-Айленду, то делал это явно в том смысле, что, *несмотря* на нетерпимость там и терпимость *здесь*, это различие было скорее в пользу *нетерпимой* области (с гораздо менее благоприятной природой), *поскольку* в ней в гораздо большей мере царил «дух» протестантской аскезы. В остальном это было высказано совершенно мимоходом в форме предположения, которое я мог бы подтвердить еще большим числом ссылок, чем привел. Однако это не значило бы притязания на «доказательство» — что я охотно неоднократно признаю.

Чтобы закончить здесь с некоторыми *фактическими* «возражениями» Рахфаля, замечу, что внутреннее развитие Пенсильвании, трагические конфликты этики квакеров с «миром», как и длившаяся там вплоть до рубежа настоящего времени интенсивность жизни, смешанная из аскезы и рациональности — которая сама по себе может подтвердить *любые* старые добрые описания европейских путешественников и остатки которой даже сегодня еще можно почувствовать, — видимо, совершенно незнакомы ему с точки зрения их роли в формировании стиля жизни и понимании призвания, как и история и все еще остаточно сохраняющееся своеобразие жителей Новой Англии. Это касается и Нью-Йорка, хотя Манхэттен как центр эмиграции с давнего времени сильно уступал с точки зрения церковности Бруклину. Я отсылаю к своей (конечно, *очень* эскизной) статье в «Христианском мире». Сельскохозяйственный «капитализм» епископальных южных штатов в релевантных для *моей* проблемы моментах *ничем* не отличался от «капиталистического» хозяйства древности. Помимо чтения известной, отчасти превосходной литературы, я получил достаточно отчетливое наглядное представление об этом, будучи у родственников из южных Штатов, живущих в старых домах плантаторов. Их дух резко противоречит «духу» пуританских янки, представляя собой «сеньориальное» смешение жалкой бестолковости и аристократической показушности в хозяйстве и жизни, господствующими над этим, специфически *небуржуазным* обществом. Как известно, на волоске висело, попадет ли Новая Англия в руки многочисленных придворных фаворитов, которые стремились обогатиться путем колониальных земельных концессий. И если бы там не возникли хлопковые плантации, никто не знает, какую физиогномику тогда приобрела бы Северная Америка — т. е. без поселений отцов-основателей, южнее которых затем возникли поселения баптистов, голландцев и квакеров. В любом случае не ту, что была сформирована «духом» этих слоев и в очень значимых остатках сохранялась вплоть до настоящего времени. Нет никаких сомнений и никогда мною не оспаривалось то, что «капиталистическое» и даже ремесленное развитие в Новой Англии XVII века — это не просто анахронизм, оно даже географически практически невозможно что тогда, что сейчас. *Именно поэтому* я сам называю *тем не менее* возникшие там после прибытия пуритан зачатки ремесленного развития примечательными. Поскольку в начале моей работы я сразу называю *Франклина* репрезентантом «капиталисти-

ческого духа», ведь каждый знает, что этот мелкий печатник все же был *очень* далек от того, чтобы стать «крупным капиталистом» à la Фуггер, и поскольку я достаточно отчетливо указываю на важный для моей аргументации факт, что подобный «дух» развивался в области, чье хозяйство пребывало еще в детских штанишках полунатурального хозяйства (PE I, S. 33), — то даже критик вроде Рахфала не должен был выдвигать эти и схожие вещи в качестве «возражений» мне. То, что историк не способен различать экономические условия для существования ремесла в *колониальной* стране, какой была Новая Англия, и в европейском *Средневековье* — как показывает насмешливое, а на мой взгляд, просто смехотворное замечание на S. 1294 — вот это плохо. Однако еще хуже, что он просто ничего не знает о значении гугенотов и их влиянии на развитие промышленности во Франции.

Я должен уже второй раз «признать», что кальвинизм в венгерской Пусте в XVII и XVIII веках не смог создать никакого капиталистического хозяйства, но все же подчеркну, что *даже там* проявились типичные побочные эффекты (в характере выбора профессий у реформированных), что можно прочесть в самом начале моей статьи.

Применительно к собственно близкой ему, крайне запутанной и интересной проблеме своеобразия голландского капитализма и внутреннего отношения населения к нему Рахфаль — чей глаз всегда направлен лишь на обладателей больших состояний, *ничем* существенно не отличающихся от существовавших во все времена и во всех странах — выдвигает лишь совершенно поверхностные аргументы. И хотя с этими проблемами я действительно еще далеко не разобрался, сомневаюсь, что он знает больше меня, в чем так любезно уверяет. Однако все, что он противопоставляет мне относительно арминианства купечества, я *сам* говорил, ссылаясь на те же самые явления из истории искусства, которые Рахфаль привлекает против меня. Но здесь затронута лишь внешняя периферия проблемы, которой я *вовсе не собирался* касаться. Можно упомянуть лишь один момент, который ведет вглубь — своеобразие голландского «духа» тогда, конечно, определялось в том числе и тем, что отвоевание новой земли у моря было одним из самых рентабельных предприятий. Говоря с некоторым преувеличением, здесь города по большей части создавали равнину из самих себя. Наряду с немного подозрительным для всякого пуританства колониальным предприятием, капитал в значительной мере вкладывался в создание крестьянских хозяйств. Это должно было иметь и имело последствия для «физиогномии» страны и во внутреннем смысле, особенно в том, что уже вполне достаточно зафиксированная тенденция «аскетического» протестантизма была сломлена с точки зрения его воздействия в важных, хотя и *не* во всех пунктах. Понятно, что эти крестьяне, оказавшие влияние даже на рынок искусства, поскольку вкладывали в картины суммы (и часто со спекулятивными целями), которые тогда представляли небольшое состояние, — сильно отличались не только от традиционного для континента крестьянства, но и от крестьян Новой Англии. Обратное воздействие полусломленного пуританства Голландии на ее искусство является очень запутанной проблемой, и брошенные мною замечания на сей счет ни на что не претендуют. Тем не менее: хотя различие между Рубенсом и Рембрандтом (можно вспомнить по поводу Рембрандта карикатурно преувеличенную, но характерную с точки зрения основного настроения строчку Бодлера) — как и их способ ведения жизни, *вовсе не тождественны* различию их среды, все же это не было случайностью.

Если историк позволяет себе говорить о Дордрехтских декретах как о чем-то исторически почти нерелевантном для Голландии, то это можно объяснить лишь тем, что он понятия не имеет о современных голландских церквях и политической истории. Конечно, неокальвинизм в Голландии — явление, находящее под сильным современным влиянием. Однако если посмотреть на то, как все еще основополагающая для всей нынешней политической констелляции в Голландии Кёйперова схизма, начавшаяся с чисто «пуританского» требования сохранения «чистоты» общины Вечери Господней, на всех своих стадиях развития опиралась на правовые понятия и верования, созданные до, во время и после Дордрехтского синода, то подобное утверждение покажется, мягко говоря, странным. Здесь достаточно вспомнить лишь отдельные опубликованные акты по голландской истории церковного воспитания того времени и громадный авторитет «*sacrosancta synodus*», который столетиями упоминался его сторонниками с великим почтением. То, что образование неокальвинистской церкви началось именно в «неверующем» Амстердаме, вновь может быть «случайностью», как и, согласно Рахфалу, переход Амстердама на сторону кальвинистской партии против Йохана ван Олденбарневелта. Однако эта уникальная современная «случайность» все же может дать многим повод поразмыслить о том, не были ли причины тех событий 1618 года чем-то большим, чем *простой* текущей кон-

Делаю это тем охотнее, поскольку должен признаться еще и в том, что и такой автор, как Грун ван Принстерер (при всем прочем уважении к Рахфалю, все же он гораздо более основательно и оригинально занимается своеобразием своей голландской родины), иногда говорил, по сути, то же самое о причинах возникновения богатства там (соотношение относительно меньшего потребления к заработанному), что и я.

Продолжение этого места у Петти проясняет еще один более отдаленный момент, превращенный Рахфалем в предмет очередной контрверзы против меня, которыми так переполнена его статья: «Эти люди (т. е. пуританские несогласные), верящие в Справедливость Божию и видящие, как иные наиболее распущенные персоны более других наслаждаются миром и его главными благами, никогда не решатся принадлежать к той же религии и тому же призванию, что и сластолюбцы или чрезмерно богатые и властные, обладающие, по их мнению, своей долей в этом мире».

Это *не те* постоянно возвращающиеся во *все* эпохи коммерческой или колониальной экспансии очень крупные концессионеры и монополисты — экономические «сверхчеловеки». Это их *противники* — существенно более широкие слои *поднимающихся* буржуазных *средних сословий*, выступавшие типичными носителями пуританского понимания жизни, что я, со своей стороны, довольно отчетливо подчеркнул. И хотя Рахфаль это знает (поскольку цитирует), он выдвигает это в качестве «возражения»<sup>24</sup> там, где ему удобно. Однако замечания Петти вместе с ранее процитированным местом очевидно подходят для того, чтобы иллюстрировать (якобы!) столь парадоксальный настрой «протестантской аскезы» (в моем смысле слова). Они вполне соответствуют тому, что я заимствовал из других источников и прежде всего из принципов аскетических деноминаций, сохраняющихся у их продолжателей. Богатство как таковое в качестве источника жажды наслаждения и власти есть не только одна из опасностей, но *самая* главная из них. Стремление к благам этого мира предосудительно само по себе, о чем говорит и Петти —

---

стелляцией различных «клик» в *vroedschapd* (городском магистрате), случавшейся повсюду. Аскетизм в миру *почти всегда и повсюду* находится в *меньшинстве*: в Голландии тогда и при Кёйпере, в Англии при Кромвеле, в Пенсильвании уже непосредственно после Пенна, во Франции с самого начала, как и во времена пиетизма у нас. Как можно заключить по замечаниям Рахфаля, ему вряд ли известна роль, которую пуританское несогласие играло в Англии еще во время агитации Кобдена против зерновых пошлин.

Интересное явление, которое можно было бы наблюдать почти во всех странах в отношениях между *классами* и религиозной жизнью — это постепенное изменение изначально (часто даже включая баптизм) *вертикально* проходящего через социальную стратификацию раскола на *горизонтальный*: здесь вступает в свои права материалистическое «толкование» истории.

24. Впрочем, когда Рахфаль в конце концов еще спрашивает (S. 1320), откуда я *знаю*, что процитированное им (вслед за мной) высказывание Якоба Фуггера есть выражение *иной* (нежели пуританская) «этики призвания», то я отвечаю: каждый, кто знает, как в подобном случае высказался бы пуританин, так же знает, что тот — причем с полной субъективной истинностью — высказался бы *иначе*. Уже на S. 1324 и сам Рахфаль знает (не спрашивая, откуда), что этика призвания кальвинистов *отличалась* от фуггеровского стиля жизни тем, что для них выгода и богатство «были *лишь* факторами вторичной значимости», как было сказано и у меня.



я мог бы сколько угодно увеличить количество цитат. И тем не менее Петти сам выставляет именно «industry» в качестве особо важного источника формирования богатства у этих элементов, столь *враждебно* настроенных к богатым и богатству, подчеркивая их преобладание среди предпринимателей. И вновь делает это таким же образом, что и я. Как легко разрешается этот мнимый парадокс, вспомнит каждый, кто читал мои статьи. Рахфаль тоже знает это, хотя форма, в которой он воспроизводит мое изложение, более чем странная<sup>25</sup>. Ведь он хорошо знаком с моими подробными рассуждениями о довольно своеобразном отношении пуритан к приобретательству — нам, сегодняшним людям, трудно представить такое без подозрения в ханжестве и самообмане, но это не особенно «сложно» для людей, вынужденных находить мосты между посюсторонним и потусторонним. Он также знает про строгое *отделение* мною габитуса, выраженного в цитируемом Зомбартом высказывании Фуггера<sup>26</sup>. Точно так же он помнит мое упоминание о том, что весь *тип*, воплощенный в великих итальянских, немецких, английских, голландских и заморских финансистах, является именно типом, который существовал, как я вынужденно неоднократно повторяю<sup>27</sup>, *всю известную нам историю* и который в своем своеобразии *совершенно не характерен* «раннему капитализму» Нового времени. Скорее он находится в решительном противоречии с теми чертами в его облике, обнаружение которых было *мне* особенно дорого, поскольку они легко теряются из виду, хотя относятся к самым важным. Это точное знание моих взглядов не мешает Рахфалю выдвигать в качестве аргумента против меня тот известный уже со времен фараонов тип капиталиста, у которого отсутствует *черта*, названная мною «аскетической». У меня с большой ясностью прописано, что я занимаюсь не им, т. е. *не тем* хорошо известным мне и каждому типом «жаждущих наживы» торговцев в Голландии<sup>28</sup>, которые «ради выгоды поплыли бы в ад, даже если у них при этом загорелись паруса» — *кстати, я сам процитировал это*<sup>29</sup>. Тем не менее мне ставится вопрос: не является ли *это* «подлинным» капиталистическим духом? Читателю моих статей я могу не отвечать. То же самое происходит, когда рвение Рахфаля направляется на поиски всевозможных областей мощного развития капиталистического хозяйства, в которых «протестантская аскеза» не играла (действительно или якобы) решающей роли или, напротив, играла, но в результате этого не возникло бы крупного капиталистического хозяйства. О подробностях этой критики уже говорилось выше. Хотя я уже довольно прозрачно, причем неодно-

25. S. 1231: «Впрочем, как признает Вебер, в конечном счете кальвинистская этика проявила себя как сила, которая хотя и желала добра, но сотворила зло, <...> богатство со всеми своими искушениями». Сказать об авторе, что он «признает» один из своих тезисов, цитируемых почти дословно, это как минимум совершенно неверное описание ситуации для читателя.

26. PE I, S. 15.

27. Kritische Bemerkungen, S. 247, Anm. 10. Рахфаль знает и эту статью, поскольку сам иногда цитирует ее.

28. Об арминианстве в ведущих слоях крупной голландской буржуазии я говорил, ссылаясь на Бускен Хуэта. Это поразительно, когда Рахфаль, который не может сообщить об этом *ничего* нового, думает, что может заявлять, будто я «не знаю» об этом.

29. PE I, S. 20.



кратно, высказался об этом принципиальным образом, я еще раз охотно затрону эту тему. Вероятно, здесь мы действительно достигли точки, где попытка противопоставления двух позиций кажется возможной.

Я скажу — *кажется*, поскольку в действительности Раффаль, к сожалению, *вообще не имеет* собственной точки зрения, с которой можно было бы спорить. У него натыкаешься на туман. Напрасно спрашивать о том, какую, собственно, цель преследует последовательная стрельба по мне на протяжении пяти статей, если он сам в результате заявляет, что за затронутыми мною религиозными моментами, «конечно, следует признать большую значимость для развития экономических отношений» (S. 1349). Правда, говорится далее, «только не в том направлении» или — что далее вновь признается — *если* и в том направлении, то по крайней мере не столь исключительно, как это показано у меня. Я при всем желании не мог бы сказать, где именно. Помимо этого, говорится, что к способствующим экономическому развитию элементам и даже к его движущим силам «*несомненно*, относится этика призвания Реформации». При этом утверждается (ошибочным образом), что я первым проанализировал ее в этом ее значении. Его единственное существование возражение касается широко критикуемого им в своих статьях *обозначения* этой этики призвания как «аскетической», о чем уже была речь выше. Я мог бы удовлетвориться этими уступками господина цензора, поскольку сам весьма настойчиво, насколько это вообще возможно, подчеркивал, что не рассчитываю на *большее*, чем на допущение наличия этой «*движущей силы*».

В какой мере она, в сравнении с другими компонентами, фактически воздействовала в соответствующем ей направлении, я действительно не пытался выяснить в «*деталях*» (как этого хотел бы Раффаль). Это также является важной задачей, однако реализуемой лишь применительно к отдельным странам и едва ли легко разрешимой<sup>30</sup>. Наконец, требование Раффалья заняться здесь своего рода статистикой я считаю довольно безобидным. Однако каждый знает по собственному опыту, какие немислимые трудности поджидают любую попытку *измерить* на еще существующем объекте значимость определенного, несомненно наличествующего и действенного «мировоззренческого» мотива<sup>31</sup>. *Моей* задачей — а я описал ее столь отчетливо, как это только возможно — было прежде всего выявить не *где* и как сильно, а *как*, через какие духовные мотивационные связи было запущено то действие определенных форм протестантской веры, которое они оказали, в т.ч. по мнению Раффалья. Конечно, их воздействие было *проиллюстрировано* на некотором числе примеров, но в остальном само оно предполагалось в качестве уже

30. Поскольку в первую очередь меня интересует, конечно, вовсе не распределение *капитала*.

31. Weber M. (1908). Zur Psychophysik der industriellen Arbeit // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 27. Band, 3. Heft. S. 730–770; Weber M. (1909). Zur Psychophysik der industriellen Arbeit // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 28. Band, 1. Heft. S. 219–277; Weber M. (1909). Zur Psychophysik der industriellen Arbeit // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 3. Heft, S. 719–761; Weber M. (1909). Zur Psychophysik der industriellen Arbeit // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 29. Band, 2. Heft. S. 513–542. См. мои замечания в 28-м томе этого журнала на S. 263 (28. Band) и в 29-м томе на S. 529.

известного, поскольку не было никакой «новостью». Как и я, Рахфаль предполагает это в качестве *несомненно известного*<sup>32</sup> — о чем говорит, впрочем, довольно странная (и не только для неисторика) фраза<sup>33</sup>. В ней утверждается, что сначала необходимо привести доказательства существования этих взаимосвязей, хотя относительно них нет «никаких сомнений», как мы слышали. Далее Рахфаль заявляет, что я «упростил» себе решение *этой* задачи, которую, как уже говорилось, вовсе не ставил перед собой. Следует подождать, не возникнет ли и у других читателей впечатление, что я *действительно* слишком «просто» подошел к полученному мною результату. С учетом столь претенциозных замечаний тогда снова спрашивается: какую «тяжелую» задачу, по его словам, не решенную мною, поставил, в свою очередь, перед собой этот притязательный критик? При этом об отношении хотя бы между кальвинизмом (о котором только и говорит Рахфаль) и капитализмом во всех его пяти статьях нет ничего, *совершенно ничего* — или скажите, пожалуйста: что? — чего не оказалось бы в моей статье. Поэтому я все же позволю себе воздержаться от реплики. С точки зрения самого предмета мне, конечно, не остается ничего иного, кроме настоятельного обращения ко всем интересующимся *после «критики»* Рахфала вновь обратиться к моим статьям и *полностью* их прочитать. В этом заключается моя нескромная просьба. Тогда они обнаружат, что:

1) инсинуацию о том, что можно вывести капиталистическую *систему хозяйства* из религиозных мотивов вообще или из этики призвания протестантизма, названного мною «аскетическим», я *сам* называю в своей статье «глупой» и при этом самым подробным образом подчеркиваю, прямо в обоснование моей постановки вопроса, что *как* не существовало «капиталистического духа» без капиталистического *хозяйства* (Франклин), так и наоборот. Все это Рахфаль цитирует сам, но, если ему удобно, тут же забывает и затем *выдвигает* в качестве «возражения» мне<sup>34</sup>;

2) мне не приходило в голову *отождествлять* подобные, на мой взгляд, изначально религиозно обусловленные мотивы «аскетического характера», с капиталистическим «духом». Я рассматриваю их лишь как *один* конститутивный элемент этого «духа» (как и *других* современных культурных самобытностей) *наряду с другими*. В конечном счете Рахфаль сам признает это правильным после бесконечных вокруг да около;

3) я достаточно однозначно высказался об отношении так называемого «*инстинкта приобретательства*» к «капиталистическому духу», что замечания Ра-

---

32. «Не может быть никаких сомнений в том, что существуют внутренние связи между кальвинизмом и капитализмом».

33. И, конечно, им постоянно подчеркивается, что существовала «общехристианская» нравственность Реформации (в т.ч. и не- и антикальвинистская), которая сохранялась и далее.

34. Из появления «капиталистического духа» там, где для этого экономические условия (*тогда* еще) были столь неблагоприятными, я заключил, что, господствовавшая в Новой Англии и Пенсильвании методика ведения жизни сама по себе содержала приводные механизмы для этого. То, что подобное ядро затем потребует необходимых «условий», чтобы началось содействие (*со-действие!*) возникновению экономической «системы хозяйства» — эту самоочевидность я хотя и *высказал* на всякий случай (PE-I, S. 53, 54; PE-II, S. 110), но, как я вижу, ошибочно считал избыточной.

фаля по этому вопросу суть лишь очередное доказательство того, что он *не склонен* вести полемические споры добросовестно, когда у высказываний противника допускается даже не максимально разумный смысл, а вообще *хоть какой-то* разумный смысл, или того, что он в момент написания своей «Критики» уже не помнил, что было сказано в критикуемой работе.

Остается незатронутым вопрос, следует ли крайне разнообразным психические состояния, которые могут лежать в основе стремления к деньгам и благам, вообще называть единым именем «*инстинкта приобретательства*», заимствованным у «психологии», которая в остальном давно устарела. Совершенно ненужным это понятие все же не является. Так называемый «инстинкт» встречается в колоссальных масштабах, причем *именно* в довольно *инстинктивной*, т. е. иррациональной, необузданной форме, на всех стадиях культурного развития и во всех возможных социальных слоях: у неаполитанского *barcajuolo*, античного и современного лавочника, «простодушного» мелкого тирольского трактирщика, «бедствующего» агрария или у африканского вождя. И напротив, в подобной наивно инстинктивной форме *не встречается* у «типа» пуританина или у такого строго «респектабельно» мыслящего мужа, как процитированный мною Бенджамин Франклин. В этом заключается один из наиболее артикулированных исходных моментов моего изложения, и я вправе ожидать, что по крайней мере это не выпадет из памяти того, кто пожелает его «критиковать». Повторю *еще раз*: где только начиналось крупное капиталистическое развитие (как в далекой древности, так и в наши дни), там возникал тот тип нечистоплотного *money-maker*, который обнаруживается при эксплуатации римских провинций точно так же, как и в захваченных колониях итальянских морских городов и охватывающих весь мир спекуляциях флорентийских «кредиторов», в плантациях рабовладельцев и золотых приисках во всех частях земли, как и в американских железных дорогах, практиках великих князей на Дальнем Востоке или в столь же охватывающих весь мир спекуляциях «империалистов» из Сити. Различие *здесь* в технических возможностях и средствах, а *не в психологии* выгоды. Впрочем, Рахфаль мог бы сэкономить на таких удивительных истинах, будто стремление «к счастью», «пользе», «удовольствию», «чести», «власти», «будущему потомков» и тому подобное всегда и повсюду входило и входит в анализ стремления к максимальной выгоде. Сложно найти того, кто это оспаривает<sup>35</sup>. Я упоминал подобные мотивы лишь тогда (но *отчетливо*)<sup>36</sup>, когда они по своему масштабу вступали в *напряже-*

35. Мне непонятно, где я якобы говорил об «*абсолютном*» господстве пуританизма в английской хозяйственной жизни. Борьба буржуазно-капиталистических средних классов велась на два фронта: она начинается против «*Squirearchy*» как совершенно отчетливая борьба «аскезы» против «веселой старой Англии», в эту борьбу вмешалась корона с помощью *book of sports*; с другой стороны, эта борьба против (в XVII веке придворных) монополистов и крупных финансистов (ср. известные сочинения «Долгого парламента» в этом направлении) — я должен был бы показать это в случае продолжения моих статей — опиралась на конкретную теорию «*justum pretium*», составлявшую протестантскую этику.

36. Ср., например: PE II, S. 98, Anm. 65.

ние с интересующей меня аскетической «этикой призвания». Столь же банально «верным» является развернутое выступление Рахфала в защиту того, что от всех подобных видов внутренних отношений к наживе существуют психологические переходы к тем, которыми занимался я. Или что этот «изолированно» *изображенный мною*<sup>37</sup> мотив в реальности «не выделяется в чистом виде» и чаще всего «комбинируется с другими», что он «даже сегодня» не исчерпан<sup>38</sup> и т. д. Это верно для всех мыслимых мотивов человеческого действия и не мешает никому при попытке заново выяснить *специфические* воздействия определенного мотива и проанализировать его в максимальной «изолированности» и внутренней последовательности. Если же кого-то интересует не вся эта психология, а лишь внешние формы хозяйственных систем, того я могу попросить не читать мои опыты, а также оставить это *на мое* усмотрение, если я хочу интересоваться именно этой душевной стороной современного хозяйственного развития, которой свойственны в пуританизме большие внутренние напряжения и конфликты между «призванием», «жизнью» (как мы сегодня охотно выражаемся), «этикой» в стадии уникального баланса, не существовавшего в таком виде ни до, ни после. Причем в области, где традиции Античности и Средневековья были иными и где сегодня существуют новые напряжения, которые — выходя далеко за пределы круга выхваченной мною сферы — выросли до культурных проблем первого ранга, характерных нашему «буржуазному» миру. Элементарно ошибочно, когда Рахфаль на голубом глазу — как и во всей его полемике, резко противоречащей его собственным, ранее процитированным признаниям, — в конце утверждает, что «этика призвания», присущая «аскетическим» направлениям протестантизма, была господствующей уже в Средневековье. При противопоставлении со Средневековьем для меня вовсе не являются определяющими такие, скорее внешние моменты, как отношение церковной доктрины к «ростовщичеству», что знает каждый читатель моей статьи. Впрочем, замечания Рахфала именно об этом относятся к классическим свидетельствам его полной некомпетентности в том, о чем, собственно, идет здесь речь. Послушаем его: «Если из-за запрета давать в долг под проценты капиталист действительно чувствовал себя настолько подавленным, что считал необходимым *успокаивать* свою совесть благочестивыми пожертвованиями, то разве это не доказывает именно то, что его *базовое мировоззрение* было антитрадиционалистским? Ведь *инстинкт приобретательства* был в нем столь мощным, что он даже не нуждался в средствах религиозной этики для

37. Только не так, как утверждается на S. 1249, будто он *выставлен* действующим в каждом или же в большинстве носителей «капиталистического духа абсолютной отдельно».

38. Даже Рахфало доподлинно известно, что я подробно пытался объяснить *исчезновение* подобной мотивационной взаимосвязи, действенной во времена расцвета аскетического протестантизма, ведь он полемизирует против моего способа объяснения. Так что это «даже сегодня» — очередной пример его способа «критики», нисколько не исключающей поразительной смены взглядов. Завершая картину, к этому прибавляется, что на S. 1324 он *сам противопоставляет* сегодняшней крупный капитализм кальвинистскому с точки зрения жизненного стиля, причем ровно в том смысле, в каком это сказано у меня, только иными *словами*.

ощущения стремления к зарабатыванию денег, как это было позже в случае протестантских “аскетов”...» (S. 1300)<sup>39</sup>. «Инстинкт приобретательства» всех тех дельцов и спекулянтов, которые зарабатывают миллионы, «рукавом прикасаясь к тюрьме», или «инстинкт приобретательства» у привыкшего к бесстыдству официанта в туристических центрах на Ривьере, привычно обсчитывающего гостей, еще менее нуждается в «этике» как «средстве». И если бы дело дошло до создания шкалы «инстинкта приобретательства», то пуританство совершенно точно оказалось бы не в ее верху, как и тот тип рационалиста по зарабатыванию денег, в качестве которого я упомянул Бенджамина Франклина<sup>40</sup>. Однако речь идет не об инстинктивной жадности к деньгам, счастью, *splendor familiae* и т. д. Все это вещи, которые для *серьезных* пуритан как раз менее важны, чем для других. И *несмотря* на всю отстраненность от мира, они становятся богатыми. Скорее речь идет о том, что «аскетический» протестантизм создает для капитализма еще и соответствующую «душу», душу «человека призвания», который *не нуждается* в тех средствах, что были у человека Средневековья, чтобы ощущать свое единство со своим занятием. Купец эпохи флорентийского раннего Ренессанса не был таким. Здесь не место для того, чтобы анализировать глубокую разорванность, возникавшую в наиболее значимых людях того времени — при всем избытке у них силы и мнимой целостности. Лишь одним из явлений, конечно, скорее лежащих на поверхности и вписывающихся в эту картину, оказываются подобные реституции «ростовщически» полученного богатства. Тем не менее оно вписывается в эту картину. Как и любой более или менее непредвзятый человек, я вижу в подобных «средствах успокоения» лишь один из многочисленных симптомов *напряжения* между «совестью» и «действием», несовместимости непреодоленного даже Лютером принципа “*Deo placere non potest*” и идеалов именно *всерьез* католически настроенных людей с «купеческим» стремлением к прибыли. А в бесконечных практических и теоретических «компромиссах»<sup>41</sup> — именно «компромиссы». Ошибочно, что такого рода деятельность во все времена схожим образом создает для себя свою «этику призвания», как утверждает Рахфаль и как это может показаться самоочевидным. Мои статьи как раз могут помочь понять, насколько данное (на Западе «историко-материалистической») представление —

---

39. Выделения в цитатах из статей Рахфала здесь и — укажем задним числом — ранее сделаны мною.

40. Зомбарт совершенно справедливо использует высказывание крупного предпринимателя Ратенау (в его «Размышлениях»): «еще ни разу не встречал действительно крупного бизнесмена и предпринимателя», «для которого зарабатывание было бы главным его призванием, и я даже утверждаю, что тот, кто ищет личной денежной выгоды, вообще не может быть крупным деловым человеком» (*Unternehmer*, S. 701). (Все это мог бы сказать и Франклин, несмотря на свою «Проповедь», и тем более пуритане. Обогащение является для них всех, — говоря словами Рахфала, — чем-то «акцессорным».)

41. Я привел примеры более грубые, чем «благочестивые пожертвования», которые вообще-то были распространены как минимум в той же мере именно на почве, например, кальвинизма и реформатства, только по *совершенно* иному, характерным образом иному мотивам!

тривиальную правоту которого, разумеется, не станет оспаривать никто, тем более я, — было *ограниченным* в ходе исторического развития<sup>42</sup>.

Подведем итоги: в моих рассуждениях речь идет об анализе одного определенного, конститутивного компонента *жизненного стиля*, который стоял у колыбели современного капитализма, создавая его вместе с многочисленными другими силами, а также об изучении его изменения и ослабления. Подобная попытка не может ставить себе задачу выявить то, что существовало во *все* времена и повсюду, где был капитализм, а скорее наоборот — *специфическое* в уникальном развитии<sup>43</sup>. Я однажды уже решительно отверг ответственность за то, что другие абсолютизируют религиозные моменты, которые я *отчетливо* и с максимальной настойчивостью назвал *отдельными* компонентами. Как и за то, что они отождествляют с «духом» капитализм *вообще* или даже *выводят* отсюда капитализм. Рахфаль не считает необходимым это учитывать, хотя знает об этом. Моя попытка может быть удачной или неудачной. Однако если историк не может противопоставить ей ничего лучшего, чем перечисление целого ряда *других* компонентов, которые — в чем никто не сомневается — во *все* времена сопровождали капиталистические экспансии, то он плохо отвечает интересам и задачам своей дисциплины: собственно, зачем интересоваться «историей», если та лишь утверждает, что в принципе «все уже было»?

Но достаточно об этом, выскажу лишь еще несколько замечаний об отношениях между «духом» капитализма и капиталистической *системой* хозяйства.

---

42. Я очень настойчиво подчеркивал, что в случае завершения моих статей, когда должно было бы проявиться обратное каузальное отношение, т. е. обусловленность религиозного экономическими отношениями, вероятно, меня точно так же обвинили бы в «капитуляции перед историческим материализмом», как сейчас обвиняют в «преувеличении влияния религиозных моментов». У Рахфала применительно к моему мнимому «тезису» даже встречается выражение «чудовищный», что, правда, противоречит тому, что он *присваивает себе* его содержание.

Мимоходом заметим: подобное влияние в *политической* области все же имеет совсем иное, более фундаментальное значение, нежели это кажется под впечатлением от лозунга «ничего-кроме-политиков» среди историков, которые под «крупными силами» понимают лишь большие батальоны, с которыми милосердный Бог обычно выходит на *поле боя*. Даже большие «силы» такого рода не смогли справиться, например, с выражением из Библии: «Почитай Бога больше, чем людей» — *пока* оно определяло веру решительных мужей, даже составлявших незначительное меньшинство, как пуритане, почти повсюду. Из-за него провалилась «культурная борьба» как в XVII, так и в XIX веке, и оба раза поражение имело последствия, непреодоленные на протяжении поколений. Разумеется, это вовсе не единственный фундамент политического индивидуализма (я полагаю, что это выражение в данном случае недвусмысленно). Однако то обстоятельство, что сегодняшнему политическому индивидуализму недостает и *должно* недоставать этого духа, а в Германии, благодаря среди прочего и лютеранству, отчасти *недоставало* издавна, отчасти имело лишь *пассивные* последствия, ответственно за горздо большее, чем могут подумать умные люди.

43. Почти невероятно, что Рахфаль тычет мне пальцем на «агональные стремления» как на пропущенный мною элемент понятия «дух» капитализма. Хотя я подчеркиваю, что сегодня они заняли место погасшего аскетического «духа». Сущность этих «агональных» стремлений очень хорошо иллюстрирует приведенный мною пример высказывания Рокфеллера на промышленной комиссии.



Вернер Зомбарт посвятил этой теме исследование, которое освобождает меня от подробного изложения в силу значительных, причем именно *методических* совпадений<sup>44</sup> во всех существенных моментах.

Понятие «капитализм» и тем более понятие «дух капитализма» суть лишь мысленно конструируемые «идеально-типические»<sup>45</sup> образования. Или они оба берутся абстрактно, когда в понятийной чистоте в них постоянно дистиллируется то же

---

44. Чисто терминологическим различием является то, что Зомбарт причисляет возникающие из «предметной» необходимости, из самой ситуации, типичные «тенденции» в осознанно целевом действии предпринимателей к «психологии» предпринимательства, тогда как я все такого рода каузальные компоненты называю «прагматическими» или «рациональными» (поскольку они выводимы из непосредственного средства достижения цели, т. е. из экономической конкуренции). При этом именно в изложении Зомбарта превосходно акцентируются важные моменты. Со своей стороны, у меня есть некоторые терминологические сомнения относительно применимости понятия «психология» к такого рода анализу действия. Например, когда говорят о «биржевой психологии», обычно думают прежде всего об «иррациональных» явлениях, рационально *не выводимых* из деловой ситуации.

По поводу собственно предмета к изложению Зомбарта, конечно, можно добавить еще множество пояснений и примеров. Например, о «прагматически» обусловленных пределах «калькулируемости». Случайно мне стали известны внутренние отношения крупнейшего бизнеса, выросшего из семейного концерна, который в трех торговых центрах Европы и двух заморских занимался почти всеми мыслимыми формами оптовой торговли. Отдельные его «филиалы» работали с *очень* высокой эффективностью — почти невероятно, насколько сильно они отличались с точки зрения количества и интенсивности труда. Их доход попадал в *общую* кассу, как в Средневековье, и был столь же различен, как их потребность в капитале. Более того, один из моих родственников, гениальнейший торговец, был сыт по горло работой в конторе и проживал в Париже, выезжая в случае необходимости туда, где случалось что-то важное. При этом достигавшая значительных сумм прибыль просто отправлялась в головную контору. Существовало лишь одно различие при ее разделе: двойной или простой частичные коэффициенты. Двойную долю получал шеф крупнейшего филиала, имевшего по-настоящему монструозную контору, и другой шеф, находившийся в специфически неприятном месте за океаном. А простую долю получали все остальные, в том числе обитавший в Париже «частично занятый» сотрудник. Распределение на основе более точного расчета было вполне возможным, но уже из-за *размера* прибыли называлось «неудобным», «мелочным» и «излишним». Напротив, считалось бы нарушением всех «деловых принципов» назначение более высокой зарплаты очень ценимому, близкому и почти незаменимому в делах родственнику шефов, который утратил свою гораздо меньшую долю во время кризиса из-за штрафов и теперь «служил» как простой «сотрудник» (прокурис). Хотя такую зарплату, превышающую обычный уровень, он мог бы получать и в *другом месте*. Но это было неприемлемым уже потому, что того же могли потребовать и другие сотрудники. Но самое главное — он не должен был «ожидать ничего иного». Ведь *его* жалование было частью *расходов* и потому определялось чисто экономическими, «калькулируемыми» аспектами. В отличие от «прибыли», оказавшейся за порогом балансовой черты. *Здесь* калькулируемость достигала своего предела, поскольку не была необходима «прагматически», т. е. для самого дела. *Подобные* явления, которых множество, могут рационально объясняться «сущностью» капитализма без всякой «психологии», с помощью категорий «средство» и «цель». Однако для *исторического* рассмотрения одного этого рационального выведения *недостаточно*, поскольку здесь элементы, вытекающие из хозяйственной системы как таковой, смешиваются с другими элементами, имеющими самое разнообразное происхождение. Так создается «дух», который одушевляет ее. В любом случае, «инстинкт приобретательства», «жажда прибыли» и т. п. в конечном счете *не являются* достаточными категориями для анализа «капиталистического духа», как бы ни формулировали это понятие. Именно Зомбарт очень верно это подчеркнул.

45. См. мою статью о понятии «идеальный тип». (Рус. перевод: Вебер М. (1990). «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс. С. 345–415).

самое, тогда второе понятие становится содержательно довольно пустым, почти превращаясь в чистую функцию первого. Или они берутся исторически, т. е. формируя «идеально-типические» мысленные образы специфических для определенной эпохи черт, отличных от других эпох. Тогда значимыми становятся именно те черты, что отсутствуют в подобных образованиях других эпох или присутствуют в специфически отличной степени. Применительно к «капитализму» древности как системе хозяйства я попытался сделать это в своей еще очень несовершенной статье «Аграрная история древности» (в «Словаре государственных наук»)<sup>46</sup>. В ней началось<sup>47</sup> изложение того, что я назвал «духом» современного капитализма, далее должны были последовать новые рассуждения, привнесенные эпохой Реформации.

А теперь вопрос: что может пониматься под «духом» капитализма в его отношении к самому «капитализму»? Что касается *самого* «капитализма», то им может считаться лишь определенная «система хозяйства», т. е. определенный вид «экономического» отношения к людям и материальным благам. Он заключается в использовании «капитала»; поведение внутри него анализируется нами «прагматически», т. е. путем выявления *средства*, «неизбежного» или «лучшего» в типической ситуации. Речь может идти о том, что было общим для подобных хозяйственных систем во все времена или же о специфике определенной исторической системы такого рода. У нас здесь речь идет о втором случае. Исторически данная форма «капитализма» может наполняться очень различными видами «духа». Она также может находиться — и чаще всего находится — в очень различных степенях «избирательного родства» с определенными его историческими типами. «Дух» может быть более или менее «соответствующим» «форме», а может и не быть совсем. Нет сомнения в том, что *степень* этого соответствия имеет последствия для хода исторического развития и что «форма» и «дух» стремятся балансировать друг друга. Как и в том, что, если сталкиваются друг с другом система и «дух» в особенно высокой «степени соответствия», начинается развитие проанализированной мною внутренне ненарушенной целостности такого рода.

---

46. Я изменил терминологию, поскольку ранее не был склонен называть «капиталистическими» более чем разрозненные явления античной экономики, вообще сомневаясь в возможности говорить об античном «капитализме». Сейчас я думаю об этом иначе, как и следует из статьи «Аграрная история древности» в третьем издании «Словаря государственных наук».

47. Я подчеркивал, что без окончания цикла оказался в ущербном положении, поскольку «мельком прочитавшие статьи могут посчитать их чем-то завершенным». Однако у «критика» нет права читать мельком. Даже небольшие наброски в журнале *Christliche Welt* продемонстрируют каждому, что поставленная в моих статьях в «Архиве» проблема намеренно отделена от *самого сложного* для понимания и «доказательства» момента, затрагивающего габитус. Таким образом, мощное влияние воспитания, дисциплины в сектах и т.п. — вплоть до рубежа настоящего времени — даже не было затронуто, а лишь обозначено в них. Рафаль подчеркивает значение *воспитания*, но здесь мало знать об особой роли *пиелистских* воспитательных принципов, чтобы судить о совершенно специфических влияниях «аскетического» протестантизма в духе представленного мною хода его развития.

В случае важного понятия «дух» капитализма Нового времени<sup>48</sup> речь идет о необычайно сложном историческом образовании. Как и в случае всех в высшем смысле «исторических» понятий, дать что-то вроде *дефиниции* этого понятия возможно не в начале, а в конце исследования, уже в качестве результата последовательно осуществленного синтеза. Я настойчиво подчеркивал это в начале моих статей. На старте подобного исследования можно лишь максимально грубо обозначить ради наглядности средство. В этом качестве я использовал пример Бенджамина Франклина как представителя еще наполовину натурального хозяйства, в любом случае (относительно!) *некапиталистической* среды. Я сделал это исключительно с намерением показать *собственную жизнь* капиталистического «духа», в отличие от соответствующей ему капиталистической «системы хозяйства». Сказав о том, что «дух» не остается без последствий для развития «системы хозяйства», я отложил обсуждение обратной каузальной взаимосвязи на продолжение статей, которые ясно назвал незавершенными. Однако статьи не получили «завершения», что ставит меня в неудобное положение по причинам, которые уже были названы выше и которые с того времени стали еще более весомыми: в сущности, в них отображена лишь первая часть исторического развития идеи «призвания» и ее распространение на сферу зарабатывания как такового. Ни на что большее притязать они не могли. Заранее предвосхитить результат искомого синтеза с помощью «дефиниции» я оставил «критикующему» историку. Что при этом у него получилось, можно прочитать на S. 1236: капиталистический «дух» (согласно Рахфалю, это те движущие силы, которые определяют происхождение определенного *капитала*) состоит из смешения «стремления к приобретательству» с «иными» мотивами. Такими мотивами являются «забота» о «счастье» и «пользе» — своей или чужой, «особенно» семьи, стремление к удовольствиям, престижу, власти, блестящему положению потомков и т. д. В это «и т. д.», разумеется, включены *все мыслимые* мотивы, особенно, например, благотворительные — если называть действительно практически значимую «цель» «накопления капитала». А поскольку Рахфаль не способен отличить субъективный «дух» капитализма от объективной *системы* хозяйства и объединяет их в единое целое, он, конечно, пропустил мою констатацию того, что есть собственно альфа и омега «Евангелия жадности» в моем примере, т. е. у Франклина. Как пропустил он и то, что на той же странице сказано о *противоположности* жадности и долга призвания. Далее он сделал поворотным пунктом моего обсуждения *другую* противоположность «традиционалистского» и «зарабатывающего» хозяйства, несмотря на мои отчетливые оговорки. Но если значимо лишь приобретение больше «потребности», *тогда* дикарь в своей никак не омраченной посредством рационалистических соображений ненасытности в плотских удовольствиях и сокровищах оказывается *вершиной* зарабатывающего человечества. А пуританин оказывается в другом конце ряда. Хотя поддерживаемое «духом капитализма» хозяйствование

48. У меня речь идет только о нем. Мне нужно было ясно указать на это как в названии, так и повсюду в тексте, но я не сделал этого при редактировании статей по указанной выше причине.

прямо противоположно традиционализму, и *это* я должен был выяснить первым делом. Тем не менее оно далеко не тождественно стремлению к максимальному превышению *потребностей*. Хотя оно и вступает в противоречие с «традиционалистским» хозяйством, однако этим вовсе не исчерпывается. Тем более оно *не совпадает* с капиталистическим по *форме* хозяйством, как я отчетливо пояснил на примере. Те компоненты капиталистического «духа» Нового времени, которые я специально проанализировал — идея «долга призвания» со всем с этим связанным, — встречаются внутри поддерживаемого «духом» капитализма (в *обобщенном* смысле слова) хозяйствования лишь на одном *определенном историческом отрезке*. С другой стороны, они выходят за пределы экономического, *проникая* в совершенно гетерогенные сферы человеческого действия. Развитие «*человечества призвания*» в его значимости как компонента капиталистического «духа» — именно этой темой первоначально *ясно и намеренно ограничивались* мои споры. Я абсолютно ни при чем, если невнимательные читатели считают правильным игнорировать это.

Этих замечаний должно быть достаточно. Здесь невозможно далее развивать какие-то части и аспекты моих статей, например, изложение значимости сект. Между тем *секта* для становящегося Нового времени в одном важном смысле есть архетип тех образований общественных групп, которые формируют сегодня «общественное мнение», «культурные ценности» и «индивидуальности». Как и невозможно подробнее затронуть другие ответвления, ведущие от пуританского к нынешнему стилю жизни<sup>49</sup>. Жаль, что ответ критику, который своим издевательским тоном и своим *нежеланием* понимать представляет собой недобрый профессорский тип, должен быть в данных обстоятельствах таким же неплодотворным и занимать столько места в «Архиве». Все, что было сказано *здесь*, уже есть в моих статьях. Все, что сказал Рахфаль (за совершенно нерелевантными исключениями), он позаимствовал в них и намеренно исказил. Если кто-то не верит в это после всего сказанного, я повторно посоветую: *после* критики Рахфаля *непредвзято прочитать* мои рассуждения. Поскольку из-за *этой* критики мне не нужно менять в них *ни одного слова*.

---

49. Действительно вторичным — вряд ли это можно назвать иначе — является способ, посредством которого Рахфаль «ползает» по моим коротким замечаниям о развитии буржуазного «комфорта», отличного от сеньориального жизненного стиля. Подобное противопоставление известно любому представителю истории культуры. Конечно, верно, что «границы» даже между столь противоположными историческими явлениями *повсюду* являются текучими. Но умствовать по *этому* поводу явно не приходило в голову другим историкам. Я отсылаю к тому, что сказал об этом в «Словаре государственных наук».

## The first anti-criticism on the «Spirit of capitalism»

### *Max Weber*

Oleg Kildyushov (translator) Research Fellow, Centre for Fundamental Sociology, National Research University — Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya Str., 20, Moscow, Russian Federation 101000 E-mail: kildyushov@mail.ru

A polemical article by the classic of sociology Max Weber in the genre of “anti-criticism” contains his response to a series of critical publications by the principal German historian Felix Rachfahl. As a specialist in the history of the Dutch Revolution in the second half of the 16th century, Rachfahl wrote five articles under the general title “Calvinism and Protestantism” that he sought to rebut Weber’s views on the genesis of capitalism from the spirit of the Puritan work ethic. In a rather harsh retort, Weber in turn tries to show the reader the entire inconsistency of Rachfahl’s criticism. On the whole, he assesses the discussion as unfair on the part of his opponent and, therefore, as insufficient from the point of view of the subject itself — the cultural significance of the Protestant economic ethics for the emergence of the capitalist economy of the modern type. He accuses Rachfahl of deliberately distorting both Weber’s own argument and the views of his friend and colleague, the eminent theologian and church historian E. Troelch. In attempting to defend his arguments advanced in the articles in the series “Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism”, Weber rhetorically chooses an extremely aggressive tone, while allowing a number of insulting epithets to the recognized expert in his field. His general strategy in the polemic is aimed at discrediting the criticizing historian himself as a typical representative of a related academic discipline, clearly exceeding the limits of his competence. At the same time, Weber assigns the role of objective arbiter in this dispute to his reader, urging him to perceive the arguments put forward impartially. Weber concludes by claiming that Rachfahl’s lengthy critique is so off-target that he need not change a single word in his writings.

Keywords: Max Weber, Felix Rachfahl, Reformation, Calvinism, Protestant work ethic, mundane asceticism, spirit of capitalism

# Концептуальные основания социологии права П. А. Сорокина и М. Вебера<sup>1</sup>

*Арсений Краевский*

Кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права,  
Санкт-Петербургский государственный университет.  
Адрес: Университетская наб., д. 7–9, Санкт-Петербург, 199034 Россия  
E-mail: a.krajewski@yandex.ru

Социолого-правовые теории П. А. Сорокина и М. Вебера объединяет принадлежность к условно выделяемому нормативистскому направлению в социологии права, однако для определения границ их применимости при анализе действия правовых норм необходимо прояснить вопрос о причинах их различий. Заметные различия двух теорий связаны не только с общими различиями соответствующих социологических систем, но и принципиально разными концептуальными основаниями социолого-правовых учений. Русско-американский социолог, развивая идеи Л. И. Петражицкого, рассматривал право как совокупность норм, имеющих определенное содержание — указывающих разрешенное и должное поведение путем распределения прав и обязанностей, мыслимых всегда неразрывно связанными. Такое понимание правовых норм позволяет содержательно отделить их от норм морали, этикета, технических норм и правил моды. Ключевым признаком права как особого вид легитимного порядка для М. Вебера является его принудительность, обеспечиваемая штабом, т. е. группой людей, специально нацеленных на принуждение к соблюдению порядка. В отличие от Сорокина, Вебер считал, что право и иные смежные явления различаются не на уровне отдельных норм, а на уровне нормативных систем (порядков). В центре внимания Сорокина — организованные группы, скелетом и душой которых выступают нормы, детерминирующие поведение участников группы и создающие ее структуру. Вопреки Сорокину, Петражицкому и Р. Штаммлеру Вебер полагал, что нормативная мотивация не самодостаточна и способна только влиять на человеческое поведение, но не детерминировать его. Различие представлений исследователей о значении нормативной мотивации может быть связано с фокусом внимания на активных обязанностях, в случае Сорокина, и на рамочной модели поведения управомоченного лица, в случае Вебера.

*Ключевые слова:* социология права, понятие права, организационная функция права, нормативная мотивация, П. А. Сорокин, М. Вебер

Социолого-правовые теории можно классифицировать по различным основаниям, но, возможно, важнейшая из них базируется на той роли, которая отводится правовым нормам. В этом смысле можно условно выделить нормативистские и анти-нормативистские социолого-правовые концепции (Weiberger, 1991: 178–180). Если в первых, как и в юридической науке в целом (классической и современной), нормы играют существенную и самостоятельную роль в описании правовых явлений, то для вторых нормы скорее вторичны по отношению к иным феноменам, таким как возникающие в обществе правовые отношения (Эрлих, 2011), понимаемые

1. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00451: «П. А. Сорокин и немецкая социология: личные контакты и история взаимного влияния (1923–1957)».

Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».



не-нормативно правовые институты (Ориу, 2013; Romano, 2017), правовые эмоции (Петражицкий, 2000), эмпирически устанавливаемое правовое поведение (Фридман, 2014; Волков, 2017) и т. д. Нормативное направление социологии права имеет особое значение для междисциплинарных научных исследований, соединяющих чисто юридический анализ норм с социолого-правовым анализом их действия в обществе. Крупнейшими представителями нормативистского направления в социологии права были выдающиеся социологи Питирим Александрович Сорокин и Макс Вебер. Оба классика внесли важный вклад в развитие социологии в целом и социологии права в частности, хотя для обоих, по-видимому, социология права имела второстепенное значение. В научной литературе представлены работы, в которых сопоставляются социологические концепции Сорокина и Вебера, однако в большинстве случаев это связано с сорокинской критикой Вебера в труде «Современные социологические теории» (Головин, 2021), либо относится к проблематике социологии революции (Ozhiganov, 2019). Социология права обоих авторов редко сравнивается непосредственно, чаще можно встретить сопоставление идей немецкого социолога с юридической концепцией учителя Сорокина, Л. И. Петражицкого, на идеях которого русско-американский ученый во многом основывался. Исследователи, как правило, ставят Вебера и Петражицкого в один ряд классиков социологии права (Cotterrell, 2005: 296), отмечая сходство их методологических подходов (Джонсон, 2012: 224; Тимошина, 2013: 92–96). С другой стороны, известно, что Вебер принципиально критиковал правовую концепцию Р. Штамmlера (Вебер, 2018: 33–38), другого правоведа, значительно повлиявшего на социологию права Сорокина. Таким образом, можно констатировать, что вопрос об общем соотношении социолого-правовых подходов Сорокина и Вебера не может быть решен простым указанием на сходство их методологии, необходимо прояснение различий данных концепций, а также причин, из которых данные различия проистекают.

Благодаря юридическому образованию (Сорокин, 1991: 59–61; Ионин, 2018: 7), полученному обоими исследователями, им были хорошо знакомы как теоретические работы представителей различных научных школ академической юриспруденции, так и конкретный эмпирический правовой материал. Заметные различия их теорий связаны не только с общими различиями их социологических систем, но и принципиально разными концептуальными основаниями социолого-правовых учений.

Разрешение вопроса о соотношении социолого-правовых концепций Сорокина и Вебера в дальнейшем позволит определить границы применимости и оценить целесообразность использования данных теорий в исследованиях, сочетающих нормативный и социологический анализ.

## **Понятие права у Сорокина**

Существенное влияние на формирование представлений П. А. Сорокина о праве оказала психологическая теория права, детально разработанная Л. И. Петражиц-

ким (Тимошина, 2013), преподававшим в Санкт-Петербургском университете в период обучения Сорокина. Несмотря на то что психологическая теория права не получила прямого продолжения в трудах его учеников (за исключением работ польского правоведа Е. Ланде), она дала толчок к появлению в первой половине XX века особой научной школы — Петербургской школы философии права, важнейшими представителями которой помимо самого Л. И. Петражицкого была группа его учеников, включая П. А. Сорокина, Н. С. Тимашева, Г. Д. Гурвича, Г. К. Гинса, М. Лазерсона и др. (Тимошина, 2010: 179–181). Специфическая правовая концепция Сорокина во многом представляет собой социологическую интерпретацию психологической теории права Петражицкого (Сорокин, 2018: 601).

Сорокин, в отличие от Петражицкого, понимал под правом не специфические эмоции<sup>2</sup>, а совокупность правил поведения (норм), которые могут быть ограничены от других норм по своему содержанию. Таким содержательным<sup>3</sup> отличием является установление прав и обязанностей. Как пишет исследователь: *любая норма поведения (действие, бездействие или терпение), которая предоставляет определенное право (объект права) одной стороне (субъекту права) и определенную обязанность (объект обязанности) другой стороне (субъекту обязанности), является правовой нормой* (Сорокин, 2018: 603) (курсив Сорокина. — А. К.).

Более точное определение правовой нормы делается Сорокиным через перечисление семи необходимых признаков, явно или неявно присутствующих в ней: 1) субъект права, 2) субъект обязанности, 3) объект права, 4) объект обязанности, 5) отсылка к источнику права, 6) дополнительное указание на время, место, условия, способ действия и другие условия и 7) адресат правовой активности (отличное от субъектов права и обязанности лицо, в пользу или против которого исполняются права и обязанности) (Сорокин, 2018: 603–605).

Первое и второе определения Сорокина связаны между собой, так как очевидно, что первые четыре признака второй дефиниции относятся к правам и обязанностям, шестой и седьмой — к родовому понятию правила поведения, а пятый не является обязательным, поскольку не выполняется для некоторых категорических норм (Сорокин, 2019: 56).

На первый взгляд широкое понимание права Сорокиным не коррелирует ни с юридическими, ни с большинством социолого-правовых исследований, для которых характерно более узкое понимание права — понимание, в большей степени соответствующее понятию официального права Сорокина (и отчасти Петра-

---

2. Л. И. Петражицкий считал право в первую очередь явлением индивидуальной психики. Ученый отстаивал существование особых, этических, эмоций, которые подразделял на правовые (императивно-атрибутивные) и нравственные (императивные) (Петражицкий, 2000: 67–85).

3. Сам Сорокин характеризует данный признак правовой нормы как «формальный», подразумевая, что значение имеет не конкретное содержание прав и обязанностей, а сам факт их установления (Сорокин, 2018: 602–603). Вместе с тем даже абстрактное указание на установление прав и обязанностей предполагает обращение к содержанию нормы (в отличие от рассматриваемого далее критерия принадлежности к определенному роду нормативной системе), поэтому мы будем характеризовать рассматриваемый критерий как содержательный, а не формальный.

жицкого). Вместе с тем содержательное понимание права позволяет решить одну из традиционных проблем правоприменения — восполнения пробелов в праве. Пробел в праве традиционно понимается в доктрине и определяется в законодательстве как ситуация, когда отсутствует норма закона или правового обычая, которая могла бы быть применена в данном деле (Васьковский, 2016: 369–370). Одна из основных проблем доктрины пробелов в праве заключается в сложности отделения собственно пробелов от отношений, не урегулированных (и не подлежащих регулированию) правом (Лазарев, 2019: 16–17). Наличие относящихся к спорной ситуации предоставительно-обязывающих социальных норм в смысле концепции Сорокина могло бы выступить в качестве практического критерия подобного разграничения.

### Понятие права у Вебера

Для М. Вебера родовым по отношению к праву выступает понятие легитимного порядка. Порядок представляет собой «смысловое содержание социального отношения», выражающееся в «определенных максимах» (Вебер, 2016: 90), т. е. речь идет о нормах, на которые ориентируются социальные действия. Как отмечает немецкий социолог, можно «говорить о значимости порядка только в том случае, если ориентация на эти максимы имеет место... также и потому, что они “значимы”, т. е. рассматриваются участниками как обязательные или служащие в качестве образца» (Вебер, 2016: 90). Иными словами, порядок значим (действителен<sup>4</sup>), если соответствующие нормы фактически рассматриваются участниками социальных отношений как обязательные модели поведения.

Порядок должен называться правом (в отличие от конвенции), «если он внешне гарантирован вероятностью (физического или психического) *принуждения* путем действия *штаба* людей, *специально* предназначенного принуждать к соблюдению и карать за нарушение установленного порядка» (Вебер, 2016: 92). Ключевое значение в данном случае имеют понятия штаба и принуждения.

Штаб принуждения определяется Вебером как «группа людей, специально нацеленных на принуждение» (Вебер, 2016: 92) и понимается достаточно широко — таким штабом может быть не только суд, но и, например, род (в рамках кровной мести и т. п.), при условии существования «значимых порядков, определяющих способ его действия» (Вебер, 2016: 93). Примечательно, что международное право, по мнению немецкого исследователя, не подпадает под его понятие права в силу отсутствия штаба (Вебер, 2016: 93), хотя в теоретической литературе отмечается заметное сходство между так называемой техникой «самопомощи», используемой

4. В русском переводе «Хозяйства и общества» немецкое слово «Geltung» переводится как «значимость» или «эмпирическая значимость» (Ионин, 2018: 8). Вместе с тем в юридической научной литературе, где соответствующее понятие играет важную роль, устоялся перевод данного термина словом «действительность», которое мы будем преимущественно использовать в дальнейшем. О возможных интерпретациях понятия действительности права (Тимошина, Васильева, Кондуров, Краевский, 2021: 93–103).

международным правом, и правом кровной мести, характерным для древнего общества (Кельзен, 2023: 283–288).

Принуждение также понимается Вебером широко — к нему относится не только физическое принуждение, но и различные виды «мягкого принуждения», такие как «братское увещание» и «цензорское порицание». Решающее значение здесь имеет то, что средство принуждения применяется штабом и по определенным правилам (Вебер, 2016: 93). Важно отметить, что к праву ученый относит и нормы, связанные с принуждением лишь косвенно, такие как известные римскому праву *leges imperfectae* (законы, нарушение которых не делает акт ничтожным и не карается) и натуральные обязательства (Вебер, 2016: 93–94) (обязательства, лишенные судебной защиты). Не вполне ясно, что имеет в виду Вебер, когда указывает, что они «выражают ограничения или условия применения принуждения» (Вебер, 2016: 94), однако можно предположить, что он, подобно другому стороннику теории принудительности права Г. Кельзену (Кельзен, 2015: 69–70), интерпретировал натуральные обязательства как ограничения для исков из неосновательного обогащения, а *leges imperfectae* как разрешающие нормы, т. е. нормы, устанавливающие исключения из актуальных или потенциальных запретов.

Веберовское понимание права в целом коррелирует с пониманием права в юридической науке и полезно тем, что в силу акцента на принуждении подчеркивает такой аспект правовой сферы жизни общества, как эффективность действия юридических санкций.

### Отличие права от иных нормативных систем

Наиболее явным образом различия в содержании используемых Сорокиным и Вебером понятий права проявляются в разграничении права и иных нормативных систем, проходящем для Сорокина на уровне отдельных норм, а для Вебера — на уровне нормативных систем (порядков) в целом.

#### Концепция П. А. Сорокина

Сорокин, исходя из своего содержательного определения права, основанного на идеях Петражицкого, сопоставляет правовые нормы с нормами нравственными, техническими, правилами этикета и моды, а также нормами религии, нравов (*mores*), народных обычаев и традиций.

*Нравственные нормы* отличаются от правовых односторонне-обязывающим характером своего содержания: они устанавливают только обязанности, но не субъективные права требовать их исполнения (Сорокин: 2018: 617). В качестве примеров нравственных норм Сорокин использует нормы Нагорной проповеди, такие как правило «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Матф. 5:39). Как отмечает исследователь: «Эти нормы только подталкивают и рекомендуют это поведение, но они не предоставляют никому права требо-

вать подставлять другую щеку или брать и верхнюю одежду или заставлять идти на поприще. Независимо от содержания, любая норма, которая является только императивной и не атрибутивной, которая только рекомендует определенное поведение, но не приписывает права требовать его никакому субъекту права, является нормой нравственности, и сильно отличается от правовых норм» (Сорокин, 2018: 617).

Следствием основного различия права и нравственности, по Сорокину, являются пять производных:

- 1) правовая норма может быть исполнена принудительно, нравственная норма может быть исполнена только добровольно;
- 2) правовая норма во многих случаях допускает замену субъекта, исполняющего обязанность, нравственная обязанность может быть исполнена только лично;
- 3) для права важен результат исполнения обязанности, в то время как для нравственности важен в первую очередь мотив;
- 4) исполнение правовой обязанности психологически рассматривается как нормальное поведение, в то время как исполнение нравственной обязанности вызывает эмоции восхищения и благодарности;
- 5) содержание правовой обязанности всегда ограничено и конкретно, в то время как степень возможного исполнения нравственной обязанности не ограничена (Сорокин, 2018: 617–618).

Отметим, что черты, приписываемые Сорокиным нравственности, в наибольшей степени соответствуют нормам христианской этики, выраженным в первую очередь в Нагорной проповеди и имеющим перфекционистский характер, в то время как для иных нормативных систем, обычно относимых к числу нравственных, например, ветхозаветного Декалога (Исх. 20:2–17), могут быть поставлены под сомнение, по меньшей мере третье, четвертое и пятое различия. Если же, вопреки традиционной точке зрения, рассматривать Десять заповедей как свод юридических правил, то под вопросом оказывается их соответствие первичному сорокинскому критерию разграничения права и нравственности — предостаточно-обязывающему характеру.

*Технические нормы, правила этикета и правила моды*, в отличие от правовых и нравственных норм, по мнению Сорокина, не содержат ни прав, ни обязанностей. Важная оговорка, однако, состоит в том, что в случае, если к таким правилам относятся как к императивно-атрибутивным или императивным, они становятся правовыми или нравственными соответственно (Сорокин, 2018: 619).

Данная оговорка, при ее буквальном понимании, не вполне соответствует определению права (правовой нормы), сформулированному Сорокиным, поскольку ставит характеристику нормы как правовой в зависимость не от ее содержания, а от того, как она психологически воспринимается своими адресатами. Как представляется, возможны два объяснения такого несоответствия. Либо в данном случае имеет место рудимент психологической теории права Петражицкого, либо Сорокин под изменением «рассмотрения» нормы подразумевал изменение ее содержания.

Другой вопрос, на который Сорокин прямо не отвечает, состоит в том, что представляет собой правило поведения как таковое — понятие, которое является родовым по отношению ко всем перечисленным категориям норм. Во всяком случае, не ясно, что делает технические нормы (вроде кулинарных рецептов (Сорокин, 2019: 35–36)), этикет и моду правилами при отсутствии идеи обязанности.

*Нормы нравов (mores), народных обычаев и традиций*, по мнению исследователя, представляют собой «смесь разнородных норм», в силу чего они могут быть как правовыми, так и нравственными или техническими (Сорокин, 2018: 619–620).

В принципе, исходя из сорокинского содержательного отличия правовых норм от иных видов правил поведения, любая нормативная система может включать в себя как правовые нормы, так и нормы нравственности, технические нормы и т. д.

### *Концепция М. Вебера*

Понятие права как порядка в концепции Вебера сопоставляется с понятием *конвенции*, которое, в свою очередь, отграничивается от понятия *обычая*.

Обычай представляет собой укоренившуюся привычку, которая, в свою очередь, есть «фактически существующая вероятность регулярного воспроизведения установки социального действия... если и поскольку возможность ее существования в определенном круге людей обеспечивается только самим фактом повторения» (Вебер, 2016: 88). Ключевое отличие обычая от права и конвенции состоит в том, что обычаю подчиняются и ожидают того же от других «добровольно — просто не задумываясь, удобства ради или по каким-то еще причинам» (Вебер, 2016: 88). Иными словами, обычай не является обязывающим, «никто не требует его придерживаться» (Вебер, 2016: 88).

Конвенция, в значительной степени отождествляемая Вебером с моралью (Вебер, 2018: 32–33), представляет собой порядок, действительность которого «внешне гарантирована вероятностью в случае его нарушения столкнуться с (относительно) всеобщим и практически неощутимым неодобрением в определенном кругу лиц» (Вебер, 2016: 92). Отличие конвенции от обычая заключается в том, что она воспринимается определенной группой как действительная и «защищается от отклонений посредством неодобрения таковых» (Вебер, 2016: 92). От права же конвенция отличается отсутствием штаба, нацеленного на принуждение (Вебер, 2016: 92–93), т. е. реакция на отклонения от нее имеет децентрализованный характер. Таким образом, международное право и другие децентрализованные нормативные системы не будут правовыми в смысле концепции Вебера.

Различие между правом и конвенцией, по Веберу, не абсолютно: функционально право и конвенция довольно близки. Как пишет исследователь: «Многочисленные реально существующие объединения отказываются от правовой фиксации собственных конвенциональных порядков просто потому, что признают: одного только общественного неодобрения, зачастую сопровождаемого весьма реальны-



ми косвенными последствиями для нарушителей, в качестве санкций достаточно. Правовой порядок и порядок, основанный на конвенции, не говоря уж о многочисленных переходных формах между ними, ни в коей мере не являются для социологии принципиально противоположными друг другу, поскольку и конвенция поддерживается отчасти средствами психологического, а отчасти даже (по крайней мере, косвенно) и физического принуждения. Их различия состоят только в социологической *структуре* принуждения и связаны с отсутствием в случае конвенции специально подготовленных людей, содержащихся для целей силового принуждения, т. е. аппарата принуждения (жрецы, судьи, полиция, военные и т. д.)» (Вебер, 2018: 33–34).

Вместе с тем в силу указанных выше причин Вебер вынужден противопоставить обычай и обычное право (правовой обычай), поскольку последнее защищается аппаратом принуждения (Вебер, 2018: 27, 30), а значит, не может быть отнесено ни к обычаю, ни к конвенции. Подобный подход к обычному праву известен в теоретической юриспруденции как теория санкционирования обычая — обычай приобретает правовое значение в силу принятия сувереном (государством) в лице правоприменительного органа решения о его санкции (допущении) (Austin, 1875: 22; Алексеев, 1981: 315; Явич, 1976: 113). При этом стоит отметить, что классическая теория правового обычая, разработанная в рамках континентально-европейской доктрины римского права, предполагала, что обычай приобретает правовой характер не в силу решения органа власти, а в силу соответствия определенным критериям к регулярности совершаемых действий (материальный признак), уверенности лиц, соблюдающих обычай, в его обязательности (*opinio necessitatis*, или психологический признак) и согласия обычая с требованиями закона, разума и нравственности (Виндшейд, 1874: 40–45; Дернбург, 1906: 68–69). Критики теории санкции отмечали, что подобным же образом можно было бы утверждать, что законы приобретают юридический характер не в силу решения законодателя, а в силу решения суда об их применении (Кельзен, 2015: 285–286).

## Организация группы и нормативная мотивация

Другое важное различие социолого-правовых подходов Сорокина и Вебера проявляется в вопросе об организационной функции права и значении нормативной мотивации.

### *Организационная функция права у Сорокина*

Организационная функция права играет принципиально важную роль в социолого-правовой концепции Сорокина. Развивая идеи Р. Штаммлера (Штаммлер, 2010: 113) и Л. И. Петражицкого (Петражицкий, 2000: 165–181), русско-американский социолог помещает в центр своей концепции понятие организованной группы. По его мнению, социальная группа «является организованной, когда все действия

*и реакции ее членов в их взаимоотношениях, равно как и со внешними субъектами и миром в целом ясно определены нормами права и производятся в соответствии с ними»* (Сорокин, 2018: 600).

Раскрывая понятие определенности (детерминированности) поведения члена группы нормами, Сорокин поясняет, что нормы детально определяют: «а) *каковы права и обязанности* каждого члена; б) что, при каких условиях, в отношении кого и сколь много каждый из членов управомочен и обязан *делать или не делать, терпеть или не терпеть*; в) *какие именно функции или роли* члены должны исполнять; д) *каков статус* члена в системе взаимодействий, как он определен совокупностью его прав-обязанностей, функций и ролей» (Сорокин, 2018: 600). В результате такой нормативной детерминации поведения группа взаимодействующих индивидов превращается «в четко *дифференцированное и стратифицированное* сообщество, в котором каждый член исполняет специальное задание в общих функциях группы и в котором каждый занимает определенную позицию в иерархии властей» (Сорокин, 2018: 600).

Сорокин характеризует правовые нормы как «четкий и динамичный ориентир человеческого поведения и как сердце и душу организованной группы (социального института)» (Сорокин, 2018: 608). Для обоснования своей позиции он, следуя психологической теории права Петражицкого (Петражицкий, 2000: 21–57), разграничивает три основных вида человеческой мотивации — целевую, нормативную и аффективную («мотивацию вследствие»).

Нормативная мотивация отличается как от целевой мотивации человеческого поведения, так и от мотивации «вследствие». Она отличается от целевой мотивации, поскольку «многие правовые действия осуществляются без идеи будущей цели или задачи, без какого-либо будущего гедонистического, утилитарного или иного будущего возмещения» (Сорокин, 2018: 607). В отличие от мотивации «вследствие» нормативная мотивация самодостаточна и имеет определенную схему в соответствии с нормами, в то время как мотивация «вследствие» может «принимать любую форму в зависимости от природы предшествующего стимула» (Сорокин, 2018: 607–608).

По этой причине, по Сорокину, любая организованная группа (в том числе семья, государство, церковь, политическая партия, деловая фирма, школа и даже организованная преступная группа) является «не чем иным, как объективацией и материализацией соответствующих правовых норм и правовых предубеждений их членов или сильнейшей части оных». Как отмечает исследователь: «Их писанные или неписанные конституции — нормы и подзаконные акты — есть не что иное, как правовые предубеждения... Без них никакой порядок, никакая стабильная структура, никакое спокойное функционирование этих групп, более того, никакое непрерывное существование не было бы возможным» (Сорокин, 2018: 609).

В конечном счете, заключает Сорокин, «правовая норма не является ни простой формулой того или иного закона или «официального права»; ни «бесполезным и безжизненным вымыслом воображения юристов», но является могуще-

ственной живительной силой, постоянно действующей и управляющей в форме наших динамических правовых предубеждений массивом наших действий, определяемых, направляемых и «заправляемых» его «горючим» и, наконец, социализируемых и «отвердевших» в форме организованных групп или институтов... В этом смысле право является реальной силой, которая устанавливает, кристаллизует и ниспровергает все социальные институты, начиная от семьи и кончая государством-Левиафаном и даже всеми сверхгосударственными организациями» (Сорокин, 2018: 609).

Отстаиваемое Сорокиным представление о самодостаточности нормативной мотивации и ее способности детерминировать человеческое поведение, выступая его «четким и динамичным ориентиром», как представляется, неявно фокусируется на социальном значении активных юридических обязанностей (которым соответствуют права-требования в широком смысле), т. е. обязанностей совершить конкретные действия — передать вещь, выплатить долг, исполнить приговор суда и т.п. Подобные обязанности часто возникают на основании общих норм, определяющих полномочия органов власти и обязанности им подчиняться. Вместе с тем можно поставить вопрос о достаточности такой мотивации для детерминирования поведения лиц, уполномоченных выбирать тот или иной вариант собственных действий. По указанным причинам концепция нормативной мотивации Сорокина подходит для анализа действия норм публичного права, основанного на императивном методе правового регулирования, но не норм частного права, основанного на диспозитивных началах.

### *Нормативное регулирование как компонент действия у Вебера*

В отличие от Сорокина, Вебер, напротив, во многом отталкивался от отрицания идей Штаммлера об особой организующей роли права. Веберовская критика теории Штаммлера в значительной степени может рассматриваться и как косвенная критика идей Сорокина и Петражицкого.

По мнению немецкого социолога, Штаммлер неверно оценивает роль нормативной мотивации в человеческом поведении: «Вера в правовую или конвенциональную обязательность определенного поведения представляет собой с точки зрения социологии всего лишь *superadditum*, добавление, повышающее вероятность, с какой действующий индивид может рассчитывать на определенные результаты своего действия» (Вебер, 2018: 34–35). По мнению Вебера, право или конвенция не определяет поведение, а только влияет на его мотивы — субъект в своих действиях учитывает их благодаря предоставлению определенных гарантий. Но сами по себе мотивы совершения ожидаемых действий (которые может гарантировать право или конвенция) могут быть совершенно разными. Как замечает ученый, «в понятийном смысле необязательно наличие какого-либо внешнего по отношению к обоим индивидам порядка, который гарантировал бы обмен или вынуждал бы к нему посредством аппарата принуждения или общественного неодобрения, так же как необязательно

и субъективное признание участниками какой-либо нормы как обязывающей или же вера в наличие такой нормы. Ведь участник обмена может полагаться, например, на эгоистический интерес другой стороны в продолжении отношений, который не даст нарушить обещание... или на какие-либо иные мотивы, побуждающие именно к такой линии поведения» (Вебер, 2018: 35).

Другой аспект проблемы, на который обращает внимание Вебер, состоит в том, что никакая ситуация не может быть полностью урегулирована правом, более того, «часто именно ключевые вопросы правового порядка, в остальном крайне рационализированного, юридически вообще не урегулированы» (Вебер, 2018: 37).

В качестве иллюстрации своей мысли Вебер приводит примеры пробелов в конституционном праве — отстранение королем всех министров без назначения новых и недостижение необходимого согласия по вопросу утверждения государственного бюджета (Вебер, 2018: 37). Вебер задает вопрос, почему такие пробелы не вызывают каких-либо проблем на практике, и отвечает на него путем указания на существование у соответствующих властных субъектов собственных интересов, исключающих практическую возможность такого рода проблем. Отсюда следует, что люди в своих ожиданиях относительно поведения других субъектов рассчитывают и могут рассчитывать не только и не столько на право, конвенцию и обычай, сколько на заинтересованность другого субъекта в ожидаемом поведении (Вебер, 2018: 37–38).

Представляется, однако, что приведенного исследователем аргумента не достаточно для обоснования столь сильного тезиса. С одной стороны, пробелы в конституционном праве не только могут, но и часто создают проблемы на практике, примером чему является известный казус с наследованием престола после смерти Петра I, когда в соответствии с указом императора престол должен был перейти к назначенному им наследнику, однако конкретный наследник не был назван (Юшков, 2003: 581–582). Поэтому, с другой стороны, конституционное законодательство стремится устранить такого рода неопределенности путем, например, временного сохранения за отстраненными должностными лицами их полномочий до назначения новых или сохранения бюджетных расходов в объеме, определенном бюджетом предыдущего года.

В конечном счете Вебер констатирует, что «правовой и равным образом конвенциональный порядок как консенсуального, так и рационально организованного действия в конкретных обстоятельствах и в принципе сознательно охватывает лишь фрагменты этих действий. Хотя ориентация действия общности на порядок и конститутивна для любого обобществления, аппарат принуждения не функционирует как таковой в отношении всей целостности долговременного организованного действия союза». Из этого социолог делает вывод, что «нормативное регулирование — важный, однако всего лишь каузальный компонент консенсуального действия, а не его универсальная форма» (Вебер, 2018: 38).

Таким образом, Вебер не считает нормативную мотивацию самодостаточной и предполагает, что право способно только влиять на человеческое поведение.

ние, но не детерминировать его. Представляется, что такое объяснение влияния нормативной мотивации хорошо согласуется с ситуациями, в которых управомоченное (или даже обязанное) лицо имеет возможность выбора модели своего поведения (в первую очередь в частном праве), однако может вызвать сомнения в казусах, такого выбора не предполагающих.

## Заключение

Различия в подходах к понятию права, сформулированных П. А. Сорокиным и М. Вебером, приводят к существенным различиям в их представлениях о социальной роли права и правовой мотивации. Содержательное понятие права Сорокина, основанное на идее предоставительно-обязывающих норм, используется им для построения теории организованных групп, в основе которых лежат правовые нормы, определяющие взаимные права и обязанности участников группы и их статус, а также распределяющие властные полномочия. Самодостаточная нормативная мотивация постоянно присутствует в социальных действиях и упорядочивает социальные отношения.

Веберовское понятие права, связанное с понятием принуждения и вероятности его осуществления, играет лишь вспомогательную роль в отношениях, подпадающих под правовое регулирование. Нормативная мотивация не рассматривается им как самодостаточная, акцент делается на ее недостаточности для полного детерминирования социальных отношений.

Сравнение подходов двух выдающихся социологов позволяет предположить, что в фокусе их внимания находились разные типы нормативно урегулированного поведения. В центре анализа Сорокина — отношения, предполагающие активные обязанности, требующие совершения конкретных действий, в то время как Вебер сосредоточен на рамочной модели поведения управомоченного, предполагающей главным образом пассивные обязанности иных лиц (обязанности бездействия).

В целом можно сделать вывод, что концепция Сорокина в большей степени подходит для анализа действия норм публичного права (в части исследования мотивации поведения), а также может быть использована при определении границ сферы правового регулирования для восполнения пробелов в праве. Концепция Вебера, в свою очередь, скорее применима к анализу действия норм частного права, а также для исследования эффективности действия юридических санкций.

## Литература

- Алексеев С. С. (1981). *Общая теория права*. В 2-х т. Т. 1. М.: Юридическая литература.
- Васьковский Е. В. (2016). *Теория толкования гражданского права. Очерк методологии цивилистической догматики* // Васьковский Е. В. *Избранные работы польского периода* / Пер. с польск. А. А. Богустова, Ю. В. Тая. М.: Статут. С. 236–517.

- Вебер М. (2016). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии в 4 т. Т. 1. Социология / Сост., общ. ред. и предисл. Л. Г. Ионина. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
- Вебер М. (2018). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии в 4 т. Т. 3. Право / Сост., общ. ред. и предисл. Л. Г. Ионина. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
- Волков В. В. (2017). Эмпирическая социология права в условиях междисциплинарного синтеза // Социологические исследования. № 4. С. 34–42.
- Виндшейд Б. (1874). Учебник пандектного права. Т. 1. / Пер. с нем., под ред. С. В. Пахмана. СПб.: Изд. А. Гиероглифова и И. Никифорова.
- Дернбург Г. (1906). Пандекты. Т. 1 / Пер. с нем. Г. фон Рехенберга, под ред. П. Соколовского. М.: Унив. тип.
- Джонсон Г. М. (2012). Социология Л. Петражицкого в перспективе структурно-функциональной теории / Пер. с англ. А. А. Краевского // Известия высших учебных заведений. Правоведение. Т. 304. № 5. С. 205–224.
- Ионин Л. Г. (2018). Предисловие научного редактора русского издания к тому III // Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии в 4 т. Т. 3. Право / Сост., общ. ред. и предисл. Л. Г. Ионина. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. С. 6–16.
- Кельзен Г. (2015). Чистое учение о праве / Пер. с нем. М. В. Антонова, С. В. Лезова. 2-е изд. СПб.: Алеф-Пресс.
- Кельзен Г. (2023). Что такое справедливость? Справедливость, общество и политика в зеркале науки / Пер. с англ., под общ. ред. М. В. Антонова. СПб.: Алеф-пресс.
- Лазарев В. В. (2019). Пробелы в праве и пути их устранения. М.: Норма.
- Петражицкий Л. И. (2000). Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб.: Издательство «Лань».
- Сорокин П. А. (2018). Организованная группа (институт) и правовые нормы / Пер. с англ. А. А. Краевского // Петербургская школа философии права. К 150-летию со дня рождения Льва Петражицкого / Под общ. ред. А. В. Полякова, Е. В. Тимошиной. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета. С. 600–627.
- Сорокин П. А. (2019). Элементарный учебник общей теории права в связи с теорией государства // Сорокин П. А. Популярныe очерки теории права, социологии и социальной педагогики. Сыктывкар: ООО «Анбур». С. 21–192.
- Тимошина Е. В. (2013). Л. И. Петражицкий vs Е. Эрлих: два проекта социологии права // Известия высших учебных заведений. Правоведение. Т. 310. № 5. С. 77–96.
- Тимошина Е. В. (2010). Право как справедливость: концепция интуитивного права в школе Л. И. Петражицкого // Известия высших учебных заведений. Правоведение. Т. 293. № 6. С. 179–195.
- Тимошина Е. В., Васильева Н. С., Кондуров В. Е., Краевский А. А. (2021). Три царства права: теоретические модели действительности и действенности права // Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. № 3. С. 93–103.



- Фридман Л. М. (2014). Взросление: исследования права и общества вступают в эксклюзивный клуб / Пер. с англ. И. А. Емельянова // Право и правоприменение в зеркале социальных наук: хрестоматия современных текстов / Науч. ред. Э. Л. Панеях; лит. ред. А. М. Кадникова. М.: Статут. С. 184–201.
- Штаммлер Р. (2010). Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания истории: Социально-философское исследование / Пер. с нем. 2-е изд. М.: КРАСАНД.
- Эрлих О. (2011). Основоположение социологии права / Пер. с нем. М. В. Антонова; под ред. В. Г. Графского, Ю. И. Гревцова. СПб.: Университетский издательский консорциум.
- Юшков С. В. (2003). История государства и права России (IX–XIX вв.). Ростов-на-Дону: Феникс.
- Явич Л. С. (1976). Общая теория права. Л.: Издательство Ленинградского университета.
- Austin J. (1875). *Lectures on Jurisprudence and Philosophy of Positive Law*. Jersey City: Frederic D. Linn & Company.
- Cotterrell R. (2005). *Law's Community: Legal Theory in Sociological Perspective*. Oxford: Clarendon Press.
- Ozhiganov E. (2019). Weber's and Sorokin's Analytical Treatment of the Russian Revolutions // *Russian sociological review*. Vol. 18. № 2. P. 120–137.
- Romano S. (2017). *The Legal Order* / ed. and transl. by Mariano Croce. London: Routledge.
- Sorokin P. A. (1962). *Society, Culture and Personality: Their Structure and Dynamics. A System of General Sociology*. New York: Cooper Square Pub.
- Weinberger O. (1991). *Law, Institution and Legal Politics: Fundamental Problems of Legal Theory and Social Philosophy*. Dordrecht: Springer.

## The Conceptual Foundations of the Sociology of Law by Pitirim Sorokin and Max Weber

*Arseny Kraevsky*

PhD in Law; Associate Professor, Department of Theory and History of State and Law. *Saint Petersburg State University*

Address: 7–9, Universitetskaya Nab., St. Petersburg, 199034, Russia

E-mail: a.krajewski@yandex.ru

The socio-legal theories of P.A. Sorokin and M. Weber are common in belonging to the normativist trend in the sociology of law. To determine the limits of their applicability to the analysis of the operation of legal norms, it is necessary to clarify the reasons for their differences. The notable differences between both theories are connected not only with the general differences in corresponding sociological systems, but also with fundamentally different conceptual foundations of socio-legal doctrines. The Russian-American sociologist P.A. Sorokin, in developing the ideas of L. I. Petrażycki, considered law as a set of norms with a certain content which indicates the

permitted and proper behavior by means of the distribution of rights and obligations, which are always thought to be inextricably linked. This understanding of legal norms allows us to meaningfully separate them from the norms of morality, etiquette, technical norms, and rules of fashion. A key feature of law as a special kind of legitimate order for Weber is its coercion, ensured by the staff, i.e., a group of people specifically aimed at forcing compliance with the order. In contrast to Sorokin, Weber believed that law and other related phenomena are distinguished not at the level of individual norms, but at the level of normative systems (orders). Sorokin focused on organized groups, the skeleton of which are the norms that both determine the behavior of group members and create its structure. Contrary to Sorokin, Weber believes that normative motivation is only able to influence human behavior, but not to determine it. The difference in the researchers' perceptions of the importance of normative motivation may be related to the focus on active duties in the case of Sorokin and on the framework model of the behavior of the empowered person in Weber's case.

Keywords: sociology of law, concept of law, organizational function of law, normative motivation, P. A. Sorokin, M. Weber

## References

- Alekseev S. S. (1981) *Obshhaja teorija prava. V 2 t. T. 1.* [General Theory of Law. In 2 vol. V. 1], Moscow: Juridicheskaja literatura.
- Austin J. (1875) *Lectures on Jurisprudence and Philosophy of Positive Law*, Jersey City: Frederic D. Linn & Company.
- Cotterrell R. (2005) *Law's Community: Legal Theory in Sociological Perspective*, Oxford: Clarendon Press.
- Dernburg H. (1906) *Pandekty. T. 1.* [Pandects. V. 1], Moscow: Univ. tip.
- Ehrlich O. (2011) *Osnovopolozhenie sotsiologii prava* [Foundations of the sociology of law], Saint Petersburg: Universitetskii izdatel'skii konsortsium.
- Friedman L. M. (2014) Vzroslenie: issledovanija prava i obshhestva vstupajut v jekskljuzivnyj klub [Coming of age: Law and Society enters an exclusive club]. *Pravo i pravoprimerenie v zerkale social'nyh nauk: hrestomatija sovremennyh tekstov* [Law and application of law in the mirror of social sciences: digest of modern texts], Moscow: Statut, pp. 184–201.
- Ionin L. G. (2018) Predislovie nauchnogo redaktora russkogo izdanija k tomu III [Foreword by the scientific editor of the Russian edition of Volume III]. Weber M. *Hozjajstvo i obshhestvo: ocherki ponimajushhej sociologii v 4 t. T. 3. Pravo* [Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology in 4 vol. V. 3. Law], Moscow: Izd. dom Vysshej shkoly jekonomiki, pp. 6–16.
- Javich L. S. (1976) *Obshhaja teorija prava* [General Theory of Law], Leningrad: Izdatel'stvo Leningradskogo universiteta.
- Johnson H. M. (2012) Sociologija L. Petrazhickogo v perspektive strukturno-funkcional'noj teorii [Petrażycki's Sociology in the Perspective of Structural-Functional Theory]. *Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Pravovedenie*, vol. 304, no 5, pp. 205–224.
- Jushkov S. V. (2003) *Istorija gosudarstva i prava Rossii (IX–XIX vv.)* [History of Russian Law and State (IX–XIX cent.)], Rostov-na-Donu: «Feniks».
- Kelsen H. (2015) *Chistoe uchenie o prave* [Pure Theory of Law], Saint Petersburg: Izd. dom «Alef-Press.
- Kelsen H. (2023) *Chto takoe spravedlivost'? Spravedlivost', obshhestvo i politika v zerkale nauki* [What is Justice? Justice, Society and Politics in the Mirror of Science], Saint Petersburg: Alef-press.
- Lazarev V. V. (2019) *Probely v prave i puti ikh ustraneniya* [Gaps in law and the ways of their filling of]. Moscow: Norma.
- Petrażycki L. I. (2000) *Teorija prava i gosudarstva v svjazi s teoriej npravstvennosti* [Theory of Law and State in Connection with the Theory of Morality], Saint Petersburg: Izdatel'stvo «Lan».
- Ozhiganov E. (2019) Weber's and Sorokin's Analytical Treatment of the Russian Revolutions. *Russian Sociological Review*, vol. 18, no 2, pp. 120–137.
- Sorokin P. A. (2018) Organizovannaja gruppa (institut) i pravovye normy [The Organized Group (Institution) and Law Norms]. *Peterburgskaja shkola filosofii prava. K 150-letiju so dnja rozhdenija*

- L'va Petrazhickogo* [Saint Petersburg School of Legal Philosophy: to the 150th anniversary of the birth of Leon Petrażycki] (ed. A. V. Poljakov, E. V. Timoshina), Saint Petersburg: Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, pp. 600–627.
- Sorokin P. A. (2019) *Jelementarnyj uchebnik obshhej teorii prava v svjazi s teoriej gosudarstva* [Elementary textbook of general theory of law in connection with the theory of state]. Sorokin P. A. *Populjarnye ocherki teorii prava, sociologii i social'noj pedagogiki* [Popular outlines of the theory of law, sociology and social pedagogy], Syktyvkar: OOO «Anbur», pp. 21–192.
- Sorokin P. A. (1962) *Society, Culture and Personality: Their Structure and Dynamics. A System of General Sociology*, New York: Cooper Square Pub.
- Timoshina E. V. (2013) L. I. Petrazhickij vs. E. Jerlih: dva proekta sociologii prava [L. Petrażycki vs. E. Ehrlich: Two Projects of the Sociology of Law]. *Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Pravovedenie*, vol. 310, no 5, pp. 77–96.
- Timoshina E. V. (2010) Pravo kak spravedlivost': koncepcija intuitivnogo prava v shkole L. I. Petrazhickogo [Law as Justice: the Concept of Intuitive Law in the School of L. Petrażycki]. *Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Pravovedenie*, vol. 293, no 6, pp. 179–195.
- Romano S. (2017) *The Legal Order*, London: Routledge.
- Timoshina E. V., Vasil'eva N. S., Kondurov V. E., Kraevskij A. A. (2021) Tri carstva prava: teoreticheskie modeli dejstvitel'nosti i dejstvennosti prava [Three Realms of Law: Theoretical Models of Legal Validity and Efficacy]. *Vestnik RFFI. Gumanitarnye i obshhestvennye nauki*, no 3, pp. 93–103.
- Stammmler R. (2010) *Hozjajstvo i pravo s točki zrenija materialisticheskogo ponimanija istorii: Social'no-filosofskoe issledovanie* [Economy and Law from the Perspective of a Materialist Understanding of History: A Socio-Philosophical Study], Moscow: KRASAND.
- Weber M. (2016) *Hozjajstvo i obshhestvo: ocherki ponimajushhej sociologii v 4 t. T. 1. Sociologija* [Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology in 4 vol. V. 1. Sociology], Moscow: Izd. dom Vyshej shkoly jekonomiki.
- Weber M. (2018) *Hozjajstvo i obshhestvo: ocherki ponimajushhej sociologii v 4 t. T. 3. Pravo* [Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology in 4 vol. V. 3. Law], Moscow: Izd. dom Vyshej shkoly jekonomiki.
- Vaskovskii E. V. (2016) *Teoriya tolkovaniya grazhdanskogo prava. Ocherk metodologii tsivilisticheskoi dogmatiki* [Theory of civil law interpretation. Outline of the methodology of civil law dogmatics]. Vaskovskii E. V. *Izbrannye raboty pol'skogo perioda* [Selected works of Polish time], Moscow: Statut, pp. 236–517.
- Volkov V. V. (2017) *Empiricheskaja sociologija prava v uslovijah mezhdisciplinarnogo sinteza* [The empirical sociology of law in the context of interdisciplinary synthesis]. *Sociologicheskie issledovanija* [Sociological studies], no 4, pp 34–42.
- Weinberger O. (1991) *Law, Institution and Legal Politics: Fundamental Problems of Legal Theory and Social Philosophy*, Dordrecht: Springer.
- Windsheid B. (1874) *Uchebnik pandektnogo prava. T. 1* [Textbook of Pandect Law. V. 1], Saint Petersburg: Izd. A. Gieroglifova i I. Nikiforova.

## Постгород (IV): политики сопостранственности и планетарные онтологии

*Дмитрий Замятин*

Доктор культурологии, главный научный сотрудник Высшей школы урбанистики им. А. А. Высоковского, факультет городского и регионального развития, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, Российская Федерация 101000. E-mail: dzamyatin@hse.ru

Момос постгорода формирует специфические феноменологии опространствления, выходящие за пределы классических интерпретаций понятий биосферы и ноосферы. Постгородские сопостранственности — онтологическая «база» возникновения специфических земных планетарностей особой интенсивности. Постгород может быть топосом земных планетарностей, становящихся транспланетарными, сначала в метафизическом, а затем и в физическом отношениях. Постгородская транспланетарность является реляционностью множественных картографий воображения, репрезентирующих соответствующие метагеографии. Планетарный постурбанизм формируется как сосуществующие планетарные картографии воображения, самоорганизующиеся в метакартографию, которая опирается на соответствующие коммуникативные сопостранственности. Транспланетарные постгородские геокультуры, «клонирова» локальные символические коды, связанные с Землей, включают их в новые картографии воображения, сопостранственные вземным локусам. Сопостранственности человеческих сообществ становятся разделенными при переходах из искусственных внутренних сред во внешние транспланетарные среды, не имеющие отношения к земным геокультурам. Постурбанизм, способствуя расширению амбивалентных сетей картографий присутствия/отсутствия, создает новые возможности онтологической интенсификации пространства-как-отношения, позволяющие постгородским человеческим сообществам мыслить-действовать транспланетарно. «Ризоматический» постноматизм делает или вновь созидает Землю в онтологическом смысле в качестве гигантской космической «машины желания». Бог может рассматриваться онтологически как тотальная контингентность процессов детерриторизации и ретерриторизации, поскольку освоение транспланетарных пространств базируется на либидинальной экономике сопостранственностей. Фрагменты транспланетарных постгородских ноосфер будут осмысляться как автономные геокультуры, представляющие собой коммуникативные фракталы, чье размещение можно рассматривать как космогеополитику.

*Ключевые слова:* постгород, сопостранственность, политики сопостранственности, планетарные онтологии, картографии воображения, геокультура, космогеополитика

Современные постгородские пространства являются постоянным и пока еще недостаточно изученным источником различных антропологических и социологических инноваций, которые могут быть одновременно как спонтанными, так и некоторое время скрытыми от непосредственных свидетелей и наблюдателей. Специфические онтологические модели воображения, формирующиеся в этих пространствах, способствуют становлению совершенно новых картографий воображения, а также политик сопостранственности, кардинально меняющих стратегии освоения земных пространств (Замятин, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022). Вместе

с этим возникает вопрос: могут ли эти «революционные» онтологические трансформации как-то повлиять и на антропологические стратегии освоения внеземных пространств?

Цель статьи — исследовать влияние формирующихся постгородских политик сопространственности на более общие онтологические модели воображения земных и внеземных пространств. Задачи исследования: 1) изучить ключевые стратегии онтологического воспроизводства земных пространств в контексте постгородских политик сопространственности; 2) определить возможности концептуальной разработки онтологических моделей воображения внеземных пространств как «постурбанистических»; 3) выявить геофилософские основания воображаемых картографий земной и внеземной планетарности; 4) изучить геоидеологические и теологические последствия формирования планетарных политик сопространственности. Объектом исследования являются постгородские пространства в условиях планетарных культурных, политических, социальных и технологических изменений. В качестве предмета изучения рассматриваются социокультурные трансформации постгородских политик в контексте онтологического понимания планетарных — как земных, так и внеземных — антропологических процессов.

Постгородские политики сопространственности, связанные с детерриторизацией городских сообществ, предполагают развитие новых геоонтологий. Понятие геоспациализма, введенное нами ранее (Замятин, 2011), позволяет исследовать различные онтологические стратегии производства Земли в социологической и антропологической перспективе. Номос постгорода формирует специфические феноменологии опространствления, выходящие за пределы классических интерпретаций понятий биосферы и ноосферы. Постгородские геокультуры «ризоматического» типа могут способствовать созданию плоских онтологий (Деланда, 2018; Замятин, 2020), в рамках которых земная планетарность воспринимается как одновременно базовый и частный случай онтологического терраформинга (Swynge-douw, Ernstson, 2018; Papadopoulos, 2018; Klosterwill, 2018; Parry, 2019; Браттон, 2020; Хуэй, 2020; Tenti, 2021).

Методология исследования в значительной степени опирается на уже выполненное первичное изучение феномена постгородских политик сопространственности с использованием понятий картографий воображения, постгородских геокультур, новых медиальных сопространственностей. Вместе с тем здесь сделан новый методологический шаг, соединяющий философско-методологическую проблематику постгородских геокультур с темами планетарности, трансформации ноосферы в эпоху антропоцена и постномадизма. В соответствии с заявленным методологическим подходом, фундаментальное значение для настоящего исследования имеют работы П. Тейяра де Шардена (1987, 1992), Ж. Деррида (Деррида, 2000), Ж. Делеза и Ф. Гваттари (Делез, Гваттари, 2008, 2010), А. Ф. Филиппова (Филиппов, 1991, 2000, 2006), Т. Торранса (2010), П. Слотердайка (Слотердаик, 2005, 2007, 2010), М. Деланды (Деланда, 2018), Л. Биллингса (Billings, 2017, 2020), Р. Туттона (Tutton, 2017, 2018, 2020), Ю. Хуэя (Хуэй, 2020).

## Онтологии планетарности: пространственная включенность и потенциальный базис сопостранственности

Планетарность — неотъемлемое качество, бытийный «атрибут» всякой субстанции — живой или неживой — находящейся на какой-либо планете (DeLoughrey, 2019; Pryor, 2020). В сущности, и любая планета сама по себе обладает своего рода тотальной или абсолютной планетарностью. Понятно, что определение какого-либо небесного тела как планеты является в известной степени относительным и может меняться в зависимости от той или иной исторической или научной эпохи (Паннекук, 1966; Идельсон, 1975), тем не менее мы можем утверждать: планета как когнитивный и онтологический концепт, имеющий антропологический генезис, выступает феноменологической «платформой», дающей предпосылки для размышлений о человеческой/нечеловеческой планетарности, о планетарности различных человеческих сообществ и, наконец, о множественных планетарностях — как в отношении одной и той же планеты (например, Земли), так и в отношении разных планет (например, Земли и Марса, Венеры, Сатурна и т. д. — если оставаться пока в пределах Солнечной системы).

Отдельный человек, группа людей, определенное человеческое сообщество имеют свои планетарности вне зависимости от того, как и насколько они осознаются ими (Turner, 1994; Fogg, 2000; Слотердаjk, 2005, 2007, 2010; Толстоухов, 2003; Goralnik, Nelson, 2012; Wilson, Bayón, 2016; Castree, 2017; Persson, 2021). В этом «широком» смысле планетарности можно рассматривать как специфическую ауру или атмосферу, внутри которой живут и действуют те или иные живые существа (естественно, речь здесь может идти не только о человеке). В то же время можно говорить о планетарности и в узком смысле, когда она постоянно или временно осознается, становится предметом целенаправленной рефлексии, а также онтологическим источником определенных проектов и действий — как когнитивных, умозрительных, так и вполне реальных, если иметь в виду собственно физический мир. Здесь же возникает вопрос об онтологическом статусе планетарности предметов или объектов неживых, косной материи, составляющей в рамках физической размерности и объемности большую часть собственно Земли и полностью — остальные планеты Солнечной системы (Мейясу, 2015).

На наш взгляд, онтология любой планетарности основана на пространственной «включенности» всякого планетарного предмета или объекта, живого или неживого в силу его конкретной (дискретной) локализации, определяющейся как собственно планетными условиями и параметрами, так и (со)пространственностью планеты в пределах умопостигаемого и частично осваиваемого космоса. Такая двойная пространственная включенность обеспечивает в онтологическом плане своеобразную «наличность» планетарности всякого имеющегося планетарного объекта — человека, животного, камня, горы, дома, урагана, ручья, города, корабля и т. д. Вместе с тем эта пространственная включенность создает и потенциальный онтологический базис сопостранственности всякого планетного объ-



екта — как и планеты в целом — любому другому (ино)планетному объекту или другой планете, а также и любому небесному телу, различаемому в рамках подтверждаемого на данный момент космического миропорядка.

### **Формирование реляционных метапространств: от постгородских планетарностей к транспланетарностям**

Политики сопространственности, формирующиеся в пределах тех или иных планетарностей, предполагают как бы расширенное видение или же расширенный сенсорный опыт, на основе которого происходит становление взаимосвязанных, синергетических пространственных образов (Слотердаjk, 2005, 2007, 2010; Цветков, 2001; Аршинов, Буданов, 2006; Замятин, 2006; Blaschke, Lang, Nau, 2008; Гладкий, Олифир, 2020). Энергетика подобных образов может рассматриваться как одновременное концентрирование, сгущение различных предметных феноменологий, ориентированных на трансцендирование потенциальной динамики локальных экзистенций — будь то живые или неживые объекты. Наряду с этим множественность таких экзистенций создает новые, реляционные метапространства (ср.: Thrift, 2003; Донати, 2019; Деланда, 2018; Khan et al., 2014; Хуэй, 2020), являющиеся постоянно меняющейся «тканью» самих планетарностей, реализующих тем самым свои бесконечные с точки зрения *со-бытийности* онтологические потенциалы.

Постгородские сопространственности — онтологическая «база» возникновения специфических земных планетарностей особой интенсивности. Реляционные метапространства, так или иначе возникающие в ходе развития постгородских политик сопространственности и соответствующих постгородских сообществ, можно назвать источниками или очагами планетарностей, которые имеют или обладают реляционной эмерджентностью, связывающей их не только «внешне», функционально, но и в силу «сверхинтенсивности» самих пространственных отношений. Это означает, что постгород как таковой может быть онтологическим «местом», топосом земных планетарностей, как бы преодолевающих свою собственную «земность» и становящихся *метаземными* — или же, иначе — становящихся *транспланетарными*, сначала в метафизическом, а затем (нарушая последовательность обычных эпистемологических ракурсов) и в физическом отношениях.

Если предполагать, что пространство само по себе есть отношение, «позволяющее» бытию определиться, локализоваться, разместиться в себе самом, создавая, таким образом, и свою временность (Лефевр, 2016; Soja, 1989; Gregory, 1989; Crang, Thrift, 2000; Филиппов, 2000, 2008; Замятин, 2006; Löw, 2008; Мазарский, 2010; Нуруллин, 2019), то планетарность как бы выстраивает «второе бытие», метабытие, потенциально другое бытие с помощью реляционности, развернутой, «опрокинутой» на сопространственность. Множащееся, множественное бытие опространствляется, становясь самым становлением, чьи транспланетарности могут быть

выражением, экзистенцией тех или иных политик сопространственности. Постгородская транспланетарность оказывается в данном онтологическом контексте реляционностью множественных картографий воображения (Монно, 2012; Замятин, 2019, 2020), репрезентирующих соответствующие метагеографии — эти метагеографии гипостазируют постгородские сопространственности в рамках уже межпланетных космических отношений.

### **Транспланетарные политики сопространственности и метакартография воображения**

По всей видимости, можно говорить о транспланетарных метагеографиях, рождение которых связано с естественным расширением, своего рода образной экспансией самоорганизующихся постгородских сопространственностей, чья постоянно воспроизводящаяся синергия репрезентируется соответствующими политиками сопространственности. Эти политики сопространственности не могут быть локализованы по отношению к тем или иным определенным постгородским сообществам, коль скоро такие сообщества сами по себе являются «плавающими», не имеющими «строгой» привязки к конкретным географическим координатам (Замятин, 2020). Тем не менее планетарные политики сопространственности могут быть в первом приближении типологизированы, исходя из специфических «энергетических» параметров, признаков постурбанистических феноменов, характерных для тех или иных постурбанистических пространств и сред.

В феноменологическом контексте планетарность постгородских политик сопространственности может рассматриваться как стремление к трансцендированию любого топографического/топологического события, опространствляющему само пространство такого события. Всякий раз формирующаяся здесь-и-сейчас сопространственность становится планетарной в силу двоякой онтологической общности пространственных отношений (о которой упоминалось ранее), что ведет за собой развитие особых, уникальных постгородских планетарностей, как бы фиксирующих онтологически «следы» событий (см.: Деррида, 2000; Политов, 2016) — но не в том же пространстве, где они «происходили», а во вновь создаваемом метапространстве, открытом и Земле в целом, и иным транспланетарным смыслам. Иначе говоря, серии подобных метапространств «метят» конкретные, вполне эфемерные в феноменологическом плане постгородские сопространственности, строя или создавая тем самым политики сопространственности, все более и более выходящие за пределы земных топографий.

Каждая последующая политика сопространственности принципиально меняет размещение и локализацию картографий воображения, как наслаивающихся друг на друга. Здесь будет уместно констатировать появление нового термина — «метакартография воображения» (ср.: Замятин, 2022). По сути дела, по мере развития сменяющих друг друга политик сопространственности происходит постоянная трансформация метакартографии воображения, в рамках которой смещаются,

меняют свои позиции определенные картографии воображения, некоторые из них уходят на периферию такой метакарты и исчезают, и в то же время появляются новые, вытесняя постепенно старые. Другими словами, значимость той или иной постгородской политики сопостранственности может зависеть от степени влияния, воздействия на трансформации планетарной метакартографии воображения.

### **К транспланетарным постгородским геокультурам: трансформации базовых смыслов и новые картографии воображения**

Планетарный или транспланетарный постгород — естественная цель любой постгородской политики сопостранственности. Понятно, что такая цель может быть связана с утопическими проектами освоения космического пространства или же поверхности других планет (Finney, 1987; Anker, 2005; De Witt, 2003; Bell, Parker, 2009; Valentine, 2012; Симонова, 2014; Messeri, 2016; Tutton, 2017; Geppert, 2018; Иванов, 2018; Сивков, 2020). Существенно, однако, заметить, что онтологии планетарности предполагают в первую очередь развитие коммуникативных сопостранственностей, чья реляционность основана на осмыслении и геокультурной символизации тех или иных локусов, становящихся когнитивными элементами постгородских отношений. Планетарный постурбанизм формируется как сосуществующие планетарные картографии воображения, самоорганизующиеся, так или иначе, в метакартографию, которая опирается на соответствующие коммуникативные сопостранственности, не тождественные тем не менее потенциальным локальным событиям.

Транспланетарность постурбанизма может возникать в результате разрушения традиционных представлений о привязке постгородских отношений собственно к Земле. Это не означает, однако, что исчезают специфические постгородские геокультуры (Замятин, 2019, 2020) — они лишь становятся иными, трансформируются, становясь в какой-то степени способом манифестирования постгородских морфогенетических изменений. Конкретные люди, вполне возможно, будут рождаться и жить уже за пределами Земли, но их жизни, жизненные траектории можно будет рассматривать в постгородских геокультурных контекстах.

Переходы от планетарных к транспланетарным постгородским геокультурам в онтологическом плане амбивалентны: земные картографии воображения теряют свои первоначальные ключевые смыслы, но не исчезают совсем — скорее, они смещают и перемещают свои трансформирующиеся базовые смыслы, вновь обретают их в других системах координат — космических, инопланетных, внеземных. Такое символическое перепозиционирование, конечно, ведет к деформациям и самим смыслам, которые сохраняют все же свой геокультурный генезис (Замятин, 2022). Транспланетарные постгородские геокультуры, как бы клонируя изначальные символические коды, связанные с Землей, ее локусами, включают их в новые картографии воображения, сопостранственные внеземным локусам, и, соответственно, изменяют их и в содержательном отношении.

## Утопический урбанизм и онтология транспланетарности

Образы транспланетарных постгородских геокультур, несомненно, связаны с длительной историей утопических проектов продвижения и расселения человечества в открытом космосе и на других планетах (Циолковский, 1989, 2007; Anker, 2005; Launius, McCurdy, 2008; Valentine, 2012; Billings, 2017; Tutton, 2018, 2021; Gunderson, Stuart, Petersen, 2021; Урсул, 2020). Наряду с этим существенно важны и проекты утопических городов за пределами сухопутных земных поверхностей — прежде всего в воздухе — хотя и проектирование городов на водных (и особенно морских) поверхностях и под землей также способствовало развитию идей внеземного расширения систем человеческого расселения (Kaji-O'Grady, Raisbeck, 2005; Vronskaya, 2012; Ko et al., 2017; Лапшина, Брындина, 2018; Cowley, 2019; Billings, 2020). Нетрудно заметить, что значительная часть таких утопических проектов опиралась на кардинальное переосмысление социальных и коммуникативных отношений в рамках проектируемых поселений, стратегий пространственного развития человечества — естественно, на основе предполагаемых технологических революций (De Witt, 2003; Казютинский, 2003; Shukaitis, 2009; Хабибулина, 2010; Tutton, 2020). Но самое главное — эти проекты зачастую предполагали и принципиально новое эволюционирование самого человека как индивидуума и личности, а также и человеческих сообществ, что вело к трансформированию всех человеческих представлений о Вселенной, включая не только их научные и философские, но и теологические основания.

Проекты, упомянутые выше, на наш взгляд, в большинстве своем уже можно назвать в первом приближении постгородскими, поскольку они не были, как правило, механической транспозицией или проекцией всех существующих на определенный момент параметров и критериев городского развития на новые для человечества пространственные области или домены. Несмотря на то что они исходили из первоначального предположения о необходимой внешней пространственной экспансии человеческих сообществ в непривычные для них среды обитания — сначала на планетарном, а затем и транспланетарном уровнях — они, так или иначе, сосредотачивались на внутренне важных аспектах и последствиях этой экспансии. Пространство само по себе становится здесь онтологическим ядром «внутренних» трансформаций человечества и в то же время — реляционным принципом всех предполагаемых и прогнозируемых изменений.

Было бы очень сильной когнитивной «натяжкой» говорить о сопространственности как неотъемлемом качестве некоторых утопических урбанистических, параурбанистических и «расселенческих» проектов. Тем не менее есть один аспект, позволяющий рассматривать эти проекты как своего рода «предтечи», определенные предвестия позднейших сопространственных процессов конца XX — начала XXI века, демонстрирующих реляционность планетарности vs транспланетарности человечества. С нашей точки зрения, значительная часть таких проектов, явно или латентно, базируется на онтологическом преобразовании социальных отно-

шений и коммуникативных событий как условных (в нашем понимании) сопостранственностей (Marin, 1984; Sterken, 2003; Lin, 2016; Miller, 2017; Hanna, Paans, 2022; Горнова, Максименко, 2010; Аввакумов, 2020). Другими словами, пространство здесь становится тотальной интенциональностью, обеспечивающей и «обналичивающей» энергетику социокультурной, антропологической множественности бытия, а вернее — антропологических *бытий* (каким бы странным ни казалось употребление слова «бытие» во множественном числе, исходя из концептуальной истории его философского осмысления).

### **Астрономическая революция раннего модерна: к осмыслению бесконечности космоса и транспланетарности человеческого расселения**

Конечно, здесь следует упомянуть в первую очередь о той эпистемологической и одновременно антропологической ситуации, которая складывалась в эпоху модерна в течение XVI–XX веков в отношении общей картины мира и Вселенной в целом — естественно, речь идет о преимущественно западной сциентистской картине мира, поддерживаемой или же, наоборот, разрушаемой и подтачиваемой соответствующими теологическими и философскими построениями. Понятно, что астрономические открытия, ставшие частью научной революции в западном мире, повели и к одному из величайших мировоззренческих и когнитивных кризисов в истории человечества — бесконечность Вселенной и фактически бесконечность мировых пространств стали решающим основанием для переосмысления роли человечества в масштабах всего мироздания, и прежде всего самого человека как «творения божьего» (Койре, 2001, 2022). Ключевые вопросы о том, как заново осмыслить открывшиеся перед человечеством новые необъятные пространства и как в этой ситуации разработать новые теологические и философские перспективы, в немалой степени касались также и проблемы планетарности и транспланетарности человечества, а значит, и, возможно, принципиально новых принципов его расселения — как в пределах Земли, так и вне ее.

Размышления об этих фундаментальных вопросах и проблемах не могли не включать в себя и вопроса об обитаемости Вселенной, об одиночестве или не-одиночестве человечества в этих бесконечных мирах. Сам вопрос об этом, зародившийся еще в Античности, был сильнейшим образом трансформирован: если поздняя Античность могла воспринимать его шутливо, иронически или сатирически в контексте общего кризиса античного мировоззрения, в том числе и религиозного, то ранний модерн относился к нему гораздо более серьезно, рассматривая его прежде всего в экзистенциальном плане (даже откровенно сатирические художественные произведения в этом смысле были знаком или сигналом существования, функционирования более глубоких горизонтов проблемы) (Пахсарьян, 2021). Так или иначе, философская и теологическая мысль модерна во многом рассчитывала на раннее или позднее обнаружение в открытом космосе — сначала на ближайших к Земле планетах, а затем все дальше и дальше, в других галакти-

ках — «собратьев по разуму», пытаясь подвести под эту гипотезу те или иные аргументы, значимые не только в научном и технологическом, но и в философском и теологическом смыслах (Федоров, 2008; Циолковский, 2007; Гройс, 2015; Визгин, 2007; Казютинский, 1996; Лефевр, 2003; O'Meara, Thomas, 1999; Dick, 2000; Зайцев, 2006; Martin, 2009; Dick, Lupisella, 2009; Vakoch and Harrison, 2011; Peters, 2011, 2018; Wilkinson, 2013; Петренко, 2019).

На наш взгляд, возрастание онтологической значимости проблемы обитаемости космических пространств и возможности освоения их человечеством сопровождалось сначала подспудным, а затем и открытым увеличением научного, художественного, философского, теологического интересов к пространству как таковому, к его категоризации, воображению, структурированию и экзистенциальному «проживанию» (Филиппов, 1989; Nama, 2010; Geppert, 2012; Симонова, 2014; Иванов, 2018; Пахсарьян, 2021). Такое «внутреннее» освоение земного пространства началось, скорее всего, несколько позже приблизительного начала попыток фундаментального переосмысления внеземных пространств, однако их когнитивные взаимосвязь и взаимодействие могут быть вполне вероятны. Мы можем говорить здесь о почти «параллельных» процессах развития новых антропологических подходов к исследованию трансцендентных и имманентных аспектов пространственности, что свидетельствует, по аналогии, о специфическом дуализме и в то же время «диалектическом» единстве человеческих систем расселения: привычная до самого недавнего времени бинарная схема деления на сельское и городское расселение (учитывая, естественно, и переходные формы) может постепенно смениться схемой деления на планетарное и транспланетарное (земное и внеземное) расселение человечества.

### **Пространственность и божественное: человеческие геокультуры в транспланетарных средах**

Амбивалентное соединение и взаимодействие планетарности и транспланетарности в контексте постурбанизма связано с проблемой анализа онтологии сопостранственности. Планетарная экология Земли в ее утопических вариантах могла предполагать развитие сплошной урбанистической сети, охватывающей в той или иной степени всю земную поверхность, а также отдельные слои гидросферы и атмосферы — тотальной земной, планетарной урбанизации, распространяющейся далее на околоземную орбиту, на сеть орбитальных космических станций и, в относительно недалеком будущем, на ближайшие планеты (включая и спутник Земли Луну) (Brenner, Schmid, 2012, 2014; Ruddick, 2015; Goonewardena, 2018). Однако очевидное радикальное отличие экологических условий, не способствующее проживанию человека и человеческих сообществ в этих новых для них пространствах, ведет к тому, что практически все подобные проекты оказываются «интерьерными», имеющими дело с проектированием внутренних сред, имитирующих сравнительно комфортные для человека земные условия (Циолковский, 1989;



Шарп, 1971; Nelson, Dempster, Allen, 2008; Дегерменджи, Тихомиров, 2014; Ткачев, Морозов, 2017; Казначеев, 2020; Ловатовская, 2022). Сопространственности человеческих сообществ становятся разделенными, разорванными, неслиянными — при переходах из искусственных внутренних сред во внешние транспланетарные среды, не имеющие отношения к земным геокультурам.

Такой резкий геокультурный разрыв может быть основанием для формирования совершенно иных онтологий, имеющих земной геокультурный генезис, но обладающих уже другими, транспланетарными признаками — и, безусловно, главное — другой пространственностью. Если планетарные пространственности, на любой планете, еще могут предполагать, несмотря на различия в гравитации и конфигурации этих небесных тел, сохранение общей ориентации по условным частям света и, как следствие, сохранение общих «геокультурных» (взятых по понятным причинам в кавычки) предпосылок — то локализация отдельных людей и небольших человеческих сообществ в межпланетных и межзвездных пространствах означает почти полный разрыв с привычными в земных и параземных условиях пространственностями. Выражаясь иначе, планетарные онтологии могут быть «вывернуты наизнанку», становясь транспланетарными: доминирующие в основном трансцендентные версии антропогенных сопространственностей могут смениться, вероятнее всего, имманентными версиями таковых — причем количество таких версий может быть бесконечным, в зависимости от интенсивности транспланетарных мобильностей и конкретных космических локализаций.

Между тем принципиально важным остается вопрос и о теологических трансформациях, очевидно, сопровождающих подобные потенциальные изменения геокультурных онтологий человечества. Как бы ни было деперсонифицировано понятие бога в тех или иных религиях, вопрос о его соотношении с пространством (в простейшем виде: где находится бог? Или же: где находится бог, когда он творит мир?) приобретает все более и более «острое» звучание по мере продвижения человечества в космические пространства (Торранс, 2010; Нестерук, 2006). Конечно, вариант с возможным отождествлением этих понятий может частично снять сам вопрос, переведя его в плоскость «синергетических» рассуждений, однако применение реляционного принципа может привести и к другому когнитивному варианту, когда именно возрастающая интенсивность экзистенциального взаимодействия божественного промысла и человеческого «умысла» станет своего рода «трамплином» для онтологических преобразований сопространственности как таковой — включающей в себя неслиянность пространственности и божественного как взаимных оснований друг друга.

### **Богочеловеческие основы космической сопространственности: к новым картографиям присутствия/отсутствия**

Если все же сосредоточиться на проблеме пространственности как потенциальной интенсификации любых отношений, возникающих между земными/космиче-

скими агентами органического или неорганического происхождения, то станет ясным фактическое наличие проблематики картографий присутствия и отсутствия, характерных для постгородских сопостранственностей как коммуникативных событий (Яннарас, 2004; Замятин, 2018, 2019, 2020). Физическая дистанция, или физическая протяженность, являющаяся внешне почти абсолютным экстенсивным признаком космоса и космического пространства, оказывается в то же время фактором очевидного наращивания «внутренней» интенсификации всяких «космических» или транспланетарных отношений. Иными словами, транспланетарность в онтологическом контексте имеет, по всей видимости, «постгородской» генезис — коль скоро человеческие сообщества, «нагнетая» свое экстенсивное развитие, выходят за пределы осознанной ими планетарности и фиксируют тем самым коммуникативные события-разрывы, наращивающие «ткань» сопостранственностей; с другой стороны, постурбанизм, способствуя расширению амбивалентных сетей картографий присутствия/отсутствия, создает кардинально новые возможности онтологической интенсификации пространства-как-отношения, позволяющие постгородским человеческим сообществам мыслить-действовать транспланетарно.

В этой ситуации можно говорить об известной «теологизации» самой проблематики транспланетарности в непосредственной, тесной связи с постгородским развитием. В наибольшей степени этому онтологическому процессу соответствуют радикальные теологические изменения, происходившие в течение XIX — начала XXI века в христианстве — прежде всего в католичестве и православии (Гройс, 2015; *Post-Secular Philosophy*, 1997; *Radical orthodoxy*, 1999; Хоружий, 2005; Суханова, 2011; Долгов, 2012; Христокин, Воробьева, 2012; Христокин, 2013). По всей видимости, наибольшее влияние на интересующую нас проблематику оказал Тейяр де Шарден, в большинстве теологических и мистических произведений которого тема ноосферы и планетарности напрямую корреспондирует с темами космогенеза и христологии. Тейяр, пожалуй, был первым из христианских мыслителей, перенесших в своих исследованиях метафизический акцент с проблемы времени и вечности на проблему земной пространственности и христологии как поистине космической vs транспланетарной концепции (Тейяр де Шарден, 1988, 1993). В определенном смысле можно утверждать, что он стал «предтечей» планетарного сопостранственного подхода, предполагающего эпистемологическое сближение (если не отождествление) проблемы божественного творения как космического акта, подразумевающего динамическую теоантропологию Земли, и собственно проблемы космогенеза как «напряженной» интенсивности пространственных отношений.

Однако в не меньшей степени следует обратить внимание и на развитие православной теологии, в которой темы обожения человека, исихазма и божественных энергий, обретших свое выражение еще на ранних этапах ее развития, получили новый импульс в течение XIX — начала XXI века и оказались, по сути, крайне важными для осмысления проблематики тварности и не-тварности (Флоровский,

1998; Хоружий, 2018), непосредственно выходящей уже к реляционности богочеловеческих отношений в рамках космогенеза. Если Тейяр де Шарден сумел глубоко исследовать, скорее, внешнюю теологическую сторону формирования земной планетарности, переходящей далее к транспланетарности, то православные богословские штудии были ориентированы в большей мере на внутренние аспекты созидания богочеловеческих основ космической сопространственности. Конечно, здесь можно было бы в известной степени указать на трансцендентное акцентирование самой проблематики у Тейяра и, соответственно, на имманентное акцентирование в православной мысли (Зеньковский, 1997; Куракина, 2003; Калмыков, 2015; Бужор, Бужор, 2021) — но главное, что их объединяет, это четкое и активное осознание значимости проблемы Бога и божественного в пределах антропологии пространственности, затрагивающей и захватывающей космогенез как таковой, в его онтологической плоскости.

### **Космические метагеографии и транспланетарный постномадизм**

Возвращаясь теперь к политикам сопространственности, характерным для постурбанистического развития, следует обратить внимание на интенсивные процессы детерриторизации и ретерриторизации, сопровождающие подобные городские трансформации (Замятин, 2019). «Ризоматический» постномадизм, становящийся в результате таких процессов одним из ключевых признаков планетарности, делает или вновь созидает Землю в онтологическом смысле в качестве гигантской космической «машины желания» (Делез, Гваттари, 2008, 2010; Замятин, 2016, 2019, 2020). Множественность и очевидная контингентность постурбанистических политик сопространственности способствует охвату ими не только самой планеты, но и транспланетарных пространств, «призванных» быть символом и «телосом» Земли как «машины желания».

Понятно, что космос оказывается в этой связи своего рода теологическим «черным ящиком» и в то же время желаемым пространством бесконечного развертывания божественного присутствия/отсутствия. Бог может рассматриваться онтологически как тотальная контингентность процессов детерриторизации и ретерриторизации, поскольку освоение транспланетарных пространств базируется на либидинальной экономике сопространственностей. Обожение человека и человечества, ставшее одним из важнейших положений православной теологии, возможно в ходе постоянного формирования сменяющих друг друга симультанных богочеловеческих картографий воображения, размещающих тем самым космические трансцендентные локальности в непреходящей имманентности бытия как транспланетарного события.

Транспланетарные политики сопространственности, имея вполне очевидный геокультурный и постурбанистический генезис, могут быть интерпретированы также как вероятный феноменологический источник формирования новых космических метагеографий. Такие метагеографии, обладая поддержкой

вающими и развивающими их автономными картографиями воображения, могут фиксировать специфические аспекты человеческого освоения других планет и межпланетного пространства и носить ризоматический характер, подчеркивающий несомненную контингентность вновь возникающих транспланетарных сообществ. Вместе с тем их значимость может быть обусловлена когнитивной необходимостью подобных сообществ в построении новых онтологических медиальностей, как бы вбирающих, впитывающих в себя постоянно трансформирующиеся сопостранственности космического со-присутствия/со-отсутствия божественного и человеческого в их неразрывной, нераздельной неслиянности.

### **Космогеополитика: транспланетарные постгородские ноосферы и опространствление бытия**

Новые медиальные сопостранственности (Замятин, 2020, 2021), ориентированные на транспланетарность, могут быть основаны на расширенном и преобразованном понимании концепта ноосферы, введенного в научный, философский и теологический оборот почти одновременно В. И. Вернадским, Ле Руа и Тейяром де Шарденом (Lovelock, 1979, 2000; Serafin, 1988; Samson, Pitt, 1999; Oldfield, Shaw, 2006; Steffen et al., 2011; Nordblad, 2014; Wyly, 2015; Hamilton, Grinevald, 2015; Lemmens, 2018; Simpson, 2020; Hartley et al., 2020). Само понятие ноосферы, безусловно, предполагает видение земной планетарности как экспансии и развития человеческого разума, что позволяет говорить и о несомненной медиальности этого масштабного антропологического явления. Человеческие сообщества, одновременно творящие ноосферу и творящиеся ею, трансформируют тем самым и собственные оригинальные геокультуры, приобретающие не только планетарные, но и транспланетарные черты. Наряду с этим можно утверждать, что фрагменты земной ноосферы в преобразованном виде становятся элементами человеческой транспланетарности по ходу возможного освоения и заселения людьми других планет.

Естественно, подобная интерпретация поднимает вопрос, уже рассматривавшийся нами ранее — о расседоточении, рассеивании всякой коммуникативной «центральности» как следствии развития новых постгородских медиальностей (Замятин, 2020). По сути дела, становление постгородских планетарностей и, далее, транспланетарностей будет означать формирование новых типов постгородских сопостранственностей, принципиально исключающих понятие центра и — как следствие — понятие периферии из анализа данных феноменов. Вероятнее всего, фрагменты транспланетарных постгородских ноосфер будут осмысляться как вполне органичные и самодостаточные, автономные геокультуры, представляющие собой коммуникативные фракталы, чье размещение можно рассматривать как своего рода *космогеополитику* (ср.: Dolman, 2003; Модестов, 2010; Пырин, 2011; Каширин, 2012; Урсул, 2012).

Потенциальная транспланетарность постгородского развития и очевидная интенсификация постгородских отношений в коммуникативном и медиальном планах дают также возможность говорить о принципиально ином онтологическом паттерне пространства и пространственности как таковых. На наш взгляд, потенциальная бесконечная множественность постгородских сопостранственностей ведет к постепенной смене, трансформации философских и религиозных оснований и смыслов развития человечества. «Энергетика» постгородского расселения может необратимо опространствлять само человеческое бытие, превращая его, условно, в богочеловеческое *со-общение* вновь возникающих сопостранственностей. Каждый акт подобного *со-общения* может рассматриваться как геокультурно размещенная и укорененная, конкретная политика сопостранственности. Таким образом, космогеополитику в подобном ракурсе можно трактовать как бесконечную череду сопостранственных *со-бытий*, проявляющих имманентную божественность трансцендентных человеческих устремлений.

Итак, основные выводы исследования состоят в следующем:

1) Успешные практики освоения внеземных пространств, скорее всего, будут связаны с формированием и развитием принципиально новых политик сопостранственности, однако их онтологические основания во многом будут похожи на аналогичные основания постгородских политик сопостранственности.

2) Расширенные в методологическом контексте исследования специфики постурбанистических локальных феноменологий — в сферах как земной имманентности, так и земной трансцендентности — могут оказать значительное влияние на решение серьезных антропологических проблем, возникающих при детальном перспективном планировании освоения внеземных пространств. Привычная до самого недавнего времени бинарная схема деления на сельское и городское расселение (учитывая, естественно, и переходные формы) может постепенно смениться схемой деления на планетарное и транспланетарное расселение человечества.

3) Реляционные метапространства, возникающие в ходе развития постгородских политик сопостранственности и соответствующих постгородских сообществ, можно назвать очагами планетарностей. Планетарный постурбанизм формируется как сосуществующие планетарные картографии воображения, самоорганизующиеся, так или иначе, в метакартографию. Это позволяет говорить о *транспланетарных метагеографиях*, рождение которых связано с образной экспансией самоорганизующихся постгородских сопостранственностей.

4) Становление постгородских планетарностей и транспланетарностей будет означать формирование новых типов постгородских сопостранственностей, исключающих понятия центра и периферии из анализа данных феноменов. Фрагменты транспланетарных постгородских ноосфер будут осмысляться как автономные геокультуры, представляющие собой коммуникативные фракталы, чье размещение можно рассматривать как реализацию *космогеополитики*.

## Литература

- Аввакумов Ю. (2019). Бумажная архитектура. Антология. М.: Музей современного искусства «Гараж».
- Аршинов В. И., Буданов В. Г. (2006). Когнитивные основания синергетики // Синергетика на рубеже XX–XXI в. Москва: ИНИОН РАН. С. 7–54.
- Браттон Б. (2020). The Terraforming / Пер. с англ. В. Бабицкой. М.: Strelka Press.
- Бужор Е. С., Бужор В. И. (2021). «Преодоление платонизма» как попытка создания православной софиологии в творчестве В. В. Зеньковского // Манускрипт. 2021. № 9.
- Визгин В. П. (2007). Идея множественности миров: Очерки истории. М.: ЛКИ.
- Гиндилис Л. М. (2004). Космическое сознание: научный подход через призму *seti* // Космическое мировоззрение — новое мышление XXI века. № 3. С. 230–255.
- Гладкий А. В., Олифир Д. И. (2020). Онтология категорий «ландшафт» и «комплекс» в пространственной синергии // Гуманитарный вектор. Т. 15. № 2. С. 111–120.
- Горнова Г. В., Максименко Л. А. (2010). Космос в зеркале города // Преподаватель XXI век. № 2. С. 257–265.
- Гройс Б. (2015). Русский космизм. Антология. М.: Ад Маргинем Пресс.
- Дегерменджи А. Г., Тихомиров А. А. (2014). Создание искусственных замкнутых экосистем земного и космического назначения // Вестник РАН. Т. 84. № 3. С. 233–240.
- Деланда М. (2018). Новая философия общества: Теория ассамбляжей и социальная сложность / Пер. с англ. К. С. Майоровой. Пермь: Гиле Пресс.
- Деррида Ж. (2000). О грамматики / Пер. с фр. Н. Автономовой. М.: Ad Marginem.
- Долгов В. Б. (2012). Католический модернизм: часть западного модерна или особая реакция на него? // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. № 12. С. 91–98. Тамбов: Грамота.
- Донати П. (2019). Реляционная теория общества: Социальная жизнь с точки зрения критического реализма / Сост. Е. А. Кострова. М.: ПСТГУ.
- Зайцев А. Л. (2006). Парадокс *seti* // Астрофизический бюллетень. №60–61. С. 226–229.
- Замятин Д. Н. (2006). Культура и пространство: моделирование географических образов. М.: Знак.
- Замятин Д. Н. (2011). Геоспациализм: онтологическая динамика пространственных образов // Социологическое обозрение. Т.10. № 3. С. 21–28.
- Замятин Д. Н. (2016). Постномадизм: пространственные антропологии путешествий // Уральский исторический вестник. № 2. С. 17–26.
- Замятин Д. Н. (2018). Постгород: пространство и онтологические модели воображения // Полис. Политические исследования. № 3. С. 147–165.
- Замятин Д. Н. (2019). Постгород (II): воображаемые картографии и политики со-пространственности // Социологическое обозрение. Т. 18. № 1. С. 9–35.



- Замятин Д. Н.* (2020). Постгород (III): политики сопространственности и новые медиальности // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 232-266.
- Замятин Д. Н.* (2021). Гетеротекстуальность и сопространственность: от семиотики города к транссемиотике постгорода // Уральский исторический вестник. № 1 (70). С. 70-79.
- Замятин Д. Н.* (2022). Онтологии картографии: географическое воображение и планетарность // Логос. 2022. № 6. С. 189-207.
- Зеньковский В. В.* (1997). Проблема космоса в христианстве // Живое предание. Православие в современности. М.: Свято-Филаретовская московская высшая православно-христианская школа. С. 71-91.
- Иванов К.* (2018). Воображаемые космические путешествия в ранней советской научной фантастике // Логос. № 2 (123). С. 159-224.
- Идельсон Н. И.* (1975). Этюды по истории небесной механики. М.: Физматгиз.
- Казначеев Д. В.* (2020). Метод подбора специалистов, обеспечивающих работоспособность ЭкоКосмоДома на планете Земля // Сборник материалов III международной научно-технической конференции «Безракетная индустриализация ближнего космоса: проблемы, идеи, проекты». Б.м. С. 348-357.
- Казютинский В. В.* (ред.). (1996). Астрономия и современная картина мира. М.: Институт философии РАН.
- Казютинский В. В.* (2003). Космическая философия К. Э. Циолковского: за и против // Земля и Вселенная. № 4. С. 43-54.
- Калмыков А. А.* (2015). Космический разум, антропоцентризм, иконичность // Метапарадигма: богословие, философия, естествознание. Альманах. № 7. С. 63-95.
- Карсавин Л. П.* (1992). Религиозно-философские сочинения. Т. 1. М.: Renaissance.
- Каширин А. А.* (2012). Космос как новая сфера геополитических отношений // Геополитика: теория, история, практика. № 1. С. 249-250.
- Койре А.* (2001). От замкнутого мира к бесконечной вселенной / Пер. с англ. В. Стрелкова (гл. 1-6), К. Голубович (гл. 7-9, 11-12;) и О. Зайцевой (гл. 10). М.: Логос.
- Койре А.* (2022). Этюды о Галилее / пер. с фр. Н. Кочинян. М.: Новое литературное обозрение, 2022.
- Куракина О. Д.* (2003). Софийная эстетика русского космизма // Ориентиры. Вып. 2. М.: ИФ РАН. С. 91-112.
- Лапшина Е. Г., Брындина А.* (2018). Динамика формы в архитектуре: футуристические проекты летающих городов // Синергия наук. № 21. С. 510-517.
- Лефевр А.* (2015). Производство пространства / Пер. с фр. И. Стаф. М.: Strelka Press.
- Лефевр В. А.* (2003). Рефлексия. М.: Когито-Центр.
- Логоватовская Е. С.* (2022). Архитектура и космос. Обитаемая база на Луне // Academia. Архитектура и строительство. 2022. №1. С. 54-59.
- Мазарский М. В.* (2010). Интерсубъективность и транссубъективность: Левинас, Пуанкаре, Бергсон, Пригожин // Философские науки. №. 7. С. 50-64.

- Модестов С. А. (2010). Геополитика космоса в XXI веке // Космонавтика XXI века / Отв. ред. Б. Е. Черток. М.: Изд-во «РТСофт». С. 555-570.
- Мейясу К. (2015). После конечности: эссе о необходимости контингентности / Пер. с фр. Л. Медведевой. М.: Кабинетный ученый.
- Мойзер Ф. (2018). Галина Балашова. Архитектор советской космической программы / Пер. с нем. А. Братишко, И. Бушуевой. Берлин: DOM Publishers.
- Нестерук А. (2006). Логос и космос: Богословие, наука и православное предание. М.: ББИ.
- Ним Е. Г. (2018). Космос как фронтير социологии // Социологический журнал. Т. 24. № 2. С. 8-27.
- Нуруллин Р. А. (2019). Матричная трактовка небытия как метафизическое основание бытия // Метафизика. № 4 (34). С. 62-74.
- Паннекук А. (1966). История астрономии / Пер. с англ. Н. И. Невской. М.: Наука.
- Пахсарьян Н. Т. (2021). Сирано де Бержерак как предшественник научно-фантастической прозы // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7. Литературоведение. Реферативный журнал. 2021. № 1. С. 113-124.
- Петренко В. Ф. (2019). Одни ли мы во Вселенной или возможна встреча с иными цивилизациями? // Методология современной психологии. № 9. С. 245-259.
- Политов А. В. (2016). Феномен следа в философии Жака Деррида и его онтологическое истолкование // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Культура. История. Философия. Право. № 4. С. 93-102.
- Пырин А. Г. (2011). Объект и предмет геокосмополитики // Пространство и Время. 2011. № 4. С. 20-22.
- Сивков Д. Ю. (2020). Места и масштабы: онтологии освоения космоса // Сибирские исторические исследования. № 1. С. 75-96.
- Симонова А. В. (2014). Формирование космической мифологии как фактора развития научных исследований космоса в СССР и России // Социология власти. № 4. С. 156-173.
- Слотердайк П. (2005). Сферы: Микросферология. Т. 1: Пузыри / Пер. с нем. К. В. Лощевского. СПб.: Наука.
- Слотердайк П. (2007). Сферы: Макросферология. Т. 2: Глобусы / Пер. с нем. К. В. Лощевского. СПб.: Наука.
- Слотердайк П. (2010). Сферы: Плюральная сферология. Т. 3: Пена / Пер. с нем. К. В. Лощевского. СПб.: Наука.
- Суханова Н. А. (2011). Эсхатология как незаконченность дебатов в теологии // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. № 1. С. 27-37.
- Тейяр де Шарден П. (1992). Божественная среда. М.: Renaissance.
- Тейяр де Шарден П. (1987). Феномен человека / Пер. с фр. Н. А. Садовского. М.: Наука.
- Ткаченко Ю. Л., Морозов С. Д. (2017). Из истории создания искусственных экосистем // Общество: философия, история, культура. № 6. (без пагинации).

- Толстоухов А. В. (2003). Глобальный социальный контекст и контуры эко-будущего // Вопросы философии. № 8. С. 49-63.
- Торранс Т. Ф. (2010). Пространство, время и воплощение / Пер. с англ. А. Нестерука. М.: ББИ.
- Урсул А. Д. (2020). Вектор социоприродной эволюции: от глобальной к геокосмической устойчивости // Философская мысль. № 8. С. 19-29. Урсул А. Д. (2012). Космическое продолжение глобальных процессов // Пространство и Время. № 2. С. 17-23.
- Федоров Н. Ф. (2008). Философия Общего дела. М.: Эксмо.
- Филиппов А. Ф. (1991). Социология и космос // Винокуров В. В., Филиппов А. Ф. (ред.). Социо-логос. Вып. 1. Общество и сферы смысла. М.: Прогресс. С. 241-273.
- Филиппов А. Ф. (2000). Социология пространства: общий замысел и классическая разработка проблемы // Логос. № 2. С. 113-151.
- Филиппов А. Ф. (2008). Социология пространства. СПб.: Владимир Даль, 2008.
- Флоровский Г. (1998). Догмат и история. М.: Изд-во Св.-Владимир. Братства.
- Фуллер Р. Б. (2018). Космический корабль «Земля»: Руководство по эксплуатации / Ред. А. Финогенова. М.: Издатель Дмитрий Аронов.
- Хабибуллина З. Н. (2010). Специфика утопических взглядов русских космистов // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. № 3. С. 4—7.
- Хоружий С. С. (2005). Очерки синергийной антропологии. М.: Институт синергийной антропологии; Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы.
- Хоружий С. С. (2018). Лагерный цикл как философское завещание Л. П. Карсавина // Философский полилог: Журнал Международного центра изучения русской философии. № 2. С. 29-40.
- Христокин Г. В. (2013). Сравнительный анализ софиологии С. Н. Булгакова и неопатристики в контексте перспектив развития православной теологии XXI века // Философия хозяйства. № 2 (86). С. 183-194.
- Христокин Г. В., Воробьева Л. С. (2012). Православная теология начала XX века в поисках новых парадигм развития // Философия хозяйства. № 4 (82). С. 64-73.
- Хуэй Ю. (2020). Рекурсивность и контингентность / Пер. с англ. Д. Кралечкина. М.: V-A-C Press.
- Цветков В. Я. (2001). Геоинформатика и синергетика // Информатика и системы управления. № 2. С. 65-73.
- Циолковский К. Э. (1989). Промышленное освоение космоса. М.: Машиностроение.
- Циолковский К. Э. (2007). Космическая философия. М.: Сфера.
- Шарп М. (1971). Человек в космосе. М.: Мир.
- Щедрин А. Т. (2014). Ченнелинг: поиски метаантропологических измерений бытия разума во Вселенной (по материалам Всемирной паутины) // Антропологические измерения философских исследований. № 5. С. 24-46.
- Щипков Д. (2020). «Радикальная ортодоксия»: критический анализ. М.: Русская экспертная школа.

- Яннарас Х.* (2005). Избранное: Личность и Эрос. М.: РОССПЭН.
- Anker P.* (2005). The ecological colonization of space // *Environmental History*. Vol. 10. № 2. P. 239-268.
- Bell D., Parker M.* (eds.) (2009). *Space travel and culture: From Apollo to space tourism*. Oxford: Willey-Blackwell.
- Billings L.* (2017). Should humans colonize other planets? No // *Theology and Science*. Vol. 15. № 3. P. 321-332.
- Billings L.* (2020). Earth, Life, Space // *Smith K. C., Mariscal C.* (eds.) *Social and Conceptual Issues in Astrobiology*. Oxford: Oxford University Press. P. 239-262.
- Blaschke T., Lang S., Hay G.* (ed.) (2008). *Object-based image analysis: spatial concepts for knowledge-driven remote sensing applications*. Berlin, Heidelberg: Springer Science & Business Media.
- Blond P.* (ed.) (1997). *Post-Secular Philosophy. Between philosophy and theology*. London, New York: Routledge.
- Brenner N., Schmid C.* (2012). Planetary Urbanization // *Gandy M.* (ed.) *Urban Constellations*. Berlin: Jovis. P. 10-13.
- Brenner N., Schmid C.* (2014). The «Urban Age» in Question // *International Journal of Urban and Regional Research*. Vol. 38. № 3. P. 731-755.
- Castree N.* (2003). Environmental issues: relational ontologies and hybrid politics. *Progress // Human Geography*. Vol. 27. № 2. P. 203-211.
- Castree N.* (2017). Speaking for the 'people disciplines': Global change science and its human dimensions // *The Anthropocene Review*. Vol. 4. № 3. P. 160-182.
- Cowley R.* (ed.) (2019). *A Manifesto for Governing Life on Mars*. L.: King's College London.
- Crang M., Thrift N.* (eds.) (2000). *Thinking Space*. London and New York: Routledge.
- DeLoughrey E. M.* (2019). *Allegories of the Anthropocene*. Durham and London: Duke University Press.
- Dick S. J., Lupisella M.* (eds.) (2009). *Cosmos & Culture: Cultural Evolution in a Cosmic Context*. Washington DC: National Aeronautics and Space Administration, Office of External Relations, History Division.
- Dolman E. C.* (2003). Geostrategy in the Space Age: An Astropolitical Analysis // *Gray C. S., Sloan G.* (eds.) *Geopolitics? Geography and Strategy*. L.: Routledge. P. 83-107.
- Finney B. R.* (1987). Anthropology and the humanization of space // *Acta Astronautica*. № 3. P. 189-194.
- Fogg M. J.* (2000). The ethical dimensions of space settlement // *Space Policy*. Vol. 16. № 3. P. 205-211.
- Geppert A. C. T.* (ed.) (2012). *Imagining outer space: European astroculture in the twentieth century*. Palgrave Studies in the History of Science and Technology. Vol. 1. L.: Palgrave Macmillan.
- Geppert A. C. T.* (ed.) (2018). *Limiting Outer Space: Astroculture After Apollo*. Palgrave Studies in the History of Science and Technology. Vol. 2. L.: Palgrave Macmillan.

- Goonewardena K.* (2018). Planetary Urbanization and Totality // *Environment and Planning D: Society and Space*. Vol. 36. № 3. P. 456–474.
- Goralnik L., Nelson M. P.* (2012). Anthropocentrism // *Chadwick R.* (ed.) *Encyclopedia of Applied Ethics*. Second Edition. Vol. 1. San Diego: Academic Press. P. 145–155.
- Gregory D.* (1989). Presences and Absences: Time–Space Relations and Structuration Theory // *Held D., Thompson J. B.* (eds.) *Social Theory of Modern Societies: Anthony Giddens and his Critics*. Cambridge, MA: Cambridge University Press. P. 185–214.
- Gunderson R., Stuart D., Petersen B.* (2021). In search of plan(et) B: Irrational rationality, capitalist realism, and space colonization // *Futures*. № 134. P. 1–10.
- Hamilton C., Grinevald J.* (2015). Was the Anthropocene anticipated? // *The Anthropocene Review*. Vol. 2. № 1. P. 59–72.
- Hanna R. A., Paans O.* (2022). Creative Piety and Neo-Utopianism: Cultivating Our Global Garden // *Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy*. Vol. 18. № 1. P. 1–82.
- Hartley J., Ibrus I., Ojamaa M.* (2020). On the digital semiosphere: Culture, media and science for the Anthropocene. New York: Bloomsbury.
- Kaji-O’Grady S., Raisbeck P.* (2005). Prototype cities in the sea // *The Journal of Architecture*. Vol. 10. № 4. P. 443–461.
- Khan, A. Z., Moulaert, F., Schreurs, J., & Miciukiewicz, K.* (2014). Integrative spatial quality: A relational epistemology of space and transdisciplinarity in urban design and planning // *Journal of Urban Design*. Vol. 19. №. 4. P. 393–411.
- Kilgore De Witt D.* (2003). *Astrofuturism: Science, Race, and Visions of Utopia in Space*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Klosterwill K. J.* (2018). Metaphors we scape by: the possibilities of terraforming as a new descriptor of landscape // *Landscape Research Record* № 7. P. 1–94. URL: <https://thecla.org/landscape-research-record-no-07/> (дата доступа: 19.05.2023).
- Ko N., Betten T., Schestak I., Gantner J.* (2017). LCA in space – current status and future development // *Matériaux & Techniques*. Vol. 105. №. 5–6. P. 507.
- Launius R. D., McCurdy H. E.* (2008). *Robots in space: Technology, evolution, and interplanetary travel*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Lemmens P.* (2018). Re-Orienting the Noösphere: Imagining a New Role for Digital Media in the Era of the Anthropocene // *Glimpse*. №. 19. P. 55–64.
- Lin Z.* (2016). Metabolist utopias and their global influence: three paradigms of urbanism // *Journal of Urban History*. Vol. 42. №. 3. P. 604–622.
- Lovelock J.* (1979). *Gaia: A New Look at Life on Earth*. Oxford: Oxford University Press.
- Lovelock J.* (2000). *The Ages of Gaia: A Biography of our Living Planet*. Oxford: Oxford University Press.
- Löw M.* (2008). The constitution of space: The structuration of spaces through the simultaneity of effect and perception // *European Journal of Social Theory*. Vol. 11. №. 1. P. 25–49.
- Marin L.* (1984). *Utopics: Spatial Play*. New Jersey: Humanities Press.

- Martin S.* (2009). *Cosmic Conversations: Dialogues on the Nature of the Universe and the Search for Reality*. New Jersey: Career Press.
- Messeri L.* (2016). *Placing Outer Space: An Earthly Ethnography of Other Worlds*. Durham: Duke University Press.
- Milbank J., Pickstock C. and Ward G.* (eds.) (1999). *Radical orthodoxy: a new theology*. L.: Routledge.
- Miller T.* (2017). Expressionist Utopia: Bruno Taut, Glass Architecture, and the Dissolution of Cities // *Filozofski vestnik*. Vol. 38. №. 1. P. 107-129.
- Monno V.* (2012). A different view of relational complexity. Imagining places through the deleuzean social cartography // *de Roo G., Hillier J. Van Wezemaal J.* (eds.) *Complexity and planning systems, assemblages and simulations*. L.: Routledge. P. 287-310.
- Nama A.* (2010). *Black space: Imagining race in science fiction film*. Austin: University of Texas Press.
- Nelson M., Dempster W. F., Allen J. P.* (2008). "Modular Biospheres" — New Testbed Platforms for Public Environmental Education and Research // *Advances in Space Research*. Vol. 41. № 5. P. 787-797.
- Nordblad J.* (2014). The future of the noosphere // *Forum Interdisziplinäre Begriffsgeschichte*. Vol. 3. №. 2. P. 33-42.
- Oldfield J., Shaw D. J. B.* (2006). V.I. Vernadsky and the noosphere concept: Russian understandings of society-nature interaction // *Geoforum*. Vol. 37. № 1. P. 145-154.
- Papadopoulos D.* (2018). *Experimental Practice: Technoscience, Alterontologies, and More-Than-Social Movements*. Durham: Duke University Press.
- Parry J.* (2019). Philosophy as terraforming: Deleuze and Guattari on de-signing a new Earth // *Diacritics*. Vol. 47. № 3. P. 108-138.
- Pass J.* (2018). Astrosociology: Social Problems on Earth and in Outer Space // *Treviño A. J.* (eds.). *The Cambridge Handbook of Social Problems*. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press. P. 149-168.
- Pass J.* (2011). Examining the Definition of Astrosociology // *Astropolitics*. Vol. 9. № 1. P. 6-27.
- Pass J., Harrison A. A.* (2016). *Astrosociology (Social Science of Space Exploration)* *Bainbridge W. S., Roco M. C.* (eds.). *Handbook of Science and Technology Convergence*. N. Y.: Springer. P. 545-558.
- Persson E.* (2021). The axiological dimension of Planetary Protection // *Chon Torres O. A., Peters T., Seckbach J. and Gordon R.* (eds.) *Astrobiology: Science, ethics, and public policy*. New Jersey: Wiley. P. 293-312.
- Peters T.* (2011). The implications of the discovery of extra-terrestrial life for religion // *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*. № 369. P. 644-655.
- Pryor A.* (2020). *Living with tiny aliens: The image of God for the Anthropocene*. New York: Fordham University Press.
- Rubenstein M.-J.* (2018). *Pantheologies: Gods, Worlds, Monsters*. N. Y.: Columbia University Press.



- Ruddick S.* (2015). Situating the Anthropocene: Planetary Urbanization and the Anthropological Machine // *Urban Geography*. Vol. 36. № 8. P. 1113–1130.
- Samson P. R., Pitt D.* (eds.) (1999). *The Biosphere and Noosphere Reader: Global Environment, Society and Change*. London: Routledge.
- Serafin R.* (1988). Noosphere, Gaia, and the science of the biosphere // *Environmental Ethics*. Vol. 10. №. 2. P. 121-137.
- Shostak S.* (1995). SETI at Wider Bandwidths? // *Shostak G. S.* (ed.) *Progress in the Search for Extraterrestrial Life*. ASP Conference. Series 74. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific. P. 447–454.
- Shostak S.* (2011). Limits on Interstellar Messages // *Vakoch D. A.* (ed.) *Communication with Extraterrestrial Intelligence*. Albany, NY: State University of New York Press. P. 357–369.
- Shukaitis S.* (2009). Space is the (non) place: Martians, Marxists, and the outer space of the radical imagination // *The Sociological Review*. Vol. 57. № 1\_suppl. P. 98-113.
- Sideris L. H.* (2017). Biosphere, Noosphere, and the Anthropocene: Earth's Perilous Prospects in a Cosmic Context // *Journal for the Study of Religion, Nature & Culture*. Vol. 11. № 4. P. 319-419.
- Simpson M.* (2020). The Anthropocene as colonial discourse // *Environment and Planning D: Society and Space*. Vol. 38. № 1. P. 53-71.
- Soja E.* (1989). *Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory*. London and New York: Verso.
- Steffen W., Grinevald J., Crutzen P., & McNeill J.* (2011). The Anthropocene: conceptual and historical perspectives // *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*. № 369. P. 842-867.
- Sterken S.* (2003). Between the Visionary and the Archaic: Iannis Xenakis's Cosmic City // *Petruccioli A., Stella M., Strappa G.* (eds.) *Proceedings of the ISUF International Conference "The Planned City?"*. Bari: Uniongrafica Corcelli Editrice. P. 1040-1044.
- Swyngedouw E., & Ernstson H.* (2018). Interrupting the Anthro-po-obScene: Immuno-biopolitics and Depoliticizing Ontologies in the Anthropocene // *Theory, Culture & Society* Vol. 35. № 3. P. 6-30.
- Tenti G.* (2021). Aesthetic Terraforming. Cosmo-morphologies for Troubled Times // *Aesthetica Preprint*. №. 117. P. 201-218.
- Thrift N.* (2003). Space: The Fundamental Stuff of Human Geography // *Holloway S., Rice S., and Vallentine G.* (eds.) *Key Concepts in Geography*. London: Sage. P. 95–107.
- Turner F.* (1994). The invented landscape // *Baldwin A. D., De Luce J., Pletsch C.* (eds.) *Beyond preservation: restoring and inventing landscapes*. Minneapolis: University of Minnesota Press. P. 35-66.
- Tutton R.* (2017). Multiplanetary Imaginaries and Utopia // *Science, Technology, & Human Values*. 2017. Vol. 43. № 3. P. 518–539.
- Tutton R.* (2018). Multiplanetary Imaginaries and Utopia: the case of mars one // *Science, Technology, & Human Values*. Vol. 43. № 3. P. 518-539.
- Tutton R.* (2020). Sociotechnical imaginaries and techno-optimism: examining outer space utopias of Silicon Valley // *Science as Culture*. Vol. 30. № 3. P. 416-439.

- Vakoch D. A.* (1998). Constructing Messages to Extraterrestrials: An Exosemiotic Perspective // *Acta Astronautica*. Vol. 42. № 10-12. P. 697-704.
- Vakoch D. A.* (2008). Representing Culture in Interstellar Messages // *Acta Astronautica*. Vol. 63. № 5-6. P. 657-664.
- Vakoch D. A., Harrison A. A.* (eds.). (2011). *Civilizations Beyond Earth: Extraterrestrial Life and Society*. Oxford; N. Y.: Berghahn Books.
- Valentine D.* (2012). Exit strategy: Profit, cosmology, and the future of humans in space // *Anthropological Quarterly*. Vol. 85. № 4. P. 1045-1067.
- Vronskaya A.* (2012). Two Utopias of Georgii Krutikov's 'The City of the Future' // *Gassner G., Kaasa A. and Robinson K.* (eds.) *Writing Cities 2*. London: London School of Economics and Political Science. P. 46-54.
- Wilkinson D.* (2013). *Science, Religion, and the Search for Extra-Terrestrial Intelligence*. Oxford: Oxford University Press.
- Wilson J., Bayón M.* (2016). Black hole capitalism: Utopian dimensions of planetary urbanization // *City*. Vol. 20. № 3. P. 350-367.
- Wyly E.* (2015). Gentrification on the planetary urban frontier: The evolution of Turner's noosphere // *Urban Studies*. Vol. 52. № 14. P. 2515-2550.

## Post-City (IV): Co-spatiality Politics and Planetary Ontologies

*Dmitry Zamyatin*

Chief Research Fellow, Vysokovsky Graduate School of Urbanism, Faculty of Urban and Regional Development, National Research University — Higher School of Economics  
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, 101000 Russian Federation E-mail: dzamyatin@hse.ru

The nomos of the post-city forms specific phenomenologies of spatial development that go beyond the classical interpretations of the concepts of the biosphere and the noosphere. The ontology of planetarity is based on the spatial "inclusiveness" of any planetary object due to its specific localization, determined both by planetary conditions and the co-spatiality of the planet within the intelligible and explored cosmos. Post-urban co-spatialities are the ontological "base" for the emergence of specific terrestrial planetarities of special intensity. A post-city can be a topos of terrestrial planetariums becoming trans-planetary, first in metaphysical and then in physical relations. Post-urban trans-planetary is the relativity of multiple imaginative cartographies representing the corresponding meta-geographies. Planetary post-urbanism is formed as coexisting planetary cartographies of the imagination, self-organizing into meta-cartography and relying on appropriate communicative co-spatialities. Trans-planetary post-urban geo-cultures in "cloning" local symbolic codes associated with the Earth include them in new cartographies of the imagination in co-spatial extraterrestrial loci. The co-spatialities of human communities become divided during the transitions from artificial internal environments to external trans-planetary environments that are not related to terrestrial geo-cultures. Post-urbanism, in contributing to the expansion of ambivalent networks of presence/absence cartographies, creates new opportunities for the ontological intensification of space-as-a-relationship, allowing post-urban human communities to think and act trans-planetaryly. "Rhizomatic" post-nomadism makes or re-creates the Earth in the ontological sense as a giant cosmic "desire machine". Fragments of trans-planetary post-urban noospheres will be understood as organic and autonomous geo-cultures, representing communicative fractals, whose placement can be considered as a kind of cosmo-geopolitics.

**Keywords:** post-city, co-spatiality, co-spatial policies, planetary ontologies, cartographies of imagination, geo-culture, cosmo-geopolitics

## References

- Anker P. (2005) The ecological colonization of space. *Environmental History*, vol. 10, no 2, pp. 239-268.
- Arshinov V. I., Budanov V. G. (2006) Kognitivnye osnovaniya sinergetiki [Cognitive Foundations of Synergetics]. *Sinergetika na rubezhe XX–XXI vekov* [Synergetics at the Turn of the XX–XXI Century], Moscow: INION RAS, pp. 7-54.
- Avvakumov Ju. (2019) *Bumazhnaja arhitektura. Antologija* [Paper architecture. Anthology], Moscow: Garage Museum of Modern Art.
- Bell D., Parker M. (eds.) (2009) *Space travel and culture: From Apollo to space tourism*, Oxford: Willey-Blackwell.
- Billings L. (2017) Should humans colonize other planets? No. *Theology and Science*, vol. 15, no 3, pp. 321-332.
- Billings L. (2020) Earth, Life, Space. *Social and Conceptual Issues in Astrobiology* (eds. K. C. Smith, C. Mariscal), Oxford: Oxford University Press, pp. 239-262.
- Blaschke T., Lang S., Hay G. (ed.). (2008) *Object-based image analysis: spatial concepts for knowledge-driven remote sensing applications*, Berlin, Heidelberg: Springer Science & Business Media.
- Blond P. (ed.) (1997) *Post-Secular Philosophy. Between philosophy and theology*, London, New York: Routledge.
- Bratton B. (2020). *The Terraforming*, Moscow: Strelka Press.
- Brenner N., Schmid C. (2012) Planetary Urbanization. *Urban Constellations* (ed. M. Gandy), Berlin: Jovis, pp. 10–13.
- Brenner N., Schmid C. (2014) The «Urban Age» in Question. *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 38, no 3, pp. 731–755.
- Bujor E. S., Bujor V. I. (2021) "Preodolenie platonizma" kak popytka sozdaniya pravoslavnoj sofologii v tvorchestve V. V. Zen'kovskogo ["Overcoming Platonism" as an Attempt to Create Orthodox Sophiology in the Works of V. V. Zenkovsky]. *Manuscript*, no 9, pp. 1843-1850.
- Castree N. (2003) Environmental issues: relational ontologies and hybrid politics. *Progress in Human Geography*, vol. 27, no 2, pp. 203–211.
- Castree N. (2017) Speaking for the 'people disciplines': Global change science and its human dimensions. *The Anthropocene Review*, vol. 4, no 3, pp. 160-182.
- Cowley R. (ed.) (2019) *A Manifesto for Governing Life on Mars*, London: King's College London.
- Crang M., Thrift N. (eds.) (2000) *Thinking Space*, London and New York: Routledge.
- Degermendzhi A. G., Tikhomirov A. A. (2014) Sozdanie iskusstvennyh zamknytyh jekosistem zemnogo i kosmicheskogo naznacheniya [Creation of Artificial Closed Ecosystems for Terrestrial and Space Purposes]. *Bulletin of the Russian Academy of Sciences*, vol. 84, no 3, pp. 233-240.
- DeLanda M. (2018) *Novaja filosofija obshhestva: teorija assambljazhej i social'naja slozhnost'* [New Philosophy of Society: Theory of Assemblages and Social Complexity], Perm: Hyle Press.
- DeLoughrey E. M. (2019) *Allegories of the Anthropocene*, Durham and London: Duke University Press.
- Derrida J. (2000) *O grammatologii* [About grammatology], Moscow: Ad Marginem.
- Dick S. J., Lupisella M. (eds.) (2009) *Cosmos & Culture: Cultural Evolution in a Cosmic Context*, Washington DC: National Aeronautics and Space Administration, Office of External Relations, History Division.
- Dolgov V. B. (2012) Katolicheskij modernizm: chast' zapadnogo moderna ili osobaja reakcija na nego? [Catholic Modernism: Part of Western Modernism or a Special Reaction to it?]. *Historical, Philosophical, Political and Legal sciences, Cultural Studies and Art Criticism. Questions of Theory and Practice*, no 12, pp. 91-98.
- Dolman E. C. (2003) Geostratedgy in the Space Age: An Astropolitical Analysis. *Geopolitics? Geography and Strategy* (eds. C. S. Gray, G. Sloan), L.: Routledge, pp. 83-107.
- Donati P. (2019). *Reljatsionnaja teorija obstchestva: sotsial'naja zhizn' s tochki zrenija kriticheskogo realizma* [Relational Theory of Society: Social Life from the Point of View of Critical Realism]. Moscow: PSTSU.

- Fedorov N. F. (2008) *Filosofija Obshhego dela* [Philosophy of the Common Cause], Moscow: Eksmo.
- Filippov A. F. (1991) *Sociologija i kosmos* [Sociology and Cosmos]. *Socio-logos. Vypusk 1. Obshhestvo i sfery smysla* [Socio-logos. Issue 1. Society and Spheres of Meaning] (eds. V. V. Vinokurov, A. F. Filippov), Moscow: Progress, pp. 241-273.
- Filippov A. F. (2000) *Sociologija prostranstva: obshhij zamysel i klassicheskaja razrabotka problemy* [Sociology of Space: The General Idea and the Classical Development of the Problem]. *Logos*, no 2, pp. 113-151.
- Filippov A. F. (2008) *Sociologija prostranstva* [Sociology of Space]. St. Petersburg: Vladimir Dal, 2008.
- Finney B. R. (1987) Anthropology and the humanization of space. *Acta Astronautica*, no 3, pp. 189-194.
- Florovskij G. (1998) *Dogmat i istorija* [Dogma and History], Moscow: Izdatelstvo Sv.-Vladimir. Bratstva.
- Fogg M. J. (2000) The ethical dimensions of space settlement. *Space Policy*, vol. 16, no 3, pp. 205-211.
- Fuller R. B. (2018) *Kosmicheskij korabl' «Zemlja»: Rukovodstvo po jekspluatácii* [Spacecraft "Earth": Operating manual], Moscow: Izdatel' Dmitrij Aronov.
- Geppert A. C. T. (ed.) (2012) *Imagining outer space: European astroculture in the twentieth century. Palgrave Studies in the History of Science and Technology*, vol. 1, London: Palgrave Macmillan.
- Geppert A. C. T. (ed.) (2018) *Limiting Outer Space: Astroculture After Apollo. Palgrave Studies in the History of Science and Technology*, vol. 2, London: Palgrave Macmillan.
- Gindilis L. M. (2004) Kosmicheskoe soznanie: nauchnyj podhod cherez prizmu seti [Cosmic Consciousness: A Scientific Approach through the Prism of SETI]. *Cosmic worldview — new thinking of the XXI century*, no 3, pp. 230-255.
- Gladkij A. V., Olifir D. I. (2020) Ontologija kategorij «landshaft» i «kompleks» v prostranstvennoj sinergii [Ontology of the Categories "Landscape" and "Complex" in Spatial Synergy]. *Humanitarian Vector*, vol. 15, no 2, pp. 111-120.
- Goonewardena K. (2018) Planetary Urbanization and Totality. *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 36, no 3, pp. 456-474.
- Goralnik L., Nelson M. P. (2012) Anthropocentrism. *Encyclopedia of Applied Ethics. Second Edition. Vol. 1.* (ed. R. Chadwick) San Diego: Academic Press, pp. 145-155.
- Gornova G. V., Maksimenko L. A. (2010) Kosmos v zerkale goroda [Cosmos in the Mirror of the City]. *Teacher of the XXI century*, no 2, pp. 257-265.
- Gregory D. (1989) Presences and Absences: Time-Space Relations and Structuration Theory. *Social Theory of Modern Societies: Anthony Giddens and his Critics* (eds. D. Held, J. B. Thompson), Cambridge, MA: Cambridge University Press, pp. 185-214.
- Groys B. (2015). *Russkii kosmizm. Antologija* [Russian Cosmism. Anthology], Moscow: Ad Marginem Press.
- Gunderson R., Stuart D., Petersen B. (2021) In search of plan (et) B: Irrational rationality, capitalist realism, and space colonization. *Futures*, no 134, pp. 1-10.
- Hamilton C., Grinevald J. (2015) Was the Anthropocene anticipated? *The Anthropocene Review*, vol. 2, no 1, pp. 59-72.
- Hanna R. A., Paans O. (2022) Creative Piety and Neo-Utopianism: Cultivating Our Global Garden. *Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy*, vol. 18, no 1, pp. 1-82.
- Hartley J., Ibrus I., Ojamaa M. (2020) *On the digital semiosphere: Culture, media and science for the Anthropocene*, New York: Bloomsbury.
- Horuzhij S. S. (2005) *Ocherki sinergijnoj antropologii* [Essays on Synergetic Anthropology], Moscow: Institute of Synergetic Anthropology; Institute of Philosophy, Theology and History of St. Thomas.
- Horuzhij S. S. (2018) Lagernyj cikel kak filosofskoe zaveshhanie L. P. Karsavina [The Camp Cycle as a Philosophical Testament of L. P. Karsavin]. *Philosophical Polylogue: Journal of the International Center for the Study of Russian Philosophy*, no 2, pp. 29-40.
- Hristokin G. V. (2013) Sravnitel'nyj analiz sofologii S. N. Bulgakova i neopatristsiki v kontekste perspektiv razvitiya pravoslavnoj teologii XXI veka [Comparative Analysis of S. N. Bulgakov's Sophology and Neopatristics in the Context of Prospects for the Development of Orthodox Theology of the XXI Century]. *Philosophy of Economy*, no 2 (86), pp. 183-194.

- Hristokin G.V., Vorobyova L.S. (2012) Pravoslavnaja teologija nachala XX veka v poiskah novyh paradig razvitiya [Orthodox Theology of the Beginning of the XX Century in search of New Paradigms of Development]. *Philosophy of Economy*, no 4 (82), pp. 64-73.
- Hui Yuk. (2020) *Rekursivnost' i kontingentnost'* [Recursivity and contingency], Moscow: V-A-C Press.
- Idel'son N.I. (1975) *Jetjudy po istorii nebesnoj mehaniki* [Etudes on the history of celestial mechanics], Moscow: Fizmatgiz.
- Ivanov K. (2018) Vobrazhaemye kosmicheskie puteshestvija v rannej sovjetskoj nauchnoj fantastike [Imaginary Space Travel in Early Soviet Science Fiction]. *Logos*, no 2 (123), pp. 159-224.
- Kaji-O'Grady S., Raisbeck P. (2005) Prototype cities in the sea. *The Journal of Architecture*, vol. 10, no 4, pp. 443-461.
- Kalmykov A.A. (2015) Kosmicheskij razum, antropocentrizm, ikonichnost' [Cosmic Mind, Anthropocentrism, Iconicity]. *Metaparadigma: Theology, Philosophy, Natural Science. Almanac*, no 7, pp. 63-95.
- Karsavin L.P. (1992) *Religiozno-filosofskie sochinenija. T. 1* [Religious and philosophical works. Vol. 1.], Moscow: Renaissance.
- Kashirin A.A. (2012) Kosmos kak novaja sfera geopoliticheskikh otnoshenij [Cosmos as a New Sphere of Geopolitical Relations]. *Geopolitics: Theory, History, Practice*, no 1, pp. 249-250.
- Kaznacheev D.V. (2020) Metod podbora specialistov, obespechivajushhih rabotosposobnost' EkoKosmoDoma na planete Zemlja [Method of Selection of Specialists Ensuring the Efficiency of the Eco-space House on Planet Earth]. *Sbornik materialov III mezhdunarodnoj nauchno-tehnicheskoy konferencii «Bezraketnaja industrializacija blizhnego kosmosa: problemy, idei, proekty»*. [Collection of materials of the III International scientific and technical conference "Rocket-free Industrialization of Near Space: Problems, Ideas, Projects"], Without a place, pp. 348-357.
- Kazyutinsky V.V. (2003) Kosmicheskaja filosofija K.Je. Ciolkovskogo: za i protiv [K.E. Tsiolkovsky's Cosmic Philosophy: pros and cons]. *Earth and the Universe*, no 4, pp. 43-54.
- Khabibullina Z.N. (2010) Specifika utopicheskikh vzgljadov russkikh kosmistov [The Specifics of Utopian Views of Russian Cosmists]. *Proceedings of the Volgograd State Pedagogical University*, no 3, pp. 4-7.
- Khan, A.Z., Moulaert, F., Schreurs, J., & Miciukiewicz, K. (2014) Integrative spatial quality: A relational epistemology of space and transdisciplinarity in urban design and planning. *Journal of Urban Design*, vol. 19, no 4, pp. 393-411.
- Kilgore De Witt D. (2003), *Astrofuturism: Science, Race, and Visions of Utopia in Space*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Klosterwill K.J. (2018) Metaphors we scape by: the possibilities of terraforming as a new descriptor of landscape. *Landscape Research Record*, no 7, pp. 1-94. Available at: <https://thecela.org/landscape-research-record-no-07/> (accessed 19.05.23).
- Ko N., Betten T., Schestak I., Gantner J. (2017) LCA in space – current status and future development. *Matériaux & Techniques*, vol. 105, no 5-6, pp. 507.
- Koyré A. (2001) *Ot zamknutogo mira k beskonechnoj vselejnoj* [From a closed world to an infinite universe], Moscow: Logos.
- Koyré A. (2022) *Jetjudy o Galilee* [Etudes about Galilee], Moscow: New Literary Observer.
- Kurakina O.D. (2003) Sofijnaja jestetika russkogo kosmizma [The Sofia Aesthetics of Russian Cosmism]. *Landmarks*, Vol. 2, Moscow: IF RAS, pp. 91-112.
- Lapshina E.G., Bryndina A. (2018) Dinamika formy v arhitekture: futuristicheskie proekty letajushhih gorodov [Dynamics of Form in Architecture: Futuristic Projects of Flying Cities]. *Synergy of Sciences*, no 21, pp. 510-517.
- Launius R.D., McCurdy H.E. (2008), *Robots in space: Technology, evolution, and interplanetary travel*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Lefebvre H. (2015) *Proizvodstvo prostranstva* [Production of space], Moscow: Strelka Press.
- Lefevre V.A. (2003) *Refleksija* [Reflection], Moscow: Kogito-Center.
- Lemmens P. (2018) Re-Orienting the Noösphere: Imagining a New Role for Digital Media in the Era of the Anthropocene. *Glimpse*, no 19, pp. 55-64.
- Lin Z. (2016) Metabolist utopias and their global influence: three paradigms of urbanism. *Journal of Urban History*, vol. 42, no 3, pp. 604-622.



- Logovatovskaya E. S. (2022) Arhitektura i kosmos. Obitaemaja baza na Lune [Architecture and Space. Habitable Base on the Moon]. *Academia. Architecture and construction*, no 1, pp. 54-59.
- Lovelock J. (1979) *Gaia: A New Look at Life on Earth*, Oxford: Oxford University Press.
- Lovelock J. (2000) *The Ages of Gaia: A Biography of our Living Planet*, Oxford: Oxford University Press.
- Löw M. (2008) The constitution of space: The structuration of spaces through the simultaneity of effect and perception. *European Journal of Social Theory*, vol. 11, no 1, pp. 25-49.
- Marin L. (1984) *Utopics: Spatial Play*, New Jersey: Humanities Press.
- Martin S. (2009) *Cosmic Conversations: Dialogues on the Nature of the Universe and the Search for Reality*, New Jersey: Career Press.
- Mazarsky M.V. (2010) Intersub'ektivnost' i transsub'ektivnost': Lévinas, Poincaré, Bergson, Prigozhin [Intersubjectivity and Transsubjectivity: Lévinas, Poincaré, Bergson, Prigozhin]. *Philosophical Sciences*, no 7, pp. 50-64.
- Messeri L. (2016) *Placing Outer Space: An Earthly Ethnography of Other Worlds*, Durham: Duke University Press.
- Meillassoux Q. (2015) *Posle konechnosti: jesse o neobhodimosti kontingentnosti* [After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingent], Moscow: Kabinetny Ucheny.
- Milbank J., Pickstock C. and Ward G. (eds.) (1999) *Radical orthodoxy: a new theology*, London: Routledge.
- Miller T. (2017) Expressionist Utopia: Bruno Taut, Glass Architecture, and the Dissolution of Cities. *Filozofski vestnik*, vol. 38, no 1, pp. 107-129.
- Modestov S. A. (2010) Geopolitika kosmosa v XXI veke [Geopolitics of Space in the XXI Century]. *Kosmonavtika XXI veka* [Cosmonautics of the XXI Century] (ed. by B. E. Chertok), Moscow: Publishing House "RTSoft", pp. 555-570.
- Moiser F. (2018) *Galina Balashova. Arhitektov sovjetskoj kosmicheskoj programmy* [Galina Balashova. Architect of the Soviet space program]. Berlin: DOM Publishers.
- Monno V. (2012) A different view of relational complexity. Imagining places through the deleuzian social cartography. *Complexity and planning systems, assemblages and simulations* (eds. G. de Roo, J. Hillier, J. Van Wezemael), L.: Routledge, pp. 287-310.
- Nama A. (2010) *Black space: Imagining race in science fiction film*, Austin: University of Texas Press.
- Neem E. G. (2018) Kosmos kak frontir sociologii [Cosmos as a Frontier of Sociology]. *Sociological Journal*, vol. 24, no 2. pp. 8-27.
- Nelson M., Dempster W. F., Allen J. P. (2008) "Modular Biospheres" — New Testbed Platforms for Public Environmental Education and Research. *Advances in Space Research*, vol. 41, no 5, pp. 787-797.
- Nesteruk A. (2006) *Logos i kosmos: Bogoslovie, nauka i pravoslavnoe predanie* [Logos and Cosmos: Theology, Science and Orthodox Tradition], Moscow: BBI. Kazjutinskij V.V. (ed.) (1996) *Astronomija i sovremennaja kartina mira* [Astronomy and the Modern Picture of the World], Moscow: Institut filosofii RAN.
- Nordblad J. (2014) The future of the noosphere. *Forum Interdisziplinäre Begriffsgeschichte*, vol. 3, no 2, pp. 33-42.
- Nurullin R. A. (2019) Matrichnaja traktovka nebytija kak metafizicheskoe osnovanie bytija [Matrix Interpretation of Non-existence as a Metaphysical Basis of Being]. *Metaphysics*, no 4 (34), pp. 62-74.
- Oldfield J., Shaw D. J. B. (2006) V. I. Vernadsky and the noosphere concept: Russian understandings of society-nature interaction. *Geoforum*, vol. 37, no 1, pp. 145-154.
- Pahsar'jan N. T. (2021) Sirano de Berzherak kak predshestvennik nauchno-fantasticheskoj prozy [Cyrano de Bergerac as a Precursor of Science Fiction Prose]. *Social and Humanitarian Sciences. Domestic and Foreign literature. Ser. 7. Literary Studies. Abstract Journal*, no. 1, pp. 113-124.
- Pannekoek A. (1966) *Istorija astronomii* [History of Astronomy], Moscow: Nauka.
- Papadopoulos D. (2018) *Experimental Practice: Technoscience, Alterontologies, and More-Than-Social Movements*, Durham: Duke University Press.
- Parry J. (2019) Philosophy as terraforming: Deleuze and Guattari on de-signing a new Earth. *Diacritics*, vol. 47, no 3, pp. 108-138.



- Pass J. (2018) Astrosociology: Social Problems on Earth and in Outer Space. *The Cambridge Handbook of Social Problems. Vol. 1* (eds. A. J. Treviño), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 149–168.
- Pass J. (2011), Examining the Definition of Astrosociology. *Astropolitics*, vol. 9, no 1, pp. 6–27.
- Pass J., Harrison A. A. (2016) Astrosociology (Social Science of Space Exploration). *Handbook of Science and Technology Convergence* (eds. W. S. Bainbridge, M. C. Roco), N. Y.: Springer, pp. 545–558.
- Persson E. (2021) The axiological dimension of Planetary Protection. *Astrobiology: Science, ethics, and public policy* (eds. O. A. Chon Torres, T. Peters, J. Seckbach and R. Gordon), New Jersey: Wiley, pp. 293–312.
- Peters T. (2011) The implications of the discovery of extra-terrestrial life for religion. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, no 369, pp. 644–655.
- Petrenko V. F. (2019) Odni li my vo Vselennoj ili vozmozhna vstrecha s inymi civilizacijami? [Are we Alone in the Universe or is it Possible to Meet with Other Civilizations?]. *Methodology of Modern Psychology*, no 9, pp. 245–259.
- Politov A. V. (2016) Fenomen sleda v filosofii Zhaka Derrida i ego ontologicheskoe istolkovanie [The Phenomenon of the Trace in the Philosophy of Jacques Derrida and its Ontological Interpretation]. *Bulletin of Perm National Research Polytechnic University. Culture. History. Philosophy. Law*, no 4, pp. 93–102.
- Pryor A. (2020) *Living with tiny aliens: The image of God for the Anthropocene*, New York: Fordham University Press.
- Pyrin A. G. (2011) Ob'ekt i predmet geokosmopolitiki [Object and Subject of Geo-cosmo-politics]. *Space and Time*, no 4, pp. 20–22.
- Rubenstein M.-J. (2018) *Pantheologies: Gods, Worlds, Monsters*, New York: Columbia University Press.
- Ruddick S. (2015) Situating the Anthropocene: Planetary Urbanization and the Anthropological Machine. *Urban Geography*, vol. 36, no 8, pp. 1113–1130.
- Samson P. R., Pitt D. (eds.) (1999) *The Biosphere and Noosphere Reader: Global Environment, Society and Change*, London: Routledge.
- Serafin R. (1988) Noosphere, Gaia, and the science of the biosphere. *Environmental Ethics*, vol. 10, no 2, pp. 121–137.
- Sharp M. (1971) *Chelovek v kosmose* [Man in space], Moscow: Mir.
- Shchedrin A. T. (2014) Chenneling: poiski metaantropologicheskikh izmerenij bytija razuma vo Vselennoj (po materialam Vsemirnoj pautiny) [Channeling: The Search for Meta-anthropological Dimensions of the Existence of Reason in the Universe (Based on the Materials of the World Wide Web)]. *Anthropological Dimensions of Philosophical Research*, no 5, pp. 24–46.
- Shchipkov D. (2020) «Radikal'naja ortodoksija»: kriticheskij analiz [“Radical Orthodoxy”: critical analysis], Moscow: Russian Expert School.
- Shostak S. (1995) SETI at Wider Bandwidths? *Progress in the Search for Extraterrestrial Life. ASP Conference. Series 74* (ed. G. S. Shostak), San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, pp. 447–454.
- Shostak S. (2011) Limits on Interstellar Messages. *Communication with Extraterrestrial Intelligence* (ed. D. A. Vakoch), Albany, NY: State University of New York Press, pp. 357–369.
- Shukaitis S. (2009) Space is the (non) place: Martians, Marxists, and the outer space of the radical imagination. *The Sociological Review*, vol. 57, no 1\_suppl., pp. 98–113.
- Sideris L. H. (2017) Biosphere, Noosphere, and the Anthropocene: Earth's Perilous Prospects in a Cosmic Context. *Journal for the Study of Religion, Nature & Culture*, vol. 11, no 4, pp. 319–419.
- Simonova A. V. (2014) Formirovanie kosmicheskoy mifologii kak faktora razvitiya nauchnyh issledovanij kosmosa v SSSR i Rossii [Formation of Space Mythology as a Factor in the Development of Scientific Space Research in the USSR and Russia]. *Sociology of Power*, no 4, pp. 156–173.
- Simpson M. (2020) The Anthropocene as colonial discourse. *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 38, no 1, pp. 53–71.

- Sivkov D. Yu. (2020) Mesta i masshtaby: ontologii osvoenija kosmosa [Places and Scales: Ontologies of Space Exploration]. *Siberian Historical Research*, no 1, pp. 75-96.
- Sloterdijk P. (2005) *Sfery: Mikrosferologija. Vol. 1: Puzyri* [Spheres: Microspherology, Vol. 1: Bubbles], Saint Petersburg: Nauka.
- Sloterdijk P. (2007) *Sfery: Mikrosferologija. Vol. 2: Globusy* [Spheres: Microspherology, Vol. 2: Globes], Saint Petersburg: Nauka.
- Sloterdijk P. (2010) *Sfery: Mikrosferologija. Vol. 3: Pljural'naja sferologija* [Spheres: Microspherology, Vol. 3: The Plural Spherology], Saint Petersburg: Nauka.
- Soja E. (1989) *Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory*, London and New York: Verso.
- Steffen W., Grinevald J., Crutzen P., & McNeill J. (2011) The Anthropocene: conceptual and historical perspectives. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, no 369, pp. 842-867.
- Sterken S. (2003) Between the Visionary and the Archaic: Iannis Xenakis's Cosmic City. *Proceedings of the ISUF International Conference "The Planned City?"* (eds. A. Petruccioli, M. Stella, G. Strappa), Bari: Uniongrafica Corcelli Editrice, pp. 1040-1044.
- Sukhanova N. A. (2011) Jeshatologija kak nezakonchennost' debatov v teologii [Eschatology as the Incompleteness of Debates in Theology]. *State, Religion, Church in Russia and abroad*, no 1, pp. 27-37.
- Swyngedouw E., Ernstson H. (2018) Interrupting the Anthro-po-obScene: Immuno-biopolitics and Depoliticizing Ontologies in the Anthropocene. *Theory, Culture & Society*, vol. 35, no 3, pp. 6-30.
- Teilhard de Chardin P. (1987) *Fenomen cheloveka* [The phenomenon of man], Moscow: Nauka.
- Teilhard de Chardin P. (1992) *Bozhestvennaja sreda* [Divine Environment], Moscow: Renaissance.
- Tenti G. (2021), Aesthetic Terraforming. Cosmo-morphologies for Troubled Times. *Aesthetica Preprint*, no 117, pp. 201-218.
- Thrift N. (2003) Space: The Fundamental Stuff of Human Geography. *Key Concepts in Geography* (eds. S. Holloway, S. Rice, and G. Vallentine), London: Sage, pp. 95-107.
- Tkachenko Y. L., Morozov S. D. (2017) Iz istorii sozdanija iskusstvennyh jekosistem [From the History of the Creation of Artificial Ecosystems]. *Society: Philosophy, History, Culture*, no 6. (without pagination).
- Tolstoukhov A. V. (2003) Global'nyj social'nyj kontekst i kontury jeko-budushhego [Global Social Context and Contours of Eco-future], *Questions of Philosophy*, no 8, pp. 49-63.
- Torrance T. F. (2010) *Prostranstvo, vremja i voploshhenie* [Space, time and incarnation], Moscow: BBI.
- Tsiolkovsky K. E. (1989) *Promyshlennoe osvoenie kosmosa* [Industrial space exploration], Moscow: Mashinostroenie.
- Tsiolkovsky K. E. (2007) *Kosmicheskaja filosofija* [Cosmic philosophy], Moscow: Sfera.
- Tsvetkov V. Ya. (2001) Geoinformatika i sinergetika [Geoinformatics and Synergetics]. *Informatics and Control Systems*, no 2, pp. 65-73.
- Turner F. (1994) The invented landscape. *Beyond preservation: restoring and inventing landscapes* (eds. A. D. Baldwin, J. De Luce, C. Pletsch), Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 35-66.
- Tutton R. (2018). Multiplanetary imaginaries and utopia: the case of mars one. *Science, Technology, & Human Values*, vol. 43, no 3, pp. 518-539.
- Tutton R. (2020) Sociotechnical imaginaries and techno-optimism: examining outer space utopias of Silicon Valley. *Science as Culture*, vol. 30, no 3, pp. 416-439.
- Ursul A. D. (2020) Vektor socioprirodnoj jevoljucii: ot global'noj k geokosmicheskoj ustojchivosti [Vector of Socio-natural Evolution: From Global to Geocosmic Stability]. *Philosophical Thought*, no 8, pp. 19-29.
- Ursul A. D. (2012) Kosmicheskoe prodolzhenie global'nyh processov [Cosmic Continuation of Global Processes]. *Space and Time*, no 2, pp. 17-23.
- Vakoch D. A. (1998) Constructing Messages to Extraterrestrials: An Exosemiotic Perspective. *Acta Astronautica*, vol. 42, no 10-12, pp. 697-704.
- Vakoch D. A. (2008) Representing Culture in Interstellar Messages. *Acta Astronautica*, vol. 63, no 5-6, pp. 657-664.
- Vakoch D. A., Harrison A. A. (eds.) (2011) *Civilizations Beyond Earth: Extraterrestrial Life and Society*, Oxford; New York: Berghahn Books.

- Valentine D. (2012). Exit strategy: Profit, cosmology, and the future of humans in space. *Anthropological Quarterly*, vol. 85, no 4, pp. 1045–1067.
- Vizgin V.P. (2007). *Ideja mnozhestvennosti mirov: Ocherki istorii* [The idea of a plurality of worlds: Essays on history], Moscow: LKI.
- Vronskaya A. (2012) Two Utopias of Georgii Krutikov's 'The City of the Future'. *Writing Cities 2* (eds. G. Gassner, A. Kaasa and K. Robinson), London: London School of Economics and Political Science, pp. 46–54.
- Wilkinson D. (2013) *Science, Religion, and the Search for Extra-Terrestrial Intelligence*, Oxford: Oxford University Press.
- Wilson J., Bayón M. (2016). Black hole capitalism: Utopian dimensions of planetary urbanization. *City*, vol. 20, no 3, pp. 350–367.
- Wyly E. (2015). Gentrification on the planetary urban frontier: The evolution of Turner's noosphere. *Urban Studies*, vol. 52, no 14, pp. 2515–2550.
- Yannaras H. (Γιανναράς Χ.) (2005) *Izbrannoe: Lichnost' i Jeros* [Favorites: Personality and Eros], Moscow: ROSSPEN.
- Zaitsev A. L. (2006) Paradoxs seti [The SETI Paradox]. *Astrophysical Bulletin*, no 60–61, pp. 226–229.
- Zamyatin D. N. (2006). *Kul'tura i prostranstvo: modelirovanie geograficheskikh obrazov* [Culture and space: modeling of geographical images], Moscow: Sign.
- Zamyatin D. (2011) Geospacializm: ontologicheskaja dinamika prostranstvennykh obrazov [Geospacialism: Ontological Dynamics of Spatial Images]. *Sociological Review*, vol. 10, no 3, pp. 21–28.
- Zamyatin D. (2016) Postnomadizm: prostranstvennie antropologii puteshestvij [Post-Nomadism: A Spatial Anthropologies of Travels]. *Ural Historical Journal*, no 2, pp. 17–26.
- Zamyatin D. (2018) Postgorod: prostranstvo i ontologicheskie modeli voobrazheniya [Post-City: Space and Ontological Models of Imagination]. *Political Studies*, no 3, pp. 147–165.
- Zamyatin D. (2019) Postgorod (II): voobrazhaemye kartografii i politiki soprostranstvennosti [Post-City (II): Imaginary Cartographies and the Politics of Co-Spatiality]. *Sociological Review*, vol. 18, no 1, pp. 9–35.
- Zamyatin D. (2020) Postgorod (III): politiki soprostranstvennosti i novye medial'nosti [Post-City (III): The Politics of Co-spatiality and New medialities]. *Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 232–266.
- Zamyatin D. N. (2021) Geterotekstual'nost' i soprostranstvennost': ot semiotiki goroda k transsemiotike postgoroda [Heterotextuality and Co-spatiality: from the Semiotics of the City to the Trans-semiotics of the Post-city]. *Ural Historical Bulletin*, no 1 (70), pp. 70–79.
- Zamyatin D. (2022) Ontologii kartografii: geograficheskoe voobrazhenie i planetarnost' [Ontologies of Cartography: Geographical Imagination and Planetarity]. *Logos*, no 6, pp. 189–207.
- Zen'kovskij V.V. (1997) Problema kosmosa v hristianstve [The Problem of the Cosmos in Christianity]. *Zhivoe predanie. Pravoslavie v sovremennosti* [A Living Legend. Orthodoxy in Modernity], Moscow: St. Filaretovskaya Moscow Higher Orthodox Christian School, pp. 71–91.

# Национализм, чистота и опасность: «cross-border intimacy» в российских цифровых медиа<sup>1</sup>

*Дмитрий Тимошкин*

Кандидат социологических наук, научный сотрудник Центра теоретической и прикладной политологии Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Российская Федерация, Москва; доцент кафедры культурологии и искусствоведения ГИ Сибирского федерального университета 660041, Красноярск, пр. Свободный, 86.  
E-mail: dmtrtim@gmail.com

В статье исследуются нарративы о «трансграничной близости» в русскоязычных цифровых медиа. Проанализированы текстовые массивы, генерируемые мигрантами, рядовыми представителями принимающего сообщества и профессиональными журналистами. Выделялись и сравнивались смыслы, которыми наделялась физическая близость между мигрантами и «местными». Материал подбирался в 10 наиболее цитируемых российских интернет-СМИ, городских пабликах крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте», интернет-форумах по комбинациям ключевых слов «мигрант», «брак», «замуж», «женит», а также — этнохронимов, означающих выходцев из основных стран-доноров для РФ. Исследовательским инструментом стал качественный контент-анализ. Единицей анализа являлся или отдельный публицистический текст, или отдельное высказывание пользователя социальной сети. Установлено, что в производстве значений трансграничной близости в традиционных медиа участвуют преимущественно журналисты и бюрократия, причем первые транслируют позицию последних. В социальных медиа, помимо представителей принимающего сообщества, представлены и мигранты. В текстах социальных медиа, равно как и в медиа традиционных, в разных формах воспроизводится риторика «чистоты» и «опасности», схожая с представленным в трудах М. Дуглас описанием объектов, выпадающих из конвенциональных социальных категорий. В профессиональных медиа трансграничная близость рассматривается как угроза целостности воображаемого сообщества, метафорически представленного как женское тело. Физический контакт с «чужаком», прежде всего — «нашей» женщины с «чужим» мужчиной, рассматривается в текстах медиа как орудие борьбы за «право на город», как контагиозный обряд, в результате которого «чужак» заражает инаковостью принимающее сообщество в целом и пространство, с которым оно себя ассоциирует. Эти страхи используются как оправдание символических и физических интервенций, направленных на то, чтобы предотвратить подобные контакты и нивелировать их последствия. Что характерно, подобный националистический нарратив в социальных медиа могут воспроизводить как представители принимающего сообщества, так и выходцы из стран СНГ. Особенностью же социальных медиа является регулярное оспаривание нарратива о необходимости поддерживать «чистоту нации», причем гипотетически, в основном со стороны представителей «советских» поколений, а оспаривают — молодые люди, в особенности женщины.

*Ключевые слова:* трансграничная миграция, воображаемые сообщества, «cross-border intimacy», контагиозность, чистота, национализм, цифровые медиа

Физическая близость между людьми, находящимися по разные стороны границ, разделяющих «воображаемые сообщества», в современной России явление весьма

1. Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (№ соглашения о предоставлении гранта: 075-15-2022-326).

частое (Акрамов, 2018) и, более того, неизбежное (Сороко, 2014). Количество сексуальных контактов между представителями принимающего сообщества и приезжими, в том числе из стран Центральной Азии, в России растет (Олимова, 2018). До 2019 года этому способствовало увеличение количества мигрантов, прибывавших в Россию из указанных регионов, а также — постепенное изменение (Барсукова, Часовская, 2016) отношения обществ стран-доноров к трансграничным бракам в принципе (Рязанцев, Сивоплясова, 2021). Подобные «транснациональные» союзы, в которых супруги относятся к разным «воображаемым сообществам», привлекают широкое исследовательское внимание (Abrego, 2014). Это обусловлено тем, что трансграничная близость самим своим существованием ставит несколько крайне важных для понимания природы и механизмов функционирования социальных границ вопросов. Как соотносятся личные границы и границы национальных государств? Как национальное государство влияет на человеческую близость? Является ли личная близость основанием считать человека частью «воображаемого сообщества» для бюрократии принимающей страны и обычных людей?

Отвечая на них, исследователи выделяют трансграничные браки в отдельную категорию. За редкими исключениями участники таких союзов стигматизируются как принимающим сообществом, так и обществом страны-донора (McKenzie, 2021). Бюрократия рассматривает трансграничную близость как угрозу контролю над телами (Фуко, 1999: 199) — как своих сограждан, так и мигрантов (Brettell, 2017). Отсюда проистекает стигматизация индивидов, нарушающих эти границы, которая становится, с одной стороны, способом подтвердить воображаемые границы между «своими» и «чужими», а с другой — утвердить собственную власть над ними (D'Aous, 2013). Трансграничная близость в глазах чиновников выступает объектом постоянных подозрений (Decimo, 2020; Yayan, Burhanatut, 2017; Straiton, Ansnes, Tschirhart, 2019). Предполагается, что трансграничная близость ведет к проникновению в «наше» общество неких чужеродных элементов; при этом «наше» общество воображается как процветающее, а чужеродные элементы — как нищие и «грязные». Исходя из этого контроль над доступом к сообществу мыслится бюрократией как важнейшая миссия (Constable, 2009).

Парадоксально, но эту позицию зачастую разделяют и сами супруги, считая участие в «трансграничном» браке причиной собственной маргинальности. Факт пересечения национальных границ одним из супругов становится причиной того, что они оба и их близость рассматриваются как нечто не совсем естественное. В результате трансграничная близость провоцирует рефлексию о границах воображаемого «мы», допустимых способах их преодоления как людьми, вступающими в такие отношения, так и наблюдающими за таким союзом со стороны.

Цель данного исследования — определить смыслы, которыми наделяется трансграничная близость в текстах, создаваемых мигрантами и представителями принимающего сообщества в цифровых медиа. Публицистические тексты и сообщения пользователей социальных медиа рассматривались как репрезентация общественной рефлексии в отношении трансграничной близости между предста-

вителями принимающего сообщества и мигрантами из основных для РФ стран-доноров (Щербакова, 2019). Мы использовали термин «трансграничная близость», представляющий собой кальку с английского «cross-border intimacy» (Farhana, 2018). Он позволяет не ограничиваться лишь формальным браком, охватывая более широкий спектр практик. Вместе с тем данный термин дает возможность обособить исследуемый объект, подчеркнув его отличие от иных форм близости как нечто переживаемое индивидами в качестве пограничного маргинального.

Интерес к профессиональным медиа обусловлен их способностью воздействовать на картину мира аудитории (Веснина, 2010; Варганова, 2015; Chouliaraki, Stolic, 2017; Eberl, Meltzer, Heidenreich, Herrero, Theorin, Lind, Strömbäck, 2018). Выбор социальных медиа (Ди, 2012) объясняется в первую очередь их растущей ролью в процессе производства «повестки дня» (McCombs, 2004). Подобно более традиционным медиа, каналы в мессенджерах и группы в социальных сетях не просто показывают пользователям «о чем думать» (McCombs, Shaw, 1972), они, с одной стороны, репрезентируют общественное мнение по вопросам, попавшим в повестку, а с другой — сами воздействуют на ее формирование.

Социальные медиа оказывают также значительное влияние на миграционные процессы, в частности, на «брачную миграцию» (An, Lim, Lee, 2020). Они одновременно воспроизводят и образ «мигранта» в принимающем сообществе, и образ принимающей страны в мигрантской среде, способствуя установлению и трансформации тех или иных практик взаимодействия. Социальные медиа воздействуют на содержание и направление миграционных потоков, на процесс интеграции мигрантов в принимающие города, расширяя возможности горизонтальных сетей, в которые включены приезжие, способствуя снижению издержек и рисков интеграции (Dekker, Engbersen, 2013; Dekker, 2018; Alencar, 2018).

Можно предположить, что в цифровых медиа будет отражена и общественная рефлексия относительно трансграничных браков, которые являются обязательным следствием обширных миграционных потоков. Образы могут не только продемонстрировать отношение к данной практике со стороны как принимающего сообщества, так и мигрантов, но и дать представление о соотношении личных и национальных границ, распространенных в обоих сообществах, о дискурсивных механизмах производства «чужака» и взаимодействии этого образа с «системой «онтологической безопасности» принимающего сообщества (Баньковская, 2023: 209).

Сбор материала в традиционных медиа происходил следующим образом. По комбинациям ключевых слов, означающих разные формы близости между выходцами из основных стран-доноров для РФ и представителями принимающего сообщества (брак+мигрант; жениться+казашка; замуж+таджик; отношения+узбечка; родила+мигрант и т. д.), проводился поиск текстов в 10 наиболее цитируемых российских интернет-СМИ по версии «медиалогии» (Рейтинги российских СМИ, 2023). Аналогичные комбинации ключевых слов использовались при сборе материала в городских пабликах в социальной сети «ВКонтакте» и крупных форумах. Внутри пабликов и форумов проводился поиск по указанным



выше ключевым словам. Поскольку тема трансграничной близости обсуждается довольно редко, а количество активных пабликов во «ВКонтакте» приближается к двум миллионам, массив дополнялся релевантными цели исследования текстами во «ВК», найденными через поисковую систему Google.

При работе с текстами использовался качественный контент-анализ. Категоризировались значения трансграничной близости, представленные в собранном массиве. Были выделены следующие категории: социальное действие, ассоциируемое с трансграничной близостью, аргументы против нее или в ее пользу, акторы — участники, предтекстовая информация (очевидное знание), на которое опираются авторы текстов.

### **Грязная и сакральная контагиозность: трансграничная близость в профессиональных медиа**

В профессиональных медиа обсуждается преимущественно формализованная близость — браки между мигрантами и «местными». Одним из ключевых информационных поводов становится подозрение трансграничной близости в том, что она является совершенно не тем, за что ее пытаются выдать сами участники событий, а также — действия бюрократии по проверке этих подозрений<sup>2</sup>. Тексты в основном гендерно-нейтральны<sup>3</sup>. В тех случаях, когда в тексте упоминается пол участников ситуации, брак «нашей» женщины с «чужим» мужчиной<sup>4</sup> представляется следствием неконвенциональных мотивов. Некоторые заголовки<sup>5</sup> позволяют предположить, что единственной конвенциональной причиной трансграничного брака считается физическая близость. Люди, заключившие подобный союз, подозреваются фактически в ее имитации ради привилегий при включении в принимающее сообщество одного из партнеров.

Для того чтобы стать частью принимающего сообщества, трансграничному мигранту необходимо пройти через череду промежуточных обрядов (Ван Геннеп, 1999), в том числе получить разрешение на временное пребывание, патент, медицинские справки, затем пройти через обряд включения, получив гражданство. Физическая близость считается основанием для того, чтобы существенно упростить эти процедуры. Государство рассматривает физическую близость как контагиоз-

---

2. Многодетная сибирячка вышла замуж за мигранта ради одежды для детей: <https://www.nsk.kp.ru/daily/27145.5/4239315/>

3. См., например: МВД решило ограничить легализацию мигрантов: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63b532cd9a794756a03328c1>; ФСБ выявила группировку, легализовывавшую мигрантов: <https://www.rbc.ru/society/16/11/2021/61935509a794745582e4212>; МВД разработало закон о борьбе с легализацией мигрантов через фиктивные браки: [https://lenta.ru/news/2023/01/04/fikt\\_braki/](https://lenta.ru/news/2023/01/04/fikt_braki/)

4. Правоохранители расторгли фиктивный брак с мигрантом: <https://www.samara.kp.ru/online/news/5131512/>; тюменка оформила фиктивный брак с мигрантом: <https://www.tumen.kp.ru/online/news/4781928/>; россиянка вышла замуж за мигранта в обмен на ремонт: [https://lenta.ru/news/2022/09/19/remont\\_brak/](https://lenta.ru/news/2022/09/19/remont_brak/)

5. Только по любви. Почему в России решили бороться с фиктивными браками? <https://www.bfm.ru/news/387318>

ный обряд (Ван Геннеп, 1999: 12), в ходе которого свойства «нашего» воображаемого сообщества передаются мигранту, что и становится причиной ускоренного включения «чужака» в «наш» круг. Если это не происходит, и мигрант, и его партнер рассматриваются как нарушители установленного порядка, а их союз — как девиация<sup>6</sup>. Избегая подразумеваемой формализованным браком близости, участники нарушают ритуал включения в сообщество «своих».

Собственно, силовые ведомства, фигурирующие в публицистических текстах, подозревают участников транснациональных браков в нарушении обрядового алгоритма и карают их в том случае, если подозрения оказываются оправданными<sup>7</sup>. Их функция — восстанавливать нормальность<sup>8</sup>, физически и символически исключая из «нашего» воображаемого сообщества тех, кто не прошел обряд, ход которого контролируется бюрократией<sup>9</sup>. Объясняя причины интервенций в отношении трансграничных браков, спикеры силовых ведомств приводят формулировки вроде «угрозообразующие факторы в миграционной сфере»<sup>10</sup>, относя угрозу к универсальной пресуппозиции.

В некоторых текстах угрозы, которые скрываются за «фиктивным» браком, описываются более детально:

*Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев: <...> «Сегодня мы вынуждены идти на радикальные меры — с этого дня в рейды по Сочи выйдут бо мобильных групп. Всех нелегальных мигрантов нужно отправлять домой. <...>» По его словам, в настоящий момент нелегалы не торопятся уезжать из города. «По сути, начали играть с нами в прятки: скрываются на стройках, в отдаленных населенных пунктах, живут по 50 человек в одной квартире, заключают фиктивные браки. Делают все возможное, чтобы любой ценой остаться на Кубани. Но мы этого не допустим! <...> Говорил и говорю: ни Кубань, ни Россия не проходной двор! Никто не будет уважать такую страну. Приграничная Кубань в силу своего положения привлекает многих: теплый климат, благоприятные условия для жизни. И вот уже несколько лет край испытывает на себе все прелести незаконной миграции. Незаконные мигранты — это значительная нагрузка на социальную сферу. У нас нет дополнительных средств на обучение, здравоохранение, социальную защиту этих людей. Кроме того, нелегалы выдавливают местное население из выгодных сфер бизнеса — торговли и сферы обслуживания. Увеличился рост пре-*

6. Женщина вступила в брак с гражданином Узбекистана: <https://www.gazeta.ru/social/news/2023/02/16/19764823.shtml>; Нужно прихлопнуть этот рынок: <https://www.gazeta.ru/social/2021/11/16/14210233.shtml>

7. Бракованные узы миграции: <https://www.gazeta.ru/social/2014/01/14/5848817.shtml>

8. МВД решило ограничить легализацию мигрантов через фиктивные браки: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63b532cd9a794756a03328c1>

9. ФСБ сорвала День святого Валентина нелегальным мигрантам: <https://news.ru/vlast/fsb-zaderzhala-organizatorov-fiktivnyh-brakov-mezhdu-nelegalnymi-migrantami/>; МВД России планирует исключить фиктивные браки мигрантов: <https://news.ru/vlast/v-rossii-planiruyut-isklyuchit-fiktivnye-braki-migrantov/>

10. В РФ могут ввести уголовную ответственность за фиктивные браки мигрантов: <https://tass.ru/obschestvo/14069549>

ступности и оборота наркотиков. Незаконная миграция — это еще и перекосы в демографической политике<sup>11</sup>».

«Фиктивный брак» описывается как угроза «нашему» пространству, открывающая возможность чужаку воспользоваться дефицитными ресурсами, расположенными в его пределах. Губернатор говорит от имени пространства, пытающегося вернуть себе субъектность и «уважение» с помощью физического устранения «чужака», а вместе с ним и угрозы, которые он несет: «перекосы в демографической политике» и «рост преступности».

В рассмотренных текстах представлены лишь случаи фиктивных браков, заключенных между «нашей» женщиной и «чужим» мужчиной<sup>12</sup>. Браки между представителями принимающего сообщества не «расследуются» вовсе, равно как и браки между «нашим» мужчиной и «чужой» женщиной. Предположительно, авторы текстов проявляют подозрительность по отношению к физической близости между «нашим» и «чужаком» из-за подразумеваемой на уровне универсальной пресуппозиции «второсортности» второго: «Худенький, маленький, в оборванных штанах и с грязными ногами — не мужчина, мечта»<sup>13</sup>. Неравноправность партнеров заставляет предполагать наличие «ненормальных» мотивов как минимум у «нашей» женщины. Нередко, отвечая на вопрос о причинах трансграничной близости, авторы публицистических текстов указывают на некие отклонения «нашего», подталкивающие к близости с «другим». Это может быть чрезмерная сексуальная активность<sup>14</sup>, неумение ухаживать за женщиной «наших» мужчин<sup>15</sup>, недостаток внимания родственников<sup>16</sup>. Поиск недостатков и девиантных мотивов позволяет авторам текстов разрешить существующее на уровне фонового знания противоречие, объяснив, почему представитель «нашей» группы вступил в контакт с «низшим», «чужаком».

Физическая близость с «чужаком» в некоторых текстах описывается как подрывающая «нормальность» воображаемого сообщества «мы», причем зеркально схожие социальные ситуации могут подаваться авторами публицистических текстов по-разному в зависимости от того, участвует ли в них «чужак». Так, в интернет-издании «КП.ру» есть серия публикаций о случаях ранних беременностей, когда отец оказывается значительно старше матери, не достигшей возраста согласия. Ситуация становится предметом публичной дискуссии, к которой подключается бюрократия, предпринимающая силовую интервенцию. Если отцом оказывается

---

11. Александр Ткачев потребовал очистить Сочи от нелегалов к Олимпиаде: <https://www.kommersant.ru/doc/2276740?query=%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%BA%20%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BD%D0%BD%D1%82>

12. 18-летняя девушка согласилась выйти замуж за 40 тысяч рублей: <https://www.gazeta.ru/family/news/2022/08/15/18332690.shtml?updated>

13. Таджики меняют своих жен на русских: <https://iz.ru/news/497682>

14. Мигрант для москвички — лучший жених? <https://www.kp.ru/daily/23959/72419/>

15. Мигрант окольцованный: <https://www.kommersant.ru/doc/2298105>

16. Родившая в 11 лет счастлива в браке со своим «Ромео»: <https://www.kp.ru/daily/26962.3/4015445/>

«чужак», силовая интервенция чаще представляется авторами текстов оправданной, в отличие от тех случаев, когда отцом оказывается «свой»:

*Они ждут ребенка и суда: 11-летняя девочка беременна от 15-летнего подростка. Ему грозит 10 лет тюрьмы. «Родители в курсе были?» — «Конечно!» У Севы мама (будущей бабушке 35) в декрете, две девочки у них с мужем. Так вот, Тоня часто у них бывала, играла с малышкой, ну в телефонах они там с Севой сидели. Все на виду вроде бы. Ничего такого... Чем занимались дети, пока родителей не было дома, стало ясно далеко не сразу. Ну врачи-то и сообщили в органы. Уже на следующий день пришли домой к парню. А он один. Допрашивать нельзя — ему всего 15. Позвонил маме, та прибежала. «Что? Почему?» Полицейские спрашивают: «Сева, что было в октябре 2021-20?» Он как за голову схватится: «Ой, Тоня беременна!» Ну его в отдел и повезли, он сознался — «решили попробовать» <...>*

*Тоня выглядела не по годам взрослой. Даже друзья не давали ей 11 лет.*

*Преступление-то особо тяжкое. Да и «палочную систему» никто не отменял, что бы ни говорили.*

*А что следствие? Они комментариев не дают — тут же несовершеннолетние, все засекречено. Известно только, что обвинение парню предъявили. Будет ли суд вникать? Красноярск — город большой, дел много, а судей — мало. Конечно, Сева достоин наказания, но что с ним будет через годы реальной тюрьмы, да еще и «на малолетке»?*

*— Я понимаю следствие: забеременела совсем еще девочка. Проверка и уголовное дело просто необходимы. Но тут нужна очень тонкая работа органов. Случай неординарный. Подходить надо предельно внимательно, — считает юрист, правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. — Девушке 11, но и парень еще ребенок. Может, он не осознавал последствий? Было ли насилие, тем более что они встречались больше года? Я уверен, нужна экспертиза специалистов по психологии и психиатрии самого высокого уровня. Тут нельзя рубить сплеча<sup>17</sup>.*

Прагматический потенциал данного высказывания заключается в том, чтобы смягчить последствия силовой интервенции. Сама целесообразность ее ставится под сомнение фразой «палочную систему никто не отменял». Отмечая, что физический контакт был добровольным, что девочка «не выглядела на 11», автор оправдывает подростка-отца. Другой автор описывает аналогичную ситуацию, в которой «наша» женщина вступает в близость с мигрантом. Здесь же силовая интервенция представляется оправданной, действия участников оцениваются как нарушение табу, причем вина за это возлагается на всех участников и прежде всего — на родителей женщины и на нее саму:

*15-летняя школьница из Новосибирска забеременела от мигранта. История получила огласку после приговора — педофила судили за секс с малолеткой. Дальше — больше: выяснилось, что не только сам гастарбайтер обжаловал приговор,*

17. Они ждут ребенка и суда: <https://www.kp.ru/daily/27383.5/4577671/>

но и мать пострадавшей девочки грудью встала на защиту таджика. Юная Джульетта тоже льет слезы, говорит: «Никакого насилия не было! Отпустите Фариду! Я его люблю!» Зоя встречает нас, одетая в майку и трико, — тоненькая, маленькая, сама еще ребенок. На руках держит дочку, которой всего несколько месяцев. Школьница рассказывает: познакомилась с Фаридом зимой 2016 года. Зое тогда было 14 лет, а таджику — 22 года. «Мы с подружками сидели в кафе в торговом центре. Фарид подошел, предложил познакомиться, — вспоминает девочка. — Было понятно, что он старше меня, поэтому я ему соврала про свой возраст: сказала, что мне 18 лет. Постеснялась, что еще маленькая...» История про возраст, возможно, придумана уже для суда. Надо быть слепым, чтобы не отличить 14-летнего подростка от 18-летней девушки. Мама школьницы настолько была не против беременности дочки, что тут же предложила Фариду переехать в двухкомнатную квартиру, где жила с Зоей. «То есть, представляете, родительница поселила преступника в одной комнате с его жертвой (напомним, по закону, да и по здравому смыслу, вступать в половую связь с детьми, не достигшими 16 лет, — это преступление). В результате попустительства со стороны матери: именно она разрешала мужчине оставаться ночевать в комнате дочери — несовершеннолетняя вступила в половую связь и забеременела», — обвиняют родительницу органы опеки.

<...> Семья была поставлена на учет, но вот изымать девочку из семьи почему-то никто не стал. Чиновники это объясняют так:

— При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей, руководствуясь статьей 77 Семейного кодекса РФ. Но в этой ситуации непосредственная угроза жизни и здоровью школьницы отсутствовала, в связи с чем ребенок продолжает проживать в семье родителей.

Автор статьи, цитируя приглашенного эксперта, соглашается с силовой интервенцией, и даже считает ее недостаточно суровой. «Наша» женщина представлена похотливой и лживой, плохо успевающей в школе. Ей дают слово, однако сопровождают ее реплики обесценивающими комментариями «легенда», «придумано для суда». Прагматический потенциал данного высказывания заключается в том, чтобы побудить бюрократию к силовой интервенции, причем произвести ее не только в отношении «провинившегося мигранта», но и родителей вступившей в «трансграничную близость» женщины и даже ее самой. Вина последней заключается не только в том, что она нарушила табу, но и в том, что пытается нормализовать ситуацию, говоря с журналистом, оспорить вину, возлагаемую на мигранта. Высказывания молодой женщины, направленные на нормализацию ситуации, журналист оценивает как «ложь». Матери выдвигается аналогичное обвинение.

Представляется, что причиной обилия здесь слов, имеющих выраженную негативную коннотацию, адресованных участникам ситуации, является не столько сам физический контакт, а то, что один из партнеров — «чужой». Аналогичные ситуации, в которых девушка-подросток из неблагополучной семьи вступает

в близость с «местным» мужчиной, ровесником «таджика» из предыдущего текста, описываются совершенно иным языком. Как правило, авторы таких текстов избегают слов, имеющих негативную коннотацию, не высказывают осуждения в адрес участников социального действия<sup>18</sup>. Выраженной негативной коннотацией не обладает даже текст, размещенный в том же издании, где описывается случай беременности 15-летней девочки от 59-летнего бывшего депутата<sup>19</sup>. Силовая интервенция государства чаще либо признается чрезмерной, либо вовсе осуждается:

*История Сережи и Марины — совсем как в песне Макаревича: «Он был старше ее, она была хороша...» Познакомились два года назад. Марине никак не дашь 14 лет. Скорее 16, а то и все 18. Она рано повзрослела — папа умер, а молодая мама занята зарабатыванием денег. В школе училась средне, но охотно... О возрасте любимой Сережа узнал через несколько месяцев после знакомства. К тому времени они уже познакомились с родными с обеих сторон. Мамы, поняв, что дети любят друг друга, решили не вмешиваться.*

*— О своих близких отношениях с Сережей я рассказала маме, — признается Марина. — Она предупредила, что нужно предохраняться, но мы не хотели...*

*Сергей предупредил Марину:*

*— Если окажешься в положении, будем рожать и узаконим отношения. В январе Марина забеременела. Родительский совет решил: будем рожать. <...> — Я плакала на суде, умоляла, — вспоминает Марина. — Серега тоже говорил, что будет содержать семью и что мы хотим пожениться. Но судья нас даже слушать не стал!<sup>20</sup>*

Прагматический потенциал текста предполагает смягчение последствий силовой интервенции. Ситуация описывается с помощью слов, имеющих нейтральную и положительную коннотацию, равно как и их действия. Заблуждение относительно возраста женщины расценивается как случайность, ее объяснение принимается автором статьи как достоверное.

Возможной причиной оправдания силовой интервенции в случае, когда виновником неконвенциональной физической близости оказывается «чужак», может быть то, что сама ситуация представляется как угроза не только конкретным людям, но и всему воображаемому «мы». Авторы призывают к вмешательству государства потому, что проблема, в их представлении, выходит за рамки частных

---

18. Новосибирская школьница сама родила дочь в 14 лет, пока 22-летний отец ребенка сидит в тюрьме за кражу. С ним девочка познакомилась во дворе, они были соседями. Но когда школьница забеременела, ухажер попался на преступлении. В итоге школьница осталась со своей проблемой один на один. Сама девочка растет в неполной, бедной семье — с бабушкой, отцом, братом и сестрой: <https://www.nsk.kp.ru/daily/27237/4365181/>; В Новосибирске девочка из многодетной семьи забеременела в 14 лет. Целый год Лолита с Первомайки сбежала к 22-летнему возлюбленному на ночевки. Почему отец школьницы не хочет наказания для «зятя» и оставит ли ребенка семья, в материале «КП»-Новосибирск»: <https://www.nsk.kp.ru/daily/217181.5/4287419/>

19. В Астрахани завели дело на помощника депутата за секс с 15-летней племянницей: <https://life.ru/p/1389508/>; За секс с несовершеннолетней задержан депутат: <https://www.stav.kp.ru/daily/24502.5/655408/>

20. Жениха посадили... за беременность невесты: <https://www.kp.ru/daily/24135/354697/>



интересов, затрагивая гораздо более широкий круг людей. Женское тело становится метафорой воображаемого «мы» и физический контакт с «чужаком» воспринимается как нарушение границ не только конкретного участника социальной ситуации, но и всей группы, которую этот участник репрезентирует.

Представление о трансграничной близости как контагиозном обряде, результатом которого становится превращение «нашего» в «чужое», обнаруживается и в других текстах, описывающих «трансграничную близость». Если свойства «нашего» общества могут передаваться «чужаку» через физический контакт, что становится основанием для принятия его в сообщество «своих», то и «чужак» может передать свои свойства группе тем же способом. Силовые интервенции оправдываются страхом того, что через подобные контагиозные обряды свойства «чужака» могут передаваться «нашему» воображаемому сообществу в целом, что может привести к превращению «меня» в «другого»:

*«Один из трех встреченных вами в Москве прохожих — мусульманин. <...> Теперь иностранцу для получения паспорта достаточно состоять в браке с гражданкой РФ хотя бы год. Вернее, с гражданкой, потому что в основном к нам едут мужчины. Примеров, когда коренные россияне женятся на мигрантках из Средней Азии, очень мало. <...> Итог подобных браков — новые мусульмане. В смешанных семьях с мужем-мусульманином дети становятся мусульманами, это не обсуждается. Чем это грозит? Во-первых, усилением их политического влияния. <...> Они хотят голосовать. Сегодня их в Москве, допустим, полмиллиона. В следующем году будет, стало быть, минимум 620 тысяч. За пять лет число мусульман-избирателей увеличится минимум вдвое только за счет принятия их в гражданство России. <...> Так что чем больше новые россияне обживаются в России и, в частности, в Москве, тем выше среди них явка на выборы.*

*<...> Мусульмане выбирают депутатов-мусульман и мэров-мусульман. <...> Избираться пойдут строительные бригадиры, владельцы фирм по перепродаже рабочей силы, директора овощебаз, которые стараются сделать город комфортным для мусульман. Строили «300 храмов в год» — будут строить столько же мечетей.*

*<...> Главный муфтий уже заявил, что мало их в России, надо больше. Мечеть в каждом городе-миллионнике? Так есть уже в каждом, я проверила. На какие деньги станут строить новые мечети, если мусульмане превратятся в существенную избирательную силу? На наши и станут строить, на общие. И плакаты по Москве повесят с требованием уважать мусульман и одеваться скромнее»<sup>21</sup>.*

В данном тексте влияние «чужака» воплощается в постепенном «захвате» городского пространства. Физическая близость с «нашей» женщиной описывается как инструмент борьбы за право на город, который с каждым новым актом близости будет становиться все более и более чуждым. Тело становится метафорой принимающего города, который не обладает собственной субъектностью и не способен противостоять «превращению в чужака». Соприкасаясь с «чужаком», женское

21. Депутат от Москвабада: <https://www.gazeta.ru/comments/column/mironova/12683263.shtml>

тело начинает производить угрозу воображаемому «мы», выраженную в отчуждении «нашего» городского пространства. Агентами этой чуждости при контакте с «чужаком» становится не только, собственно, «наша» женщина, но и дети, которые появляются вследствие такого союза. Их агентность конструируется с помощью ряда логических ошибок (использования недоказанных утверждений, таких как «все дети от смешанных браков становятся мусульманами» и «все мусульмане голосуют за мусульман»). Религия и нация, смешиваясь, обозначаются как причины фундаментальных различий между принимающим сообществом и мигрантами. И то, и другое представлено врожденными характеристиками, определяющими человеческую идентичность, что в принципе делает границы воображаемых сообществ непроницаемыми. Прагматический потенциал текста в том, чтобы вернуть субъектность «нашему» городу через ограничение «производства чуждости». Экспансия «чуждости» может описываться в разных терминах. На месте «ислама» в подобных текстах может оказываться «чужая культура»<sup>22</sup>, инфекции, претензии на дефицитные ресурсы, девиантное культурно-обусловленное поведение, что не меняет прагматического потенциала текста: «чужак» угрожает «нашему» пространству превращением его в себя.

По нашему мнению, подходящим для описания репрезентаций трансграничной близости в русскоязычных традиционных СМИ инструментом может стать метафора «чистоты и опасности» (Дуглас, 2000). Трансграничная близость, физический контакт между представителями двух разделенных воображаемыми национальными границами сообществ, рассматривается как «грязь», сочетание того, что должно быть разделено. Национальные границы в повестке дня традиционных российских медиа описываются как разделяющие группы, наделенные врожденными фундаментальными различиями (религиозными, культурными и даже антропометрическими), их сосуществование в пределах одного пространства описывается как игра с нулевой суммой. При этом «врожденные» особенности делают группы априори неравными, и «чужаки» представлены как менее образованные, нечистые, неполноценные в сравнении с представителями «нашей» группы.

Способом решить противоречие сосуществования в одном пространстве фундаментально различающихся групп является контролируемый бюрократией принимающей страны обряд перехода, альтернативой которому становится физическая близость. Трансграничная близость представлена как действие, участники которого репрезентируют всю национальную группу, частью которой они являются. Физический контакт «нашего» с «чужаком» приводит к пограничному, лиминальному состоянию, исходом которого может быть растворение одного из партнеров в «чужой» идентичности: либо превращение «чужака» в «нашего», либо «нашего» в «чужака». Возможность развития событий по второму сценарию вызывает страх пространственной экспансии «чужака», которая может привести

---

22. Мигрант для москвички — лучший жених? <https://www.kp.ru/daily/23959/72419/>

к превращению «меня» в «другого». Этот страх схож с тем, что вызывают зомби в массовой культуре (Чубаров, 2014: 123).

При этом в рассмотренных публикациях страх обращения в «другого» рождает только ситуация контакта «нашей» женщины с «чужим» мужчиной, именно тело женщины становится метафорой «нашего» воображаемого сообщества, нуждающегося в защите, вне зависимости от ее желания. Учитывая тот факт, что доля женщин во входящих миграционных потоках весьма значительная и становится все больше (Рязанцев, 2019), можно предположить, что контакты между «чужой» женщиной и «нашим» мужчиной не рассматриваются в качестве угрозы воображаемому сообществу.

Тексты традиционных медиа репрезентируют символический и физический контроль над воображаемыми границами национальных групп государственной бюрократией принимающей страны, которая признает сакральную силу физического контакта как контагиозного обряда, наделяющего «чужака» свойствами «наших». При этом априорное представление о неравенстве разных национальных групп приводит к постоянным подозрениям в том, что на самом деле физического контакта между «нашей» женщиной и «чужим» мужчиной не было, а значит, ход обряда был нарушен и «чужак» так и не стал «своим». В данном случае бюрократия осуществляет силовую интервенцию, цель которой — устранить «чужака» из «нашего» пространства. Группы, участвующие в производстве нарратива о трансграничной близости и не относящие себя к бюрократии, могут призывать к осуществлению интервенций, направленных против самой возможности физической близости между представителями разных национальных сообществ. Опасность этих контактов, судя по всему, заключается прежде всего в утрате контроля над женским телом, объектом, символизирующим пространство «нашей» страны или «нашего» города. Гипотетически воспринимаемое как часть воображаемого «мы» женское тело теряет субъектность, считаясь коллективным достоянием группы. Анализ текстов, описывающих девиантные сексуальные практики, показывает, что в случаях, когда подобное совершается между двумя представителями «нашей» группы, интервенция бюрократии, направленная на восстановление контроля над телом, скорее ожидается. Если же в отношениях участвует «чужак», подобный силовой контроль лишь приветствуется.

### **Личная свобода против «воображаемых сообществ»: оспаривание националистического нарратива в социальных медиа**

В отличие от традиционных СМИ, представляющих по большей части мнение бюрократии или журналистов, в социальных медиа отображаются высказывания обычных людей — как мигрантов, так и представителей принимающего сообщества. Спектр значений трансграничной близости здесь значительно шире. Помимо контактов между «нашими» женщинами и мужчинами-«чужаками»

здесь обсуждаются отношения «наших» мужчин и женщин-мигрантов<sup>23</sup>, «наших» мужчин-мигрантов и «местных» женщин<sup>24</sup>. Часть пользователей, как мигрантов, так и «местных», воспроизводит «националистический» нарратив, усматривая в трансграничной близости грязь, угрожающую воображаемому сообществу «МЫ»<sup>25, 26</sup>.

Националистический нарратив о табу на физические контакты между представителями разных «воображаемых сообществ» может воспроизводиться при упоминании любых конфигураций трансграничной близости<sup>27, 28</sup>. И мигранты, и представители принимающего сообщества описывают страхи и подозрения, схожие с теми, что транслируют бюрократия и журналисты в профессиональных медиа. Трансграничная близость описывается как соединение того, что должно быть разделено, представляющее опасность для целостности воображаемых сообществ:

*— Для тех, кто собрался продолжать род не с кыргызами, зря вы называетесь кыргызами, если вы смешаетесь с другими, то, пожалуйста, не живите в Кыргызстане, не ездите на Иссык-Куль, не пейте нашу воду, из-за таких, как вы, теряется национальная гордость, наша страна заселится разными китаезами и другими, у нас, кыргызов, с вами ничего нет общего, точнее, есть еще внешняя схожесть, но у наших детей и внуков точно не будет! Кыргызы будут жить в Кыргызстане буюрса! Вашим потомкам места там нет...<sup>29</sup>*

Данное высказывание содержит конструкцию, напоминающую те, что встречались в текстах российских традиционных медиа — об угрозе «нашему» пространству, выраженной в распространении в его пределах «чужаков», а также их предполагаемых претензиях на дефицитные ресурсы, в том числе и на «гордость». Автор осуществляет символическую интервенцию, исключая людей, вступивших в трансграничную близость, из контекста «нашего» пространства, которое мыслится как тело-объект. Физическая близость с «чужаком» в этом нарративе приводит к распространению «чуждости» на пространство и связанное с ним сообщество целиком, и, опять-таки, к превращению «меня» в «чужака». Наделение

---

23. Раньше у меня были предубеждения о девушках, что мне надо встречаться с русскими: [https://vk.com/wall-48189225\\_53624](https://vk.com/wall-48189225_53624); Я сам по национальности русский, но мне очень нравятся казахские девушки: [https://m.facebook.com/KazTours/photos/a.1271410846263443/2314954065242444/?type=3&\\_rdr](https://m.facebook.com/KazTours/photos/a.1271410846263443/2314954065242444/?type=3&_rdr)

24. Как вы относитесь к межнациональным бракам? [https://vk.com/topic-16228\\_2529567?offset=280](https://vk.com/topic-16228_2529567?offset=280)

25. В 8-м классе я встречалась с одиннадцатиклассником! Он был грузин! [https://vk.com/podsluska\\_kgz?trackcode=ddf3c154sgpwuUO\\_bBHsfA---Au4hNCVTkgWjCAJitOsD2Zi1TQ&w=wall-87594204\\_104361](https://vk.com/podsluska_kgz?trackcode=ddf3c154sgpwuUO_bBHsfA---Au4hNCVTkgWjCAJitOsD2Zi1TQ&w=wall-87594204_104361)

26. Если девушка влюбилась в иностранца и согласна выйти за него замуж: [https://vk.com/wall-61061489\\_531960](https://vk.com/wall-61061489_531960)

27. У моей девушки до меня было два мужа-таджика. Чернильница или совпадение? [https://vk.com/public?trackcode=adc11481Fr-cTwOGKurZTjObNBorywtIsPVOy1DUoso7UUoOzg&w=all-76791337\\_6475869](https://vk.com/public?trackcode=adc11481Fr-cTwOGKurZTjObNBorywtIsPVOy1DUoso7UUoOzg&w=all-76791337_6475869)

28. Я влюбился в русскую девушку, но мама, наверное, не одобрит: [https://vk.com/rcavm?trackcode=7d750136CT\\_M9CVK28EvDRp\\_3oDWM9pC5t4osfqDEXINHVRcGQ&w=wall-118941478\\_17847](https://vk.com/rcavm?trackcode=7d750136CT_M9CVK28EvDRp_3oDWM9pC5t4osfqDEXINHVRcGQ&w=wall-118941478_17847)

29. В последнее время участились случаи, когда наши девушки выходят замуж за иностранцев и лиц другой национальности: [https://vk.com/topic-1339140\\_1957973?offset=0](https://vk.com/topic-1339140_1957973?offset=0)

«нашего» воображаемого сообщества и связанного с ним пространства характеристиками, в большей степени свойственными человеческому телу, в социальных медиа встречается довольно часто<sup>30</sup>. Проводя символические интервенции против трансграничной близости, пользователи, подобно бюрократам в традиционных медиа, пытаются осуществить власть над чужими телами, которые репрезентируют воображаемое сообщество целиком. И в социальных медиа угрожающими представляются в первую очередь ситуации, в которых «наша» женщина вступает в близость с «чужим» мужчиной<sup>31</sup>. Такие ситуации некоторыми пользователями рассматриваются как повод для силовых интервенций ради «восстановления чистоты»<sup>32</sup>.

Ключевым отличием социальных медиа становится то, что представление о необходимости поддерживать целостность и чистоту воображаемого «мы» разделяют далеко не все пользователи. Если в традиционных медиа «нормальность» трансграничной близости практически никем не постулируется, то в медиа социальных почти в каждом диалоге-обсуждении, который попал в массив, присутствуют две альтернативных позиции. В диалоге, последовавшем за процитированным выше фрагментом, пользователи, в основном женщины, подвергают сомнению исходящую от трансграничной близости опасность, а также — значимость границ воображаемых сообществ в принципе. В социальных медиа появляется отсутствующий в повестке дня традиционных СМИ конструкт — свобода воли, которую пользователи ставят выше национальных границ. Необходимость сохранения «чистоты» как инструмент власти над телом «нашей» женщины, репрезентирующим воображаемое сообщество, противопоставляется эмоциональной вовлеченности, причем последняя снова и снова описывается как проявление свободы воли.

Оспаривается и целесообразность силовых интервенций во имя сохранения «чистоты». На протяжении нескольких лет в ряде «мигрантских» городских пабликов обсуждалась<sup>33</sup> существующая на западе России субкультура кыргызских «патриотов», избивавших и насилующих женщин за то, что те встречались с мужчинами других национальностей. В дискуссиях<sup>34</sup> против действий «патриотов» регулярно выступали представители «второго поколения» мигрантов. Часть из них апеллировала к свободе индивидуального выбора, другие — к нормам исла-

30. Девочки, у кого мужья — азербайджанцы? Как у вас отношения складываются? [https://vk.com/wall-155622384\\_3777258](https://vk.com/wall-155622384_3777258)

31. Анонс. На днях увидел бурятку в мусульманской одежде и охренел. Вы чо, бурятки, совсем, что ли? [https://vk.com/wall-148643627\\_893031](https://vk.com/wall-148643627_893031)

32. Пора опять чистить города и дать понять, кто в России хозяева: [https://vk.com/wall-58053864\\_99015](https://vk.com/wall-58053864_99015)

33. Раз девушка встречается с парнем другой национальности, значит, он ее устраивает, ей комфортнее с ним. Нет плохой нации в любом случае! [https://vk.com/podsluskakgz?trackcode=ddf3c154sgpwuUO\\_bBHsfA---Au4hNCVTkgWjCAJitOsD2Z1TQ&w=wall-87594204\\_263087](https://vk.com/podsluskakgz?trackcode=ddf3c154sgpwuUO_bBHsfA---Au4hNCVTkgWjCAJitOsD2Z1TQ&w=wall-87594204_263087)

34. На нее напали кыргызы и избili ее из-за того, что она встречается не с кыргызом: [https://vk.com/podsluskakgz?trackcode=ddf3c154sgpwuUO\\_bBHsfA---Au4hNCVTkgWjCAJitOsD2Z1TQ&w=wall-87594204\\_261550](https://vk.com/podsluskakgz?trackcode=ddf3c154sgpwuUO_bBHsfA---Au4hNCVTkgWjCAJitOsD2Z1TQ&w=wall-87594204_261550)

ма<sup>35</sup>, согласно которым национальная принадлежность не имеет значения, в отличие от религиозной. Так или иначе, против силовых интервенций в отношении нарушителей «чистоты нации» выступало большинство пользователей, даже те, кто не считал трансграничную близость нормой:

— В социальных сетях появилось видео о том, как кыргызстанцы в кафе буквально допрашивают кыргызстанок, почему они общаются с представителями других национальностей, а не с кыргызами.

Гулящую девушку только пуля исправит.

— Атып салыш керек.

— Брат койчу сен ошол жерде эле болчусунбу? бир кырдалдын негизин билбестен громко суйлобогуло чу!!! ким билет жигити болушу мумкун куйосуу болушу мумкун!!! андай патриот болушса нан тапканга жардам беришсын сынабай эле!!!

— Дебилы недоразвитые!!! Какая разница, с какой национальностью общаются девушки кыргызской национальности.

<...>

— С одной стороны, это правильно, чеченцы, даги не выдают своих женщин иностранцам. А парни могут жениться, так как парни продолжают род нации, и дети будут той крови, что и отец. Таким образом, они сохраняют честь нации и честь своих женщин. Никто другой какой-либо нации не может обесчестить их женщин и бросить как иллюх уличных.

— У каждого свое право, с кем жить и как жить! А вот пацанам скажу, что они лохи полные, я никогда не уважал тех парней, которые поднимают руку на женщин! Если ты мужик и патриот, подойди к тем парням, которые сидели с нашими девчонками, и позови на разборку!

— Я тоже согласен, они тоже неправильно поступают. Но не такими же методами, дикари!!!

<...>

— Это нацизм, и это ничем не отличается от фашизма. Так называемые «патриоты» — это просто лохи, неуверенные мужланы, которые вдруг решили поучить девушек «уму-разуму», эти дебилы, которые в жизни ни одной хорошей книги не прочитали, решили, что они могут давать жизненные советы и решать, кто с кем встречается. Мужланы, которые хотят самоутвердиться за счет слабых женщин и унижить. Из-за таких свиней, как они, наше общество не процветает!<sup>36</sup>

В принципе, выступление представителей «второго поколения» против националистического нарратива можно считать особенностью, отличающей обсуждения трансграничной близости в социальных медиа от традиционных СМИ. Пользователи, которых можно определить как представителей «второго поколения», ищут в социальных медиа групповой поддержки решения, идущего вразрез с на-

35. Дело тут не в нациях должно быть... [https://vk.com/topic-16228\\_25529567?offset=280](https://vk.com/topic-16228_25529567?offset=280)

36. В Сети вновь появилось видео о «патриотах» в Москве, воспитывающих кыргызок: [https://vk.com/wall-57559146\\_96305](https://vk.com/wall-57559146_96305)



ционалистическим нарративом «чистоты»<sup>37</sup>. Представители старших поколений, напротив, чаще поддерживают нарратив, совершая с его помощью символические интервенции:

— *Всем здравствуйте! Я мужчина, мне 46 лет. <...> Недавно женил сына, скоро и дочь выходит замуж, и вроде все хорошо, но она выходит замуж за другую нацию (азиаты и славяне у нас не приветствуются), и я смириться с этим не смогу. Я ругаюсь до сих пор со своей бывшей супругой, потому что это она недоглядела. Вы извините, но я не хочу внука от Вани или от Турсунбека, так что, уважаемые родители, следите за своими мальчишками, пусть каждый женится на девушке своей национальности. Спасибо за внимание*<sup>38</sup>.

Подобно тому, как российская бюрократия использует националистический нарратив для оправдания контроля над телами сограждан, родители используют его для контроля над телами детей. Причем в этом случае риторика чистоты используется как для контроля над телами мужчин, так и женщин:

— *Я — казах, возлюбленная моя — русская. Вместе мы уже три года. Родители мои строго-настрого запрещают с ней встречаться, говорят, что ни рубля не дадут, если речь пойдет о свадьбе. Они уверены, что мне нужна лишь казашка. Как переубедить, что делать? Я в отчаянье...*<sup>39</sup>

— *У меня так же.*

<...>

— *Если тебе с ней хорошо, то, я думаю, родители поймут.*

— *Родители правы, я сейчас тоже жил с русской и во всем разочаровался, на са- лака не приходили ее родственники, про похороны родных слышать не хотели, зато как согым или просто мясо режем, так все бежали, да и предатели они и на- цисты сильные, мы для них черножопые.*

— *Ты не казах, ты тряпка, которая боится родительские деньги потерять. Для любви нет национальностей.*

— *Мля, с ней тебе жить, а не им. Если ты не можешь защитить свою любовь, то о какой совместной жизни может быть речь? Или ты до сих пор маменькин сынок?*

— *Наверное, впервые это скажу. Но когда мой братишка решил жениться на де- вушке не нашей национальности, мы с мамой просто начали его донимать, приво- дя все возможные доводы. Он нас усадил и сказал: «Я ЖЕНЮСЬ НА ТОЙ, НА КОМ ВЫ СКАЖЕТЕ, НО НЕ ЖДИТЕ МЕНЯ НОЧАМИ ДОМА, ЖИТЬ БУДЕТЕ С НЕЙ*

37. Я хочу взять в жены русскую девушку! [https://vk.com/topic-16228\\_26609950?offset=0](https://vk.com/topic-16228_26609950?offset=0); Привет всем. Дело в том, что я влюбилась в парня-киргиза: [https://vk.com/wall-59796265\\_494304](https://vk.com/wall-59796265_494304); влюбился девушку (казашку) красота и доброта этой девушки через край, вот не знаю, как подойти к ней, сам калмык: [https://vk.com/wall-69144939\\_12992](https://vk.com/wall-69144939_12992)

38. Вы извините, но я не хочу внука от Вани или от Турсунбека: [https://vk.com/psavm?w=wall-118941478\\_239037](https://vk.com/psavm?w=wall-118941478_239037)

39. Я — казах, возлюбленная моя — русская. Вместе мы уже три года. Родители мои строго-настрого запрещают с ней встречаться: [https://vk.com/psavm?trackcode=d50fo70bF-HnKttHoSHuNSRO1rIpLCOrNdYj3\\_K8wCJORbLDRA&w=wall-118941478\\_198348](https://vk.com/psavm?trackcode=d50fo70bF-HnKttHoSHuNSRO1rIpLCOrNdYj3_K8wCJORbLDRA&w=wall-118941478_198348)

*САМИ, И НИКАКИХ ПРАВОУЧЕНИЙ МНЕ НЕ ЧИТАЙТЕ!! Мы отпустили эту ситуацию, решили смениться, и ни разу об этом не пожалели!!! Наша сноха самая лучшая!! Поговори по душам со своими, может, они реально примут?*

*— Женат на русской, трое детей, хотя родители были против. Жить на самом деле тебе, главное — воспитай правильно своих детей)))*

Случаи, когда «наш» мужчина вступает в отношения с «чужой» женщиной, в социальных медиа обсуждаются и критикуются гораздо реже. Более того, некоторые пользователи проговаривают, что «чистоте нации» вредят только контакты «наших» женщин с «чужими» мужчинами, но не наоборот: «А то, что иногда ходит случайно с кем-нибудь, это не в счет, так как главная для него та, с которой он будет производить детей)))»<sup>40</sup>. Судя по никам и фотографиям профилей пользователей, националистический нарратив чаще воспроизводят мужчины, а оспаривают женщины. Мужчины выступают чаще против методов интервенций, но не против самого факта использования нарратива «чистоты нации» для контроля над телами других людей.

Пользователи — представители принимающего сообщества воспроизводят националистический нарратив чистоты не реже пользователей-мигрантов, используя при этом весьма схожие конструкты:

*— Очень жаль, что в связи с уважением к сообществу тут, я не могу написать комментарий на простом русском мате... Потому что других слов найти сложно. Рвотный рефлекс от мысли, что женщина-славянка, воспитанная в христианских традициях, позволит себе отношения с гражданами Таджикистана. Просто сюр какой-то. Свою кровь, свою нацию, свою родословную надо ценить, а не уничтожать путем сношений х\*\*\* пойми с кем. Уж простите за столь эмоциональный ответ<sup>41</sup>.*

Люди, в отношении которых производятся подобные символические интервенции, также обращаются к аудитории цифровых площадок, надеясь получить коллективное одобрение выбора партнера, воспринимаемого как девиантный или неконвенциональный. Это могут делать люди, составляющие разные конфигурации трансграничной близости<sup>42, 43</sup>. Как и мигранты, представители принимающего сообщества могут на уровне универсальной пресуппозиции рассматривать трансграничную близость как нечто сомнительное, пытаюсь разрешить эти сомнения и легитимировать собственное решение через обращение к группе «своих». При этом чаще за одобрением группы обращаются молодые люди, пытающиеся противостоят власти родителей, которая проявляется через запрет на «трансграничные браки». В одном из диалогов молодая женщина пишет, что ее выгнала из дома

40. Если девушка выходит замуж за не кыргыза, то она кыргыз эмесб [https://vk.com/topic-1339140\\_1957973](https://vk.com/topic-1339140_1957973)

41. Отношения с мужчиной-таджиком: <https://www.woman.ru/relations/men/thread/4922621/20/>

42. Стоит ли встречаться с узбеком: <https://www.woman.ru/relations/men/thread/4874657/2/>

43. Я русский, девушка таджичка: <https://forum.pickup.ru/topic/187602-%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%Bo-%D1%82%D0%Bo%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%Bo/>

мать за то, что она забеременела «от таджика», который уехал к себе на родину<sup>44</sup>, в другом — мужчина, собирающийся жениться на казашке, пишет, что ему мешает принять решение национализм родителей:

— Отец говорил мне, что не хочет внуков, которые не похожи на него. Я до поры до времени тоже думал так же. А теперь я влюблен в казашку неземной красоты. И теперь я в замешательстве... А если действительно дети будут другой национальности. Нет, это не расизм, и я не расист, но факт остается фактом. Мне просто интересно мнение людей, как к этому относятся (к русско-казахским парам), как к этому вообще относиться? Подскажите...<sup>45</sup>

Некоторые пользователи на уровне универсальной пресуппозиции воспринимают националистический нарратив как нечто неприемлемое, одновременно разделяя представление о недопустимости трансграничной близости. В данном случае воспроизводя риторiku чистоты, пользователи стараются привести другие аргументы, оправдывающие символические интервенции. Некоторые повторяют конструкты, которые можно встретить в традиционных СМИ: истории о «порченных» детях, которые появляются в результате таких союзов, непреодолимых «культурных различиях», делающих невозможным пребывание супругов в одном пространстве.

Аргументируя недопустимость трансграничной близости, некоторые используют описанные еще Э. Саидом (2021) ориенталистские мифы: о сексуальной гиперактивности «чужих»<sup>46</sup>, о спокойном отношении «всех мигрантов» к многоженству<sup>47</sup>, лени,<sup>48</sup> склонности к домашнему насилию<sup>49</sup>. Физическая близость с «другим» в этом контексте выглядит противоречием, которое пользователи социальных медиа, подобно журналистам, решают с помощью поиска скрытых дефектов в представителе «нашей» группы, вступающем в связь с «чужаком»<sup>50</sup>. Характерно, что лишь малая часть пользователей воспроизводит эти представления, ссылаясь на собственный опыт. Большинство преподносит негативные стереотипы как часть фонового знания. Упоминающие о наличии субъективного опыта трансграничной близости чаще говорят о нем в положительном ключе:

— Здравствуйте!!! Девушки, встречались ли вы с таджиком? Как это, что у тебя парень — таджик, что подумают и скажут другие, анонимно, пожалуйста.

— Таджик, как все, как все, как все...

— Черныльница.

44. Познакомилась с парнем (он таджик), встречались с ним пять месяцев, и потом забеременела: [https://vk.com/overstory163?trackcode=oc425a2adUuvllE-nPXeeKGPJqaGFjr2bqc4yh4XhYNeXfljeA&w=all-42949290\\_551024](https://vk.com/overstory163?trackcode=oc425a2adUuvllE-nPXeeKGPJqaGFjr2bqc4yh4XhYNeXfljeA&w=all-42949290_551024)

45. Отец говорил мне, что не хочет внуков, которые не похожи на него: [https://vk.com/wall-48189225\\_53624](https://vk.com/wall-48189225_53624)

46. У кого муж киргиз: <https://www.woman.ru/relations/family/thread/5200264/>

47. Москвички все чаще выходят замуж за жителей Таджикистана: <https://www.woman.ru/news/moskvichki-vse-chashe-vykhodyat-zamuzh-za-zhitelei-tadzhikistana-id656599/>

48. Замуж за трудового мигранта: <https://www.woman.ru/relations/men/thread/5413683/>

49. Замуж за таджика: <https://www.woman.ru/relations/family/thread/5598109/>

50. Отношения с мужчиной-таджиком: <https://www.woman.ru/relations/men/thread/4922621/>

— Я аж чаем подавилась.

— Фу на \*уй.

— Таджики тоже люди)

— Чернильница.

— Ну я бы не стала встречаться — как минимум потому, что дети черненькие будут.

— А на Родине жена и пятеро детей.

— Не губи себя, пока не поздно! Столько парней русских много, они лучше в тысячи раз!!! Чего ж вас, некоторые девушки, так «черные» парни цепляют...

— А что значит — фу, ужас? Комментаторы, вы всех таджиков считаете вонючими, грязными или не людьми? Ну ясно, почему русских никто не любит, всех под одну гребенку списывают, одни мы, россияне, ни\*\*аты и умыты. Единственное что фу то, что кровь мешаешь, хотя русских парней куча.

— Да нас\*ать, с кем ты там! Тебе рожу разбили, на кухне место указали. Сиди дома, рожай обезьянок.

— А тут зависит, наверное, от его мат. состояния. Если он весь ухоженный, с хорошей работой, статусом, то, наверное, мало кто посмотрит, кто он — таджик, узбек или Тимати. И да, девчонки, все изначально ищут СИЛЬНОГО САМЦА. Можете, конечно, говорить, что «нееет, я лучше русского не работающего и немытого». Неправда все это. Не верю!

— Русские должны встречаться с русскими, таджики с таджиками, арабы с арабами и т. д. Людей сближает общая культура, схожие взгляды, а отличие всегда порождает, в лучшем случае, непонимание, я так считаю.

— У меня во дворе живет семья, где мама русская и папа таджик. Глаз радуется, когда на них смотрю! Три сыночка замечательных, которые еще фору дадут в воспитанности и правильности поступков нашим русским пацанятам, и маленькая совсем еще девочка, в колясочке. Так вот, я думаю, что всех под один гребень чесать не стоит, но разобраться в человеке и узнать обо всех вышеупомянутых скелетах в шкафу в виде семьи на родине и т. д., я думаю, нужно<sup>51</sup>.

Подобно «лиминальным» существам, люди, заключающие трансграничные браки, воспринимаются в социальных медиа как выпадающие за пределы социальных категорий, причем как наблюдателями, так и самими участниками ситуации. Физическая близость с «Чужаком», реальная или подразумеваемая, провоцирует сомнение в целостности социального порядка: «Чужак <...> перемещается / осциллирует между его полюсами, он не вписывается в оппозицию, но тем самым и не отрицает ее с определенностью, но лишь ставит под сомнение. Его сомнение в четкости, определенности и правомочности разграничивающих оппозиций — это, по сути, сомнение в способе упорядочивания социального мира: Чужак, таким образом, ставит проблему социального порядка» (Баньковская, 2023: 95). Эту целостность одни авторы текстов пытаются вернуть с помощью символических

51. Здравствуйте!!! Девушки, встречались ли вы с таджиком? Как это, что у тебя парень таджик, что подумают и скажут другие: [https://vk.com/wall-54086381\\_1915282](https://vk.com/wall-54086381_1915282)

интервенций, другие же ставят вопрос, а так ли она ценна? Молодые мужчины и женщины все чаще осмеливаются вступать в отношения с «другим», оспаривая тем самым националистический нарратив о необходимости соблюдать «чистоту крови». Они ищут и иногда находят поддержку аудитории социальных медиа.

## Заключение

Анализ материала показывает, что в рассмотренных текстах традиционных СМИ и социальных медиа тема трансграничной близости становится триггером, провоцирующим обсуждение содержания и значимости национальных границ, последствий их нарушения. В этих обсуждениях нередко воспроизводится националистический нарратив о необходимости поддержания «чистоты» воображаемого сообщества через силовые интервенции в частную жизнь отдельных его представителей, направленные на устранение трансграничной близости. Последняя рассматривается как непосредственная опасность для воображаемого сообщества, причем контакт с «чужаком» воспринимается как опасность для «нашего» сообщества и никогда — для самого «чужака», вне зависимости от того, кто именно воспроизводит националистический нарратив — мигрант или представитель принимающего сообщества.

Опасность трансграничной близости основана на представлении о ней как контагиозном обряде, в ходе которого участники ситуации имеют в виду не только себя, но и все воображаемое сообщество, частью которого они являются. Человеческие тела становятся метафорами национальных групп, обладающими способностью передавать собственные характеристики при физическом контакте и воспринимать характеристики «другого». В результате физического контакта происходит либо передача «чужаку» свойств воображаемого сообщества «мы», либо же, наоборот, «чужак» заражает своей инаковостью принимающее сообщество. Взаимодействие «чужака» и «нас» представляется игрой с нулевой суммой, в которой «чужак», с помощью распространения своей культуры, политического или демографического влияния, захватывает «наши» дефицитные ресурсы. Гипотетически «чужая культура», «чужая религия», «электоральное» или «демографическое» влияние в нарративе являются метафорами, объясняющими один и тот же процесс, который в воображении авторов сопровождает трансграничную близость: пространственную экспансию «чужака», в ходе которой «наше» пространство, «наш» город наделяются его свойствами.

С одной стороны, акторы рассматривают физическую близость как сакральное действие, размывающее границы воображаемых сообществ. С другой стороны, присутствующее на уровне универсальной пресуппозиции представление о трансграничной близости как контакте акторов априори неравных становится причиной постоянных подозрений «чужака» в желании использовать этот контакт для того, чтобы осуществить экспансию, а «своего» — в предательстве интересов группы.

Характерно и то, что опасным считается лишь действие, совершаемое той частью воображаемого сообщества «мы», которое мыслится как подвластное актору, производящему текст. Прежде всего речь идет о молодых людях и особенно — женщинах. Случаи, когда «наш» мужчина вступает в связь с «чужой» женщиной, вообще не обсуждаются в СМИ и реже обсуждаются в социальных медиа, несмотря на феминизацию миграции из Центральной Азии в РФ.

Анализ текстов позволяет выдвинуть следующую гипотезу. Пользователи старших поколений, получившие образование в советских школах, более склонны воспринимать трансграничную близость как контагиозный обряд вне зависимости от того, какую национальную группу они представляют. Они же чаще используют нарратив сохранения «чистоты» для контроля над группами, воспринимаемыми как объект подчинения, прежде всего — над молодыми женщинами. Доминирующая в традиционных медиа позиция, оправдывающая силовые интервенции в трансграничные браки подозрением в девиантной мотивации и априорной неполноценности партнеров, во многом совпадает с позицией именно этой группы.

Эта позиция часто оспаривается в медиа социальных. Причем, предположительно, наиболее активно в опровержении националистического нарратива чистоты участвуют представители постсоветских поколений, особенно — молодые женщины, вне зависимости от того, являются ли они мигрантами или представителями принимающего сообщества. Пользователи социальных медиа в большей степени склонны рассматривать физическую близость и эмоциональную вовлеченность как способ преодоления национальных границ. Можно предположить, что в иерархии ценностей, которые представляют пользователи в своих монологах, свобода выбора и личные чувства занимают более высокое место, нежели границы воображаемых сообществ.

Тот факт, что нарратив о «чистоте» и силовых интервенциях для ее поддержки воспроизводят пользователи из России и других стран СНГ, может говорить о том, что, во-первых, национализм является весьма распространенным, существующим на уровне универсальной пресуппозиции конструктом. Оправдания силовых интервенций в нарративах пользователей социальных медиа и в медиа традиционных могут свидетельствовать о том, что национализмы на постсоветском пространстве являются одним из весьма существенных факторов, затрудняющих процесс интеграции трансграничных мигрантов в России.

## Литература

- Акрамов Ш. (2018). Межнациональные браки как фактор адаптации трудовых мигрантов из Таджикистана в России // Мир науки, культуры, образования. № 6. С. 407-408.
- Баньковская С. П. (2023). Чужаки и границы. Исследования по социологии маргинальности. СПб: Владимир Даль.



- Барсукова Т., Часовская Л. (2016). Трансформация семейно-брачного поведения трудовых мигрантов // Общество: социология, психология, педагогика. № 7. С. 7-12.
- Ван Геннеп А. (1999). Обряды перехода. М.: Восточная литература РАН.
- Варганова О. Ф. (2015). Образ трудового мигранта в федеральных и региональных СМИ (по результатам контент-анализа) // Социологическая наука и социальная практика. Т. 11. № 3. С. 81-93.
- Веснина Л. Е. (2010). Метафорическое моделирование миграции в российских печатных СМИ // Политическая лингвистика. № 1. С. 84-89.
- Ди Ч. (2012). Социальные сетевые медиа и социальные сети в концепциях американских и российских исследователей // Вестник СПбГУ. № 9. С. 223-230.
- Дуглас М. (2000). Чистота и опасность: анализ представлений об осквернении и табу. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле.
- Олимова С. (2018). Трудности адаптации к мигрантской жизни: как таджики строят интимные отношения в России // Российский совет по международным делам. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/postsoviet/trudnosti-adaptatsii-k-migrantskoy-zhizni-kak-tadzhiki-stroyat-intimnye-otnosheniya-v-rossii/#detail>
- Рейтинги российских СМИ. <https://www.mlg.ru/ratings/media/>
- Рязанцев С. (2019). Гендерные аспекты трудовой миграции в России // Женщина в российском обществе. № 4. С. 53-65.
- Рязанцев С., Сивоплясова С. (2021). Брачное поведение женщин-мигранток из стран Центральной Азии // Экономическая социология и демография / Женщина в российском обществе. С. 136-140.
- Саид Э. (2021). Ориентализм. Музей современного искусства «Гараж».
- Сороко Е. (2014). Межэтнические браки в России // Демографическое обозрение. Т. 1. № 4. С. 96-123.
- Фуко М. (1999). Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem.
- Чубаров И. (2014). Исключенные. Логики социальной стигматизации в массовом кинематографе // Логос. Т. 101. № 5. С. 93-130.
- Щербак Е. (2020). Миграционный прирост населения России сократился в 2,7 раза по сравнению с первым полугодием 2019 года // Демоскоп weekly. URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0871/barom01.php>
- Abrego L. (2021). Sacrificing Families: Navigating Laws, Labor, and Love Across Borders // International Journal of Intercultural Relations. Vol. 82. P. 121-134.
- Alencar A. (2018). Refugee Integration and Social Media: A Local and Experiential Perspective // Information Communication & Society. №21. P. 1588-1603.
- An S., Lim S. S., Lee H. (2020). Marriage migrants use of social media // Asian Journal of Communication. Vol. 30. № 2. P. 83-99.
- Brettell C. (2017) Marriage and Migration // Annu. Rev. Anthropol. № 46. P. 81-97.
- Chouliaraki L., Stolic T. (2017). Rethinking media responsibility in the refugee "crisis": A visual typology of European news // Media, Culture & Society. Vol. 39. № 8. p. 1162-1177.

- D'Aous A-M.* (2013). In the Name of Love: Marriage Migration, Governmentality, and Technologies of Love // *International Political Sociology*. № 7. P. 258–274.
- Dekker R. et al.* (2018). Smart Refugees: How Syrian Asylum Migrants Use Social Media Information in Migration Decision-Making // *Social Media + Society*. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2056305118764439>
- Dekker R., Engbersen G.* (2013). How Social Media Transform Migrant Networks and Facilitate Migration // *Global Networks*. №14. p. 401–418.
- Eberl J. M., Meltzer C. E., Heidenreich T., Herrero B., Theorin N., Lind F., Strömbäck J.* (2018). The European media discourse on immigration and its effects: A literature review // *Annals of the International Communication Association*. Vol. 42. № 3. p. 207–223.
- Farhana I.* (2018). Cross-Border Intimacies: Marriage, migration, and citizenship in western India // *Modern Asian Studies*. Vol. 52. № 5. P. 1664–1691.
- Francesca Decimo* (2022). Copious relationships: transnational marriages and intimacy among Moroccan couples in Italy // *Journal of Family Studies*. Vol. 28. № 4. P. 1255–1271.
- McCombs M.* (2004). *Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion*. Cambridge: Polity Press.
- McCombs M., Shaw D.* (1972). The agenda-setting function of mass media // *Public opinion quarterly*. Vol. 36. № 2. p. 176–187.
- Constable N.* (2009) The Commodification of Intimacy: Marriage, Sex, and Reproductive Labor // *Annu. Rev. Anthropol.* № 38. P. 49–64.
- Straiton M., Ansnes T., Tschirhart N.* (2019). Transnational marriages and the health and well-being of Thai migrant women living in Norway // *International Journal of Migration, Health and Social Care*. Vol. 15. № 1. P. 107–119.
- Yayan S., Burhanatut D.* (2017). Marriage Legalization For Indonesian Migrant Workers (Implementation of “Justice for All” for Migrant Workers at Tawau, Sabah, Malaysia) // *Education and Humanities Research*. Vol. 162.

## Nationalism, Purity, and Danger: “Cross-border Intimacy” in Russian Digital Media<sup>52</sup>

*Dmitry Timoshkin.*

Candidate of sociological sciences. Researcher, Center for Theoretical and Applied Political Science, Russian Academy of National Economy and Public Administration, Russian Federation, Moscow; Associate Professor of the Department of Cultural Studies and Art History of the State Institute of SibFU. Address: 660041, Krasnoyarsk, Svobodny Ave., 86.  
E-mail: dmtrtim@gmail.com

---

52. The article was prepared in the framework of a research grant funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (grant ID: 075-15-2022-326)

The article explores narratives of the “cross-border intimacy” in Russian-language digital media. The text arrays generated by migrants, representatives of the host community, and professional journalists in digital media are analyzed. We identified and compared the meanings that are given to marriages between migrants and “locals”. Texts were selected from 10 of the most quoted Russian Internet media, city public sites of the largest Russian social network Vkontakte, Internet forums on combinations of the keywords “migrant”, “marriage”, “married”, and “married”, as well as ethno-chronyms, that is, immigrants from the main donor countries to the Russian Federation. Qualitative content analysis has become a research tool. It has been established that migrants and representatives of the host community are equally involved in the production of values of cross-border proximity whose position is broadcast by professional media, especially the Russian bureaucracy. All three groups of the senders of statements on social networks discussing cross-border proximity reproduce the rhetoric of “purity” and “danger” in different forms. This rhetoric is similar to the description of objects that fall out of conventional social categories presented in the works of M. Douglas. In digital media, cross-border intimacy is seen as an existential threat to the integrity of an imaginary community, often metaphorically referred to as a female body. Physical contact with a “stranger”, such as “our” woman with a “stranger” man, is first of all considered as a contagious rite, a result of which the “dirt” peculiar to the “stranger” is transmitted to the imaginary community as a whole. People who broadcast this narrative make claims to the role of “defenders” of an imaginary community from “unconventional” contacts between “their own” and “strangers”. The narrative of “protection from dirt” is used as a way to legitimize their own power by men, bureaucrats, and parents. We found a watershed between the professional and social media. This watershed lies in the fact that the narrative about the need to keep the “purity” of an imaginary community is constantly challenged in social media, unlike professional ones. Love and freedom of individual choice are placed above the inviolability of the boundaries of imaginary communities, thus legitimizing cross-border closeness. The analysis of the material allowed us to put the hypothesis forward that social media contributes to the destruction and delegitimization of the nationalist narrative dominating in professional media. This is primarily used by social groups, in respect of which the power legitimized by the narrative of “purity” is applied; such groups are formed primarily by women, as well as representatives of the “second generation” of migrants.

Keywords: cross-border migration, imaginary communities, “cross-border intimacy”, contagiousness, purity, nationalism, digital media

## References

- Abrego L. (2021) Sacrificing Families: Navigating Laws, Labor, and Love Across Borders. *International Journal of Intercultural Relations*, vol. 82, pp. 121-134.
- Akramov Sh. (2018) Mezhnacional'nye braki kak faktor adaptacii trudovyh migrantov iz Tadjikistana v Rossii [Interethnic marriages as a factor of adaptation of labor migrants from Tajikistan to Russia]. *Mir nauki, kul'tury, obrazovanija*, no 6, pp. 407-408.
- Alencar A. (2018) Refugee Integration and Social Media: A Local and Experiential Perspective. *Information Communication & Society*, no 21, pp. 1588-1603.
- An S., Lim S. S., Lee H. (2020) Marriage migrants use of social media. *Asian Journal of Communication*, vol. 30, no 2, pp. 83-99.
- Bankovskaya S. (2023) *CHuzhaki i granicy. Issledovaniya po sociologii marginal'nosti* [Strangers and borders. Studies in the sociology of marginality], St. Petersburg: Vladimir Dahl.
- Barsukova T., Chasovskaja L. (2016) Transformacija semejno-brachnogo povedenija trudovyh migrantov [Transformation of marital behavior of migrant workers]. *Obshhestvo: sociologija, psihologija, pedagogika*, no 7, pp. 7-12.
- Brettell C. (2017) Marriage and Migration. *Annu. Rev. Anthropol.*, no 46, pp. 81-97.
- Chouliaraki L., Stolic T. (2017) Rethinking media responsibility in the refugee “crisis”: A visual typology of European news. *Media, Culture & Society*, vol. 39, no 8, pp. 1162-1177.
- D'Aous A-M. (2013) In the Name of Love: Marriage Migration, Governmentality, and Technologies of Love. *International Political Sociology*, no 7, pp. 258-274.

- Dekker R. et al. (2018) Smart Refugees: How Syrian Asylum Migrants Use Social Media Information in Migration Decision-Making. *Social Media + Society*. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2056305118764439>
- Dekker R., Engbersen G. (2013) How Social Media Transform Migrant Networks and Facilitate Migration. *Global Networks*, no 14, pp. 401–418.
- Di Ch. (2012) Social'nye setevye media i social'nye seti v koncepcijah amerikanskih i rossijskih issledovatelej [Social network media and social networks in the concepts of American and Russian researchers]. *Vestnik SPbGU*, no 9, pp. 223 — 230.
- Duglas M. (2000) *Chistota i opasnost': analiz predstavlenij ob oskvernenii i tabu* [Purity and danger: an analysis of the concepts of desecration and taboo], Moscow: KANON-press-C: Kuchkovo pole.
- Eberl J. M., Meltzer C. E., Heidenreich T., Herrero B., Theorin N., Lind F., Strömbäck J. (2018) The European media discourse on immigration and its effects: A literature review. *Annals of the International Communication Association*, vol. 42, no 3, pp. 207–223.
- Farhana I. (2018) Cross-Border Intimacies: Marriage, migration, and citizenship in western India. *Modern Asian Studies*, vol. 52, no 5, pp. 1664–1691.
- Francesca Decimo (2022) Copious relationships: transnational marriages and intimacy among Moroccan couples in Italy. *Journal of Family Studies*, vol. 28, no 4, pp. 1255–1271.
- Fuko M. (1999) *Nadzirat' i nakazyvat'*. *Rozhdenie tjur'm* [Discipline and Punish: the burth of prison], Moscow: Ad Marginem.
- McCombs M. (2004) *Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion*, Cambridge: Polity Press.
- McCombs M., Shaw D. (1972) The agenda-setting function of mass media. *Public opinion quarterly*, vol. 36, no 2, pp. 176–187.
- Constable N. (2009) The Commodification of Intimacy: Marriage, Sex, and Reproductive Labor. *Annu. Rev. Anthropology*, no 38, pp. 49–64.
- Olimova S. (2018) Trudnosti adaptacii k migrantskoj zhizni: kak tadjhiki strojat intimnye otnosheniya v Rossii [Difficulties of adaptation to emigrant life: how Tajiks build intimate relationships in Russia]. *Rossijskij sovet po mezhdunarodnym delam*. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/postsoviet/trudnosti-adaptatsii-k-migrantskoj-zhizni-kak-tadjhiki-stroyat-intimnye-otnosheniya-v-rossii/#detail>
- Rejtingi rossijskikh SMI* [Ratings of Russian media]. <https://www.mlg.ru/ratings/media/>
- Rjazancev S. (2019) Gendernye aspekty trudovoj migracii v Rossii [Gender aspects of labor migration in Russia]. *Zhenshhina v rossijskom obshhestve*, no 4, pp. 53—65.
- Rjazancev S., Sivopljasova S. (2021) Brachnoe povedenie zhenshhin-migrantok iz stran central'noj Azii [Marital behavior of migrant women from Central Asian countries]. *Jekonomicheskaja sociologija i demografija. Zhenshhina v rossijskom obshhestve*, pp. 136—140.
- Said Je. (2021) *Orientalizm*, Muzej sovremennogo iskusstva «Garazh».
- Shherbakova E. (2020) Migracionnyj prirost naselenija Rossii sokratilsja v 2,7 raza po sravneniju s pervym polugodiem 2019 goda [The migration growth of the Russian population decreased by 2.7 times compared to the first half of 2019]. Demoskop weekly. URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0871/barom01.php>
- Soroko E. (2014) Mezhjetnicheskie braki v Rossii [Interethnic marriages in Russia]. *Demograficheskoe obozrenie*, vol.1, no 4, pp. 96–123.
- Straiton M., Ansnes T. and Tschirhart N. (2019) Transnational marriages and the health and well-being of Thai migrant women living in Norway". *International Journal of Migration, Health and Social Care*, vol. 15, no 1, pp. 107–119.
- Van Gennep A. (1999) *Obrjady perehoda* [rites of passage], Moscow: Vostochnaja literatura RAN.
- Varganova O. F. (2015) Obraz trudovogo migranta v federal'nyh i regional'nyh SMI (po rezul'tatam kontent-analiza) [The image of a migrant worker in federal and regional media]. *Sociologicheskaja nauka i social'naja praktika*, vol. 11, no 3, pp. 81–93.
- Vesnina L. E. (2010) Metaforicheskoe modelirovanie migracii v rossijskikh pechatnyh SMI [Metaphorical modeling of migration in Russian print media]. *Politicheskaja lingvistika*, no 1, pp. 84–89.
- Yayan S. Burhanatut D. (2017) Marriage Legalization For Indonesian Migrant Workers (Implementation of "Justice for All" for Migrant Workers at Tawau, Sabah, Malaysia). *Education and Humanities Research*, vol. 162.

## Жертвы своего страха: субъективная безопасность и опыт виктимизации в России

*Веркеев Арсений Максимович*

Магистр социологии; стажер-исследователь, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; стажер-исследователь, «Центр России, Восточной Европы и Центральной Азии» Университета Висконсин–Мэдисон.

Адрес: 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 55, корп. 2.

Электронная почта: averkeev@ya.ru

*Серебренников Дмитрий Евгеньевич*

Магистр социологии; исследователь, Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге.

Адрес: 191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 6/1 лит. А.

Электронная почта: serebrennikov.dmtr@eu.spb.ru

В последние десятилетия криминологи во всем мире наблюдают снижение уровня преступности, особенно насильственной — так называемое «великое падение преступности». Однако фактическая безопасность может не соответствовать субъективной, т. е. тому, как люди воспринимают свою защищенность от различных угроз. В этой статье на материале всероссийского опроса жертв преступлений, проведенного Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге в 2021 году, мы изучаем связь между страхом перед преступностью, социодемографическими и криминологическими характеристиками опрошенных. Эти данные позволяют оценить то, как связан опыт жертв различных преступлений (виктимный опыт) и их страх перед разными типами преступлений. Мы обнаруживаем, что связи между социодемографическими характеристиками и страхом перед преступностью в России в целом схожи с теми, которые наблюдаются в других странах. Вместе с тем мы выявляем ряд важных особенностей, касающихся жертв преступлений. Во-первых, виктимный опыт в среднем увеличивает уровень страха перед преступностью. Во-вторых, с чем более тяжкими инцидентами столкнулись люди в прошлом, тем выше их уровень страха перед преступностью. В-третьих, жертвы «классических» преступлений (например, краж или насилия) часто опасаются преступности в дальнейшем. Более того, жертвы имущественных преступлений склонны опасаться дальнейших имущественных преступлений, но не насилия. При этом жертвы насилия могут опасаться, помимо повторения насилия, также и имущественных преступлений. Тот факт, что инцидент был удаленным (с использованием интернета или телефона), не связан со страхом перед преступностью. Таким образом, страх перед очными и удаленными преступлениями жертвы переживают по-разному, что ставит более широкие вопросы о динамике субъективной безопасности и спросе на работу правоохранительных органов в будущем.

*Ключевые слова:* страх перед преступностью, виктимизация, виктимный опыт, субъективная безопасность, уличная безопасность, преступность в России, жертвы преступлений

---

1. Авторы благодарны за ценные комментарии к ранним версиям статьи участникам секции «Страх за поворотом: восприятие безопасности в городе и за его пределами» конференции «Тревожное общество и (не)возможности солидарности» (апрель 2022), участникам конференции «Wisconsin Russia Project 2022 Young Scholars Conference» (июнь 2022), участникам «Global Meeting on Law and Society» (июль 2022), участникам летней школы Института проблем правоприменения (июль 2022), а также редакции и рецензентам журнала «Социологическое обозрение». Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-311-90063.

В 1970-х годах в криминологии происходит поворот от изучения особенностей и предпосылок поведения преступников к фокусу на пострадавших от преступлений и последствиях преступности. Центральными фигурами исследований становятся не преступники, а их жертвы (Lewis, Salem, 1986: 3). В этот период появляются виктимизационные опросы — опросы населения, направленные специально на выявление жертв преступлений и получение детальной информации об их опыте (виктимном опыте). Именно опросы жертв позволили получить данные об объеме и структуре латентной преступности, т. е. преступности, по разным причинам не регистрируемой полицией и потому невидимой для статистики. Так, в США в 1960-х годах преступность начала расти согласно полицейским данным, а вот опросы показали, что с учетом латентной части преступлений совершается гораздо больше.

Далее преступность стали рассматривать не только с точки зрения издержек для конкретных людей, но и как бремя для общественного благополучия. Доверительным отношениям в обществе стала противопоставляться угроза, в качестве источника которой может выступать каждый встречный — преступность разобщает (Uslaner, 2013). Это породило спрос на эмпирические исследования восприятия людьми преступных угроз. Данную нишу заполнили исследования «страха перед преступностью» — так сложилось, что это скорее зонтичный термин, куда входят разные концепты и эмпирические стратегии.

Наша статья обращается к актуальным темам дискуссии о восприятии преступности, отвечая на вопрос о том, какие факторы связаны со страхом перед преступностью и чувством небезопасности у жителей России в зависимости от того, сталкивались ли они ранее с преступлениями и какими именно. Среди рассматриваемых нами факторов — как основные социоэкономические параметры (возраст, гендер, брачный статус, образование, доход, проживание в городе), так и те, что позволяют детальнее учесть положение респондентов и которые реже встречаются в литературе (наличие работы, наличие судимости, различные характеристики виктимного опыта).

Опыт столкновения с преступностью является ключевым фактором того, каким образом человек будет воспринимать преступность в дальнейшем. Одновременно с этим это один из самых противоречивых факторов. Во-первых, преступность бывает разная, и она закономерно по-разному влияет на людей. Более того, один и тот же тип преступления может быть совершен разными способами, наносящими больший или меньший ущерб жертве. Во-вторых, виктимный опыт может приводить как к повышению страха перед преступностью, так и к снижению. При этом виктимный опыт может иметь разный по протяженности во времени эффект — долгосрочный или краткосрочный, в зависимости, к примеру, от серьезности пережитого опыта. Все это говорит о потребности в новых, более детальных объяснениях феномена восприятия преступности.

Мы используем данные всероссийского опроса жертв преступлений, проведенного в 2021 году Институтом проблем правоприменения при Европейском



университете в Санкт-Петербурге (Knorre, 2022). Мы раскрываем потенциал этих данных, анализируя по отдельности две подвыборки респондентов: тех, кто назвал себя жертвами преступлений, в сравнении с теми, кто этого не сделал. До сих пор столь подробного анализа восприятия преступности на российском материале не проводилось, в первую очередь в силу ограничений существующих данных: использования неподходящих формулировок вопросов или выборок, недостаточных по охвату либо способу отбора респондентов. По этой же причине — малого числа качественно проведенных виктимизационных опросов — такой подробный анализ редко встречается на материале других стран.

Отдельно отметим, что в предшествующих работах остро стоит методологический вопрос о том, как содержательные результаты анализа зависят от подхода к измерению страха перед преступностью. Учитывая то, как по-разному в литературе операционализируется страх перед преступностью, мы считаем критически важным подробно описать, какие именно индикаторы мы используем, чему будет уделено отдельное внимание в разделе о данных и методах.

Мы обнаруживаем, что то, как страх перед преступностью связан с социодемографическими и криминологическими характеристиками людей, в целом совпадает с тем, что можно наблюдать на материале других стран. При этом на российском материале мы делаем наблюдение, связанное с восприятием жизни в сельской местности как более безопасной самими местными жителями. Также мы делаем ряд находок в отношении виктимного опыта. Он ожидаемо повышает страх перед преступностью, и с ростом тяжести инцидента растет страх. Однако эффект разных типов пережитых преступлений отличается при ответах на разные вопросы о страхе. Особенно характерно, что жертвы удаленных преступлений (через телефон и интернет) отвечают на вопросы о страхе так же, как и не-жертвы, в отличие от пострадавших от «классических» преступлений (например, разбоев, краж), сообщающих о меньшей безопасности. Ввиду трансформации общей структуры преступности это указывает на возможные изменения в субъективной безопасности и спросе на работу правоохранительных органов в будущем.

В начале статьи мы рассказываем о состоянии исследований страха перед преступностью в мире и России на настоящий момент, кратко затрагивая дискуссию об использовании различных эмпирических индикаторов при изучении этого явления. Далее мы описываем наши данные и методы. Затем мы приводим результаты и их интерпретацию в контексте предыдущих исследований и специфики восприятия людьми разных типов преступлений.

## **Виктимный опыт и страх перед преступностью**

Виктимный опыт часто используют как стандартный предиктор страха перед преступностью — и соответствующий вопрос аккомпанирует в анкетах вопросам о страхе. Влияние виктимного опыта на страх кажется довольно прямолинейным: жертвы преступлений как непосредственные носители травматичного опыта име-

ют более обоснованные причины беспокоиться о его повторении, чем те, кто такой опыт лично не переживал. В самом деле, многие авторы заключают, что факт виктимизации положительно связан со страхом перед преступностью (Collins, 2016; Rader, 2017).

Однако не все так просто: конкретные механизмы влияния виктимного опыта на восприятие преступности остаются недостаточно изученными. В частности, из-за того, что часто виктимный опыт упрощенно понимают как бинарный признак — человек либо был жертвой преступления в прошлом, либо нет. Бинарное понимание виктимизации упускает из виду качественные различия между людьми с отличающимся виктимным опытом (Abbott et al., 2020: 885). Зачастую из такого подхода следует ситуация, когда изучается опыт столкновения с преступностью «в целом» и его связь со страхом перед преступностью «в целом», что накладывает большие ограничения на выводы исследования (Rountree, 1998: 346). Давность виктимизации в существующих исследованиях также часто не учитывают, как и ее регулярность, хотя эти факторы могут влиять на восприятие жертвой как собственного виктимного опыта, так и возможного столкновения с преступностью в будущем (Scherg, Ejrnæs, 2022).

Большее внимание к характеристикам виктимизации способно дать гораздо больше информации о том, как именно она могла поспособствовать страху перед будущими преступлениями. Виктимный опыт исключительно разнообразен. Скажем, если у вас украли кошелек в метро, то будете ли вы опасаться повторения именно этого преступления, или имущественных преступлений в целом? Появятся ли опасения насчет насилия? Не породит ли этот случай страх перед определенными местами или ситуациями? Станете ли вы себя иначе вести? А может быть, ваше восприятие безопасности и преступности никак не изменится? Ответы на эти вопросы на самом деле неочевидны и требуют эмпирического подхода, учитывающего как параметры виктимизации, так и страх по отношению к различным типам угроз и ситуаций, а не к абстрактной преступности (Kury, Ferdinand, 1998).

Например, ранее показано, что жертвы насилия сообщают о страхе и перед насилием, и перед домовыми кражами, тогда как жертвы домашних краж говорят только об этом виде преступности, но не о насилии (Rountree, 1998: 364). На другом материале, собранном на уровне жилых районов, виден результат, несколько противоречащий приведенному: удельное число имущественных преступлений в районе связано с повышенным страхом перед имущественными же преступлениями в нем, тогда как для насильственных преступлений нет аналогичной связи со страхом насилия (Camacho Doyle et al., 2022). В дискуссии о принципах взаимодействия между виктимизацией и восприятием преступности нет четкого консенсуса даже в отношении базового разделения на имущественную и насильственную

---

2. Отдельная сложность со страхом перед преступностью у жертв краж заключается в том, что нельзя украсть одну и ту же вещь два раза. Т. е. если у вас украли вещь, которая была у вас в одном экземпляре, то опасаться повторения именно этого преступления в принципе невозможно до тех пор, пока вы не приобретете другую аналогичную вещь или не вернете вашу.

преступность, поэтому остро необходимы новые исследования, и желательно — основанные на новых данных из малоизученных стран. Настоящая статья призвана именно в этом ключе дополнить существующую дискуссию.

Другой аспект, опосредующий связь виктимизации и страха, это социоэкономический статус жертвы. Например, кража дорогой сумки у образованной обеспеченной женщины сильно отличается по своим социальным условиям и последствиям от побоев, нанесенных мужчине с низким уровнем образования и дохода. Также и уровень страха отличается в зависимости от социоэкономического статуса (Rader, 2017).

При этом нельзя сказать, что каждое преступление абсолютно уникально (что не умаляет их важность для пострадавших). В том, как и где совершаются преступления, есть общие закономерности, что позволяет категоризировать преступность. Категории преступлений можно разграничить, например, опираясь на качественные различия между типами виктимизации. Классическое подразделение на имущественную и насильственную преступность со временем обросло новыми деталями. Самая заметная из них вызвана технологическим развитием. Дело в том, что, несмотря на «великое падение преступности», т. е. снижение среднего числа преступлений во всем мире (van Dijk et al., 2022), происходит расцвет преступлений, связанных с технологиями: интернетом, мобильной связью, системами хранения данных (Серебренников, Титаев, 2022). Поскольку коммуникаций, опосредованных технологиями, становится все больше, то растут и возможности для совершения преступлений с помощью технологий. С распространением банкоматов и безналичных расчетов участился кардинг — мошенничество с банковскими картами. Телефон и интернет позволяют мошенникам убедить людей выполнить нужные действия на дистанции или же украсть личные данные с помощью взлома. Стали возможны и такие действия, как навязчивое преследование человека в Сети (киберсталкинг), обман под видом романтических отношений в интернете (romance scam) и распространение личной информации без согласия владельца. Такие действия все еще в новинку даже для развитых юрисдикций, и продолжают споры о том, как юридически квалифицировать те или иные действия в интернете.

Важный криминологический признак этих преступлений — отсутствие очного контакта между жертвой и злодеем, из-за чего такие преступления можно собирательно называть «удаленными». И хотя такое классическое преступление, как кража (понятая как тайное хищение имущества), тоже не предполагает очного контакта, контакт все-таки присутствует, но не прямой, отложенный во времени — в теории у жертвы есть шанс застать вора в процессе совершения преступления. Удаленные же преступления чаще всего происходят целиком и полностью на расстоянии. По этой причине они считаются менее тяжкими с криминологической точки зрения: в среднем насильственная преступность более тяжкая, чем имущественная, а контактная имущественная преступность более тяжкая, чем удаленная имущественная (Kury, Ferdinand, 1998).

Также удаленные преступления отличает от «очных» неосязаемость потери. При краже личных вещей (например, кошелька) человек переживает опыт физического вторжения в личное пространство. Однако при телефонном звонке мошенников такого вторжения не происходит, преступление совершается с помощью дистанционной коммуникации. Соответственно, в том, как переживается опыт очной и удаленной преступности, есть различия, которые можно ожидать и в паттернах страха перед разными типами преступности. О таких различиях в существующей литературе до сих пор сказано мало.

Другой способ категоризации преступлений — не разделение на разные типы, а учет тяжести преступлений, понятой уже не качественно, а количественно<sup>3</sup>. В этой связи исследования показали, что тяжесть виктимизации (в криминологическом смысле — как тяжесть переживаемого жертвой опыта) положительно связана со страхом перед преступностью (Abbott, McGrath, 2017). Однако согласно ряду авторов, виктимизация может способствовать, наоборот, снижению страха перед преступностью. Такой эффект может производить не слишком значительный по тяжести виктимный опыт (Ditton, Duffy, 1983: 164; Scherg, Ejrnaes, 2022). Вероятно, это происходит благодаря тому, что виктимный опыт делает преступность более знакомым и понятным явлением, а одним из факторов страха как раз является неизвестность и высокая неопределенность в отношении чего-либо. Другая причина — влияние изменений в поведении жертвы после инцидента на ее восприятие преступности. Проще говоря, если жертва целенаправленно повышает уровень своей безопасности, то она, следовательно, и чувствует себя более защищенной<sup>4</sup>.

В силу вышеописанной сложности феномена страха перед преступностью его исследователи всегда сталкивались с проблемой измерения, что породило разнообразные способы операционализации и формулировки анкетных вопросов. В крупных опросных проектах сложилась конвенция о трех стандартных индикаторах, которые используем и мы (см. раздел о данных). Это вопросы об уличной безопасности, о страхе перед вторжением в дом и страхе перед нападением. Современные эмпирические исследования во многом опираются именно на них.

---

3. Есть разница между юридической квалификацией тяжести проступка и криминологическим пониманием тяжести виктимизации. Например, понятие тяжести виктимизации неприменимо к продаже нелегальных наркотиков из-за отсутствия потерпевших, однако юридическая квалификация тяжести проступка предусмотрена.

4. Так случилось с одним из авторов, у которого украли велосипед в период работы над этой статьей (позже велосипед удалось вернуть). Опасался ли он кражи велосипеда до того, как она случилась? Так сказать нельзя, потому что он в принципе не слишком задумывался об этом. Однако можно сказать, что уже после свершившейся кражи он не опасается ее повторения, начав пристегивать велосипед двумя прочными замками вместо одного замка похуже, т. е. изменив свое поведение. Добавим, что здесь мы оказываемся на теоретическом распутье: покупку прочных замков, в зависимости от подхода к операционализации, можно назвать либо индикатором наличия опасений, либо инвестицией в снижение этих опасений, после совершения которой их следует считать сниженными или полностью устраненными.

Вопрос об уличной безопасности, впервые примененный в период политики «войны с преступностью» в США в 1960-е годы, присутствует в анкетах и сегодня: «Представьте, Вы идете в одиночестве после наступления темноты в районе, где Вы живете. Насколько безопасно Вы себя чувствуете в такой ситуации?» Нетрудно заметить, что в этом вопросе нет прямой отсылки ни к страху, ни к преступности, есть лишь намек. Эта нестыковка послужила началом дискуссии о валидности индикаторов страха перед преступностью. Ученые стали культивировать более осторожный подход к интерпретации результатов (Baumer, DuBow, 1977; Ferraro, LaGrange, 1987; Hollway, Jefferson, 2012: 7–25), полученных с использованием как разных индикаторов, так и их объединения в общие индексы на основе среднего значения или суммы ответов (Barni et al., 2016; Krulichová, 2019; Vauclair, Bratanova, 2017; Visser et al., 2013). В пользу последнего решения говорит то, что индекс сокращает ошибку измерения (measurement error), свойственную опросам. В то же время главный его недостаток состоит в усложнении смысловой интерпретации результатов.

### Преыдушие исследования в России

Попытки детального рассмотрения страха перед преступностью в России немногочисленны. На этом фоне и страх в связи с виктимным опытом на российском материале подробно не исследовался, о чем говорят обзорные тексты (Налла, Гуринская, 2018). Существующие эмпирические работы имеют некоторые ограничения: в них используется либо недостаточно подробный опросный инструментарий, либо узконаправленные выборки, не способные репрезентировать население страны.

В первом случае можно обратить внимание на работы, которые опираются на общероссийские выборки, но в то же время в них применяются слишком широкие формулировки анкетных вопросов, не позволяющие однозначно интерпретировать ответы на них. К примеру, в вопрос «В какой степени Вы чувствуете себя защищенным(ой) от преступности?» (Nemirovskiy, Nemirovskaya, 2015) не вложено принципиальное разделение на насильственную и имущественную преступность. Несмотря на репрезентативную для страны и некоторых ее регионов выборку, анализ восприятия безопасности на таких данных возможен только в самом общем ключе: в 2010 году 62% жителей России ответили, что чувствуют себя совсем (28%) или скорее (34%) незащищенными от преступности (скорее защищены — 12%, полностью защищены — 6%, трудно сказать — 20%) (Nemirovskiy, Nemirovskaya, 2015: 72).

Существуют и обратные примеры, когда вопросы конкретны, но выборка слишком узкая. Так, в одном опросе российских студентов использованы формулировки о личной безопасности в разных пространственных контекстах: на улице в темное время суток и дома в темное время суток (Nalla, Gurinskaya, 2022). Другой опрос студентов использовал вопросы, указывающие на конкретные типы

преступлений: «Я боюсь стать жертвой имущественного преступления», «... насильственного преступления», «... террористического акта» (Gurinskaya, 2020). Результаты исследований на выборках студентов, хотя они могут включать конкретизированные формулировки вопросов, нельзя распространить на население страны.

На данных опроса в Краснодарском крае было найдено, что страх перед имущественными преступлениями относительно низок в сравнении с тяжкими насильственными. Также — что мужчины реже женщин говорят о боязни насилия, тогда как опасения имущественных преступлений распределены между ними одинаково (Konyakhin, Petrovskiy, 2016: 343). Эти выводы выглядят как потенциально важные для дальнейших исследований страха перед преступностью в России. Однако выборка этого опроса имеет ограничения даже для генерализации выводов в отношении жителей Краснодарского края, т.к. почти наполовину (908/2023) состоит из работников бюджетной сферы и полицейских, а сбор данных шел в течение пяти лет (Konyakhin, Petrovskiy, 2016: 341).

А. Бек и А. Робертсон (Beck, Robertson, 2003) использовали опросные данные из трех российских городов в попытке измерить опасения по поводу преступности в целом и отдельных типов преступлений. Однако их результаты невозможно экстраполировать за пределы изученных городов. Кроме того, в исследовании не учтено, что русская языковая практика обычно опускает различия между преступлениями формально разными, но принадлежащими к одному типу (напр., имущественными). Из-за этого без дополнительных пояснений часто невозможно установить, о каком именно преступлении идет речь. Две фразы — «меня ограбили» и «мой кошелек украли» — могут указывать на один и тот же инцидент, несмотря на то что формально первое — ограбление, а второе — кража. Это составляет трудность для получения точных опросных данных по конкретным преступлениям.

Кроме того, по сравнению с США и Соединенным Королевством (на материалах которых развивались исследования виктимизации и страха) в России существует ряд особенностей структуры преступности. В стране наблюдается низкий уровень пространственной сегрегации. В американских городах (а страх перед преступностью — это преимущественно городской феномен (Rader, 2017)) активно бедные районы могут соседствовать с богатыми и, как правило, фиксируется разделяемая горожанами иерархия обеспеченности и безопасности районов города. В России города в основном устроены иначе — пространственная сегрегация менее выражена, проблема расовой сегрегации стоит гораздо менее остро, отсутствует проблема гетто как неблагополучных изолированных районов (Чернышева, 2019). Также в России восприятие преступности неизбежно связано с особенностями устройства жилья, отличающегося от типового американского большей этажностью и более высокой плотностью заселения (Тыканова, Тенишева, 2021). Насилие в России сосредоточено не на улицах, а преимущественно внутри жилых пространств: 88,6% насильственных преступлений



совершаются под крышей домов, а не в публичных местах (Титаев, 2019: 12). Все эти характеристики необходимо держать в голове, однако существующие исследования тяготеют к рассмотрению восприятия преступности в России вне этого контекста.

Вопросы о восприятии преступности также задавались в Российском мониторинге экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS–HSE) и в российских волнах Европейского социального исследования (ESS). Однако в обоих опросных проектах все три вопроса включались в анкету одновременно последний раз в 2010 году, из-за чего исследователи склонны фокусироваться на анализе индикатора об уличной безопасности (Веркеев, 2021; Козырева, Смирнов, 2019), наиболее представленного в свежих данных и одновременно с этим наименее прямолинейно затрагивающего тему преступности.

RLMS–HSE и ESS объединяет то, что это проекты общего профиля, что не позволяет полноценно контролировать релевантные для исследуемой темы факторы, такие как опыт виктимизации. Хотя вопросы о виктимизации в опросах общего профиля встречаются нередко, они сформулированы широко и затрагивают виктимный опыт не только респондента, но и членов его семьи, что не позволяет адекватно оценивать долю жертв преступлений среди населения. Есть еще одно важное обстоятельство. В отличие от опросов общего профиля, в виктимизационном опросе вопросы о страхе перед преступностью подаются вместе с целой анкетой о преступности. Контекст, в котором задаются вопросы, а именно тематика остальных вопросов анкеты, может влиять на ответы респондентов.

## Данные и методы

Данными для исследования послужили результаты второго всероссийского опроса жертв преступлений (Russian Crime Victimization Survey, RCVS), проведенного в 2021 году Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге<sup>5</sup>. Всего был опрошен 14 431 респондент, из которых 3002 назвали себя жертвами преступлений. Опрос проводился по простой случайной выборке мобильных телефонов по технологии Computer Assisted Telephone Interview и репрезентативен для населения России по основным социодемографическим показателям (Серебренников, Титаев, 2022). Благодаря свежести данных, масштабу, а также фокусу на опыте жертв преступлений опрос RCVS является наиболее актуальным, позволяющим точнее отделять жертв от не-жертв в популяции, учитывать качественные различия в опыте жертв, и генерализировать результаты как на все население России, так и на группы жертв преступлений по отдельности.

---

5. Впервые этот опрос проведен в 2018 году, и его методология в 2021 году сильно не изменилась. Одним из нововведений стало добавление вопросов о восприятии преступности. Подробное описание методологии: Verkеев и др., 2019. Данные размещены в открытом доступе, см.: Klogre, 2022.

В начале интервью респондентам задавался главный вопрос-фильтр о том, происходили ли с ними за последние пять лет случаи, которые можно классифицировать как преступления. Утвердительный ответ на этот вопрос — критерий, по которому сформирована подвыборка из 3002 жертв преступлений. В случае утвердительного ответа собеседникам задавалось большое число вопросов об обстоятельствах последнего по времени инцидента.

Понятие «жертва преступления» мы трактуем не в юридическом, а в социологическом смысле. Это значит, что респондент не обязательно может являться потерпевшим с точки зрения писаного права, но может считать, что стал жертвой преступного посягательства. Это не умаляет важности изучения таких случаев, поскольку они отражают то, как обычные люди, а не профессиональные юристы, воспринимают свои права и границы безопасности личности и имущества. Для краткости мы называем жертвами всех респондентов, утвердительно ответивших на вопрос-фильтр.

В завершение беседы всем респондентам, включая не-жертв, задавались вопросы об их социодемографическом статусе, а также три вопроса об ощущении безопасности и страхе перед преступностью, которые мы используем в качестве зависимых переменных. Приведенные ниже ответы кодировались в виде четырехбалльных шкал, где «В полной безопасности» и «Никогда» имели значение 1, а «Совсем не безопасно» и «Почти всегда» — 4.

1. Представьте, Вы идете в одиночестве после наступления темноты в районе, где Вы живете. Насколько безопасно Вы себя чувствуете в такой ситуации?

- В полной безопасности.
- В относительной безопасности.
- Скорее небезопасно.
- Совсем небезопасно.

2. Как часто Вас беспокоит мысль о том, что Ваш дом или квартиру могут ограбить или обокрасть?

- Постоянно или почти всегда.
- Довольно часто.
- Иногда, временами.
- Никогда.

3. Как часто Вас беспокоит мысль о том, что Вы можете стать жертвой нападения?<sup>6</sup>

Сложность при анализе этих трех вопросов состоит в том, что, по мнению ряда ученых, последние два из них измеряют страх перед преступностью, который концептуально неэквивалентен чувству небезопасности на улице из первого вопроса (Ferraro, LaGrange, 1987). Однако некоторые заявляют об отсутствии такого различия, поскольку все три вопроса на самом деле освещают разные стороны одного и того же феномена — страха перед преступностью (Hummelsheim

---

6. Варианты ответа как для предыдущего вопроса.

et al., 2011; Kujala et al., 2019). Одним из распространенных решений стал индекс страха перед преступностью (FoC-индекс, от англ. Fear of Crime). Индекс сводит к одному показателю ответы респондентов на разные вопросы о восприятии преступности и безопасности (Barni et al., 2016; Vaclair, Bratanova, 2017). Для корректного сопоставления индекса с основными вопросами, представленными в виде шкал, мы создаем индекс как шкалу путем сложения значений уровней (от 1 до 4) основных трех вопросов, после чего отнимаем из итогового значения 2, чтобы минимум в шкале был равен 1, а максимум 10. При создании индекса на данных RCVS мы исключили 917 наблюдений (среди которых 163 жертвы), где респонденты затруднились ответить хотя бы на один из трех вопросов. Описательные статистики зависимых переменных представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

В анализе мы будем сравнивать две подвыборки респондентов между собой: тех, кто назвал себя жертвами преступлений, и тех, кто этого не сделал. Есть две причины для такого разделения. Во-первых, непосредственно виктимный опыт может влиять на то, как воспринимаются новые преступные угрозы (Abbott, McGrath, 2017). Во-вторых, влиять может тот факт, что для жертв и не-жертв различались коммуникативные ситуации интервью. Не-жертвы отвечали на вопросы о страхе перед преступностью после краткого блока вопросов о социодемографическом статусе, тогда как жертвы сначала около 7 минут отвечали на сенситивные вопросы о своем виктимном опыте, что могло привести к смещению.

Таблица 1. Описательные статистики зависимых переменных для трех выборок (всех респондентов, жертв и не-жертв). Для категориальных переменных указано число наблюдений по категориям и процент в выборке (в скобках). Для количественных — арифметическое среднее и стандартное отклонение (в скобках).

Переменная	Распределение переменной	Все респонденты (n=13001)	Жертвы (n=2763)	Не-жертвы (n=10238)
Индекс страха перед преступностью (представлен как количественная переменная)	Среднее (станд. отклонение)	2,8 (1,74)	3,52 (1,98)	2,61 (1,61)
	Медиана [минимум, максимум]	2 [1, 10]	3 [1, 10]	2 [1, 10]
Представьте, Вы идете в одиночестве после наступления темноты в районе, где Вы живете. Насколько безопасно Вы себя чувствуете в такой ситуации?	В полной безопасности	5436 (41,8%)	824 (29,8%)	4612 (45,0%)
	В относительной безопасности	5522 (42,5%)	1305 (47,2%)	4217 (41,2%)
	Скорее небезопасно	1289 (9,9%)	402 (14,5%)	887 (8,7%)
	Совсем небезопасно	754 (5,8%)	232 (8,4%)	522 (5,1%)

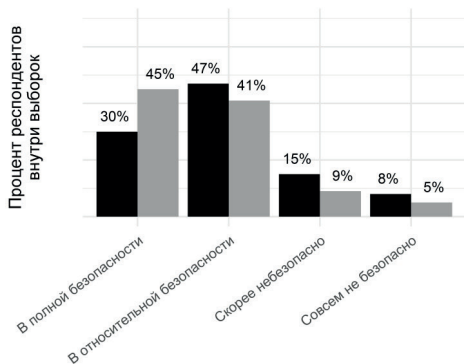
Как часто Вас беспокоит мысль о том, что Ваш дом или квартиру могут ограбить или обокрасть?	Никогда	7779 (59,8%)	1259 (45,6%)	6520 (60,9%)
	Иногда, временами	4371 (33,6%)	1142 (41,3%)	3574 (34,9%)
	Довольно часто	545 (4,2%)	218 (7,9%)	286 (2,8%)
	Постоянно или почти всегда	306 (2,4%)	144 (5,2%)	138 (1,3%)
Как часто Вас беспокоит мысль о том, что Вы можете стать жертвой нападения?	Никогда	7322 (56,3%)	1082 (39,2%)	6240 (60,9%)
	Иногда, временами	4909 (37,8%)	1335 (48,3%)	3574 (34,9%)
	Довольно часто	500 (3,8%)	214 (7,7%)	286 (2,8%)
	Постоянно или почти всегда	270 (2,1%)	132 (4,8%)	138 (1,3%)

Независимые переменные в нашем анализе можно разделить на два блока. К первому относятся различные социодемографические характеристики респондентов. Гендер — мужской или женский. В браке респондент или нет. Возраст — число полных лет начиная с 18. Проживает респондент в городе или нет. Имеет высшее образование или нет<sup>7</sup>. Также используются переменные об оценке собственного дохода респондентами как высокого, наличия опыта виктимизации за последние 5 лет, наличия работы и наличия судимости. Субъективный доход означает ответ респондента на вопрос о том, что он может себе позволить по шестибальной шкале от «Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты» до «Мы можем позволить себе практически все: машину, квартиру, дачу и многое другое». Ответы были перекодированы в бинарную переменную — принадлежит ли респондент к двум самым высоким категориям или нет.

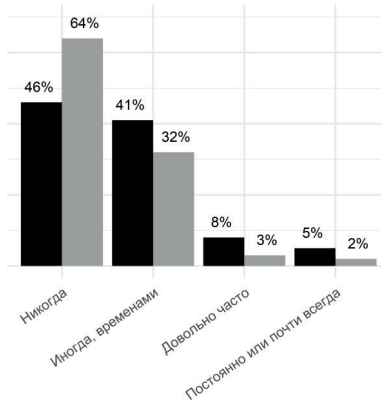
Второй блок — переменные, рассказывающие о деталях инцидентов, случившихся с респондентами подвыборки жертв. Опираясь на формальные признаки, в данных можно выделить четыре крупных типа преступлений: насильственные (нападения, разбои, грабежи), обычные имущественные (кражи, мошенничества), удаленные преступления (онлайн- и телефонные мошенничества, а также кражи денег со счетов), покушения на удаленные преступления (попытка удаленного преступления, которая была распознана респондентом, в результате чего он не понес никакого ущерба, однако считает себя жертвой преступления) (Серебренников, Титаев, 2022). Бинарные переменные о принадлежности инцидента к тому или иному типу включены в модели для подвыборки жертв. Распределения независимых переменных можно найти в таблице S1 в приложении.

7. Превращение переменных населенного пункта и образования в порядковые переменные (население, последняя ступень полученного образования) может повлечь нелинейные и сложнообъяснимые эффекты. В то же время, как известно из предыдущих публикаций (Rader, 2017), высшее образование и проживание в городе — значимые предикторы страха перед преступностью.

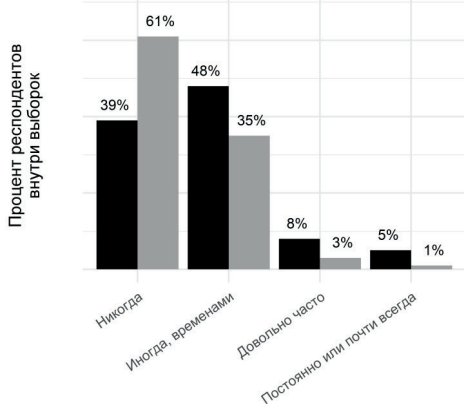
Представьте, Вы идете в одиночестве после наступления темноты в районе, где Вы живете. Насколько безопасно Вы себя чувствуете в такой ситуации?



Как часто Вас беспокоит мысль о том, что Ваш дом или квартиру могут ограбить или обокрасть?



Как часто Вас беспокоит мысль о том, что Вы можете стать жертвой нападения?



FoC-индекс

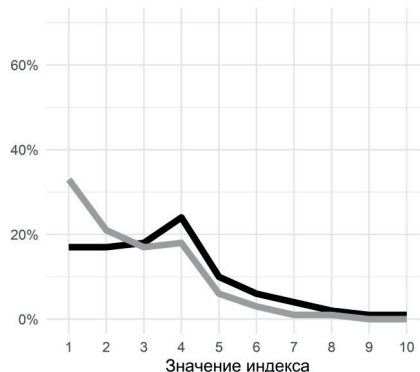


Рисунок 1. Распределение ответов на вопросы о безопасности и страхе перед преступностью. Черным отмечены значения для жертв, серым для не-жертв. (На графике не приведены доверительные интервалы в силу их малого размера, а потому неинформативности при визуализации.)

В качестве метода мы используем порядковую логистическую регрессию. Метод порядковой регрессии используется для оценки порядковых переменных (т. е. переменных, значения которых выражены в шкале) — отдельных вопросов о чувстве небезопасности, о страхе перед преступностью и объединяющего их индекса. Де-факто порядковая регрессия является расширением логистической. В ней существует не один, а несколько взаимосвязанных логарифмов шансов бинарного отклика (логитов). Если в шкале, как в случае вопросов о страхе, 4 варианта ответа, то модель будет иметь  $4-1=3$  логита, каждый из которых показывает шанс перехода зависимой переменной на следующий уровень при заданных независимых

переменных (Gelman et al., 2020). Выбор такой модели (а не, например, линейной регрессии) обусловлен ошибками, которые порождают линейные модели при анализе порядковых шкал (Liddell, Kruschke, 2018).

Несмотря на нерепрезентативность RCVS на региональном уровне, можно предположить, что в данных есть специфическая региональная вариация ответов. Например, страх перед преступностью жителей Москвы может отличаться от такового у проживающих в индустриальном городе-миллионнике. Для исключения неконтролируемых смещений в модель также были добавлены фиксированные эффекты региона проживания респондента и сделана кластеризация ошибок по этой переменной.

## Результаты

Три вопроса о восприятии преступности вызывают довольно схожие, коррелирующие ответы: большинство респондентов говорят о безопасности и отсутствии опасений (табл. 1, рис. 1). Визуально распределение ответов на вопросы о страхе перед нападением и вторжением в дом практически неотличимы друг от друга. Среднее значение для обоих вопросов о страхе примерно равно 1,5<sup>8</sup> по шкале 1–4. Переменная об уличной безопасности распределена несколько иначе, имея более пологий наклон и среднее значение 1,8 (ст. ошибки < 0,01). Среднее значение FoC-индекса — 2,8 по шкале 1–10 (ст. ошибки 0,02). Такое распределение с уклоном в сторону «безопасных» ответов вполне типично (Visser et al., 2013). К примеру, среднее для вопроса об уличной безопасности среди всех стран, когда-либо участвовавших в ESS, равно 2 (ст. ошибки < 0,01, данные всех волн ESS)<sup>9</sup>.

Можно заметить, что в сравнении с двумя вопросами о конкретных преступлениях, в ответ на вопрос об улице в темное время суток больше респондентов склонны говорить о небезопасности. Однако при рассмотрении жертв и не-жертв по отдельности картина немного иная: среди жертв опасения представлены гораздо сильнее. Среднее значение индекса — 3,52 (ст. ошибки 0,04), трех вопросов — 2, 1,7, 1,8 соответственно<sup>10</sup>. Для не-жертв, напротив, ниже значения как индекса (2,51, ст. ошибки 0,02), так и его компонентов (1,7, 1,4, 1,4<sup>11</sup>). Это дополнительно обосновывает отдельное рассмотрение респондентов с виктимным опытом и без него.

Сначала проанализируем значения коэффициентов, полученные при анализе связей FoC-индекса с независимыми переменными социально-демографического блока (табл. 2).

---

8. Среднее для вопроса о краже: 1,49 (ст. ошибки: < 0,01). Среднее для вопроса о нападении: 1,52 (ст. ошибки: < 0,01).

9. Расчеты авторов. Данные: European Social Survey Cumulative File, ESS 1-9 (2020). Data file edition 1.0. NSD — Norwegian Centre for Research Data, Norway — Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. doi:10.21338/NSD-ESS-CUMULATIVE.

10. Стандартные ошибки во всех трех случаях: 0,02.

11. Стандартные ошибки во всех трех случаях: < 0,01.



Таблица 2. Порядковые регрессии, предсказывающие значения индекса страха перед преступностью (1–10) для разных групп респондентов

	Зависимая переменная		
	Индекс страха перед преступностью		
	Вся выборка	Жертвы	Не-жертвы
	(1)	(2)	(3)
Гендер (жен.)	0,618*** (0,033)	0,461*** (0,071)	0,675*** (0,035)
В браке	0,119*** (0,030)	0,135* (0,080)	0,121*** (0,040)
Возраст	-0,005*** (0,001)	-0,007** (0,003)	-0,004** (0,002)
Живет в городе	0,309*** (0,041)	0,287*** (0,076)	0,319*** (0,044)
Высшее образование	-0,366*** (0,035)	-0,254*** (0,078)	-0,409*** (0,036)
Безработный	-0,044 (0,044)	-0,068 (0,080)	-0,042 (0,048)
Высокий субъективный доход	-0,494*** (0,030)	-0,663*** (0,072)	-0,458*** (0,035)
Судимость	-0,075 (0,072)	0,135 (0,117)	-0,198** (0,091)
Был виктимный опыт	0,851*** (0,042)		
Контроли на типы преступлений	Нет	Да	Нет
Фиксированные эффекты регионов	Да	Да	Да
Наблюдений	13001	2763	10238
AIC	44240	10725	33504
Log Likelihood	-22016	-5260	-16649

\*  $p < 0,1$  \*\*  $p < 0,05$  \*\*\*  $p < 0,01$ . В скобках приведены робастные стандартные ошибки с кластеризацией по регионам проживания респондентов.

Примечание:

При сравнении выборок респондентов мы можем наблюдать разницу в значимости и величине коэффициентов, но не в направлении связей. Ряд переменных значимы как для жертв (табл. 2, столбец 2), так и для не-жертв (табл. 2, столбец 3). Например, женский гендер в обеих выборках положительно связан с FoC-индексом и имеет одно из самых больших значений коэффициента в социально-демографическом блоке предикторов. Интересно, что эффект гендера слабее выражен у жертв.

Городские жители демонстрируют в среднем более высокий уровень обобщенного страха. То же самое касается респондентов, состоящих в браке (для жертв этот эффект имеет пограничную значимость).

С возрастом респонденты склонны меньше заявлять о страхе перед преступностью. Также снижает страх наличие высшего образования (причем эта связь более выражена у не-жертв) и высокого субъективного дохода. Эффекты наличия у респондента судимости отличаются между подвыборками: факт судимости снижает значение FoC-индекса, но только среди не-жертв. Отсутствие работы оказалось единственной незначимой переменной во всех трех регрессионных моделях. Факт становления жертвой преступления в прошлом положительно связан со страхом перед преступностью.

Теперь, с целью детализации результатов, обратимся к значениям не агрегированного индекса, а составляющих его трех компонентов с помощью построения отдельных регрессионных моделей. Остановимся на тех переменных таблицы 3, значения коэффициентов которых различаются между тремя вопросами или существенно отличаются от значений для FoC-индекса из таблицы 2.

Таблица 3. Порядковые регрессии, предсказывающие ответы на отдельные вопросы о восприятии преступности (1–4) для разных групп респондентов

	Зависимая переменная								
	Вся выборка			Жертвы			Не-жертвы		
	Уличная безопасность	Опасения кражи	Опасения нападения	Уличная безопасность	Опасения кражи	Опасения нападения	Уличная безопасность	Опасения кражи	Опасения нападения
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Гендер (жен.)	0,755*** (0,034)	0,297*** (0,039)	0,473*** (0,038)	0,689*** (0,063)	0,175* (0,090)	0,313*** (0,078)	0,789*** (0,041)	0,345*** (0,041)	0,537*** (0,038)
В браке	0,088*** (0,031)	0,231*** (0,034)	0,027 (0,036)	0,055 (0,080)	0,231*** (0,079)	0,060 (0,090)	0,103** (0,042)	0,235*** (0,044)	0,025 (0,044)
Возраст	-0,004** (0,001)	0,004** (0,002)	-0,014*** (0,002)	-0,004 (0,003)	0,003 (0,003)	-0,018*** (0,003)	-0,003* (0,002)	0,004* (0,002)	-0,012*** (0,002)
Живет в городе	0,329*** (0,047)	0,182*** (0,040)	0,281*** (0,051)	0,235** (0,098)	0,153* (0,093)	0,359*** (0,085)	0,362*** (0,048)	0,194*** (0,042)	0,263*** (0,055)
Высшее образование	-0,231*** (0,039)	-0,471*** (0,036)	-0,371*** (0,039)	-0,165** (0,081)	-0,282*** (0,080)	-0,256*** (0,092)	-0,256*** (0,043)	-0,537*** (0,042)	-0,420*** (0,038)
Безработный	-0,004 (0,042)	-0,112** (0,049)	-0,067 (0,046)	-0,048 (0,082)	-0,187** (0,085)	-0,075 (0,096)	0,004 (0,050)	-0,075 (0,057)	-0,076 (0,048)
Высокий субъективный доход	-0,474*** (0,032)	-0,410*** (0,040)	-0,434*** (0,037)	-0,608*** (0,078)	-0,604*** (0,085)	-0,485*** (0,084)	-0,444*** (0,037)	-0,355*** (0,045)	-0,436*** (0,041)
Судимость	-0,144* (0,080)	-0,209** (0,082)	0,134** (0,067)	0,074 (0,136)	0,014 (0,135)	0,253 (0,155)	-0,264** (0,104)	-0,330*** (0,100)	0,025 (0,090)
Был виктимный опыт	0,607*** (0,046)	0,767*** (0,049)	0,878*** (0,044)						

Контроли на типы преступлений	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Фиксированные эффекты регионов	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Наблюдений	13001	13001	13001	2763	2763	2763	10238	10238	10238
AIC	27851	22413	22183	6528	5920	5790	21358	16511	16393
Log Likelihood	-13827	-11108	-10993	-3167	-2863	-2798	-10582	-8159	-8099

\*  $p < 0,1$  \*\*  $p < 0,05$  \*\*\*  $p < 0,01$ .

*Примечание:* В скобках приведены робастные стандартные ошибки с кластеризацией по регионам проживания респондентов.

К таким переменным относится, к примеру, брачный статус. Значимость коэффициента, найденная для FoC-индекса, при рассмотрении трех вопросов по отдельности отсутствует для страха перед нападением. В выборке жертв значимость также пропадает в случае восприятия уличной безопасности.

Возраст респондентов при анализе индекса был значим во всех моделях, однако для отдельных вопросов он сохраняет значимость и силу связи в первую очередь в случае страха перед нападением. Для остальных вопросов возраст имеет либо пограничную значимость (у не-жертв), либо не имеет ее вовсе (у жертв).

Отсутствие работы у респондентов значимо лишь для страха перед вторжением в дом у жертв. Судимость у не-жертв значимо снижает страх перед вторжением в дом и ощущение опасности.

Теперь обратимся ко второму блоку независимых переменных, актуальных при анализе респондентов-жертв. Эти переменные отвечают за характеристики преступных инцидентов, произошедших с респондентами (табл. 4), они были добавлены в ранее рассмотренных регрессионных моделях, но для последовательности изложения не были детализированы.

*Таблица 4.* Порядковые регрессии, предсказывающие ответы на отдельные вопросы о восприятии преступности для выборки жертв преступлений

	<i>Зависимая переменная</i>			
	FoC-индекс	Уличная безопасность	Опасения кражи	Опасения нападения
	(1)	(2)	(3)	(4)
Насильственное преступление	0,595*** (0,136)	0,538*** (0,164)	0,339** (0,155)	0,703*** (0,166)
Имущественное преступление	0,280** (0,113)	-0,001 (0,132)	0,562*** (0,123)	0,193 (0,139)
Удаленное преступление	-0,149 (0,121)	-0,167 (0,136)	0,108 (0,130)	-0,224 (0,140)
Покушение на удаленное преступление	-0,032 (0,115)	-0,087 (0,141)	0,193 (0,139)	-0,130 (0,143)

Все контроли из таблицы 3	Да	Да	Да	Да
Фиксированные эффекты регионов	Да	Да	Да	Да
Наблюдений	2763	2763	2763	2763
AIC	10725	6528	5920	5790
Log Likelihood	-5260	-3167	-2863	-2798

*Примечание:* \*  $p < 0,1$  \*\*  $p < 0,05$  \*\*\*  $p < 0,01$ . В скобках приведены робастные стандартные ошибки с кластеризацией по регионам проживания респондентов.

Насильственные преступления ожидаемо связаны с высокими показателями страха перед преступностью у их жертв. Переменная значима как для индекса, так и для каждого из отдельных вопросов. Классические имущественные преступления тоже оказывают эффект, но имеют более чем в два раза меньший коэффициент. Удаленные преступления и покушения на них незначимы.

Несмотря на то что факт насилия в среднем повышает значение всех зависимых переменных, наибольший коэффициент наблюдается для страха перед нападением, то есть для того же типа виктимизации, о котором задается вопрос. Тогда как для страха перед кражей из дома коэффициент значим, но имеет меньшую силу. При этом факт произошедшего с жертвой имущественного преступления значимо связан именно с опасениями кражи из дома и не демонстрирует связей с вопросами о насилии и об уличной безопасности. Факты удаленных преступлений и покушений на них незначимы, из чего можно предположить наличие разной специфики восприятия респондентами офлайн- и онлайн-преступлений.

## Обсуждение результатов

Паттерны страха перед преступностью, которые мы видим в России благодаря данным RCVS, кардинально не отличаются от того, что можно увидеть в западной литературе. Взаимосвязи, которые стабильно присутствуют на материале Европы и США, есть и в России. Это говорит в первую очередь о том, что страх перед преступностью в России не является исключительным случаем. Предикторы страха перед преступностью, согласно литературе, являющиеся типичными (Rader, 2017), демонстрируют положительные связи и на наших данных. Это в первую очередь касается женского гендера и проживания в городской среде. Стабильные отрицательные связи со страхом показывают наличие высшего образования и принадлежность к высокодоходной группе населения.

Говоря о специфических для России результатах, обратим внимание на интересное наблюдение об эффектах типа населенного пункта на уровень страха перед преступностью. Среди жителей России распространено мнение, что села безопас-

нее городов<sup>12</sup>. При этом реальный риск тяжкого насилия, напротив, выше в сельской местности, чем в городах (Титаев, 2019: 9), что указывает на присутствие стереотипа. Дополняя находку об этом расхождении, мы показываем, что восприятие сельской местности как более безопасной свойственно не просто жителям России в среднем. Такое восприятие, во-первых, свойственно людям, проживающим непосредственно в сельской местности. И, во-вторых, жители сел действительно заявляют, что чувствуют себя в большей безопасности, чем горожане, при ответах на прямые вопросы на тему безопасности — вопросы, формулировки которых никак не противопоставляют друг другу типы населенных пунктов, в отличие от формулировок из предшествующих опросов. Эта находка говорит об известном парадоксе: группы, де-факто менее подверженные преступности, склонны чаще ее опасаться, и наоборот (Rountree, 1998). Хотя обычно в связи с этим говорят о гендере и возрасте, мы наблюдаем, что это верно не только для таких социодемографических показателей, но и для территориального.

В целом ответы респондентов на разные вопросы о восприятии преступности довольно схожи между собой. Это позволяет сконструировать совокупный индекс из соответствующих переменных — путь, которым идут многие предыдущие исследования и который проверили и мы. Однако наши ключевые результаты получены с помощью отдельных регрессий для каждого из вопросов о восприятии преступности, заданных респондентам. Опыт виктимизации может быть самым разным, что зависит как от обстоятельств самого инцидента, так и от социального статуса и соответствующих ему уязвимостей жертвы. В связи с этим есть все основания полагать, что разные опыты виктимизации по-разному влияют на дальнейшее восприятие преступности людьми (Rountree, 1998). Тогда и измерять страх логично по отношению к разным типам преступлений по отдельности.

Кроме того, использование индекса сопряжено с ограничением информации о малых, непривилегированных и маргинальных социальных группах, тогда как внимание именно к этим группам важно при изучении преступности, т.к. они наиболее для нее уязвимы. В особенности это касается ключевого вопроса о взаимосвязи между виктимным опытом и страхом перед преступностью. К тому же часто уязвимые слои населения социально замкнуты и аккумулируют преступность внутри себя (Серебренников, Титаев, 2022: 13; Титаев, 2019).

Взгляд на отдельные зависимые переменные позволяет уделить внимание эффектам различных криминологических и социодемографических характеристик на страх перед разными типами преступности. Так, факт отсутствия работы у жертв значимо повышает уровень страха перед вторжением в дом. Это может быть вызвано тем, что риск потери имущества при отсутствии работы сильно осложняет возможности для возвращения на прежний материальный уровень. Не имеющие стабильного дохода люди опасаются еще большего ухудшения собственного положения, чреватого дальнейшей маргинализацией (Pantazis, 2000).

---

12. Так считают 60% жителей сел и 83% горожан. См.: Жизнь городская и сельская. 2014. ФОМ. <https://fom.ru/Gorodskie-proekty/11434> (дата обращения: 07.06.2022).

Любопытно, что судимость значимо снижает страх перед кражей и общее ощущение опасности, но только в случае не-жертв. Возможно, контакт с уголовной системой приводит к тому, что при телефонном разговоре с интервьюером респонденты стремятся отвечать в социально-приемлемых категориях. Отметим, что данное замечание актуально и для других переменных. Не исключено, что проблема социально-одобряемых ответов присутствует в случае гендера, т.к. мужчинам в российском обществе структурно предписывается демонстрировать силу и отсутствие страха.

Состоящие в браке респонденты чаще склонны заявлять об опасениях о преступности согласно моделям для FoC-индекса. Однако при анализе каждого из вопросов по отдельности видно, что переменная брачного статуса не имеет значимой связи со страхом перед нападением ни в одной из моделей. Таким образом, за эффект брачного статуса на FoC-индекс ответственны вопросы об уличной безопасности и о страхе вторжения в дом. Они значимы для полной выборки и для обеих подвыборок (за исключением эффекта для уличной безопасности в подвыборке жертв). Это важное наблюдение позволяет предположить, что положительная связь брачного статуса со страхом перед преступностью опосредована страхом респондентов не за себя, а за значимых других — жену или мужа, детей, других членов семьи (Snedker, 2006). Особенно это касается вопроса о страхе вторжения в дом, где ясно, что пострадать могут члены семьи респондентов. Вопрос об уличной безопасности также оставляет пространство для интерпретации, поскольку этим же уличным пространством пользуются члены семьи, а вот вопрос о страхе перед нападением сформулирован как предельно личный. Именно этот вопрос в наибольшей степени из трех вопросов отсылает к телесной безопасности респондентов. Брачный статус — это одна из немногих переменных, у которой нет значимой связи со страхом перед нападением.

Виктимный опыт положительно связан со страхом перед преступностью. Это один из самых частых предикторов страха перед преступностью, поэтому такие результаты не удивительны. При этом у жертв эффект виктимизации зависит от тяжести инцидентов, произошедших с ними. Более серьезный виктимный опыт усиливает их опасения, ярче выраженные в случае насильственных преступлений в сравнении с имущественными. Следовательно, чем серьезнее опыт виктимизации, тем выше страх перед преступностью, т.к. насильственные преступления по определению более тяжкие. Это согласуется с предыдущими исследованиями (Abbott, McGrath, 2017), однако стоит упомянуть, что существуют примеры как отрицательной связи, так и ее отсутствия (Rader, 2017).

Более того, есть основания предполагать, что жертвы склонны опасаться тех же широко понятых типов преступлений, которым подверглись в прошлом. Другими словами, есть не только количественная связь тяжести виктимизации и последующего страха, но и качественное сходство между характеристиками виктимизации и страхом перед различными преступлениями. По крайней мере, в случае с имущественной преступностью эта связь наблюдается явно. Также можно сказать, что



жертвы насилия будут в дальнейшем с большей вероятностью опасаться имущественных преступлений, чем жертвы имущественных преступлений в дальнейшем будут опасаться насилия. Для последних актуальным оказался только вопрос о страхе перед кражей из дома, тогда как с остальными вопросами опыт имущественной виктимизации значимо не связан.

Факт того, что инцидент был дистанционным, значимо не связан со страхом перед преступностью. Предполагаем, что причина этого в разном способе переживания опыта онлайн- и офлайн-преступлений респондентами. Последние могут оставаться неочевидными случаями в контексте личной безопасности и не восприниматься как классическая преступность, с которой можно столкнуться на улице.

В результате в контексте общего снижения насильственной преступности как в России, так и в большинстве стран мира (van Dijk et al., 2022), и при этом внезапном росте удаленных преступлений (Серебренников, Титаев, 2022), мы получаем определенный парадокс. Несмотря на «великое падение преступности», преступных инцидентов формально становится больше — к этому ведет как заметный в последние годы рост удаленных преступлений, так и рост преступлений «без жертв» в общем числе зарегистрированных случаев. Однако (при условии экстраполяции найденных нами связей в будущем) страх перед преступностью может снижаться, а субъективное ощущение безопасности расти, и этот тренд уже частично проявлен (Веркеев, 2021). Отчасти это можно объяснить тем, что удаленная преступность менее заметна невооруженным глазом, и реже становится объектом средств массовой информации: скорее всего, история об убийстве привлечет гораздо больше внимания, чем о краже даже крупной суммы с чьего-то банковского счета, и точно больше внимания, чем мелкое телефонное мошенничество.

Это может иметь далеко идущие последствия в отношениях между индивидом и правоприменительными органами. С учетом снижения числа насильственных преступлений и роста преступлений «без жертв», влекущих за собой снижение страха, логично предположить, что люди будут контактировать с полицией реже, и их повседневное восприятие правоохранительной функции государства в связи с этим также претерпит изменения. Таким образом, перемены в паттернах восприятия преступности могут косвенно указывать на долгосрочные метаморфозы в отношениях общества и государства.

В контексте современной дискуссии о восприятии преступности наши результаты показывают, что связь между опытом виктимизации и последующим страхом перед преступностью в разы сложнее, чем простая положительная зависимость. На данный момент исследовательская литература движется именно в эту сторону, стремясь преодолеть доминировавшие ранее упрощенные подходы к анализу виктимизации и страха (Lee et al., 2020). Мы не только впервые рассмотрели влияние разных типов виктимизации на общероссийском материале, но и учли множественность проявлений страха перед преступностью, не полагаясь полностью на совокупный индекс, а рассмотрев страх перед разными типами угроз по отдель-

ности, что дополняет статьи, в которых применена такая стратегия (Yuan, McNeeley, 2017; Lee et al., 2020; Scherg, Ejrnaes, 2022).

Среди наших находок стоит отметить, во-первых, что восприятие преступности жителями России не является уникальным случаем в сравнении с западными странами. Все основные социоэкономические факторы страха перед преступностью ведут себя похожим образом, как в предшествующих зарубежных исследованиях. При этом мы подчеркнули наличие стереотипа о большей безопасности сельской местности в сравнении с городами у самих жителей российских сел. Во-вторых, мы показали, что жертвы преступлений чаще опасаются преступности, чем не-жертвы, что также ожидаемо исходя из имеющейся дискуссии. Однако, в-третьих, мы зафиксировали различия в эффектах между разными вопросами о восприятии преступности и показали, что респонденты опасаются «классических» и удаленных преступлений по-разному. Это значит, что жертвы разных преступлений по-разному воспринимают потенциальную виктимизацию в будущем. Особенно хорошо это видно на примере имущественной преступности — пострадавшие от нее склонны опасаться именно этого типа преступности в дальнейшем. Резкий рост удаленных преступлений при учете того, что они, по нашим данным, не имеют эффекта на страх перед преступностью, ставит более масштабные вопросы о дальнейшей динамике субъективной безопасности и спроса на работу правоохранительных органов.

## Литература

- Веркеев А. М. (2021). Неравенство в восприятии (у)личной безопасности в России // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 24. № 2. С. 169–192.
- Веркеев А. М., Волков В. В., Дмитриева А. В., Кнорре А. В., Кудрявцев В. Е., Кузнецова Д. А., Кучаков Р. К., Титаев К. Д., Ходжаева Е. А. (2019). Как изучать жертв преступлений? // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. № 2. С. 4–31.
- Козырева П. М., Смирнов А. И. (2019). (Без)опасный квартал: как оценивается уровень уличной преступности // Россия реформирующаяся: Ежегодник: Вып. 17 / М. К. Горшков (отв. ред.). М.: Новый Хронограф. С. 454–477.
- Налла М. К., Гуринская А. Л. (2018). Страх перед преступностью и стратегии профилактики преступлений: Значение опыта предшествующей виктимизации, взаимодействия с полицией и доверия к ней // Юридический вестник Кубанского государственного университета. № 2. С. 21–28.
- Серебренников Д., Титаев К. (2022). Динамика преступности и виктимизации в России 2018–2021 гг. Результаты второго виктимизационного опроса: Аналитический обзор. СПб.: Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге.
- Титаев К. Д. (2019). Насильственная преступность в России: Жертвы и преступления. СПб.: Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге.

- Тыканова Е. В., Тенишева К. А. (2021). Восприятие беспорядка и социальный контроль в новых жилых массивах: Опыт социологического исследования // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 4. С. 232–257.
- Чернышева Л. А. (2019). Российское гетто: Воображаемая маргинальность новых жилых районов // Городские исследования и практики. Т. 4. № 2. С. 37–58.
- Abbott J., McGrath S. A. (2017). The Effect of Victimization Severity on Perceived Risk of Victimization: Analyses Using an International Sample // Victims & Offenders. Vol. 12. № 4. P. 587–609.
- Abbott J., McGrath S. A., May D. C. (2020). The Effects of Police Effort on Victims' Fear of Crime // American Journal of Criminal Justice. Vol. 45. № 5. P. 880–898.
- Barni D., Vieno A., Roccato M., Russo S. (2016). Basic Personal Values, the Country's Crime Rate and the Fear of Crime // Social Indicators Research. Vol. 129. № 3. P. 1057–1074.
- Baumer T., DuBow F. (1977). Fear of crime in the polls: What they do and do not tell us. Northwestern University.
- Beck A., Robertson A. (2003). Crime in Russia: Exploring the Link between Victimization and Concern about Crime // Crime Prevention and Community Safety. Vol. 5. № 1. P. 27–46.
- Camacho Doyle M., Gerell M., Andershed H. (2022). Perceived Unsafety and Fear of Crime: The Role of Violent and Property Crime, Neighborhood Characteristics, and Prior Perceived Unsafety and Fear of Crime // Deviant Behavior. Vol. 43. № 11. P. 1347–1365.
- Collins R. E. (2016). Addressing the inconsistencies in fear of crime research: A meta-analytic review // Journal of Criminal Justice. № 47. P. 21–31.
- Ditton J., Duffy J. (1983). Bias in the Newspaper Reporting of Crime News // The British Journal of Criminology. Vol. 23. № 2. P. 159–165.
- Ferraro K. F., LaGrange R. (1987). The Measurement of Fear of Crime // Sociological Inquiry. Vol. 57. № 1. P. 70–97.
- Gelman A., Hill J., Vehtari A. (2020). Regression and Other Stories. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gurinskaya A. (2020). Predicting citizens' support for surveillance cameras. Does police legitimacy matter? // International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice. Vol. 44. № 1–2. P. 63–83.
- Hollway W., Jefferson T. (2012). Doing Qualitative Research Differently: A Psychosocial Approach. London: SAGE.
- Hummelsheim D., Hirtenlehner H., Jackson J., Oberwittler D. (2011). Social Insecurities and Fear of Crime: A Cross-National Study on the Impact of Welfare State Policies on Crime-related Anxieties // European Sociological Review. Vol. 27. № 3. P. 327–345.
- Knorre A. (2022). Russian Crime Victimization Survey 2021. Data set. Harvard Dataverse.
- Konyakhin V., Petrovskiy A. (2016). Crime and crime prevention at Krasnodar Krai tourist resorts in Russia: A study of crime, fear of crime and crime prevention // Revija Za Kriminalistiko in Kriminologijo. Vol. 67. № 4. P. 339–347.

- Krulichová E.* (2019). The relationship between fear of crime and risk perception across Europe // *Criminology & Criminal Justice*. Vol. 19. № 2. P. 197–214.
- Kujala P., Kallio J., Niemelä M.* (2019). Income Inequality, Poverty, and Fear of Crime in Europe // *Cross-Cultural Research*. Vol. 53. № 2. P. 163–185.
- Kury H., Ferdinand T.* (1998). The Victim's Experience and Fear of Crime. *International Review of Victimology*. Vol. 5. № 2. P. 93–140.
- Lee H. D., Reyns B. W., Kim D., Maher C.* (2020). Fear of Crime Out West: Determinants of Fear of Property and Violent Crime in Five States // *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. Vol. 64. № 12. P. 1299–1316.
- Lewis D. A., Salem G.* (1986). *Fear of Crime: Incivility and the Production of a Social Problem*. New Brunswick: Transaction Books.
- Liddell T. M., Kruschke J. K.* (2018). Analyzing ordinal data with metric models: What could possibly go wrong? // *Journal of Experimental Social Psychology*. № 79. P. 328–348.
- Nalla M. K., Gurinskaya A.* (2022). Police legitimacy or risk-avoidance: What makes people feel safe? // *Journal of Crime and Justice*. Vol. 45. № 1. P. 1–20.
- Nemirovskiy V. G., Nemirovskaya A. V.* (2015). The Origins and Subjects of Fear for Siberians: Sociological Research in the Regions of Eastern and Western Siberia // *Sibirica*. Vol. 14. № 2. P. 66–94.
- Pantazis C.* (2000). 'Fear of Crime', Vulnerability and Poverty // *British Journal of Criminology*. Vol. 40. № 3. P. 414–436.
- Rader N. E.* (2017). *Fear of Crime*. Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. Oxford University Press.
- Rountree P. W.* (1998). A Reexamination of the Crime-Fear Linkage // *Journal of Research in Crime and Delinquency*. Vol. 35. № 3. P. 341–372.
- Scherg R. H., Ejrnæs A.* (2022). Heterogeneous Impact of Victimization on Sense of Safety: The Influence of Past Victimization // *Victims & Offenders*. Vol. 17. № 3. P. 395–420.
- Snedker K. A.* (2006). Altruistic and Vicarious Fear of Crime: Fear for Others and Gendered Social Roles // *Sociological Forum*. Vol. 21. № 2. P. 163–195.
- Uslaner E. M.* (2013). Trust as an alternative to risk // *Public Choice*. Vol. 157. № 3. P. 629–639.
- van Dijk J., Nieuwbeerta P., Joudo Larsen J.* (2022). Global Crime Patterns: An Analysis of Survey Data from 166 Countries Around the World, 2006–2019 // *Journal of Quantitative Criminology*. Vol. 38. № 4. P. 793–827.
- Vauclair C.-M., Bratanova B.* (2017). Income inequality and fear of crime across the European region // *European Journal of Criminology*. Vol. 14. № 2. P. 221–241.
- Visser M., Scholte M., Scheepers P.* (2013). Fear of Crime and Feelings of Unsafety in European Countries: Macro and Micro Explanations in Cross-National Perspective // *The Sociological Quarterly*. Vol. 54. № 2. P. 278–301.
- Yuan Y., McNeeley S.* (2017). Social Ties, Collective Efficacy, and Crime-Specific Fear in Seattle Neighborhoods // *Victims & Offenders*. Vol. 12. № 1. P. 90–112.

## Victims of their own fear: the perceived safety and crime victim experience in Russia<sup>13</sup>

*Arseny Verkeev*

M.A. in Sociology, Research Assistant, HSE University, Research Intern, Center for Russia, East Europe, and Central Asia at the University of Wisconsin–Madison.

Address: 55, Sedova St., St. Petersburg, 192148. E-mail: averkeev@ya.ru.

*Dmitriy Serebrennikov*

M.A. in Sociology, Researcher, Institute for the Rule of Law at the European University at St. Petersburg.

Address: 6/1A Gagarinskaya St., St. Petersburg, 191187. E-mail: serebrennikov.dmtr@eu.spb.ru.

In recent decades, criminologists around the world have observed a decrease in the level of crime, especially violent crime, that is, the so-called “great crime drop”. However, the actual safety may not correspond to subjective safety, i.e., how people perceive their safety against various threats. In this article, we use the *Russian Crime Victimization Survey* (2021) conducted by the Institute for the Rule of Law at the European University at St. Petersburg to study the relationships between fear of crime, and the sociodemographic and the criminological characteristics of the respondents. These data make it possible to assess how the experience of victims of various crimes and their fear of different types of crimes are related. We find that the relationships between socio-demographic characteristics and fear of crime in Russia are broadly similar to those observed in other countries. At the same time, we identify a number of noteworthy features regarding crime victims. First, the victim experience increases the level of fear of crime on average. Second, the more serious the crime incidents people have experienced in the past, the higher their level of fear of crime. Third, victims of classic in-person crimes (such as theft or assault) often fear future crime. Moreover, in case of property crime, they tend to fear future property crime but not violence. At the same time, victims of violence can fear future property crime along with violence. The fact that the incident was remote (committed via the Internet or telephone) is not related to the fear of crime. Thus, the fear of “classic” crimes is experienced differently by the victims as compared to remote crimes which poses broader questions about the dynamics of perceived safety and the demand for the law enforcement involvement in the future.

Keywords: fear of crime, victimization, victim experience, perceived safety, street safety, crime in Russia, crime victims

### References

- Abbott J., McGrath S. A. (2017) The Effect of Victimization Severity on Perceived Risk of Victimization: Analyses Using an International Sample. *Victims & Offenders*, vol. 12, no 4, pp. 587–609.
- Abbott J., McGrath S. A., May D. C. (2020) The Effects of Police Effort on Victims' Fear of Crime. *American Journal of Criminal Justice*, vol. 45, no 5, pp. 880–898.
- Barni D., Vieno A., Roccato M., Russo S. (2016) Basic Personal Values, the Country's Crime Rate and the Fear of Crime. *Social Indicators Research*, vol. 129, no 3, pp. 1057–1074.
- Baumer T., DuBow F. (1977) *Fear of crime in the polls: What they do and do not tell us*, Northwestern University.

<sup>13</sup>The authors are thankful to the participants of the following events for their comments on the earlier versions of this paper; *Fear around the corner: perceptions of safety in and out of the city* panel of the *Anxious society and (im)opportunities for solidarity* conference (April 2022), *Wisconsin Russia Project 2022 Young Scholars Conference* (June 2022), *Global Meeting on Law and Society* (July 2022), *Summer school of the Institute for the Rule of Law* (July 2022). We also thank editorial team and reviewers of the Russian Sociological Review. The reported study was funded by RFBR, Project number 20-311-90063.

- Beck A., Robertson A. (2003) Crime in Russia: Exploring the Link between Victimisation and Concern about Crime. *Crime Prevention and Community Safety*, vol. 5, no 1, pp. 27–46.
- Camacho Doyle M., Gerell M., Andershed H. (2022) Perceived Unsafety and Fear of Crime: The Role of Violent and Property Crime, Neighborhood Characteristics, and Prior Perceived Unsafety and Fear of Crime. *Deviant Behavior*, vol. 43, no 11, pp. 1347–1365.
- Chernysheva L. A. (2019) Rossijskoe getto: Voobrazhaemaja marginal'nost' novyh zhilyh rajonov [Russian ghetto: the imaginary marginality of new housing estates]. *Gorodskie Issledovanija I Praktiki*, vol. 4, no 2, pp. 37–58.
- Collins R. E. (2016) Addressing the inconsistencies in fear of crime research: A meta-analytic review. *Journal of Criminal Justice*, no 47, pp. 21–31.
- Ditton J., Duffy J. (1983) Bias in the Newspaper Reporting of Crime News. *The British Journal of Criminology*, vol. 23, no 2, pp. 159–165.
- Ferraro K. F., LaGrange R. (1987) The Measurement of Fear of Crime. *Sociological Inquiry*, vol. 57, no 1, pp. 70–97.
- Gelman A., Hill J., Vehtari A. (2020) *Regression and Other Stories*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Gurinskaya A. (2020) Predicting citizens' support for surveillance cameras. Does police legitimacy matter? *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, vol. 44, no 1–2), pp. 63–83.
- Hollway W., Jefferson T. (2012) *Doing Qualitative Research Differently: A Psychosocial Approach*, London: SAGE.
- Hummelsheim D., Hirtenlehner H., Jackson J., Oberwittler D. (2011) Social Insecurities and Fear of Crime: A Cross-National Study on the Impact of Welfare State Policies on Crime-related Anxieties. *European Sociological Review*, vol. 27, no 3, pp. 327–345.
- Knorre A. (2022) *Russian Crime Victimization Survey 2021*. Data set. Harvard Dataverse. Available at: <https://doi.org/10.7910/DVN/SGRQTI> (accessed 1 December 2022).
- Konyakhin V., Petrovskiy A. (2016) Crime and crime prevention at Krasnodar Krai tourist resorts in Russia: A study of crime, fear of crime and crime prevention. *Revija Za Kriminalistiko in Kriminologijo*, vol. 67, no 4, pp. 339–347.
- Kozyreva P. M., Smirnov A. I. (2019) (Bez)opasnyj kvartal: kak ocenivaetsja uroven' ulichnoj prestupnosti [(Un)safe block: how street crime level is estimated]. *Rossija reformirujushhajasja: Ezhegodnik: Vyp. 17. otv. Red. M. K. Gorshkov*, Moscow: Novyj Hronograf, pp. 454–477.
- Krulichová E. (2019) The relationship between fear of crime and risk perception across Europe. *Criminology & Criminal Justice*, vol. 19, no 2, pp. 197–214.
- Kujala P., Kallio J., Niemelä M. (2019) Income Inequality, Poverty, and Fear of Crime in Europe. *Cross-Cultural Research*, vol. 53, no 2, pp. 163–185.
- Kury H., Ferdinand T. (1998) The Victim's Experience and Fear of Crime. *International Review of Victimology*, vol. 5, no 2, pp. 93–140.
- Lee H. D., Reyns B. W., Kim D., Maher C. (2020) Fear of Crime Out West: Determinants of Fear of Property and Violent Crime in Five States. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, vol. 64, no 12, pp. 1299–1316.
- Lewis D. A., Salem G. (1986) *Fear of Crime: Incivility and the Production of a Social Problem*, New Brunswick: Transaction Books.
- Liddell T. M., Kruschke J. K. (2018) Analyzing ordinal data with metric models: What could possibly go wrong? *Journal of Experimental Social Psychology*, no 79, pp. 328–348.
- Nalla M. K., Gurinskaja A. L. (2018) Strah pered prestupnost'ju i strategii profilaktiki prestuplenij: Znachenie opyta predshestvujushhej viktimizacii, vzaimodejstvija s policiej i doverija k nej [Fear of crime and strategies crime prevention: the role of past victimization, interactions with police and trust toward police]. *Juridicheskij vestnik Kubanskogo gosudarstvennogo universiteta*, no 2, pp. 21–28.
- Nalla M. K., Gurinskaya A. (2022) Police legitimacy or risk-avoidance: What makes people feel safe? *Journal of Crime and Justice*, vol. 45, no 1, pp. 1–20.
- Nemirovskiy V. G., Nemirovskaya A. V. (2015) The Origins and Subjects of Fear for Siberians: Sociological Research in the Regions of Eastern and Western Siberia. *Sibirica*, vol. 14, no 2, pp. 66–94.



- Pantazis C. (2000) 'Fear of Crime', Vulnerability and Poverty. *British Journal of Criminology*, vol. 40, no 3, pp. 414–436.
- Rader N. E. (2017) Fear of Crime. *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Oxford University Press. Available at: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.10> (accessed 1 December 2022).
- Rountree P.W. (1998) A Reexamination of the Crime-Fear Linkage. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, vol. 35, no 3, pp. 341–372.
- Scherg R. H., Ejrnaes A. (2022) Heterogeneous Impact of Victimization on Sense of Safety: The Influence of Past Victimization. *Victims & Offenders*, vol. 17, no 3, pp. 395–420.
- Serebrennikov D., Titaev K. (2022) *Dinamika prestupnosti i viktimizacii v Rossii 2018–2021 gg. Rezul'taty vtorogo viktimizacionnogo oprosa: Analiticheskij obzor* [Dynamics of crime and victimization in Russia, 2018–2021: results of the second victimization survey], Sankt-Peterburg: Institut problem pravoprimerenija pri Evropejskom universitete v Sankt-Peterburge.
- Snedker K. A. (2006) Altruistic and Vicarious Fear of Crime: Fear for Others and Gendered Social Roles. *Sociological Forum*, vol. 21, no 2, pp. 163–195.
- Titaev K. D. (2019) *Nasil'stvennaja prestupnost' v Rossii: Zhertvy i prestuplenija* [Violent crime in Russia: victims and crimes], Sankt-Peterburg: Institut problem pravoprimerenija pri Evropejskom universitete v Sankt-Peterburge.
- Tykanova E. V., Tenisheva K. A. (2021) Vospriyatie besporjadka i social'nyj kontrol' v novyh zhilyh massivah: Opyt sociologicheskogo issledovanija [Perception of Disorder and Social Control in the New Condominiums: Results of a Sociological Study]. *Monitoring obshhestvennogo mnenija: jekonomicheskie i social'nye peremeny*, no 4, pp. 232–257.
- Uslaner E. M. (2013) Trust as an alternative to risk. *Public Choice*, vol. 157, no 3, pp. 629–639.
- van Dijk J., Nieuwbeerta P., Joudo Larsen J. (2022) Global Crime Patterns: An Analysis of Survey Data from 166 Countries Around the World, 2006–2019. *Journal of Quantitative Criminology*, vol. 38, no 4, pp. 793–827.
- Vauclair C.-M., Bratanova B. (2017) Income inequality and fear of crime across the European region. *European Journal of Criminology*, vol. 14, no 2, pp. 221–241.
- Verkeev A. M. (2021) Neravenstvo v vospriyatii (u)lichnoj bezopasnosti v Rossii [Inequality in Perceptions of Street Safety in Russia]. *Zhurnal Sociologii i Social'noj Antropologii*, vol. 24, no 2, pp. 169–192.
- Verkeev A. M., Volkov V. V., Dmitrieva A. V., Knorre A. V., Kudrjavcev V. E., Kuznecova D. A., Kuchakov R. K., Titaev K. D., Hodzhaeva E. A. (2019) Kak izuchat' zhertv prestuplenij? [How to study victims of crime?] *Monitoring obshhestvennogo mnenija: Jekonomicheskie i social'nye peremeny*, no 2, pp. 4–31.
- Visser M., Scholte M., Scheepers P. (2013) Fear of Crime and Feelings of Unsafety in European Countries: Macro and Micro Explanations in Cross-National Perspective. *The Sociological Quarterly*, vol. 54, no 2, pp. 278–301.
- Yuan Y., McNeeley S. (2017) Social Ties, Collective Efficacy, and Crime-Specific Fear in Seattle Neighborhoods. *Victims & Offenders*, vol. 12, no 1, pp. 90–112.

## Приложение

Таблица S1. Описательные статистики для трех выборок (всех респондентов, жертв и не-жертв). Для категориальных переменных указано число наблюдений по категориям и процент в выборке (в скобках). Для количественных — арифметическое среднее и стандартное отклонение (в скобках).

Переменная	Распределение переменной	Все респонденты (n=13514)	Жертвы (n=2736)	Не-жертвы (n=10675)
Гендер	Мужской	6235 (48%)	1350 (48.9%)	4885 (47.7%)
	Женский	66766 (52%)	1413 (51.1%)	5353 (52.3%)
В браке	Нет	5051 (38.9%)	1125 (40.7%)	3926 (38.3%)
	Да	7950 (61.1%)	1638 (59.3%)	6312 (61.7%)
Возраст	Среднее (станд. отклонение)	43.6 (15.1)	41.8 (14.4)	44.0 (15.2)
	Медиана [минимум, максимум]	41 [18, 105]	39 [18, 88]	41 [18, 105]
Живет в городе	Нет	7370 (56.7%)	1447 (52.4%)	5923 (57.9%)
	Да	5631 (43.3%)	1316 (47.6%)	4315 (42.1%)
Высшее образование	Нет	5846 (45%)	1396 (50.5%)	4450 (43.5%)
	Да	7155 (55%)	1367 (49.5%)	5788 (56.5%)
Безработный	Нет	8660 (66.6%)	1918 (69.4%)	6742 (65.9%)
	Да	4341 (33.4%)	845 (30.6%)	3496 (34.1%)
Высокий субъективный доход	Нет	8983 (69.1%)	1945 (70.4%)	7038 (68.7%)
	Да	4018 (30.9%)	818 (30.6%)	3200 (31.3%)
Судимость	Нет	12011 (92.4%)	2498 (90.4%)	9513 (92.9%)
	Да	990 (7.6%)	265 (9.6%)	725 (7.1%)
Был виктимный опыт	Нет	10238 (79%)		
	Да	2763 (21%)		
Насильственное преступление	Нет		2411 (87.3%)	
	Да		352 (12.7%)	
Имущественное преступление	Нет		2047 (74.1%)	
	Да		716 (25.9%)	
Удаленное преступление	Нет		1970 (71.3%)	
	Да		793 (28.7%)	
Покушение на удаленное преступление	Нет		2175 (78.7%)	
	Да		588 (21.3%)	

# Fear of crime: The concept's evolution from 2001 to 2021

*Jesús-Alberto Valero-Matas*

PhD, Professor of Sociology the Department of Sociology and Social Work at the Faculty of Education, University of Valladolid, Campus of Palencia (Spain). Currently Visiting Scholar at Baylor University.  
Address: La Yutera Campus, Avenida de Madrid, 50, 34004 Palencia, Spain.  
E-mail: javalero@uva.es

*Carlos Andrés Muñoz Sandoval*

Master in Social Research Methodology, Universidad Tres de Febrero de Buenos Aires (Argentina). Professor at the University of Santo Tomás (Colombia). Address: Carrera 9 No. 51 — 11 PBX, Bucaramanga, Santander, Colombia  
E-mail: carlosandresmunoz@gmail.com

The article aims at the general description of the academic research that examines the fear of crime concept after September 11, 2001, when new areas of research became a part of security studies, substantially changing the very understanding of fear of crime. Thus, there was a change in the academic models for examining the social perception of crime. At first, there were some fruitful years for the sociological analysis of the fear of crime concept. Today, sociological studies of fear of crime continue, but this concept became even more important for criminological studies. Therefore, we analyzed the fear of crime category in the articles published in peer-reviewed academic journals in the criminological and sociological perspectives (Sage, Jstor, EbscoHost, and others). The findings explain the evolution of the fear of crime concept in the research from 2001 to 2021. For Latin America, the concept of fear is quite recent, which is very different from other regions of the world. Moreover, the interpretation of fear in Latin America is very different from both Europe and the United States. Although Latin America and the United States have much in common, the article presents the unique features of the Latin-American approach to this phenomenon.

Keywords: fear, crime, fear of crime, victimization, sociology, criminology, risk, security

Since the 9/11 attacks in New York and Washington, the concept of insecurity has spread over the world through the mass media, becoming an important part of contemporary societies. Now, feeling unsafe is a part of everyday conversation and news agenda in many countries, even in those with a low crime rate. Moreover, the fear of crime became a common word for common citizens in the United States. The emphasis on the threat of violent attacks made public safety a public priority (Haner et al., 2019: 1), and national policy could not fail to respond in all states, including western countries such as the United Kingdom, Italy, Spain, Germany, and many others.

Thus, there is a new phenomenon: historically, before the attacks, most people's fears were associated with natural catastrophes or wars (Smith, Zeigler, 2017). Now, the new fear is a part of everyday life (Enders, Sandler, 2005) due to the 9/11 attacks that were covered by many social and mass media in all languages. These attacks are considered one of the most important moments in the millennium, and determined a new type of analysis and theories related to the fear of crime in the multidisciplinary perspective (Young, Findley, 2011; Diez, 2021).

After the events such as Chernobyl in 1986 or Fukushima in 2011, the world became smaller, and the feeling of risk can appear anywhere at any time in a catastrophic way;

however, since the 9/11 attacks, risk has become the biggest everyday threat people face in contemporary societies. Despite this apocalyptic scenario, Beck (1998) argues that it was in our era that contemporary societies started to think as a more conscious humanity, that is, not totally depending on science to control its future as it was in the last three centuries since the start of the modern science with the publication of *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*, during which people tried to create technologies to improve their life quality, while today we rather try to control nature and the social world. Therefore, by conscious actions in the present, the future has a chance to become better despite still staying risky.<sup>1</sup>

The main feature of the new concept of risk is that it seems universal in not paying attention to gender, age, social status, or other classical social-economic variables. On the one hand, this is determined by the 'boomerang effect' as a part of contemporary risks, i.e., those who create risks are to experience their results. On the other hand, risks blur the social-economic boundaries, thus producing intersecting group relationships that enhance the effects of risks. In general, the adjective 'risk' can be added to the description of contemporary societies in both the micro- and macro-dimensions. Thus, fear of crime depends on many factors, perhaps, the most obvious being actual crime: at the micro-level, it might be expected that people who have suffer from crime experience more fear, and, at the macro-level, that regions with a higher level of crime are considered to be less secure (Prieto, Bishop, 2018).

The concept of risk allows to understand its effects in the macro-social perspective and to comprehend the fear of crime at the micro-level. Today, risk societies imply the subjective perception of risk, communications of risk, and social experiences of living in the risk society. These dimensions determine the new concept of risk as "the probability of an adverse event and the magnitude of the consequences" (Ekberg, 2007), and in a more neutral perspective, as "the potential to deliver beneficial as well as detrimental outcomes" (Mythen, 2007). Both interpretations have global consequences for social safety, causing important changes in national and international security policies.

## A new scientific approach

Fear of crime is a relatively new concept in the academic world. It was introduced in the late 1980s, but its origins can be traced to the 1960s in the United States and the 1970s in Europe (Garofalo, 1981; Hale, 1996; Lee, 2001; Jackson, 2004; Jackson, 2006; Doyle, Gerell, Andershed, 2022). In those decades, researchers focused on such topics as safety, victimization, and risk perception using both qualitative and quantitative methods.

---

1. According to Luhman, "the concept of risk is, however, clearly distinguished from the concept of danger, that is to say, from the case where future losses are seen not at all as the consequences of a decision that has been made but are attributed to an external factor" (Luhman, 1993: 101–102). As a rule, the difference between risks and dangers is that the hazard is a potential source of something that can hurt the person, i.e., risk is the very possibility for a person to be hurt when exposed to danger (see, e.g.: Young, Brelford, Wogalter, 1990).

In Latin America, the concept has been explicitly used since 2008–2010 (Pearce, 2013), while there are indications that the concept was introduced earlier in the United Nations Programs in the region and the International Crime Survey (ICVS).<sup>2</sup> In Spain, the concept ‘fear of crime’ was introduced in the early 1990s, but studies of insecurity were already conducted in the 1980s, and the first comparative study was conducted in 1996. Spain is mentioned both for the spread of the ETA terror from 1968 to 2010 and for being the first country to study the citizens’ fear of crime, including in the comparative perspective.

However, it was the *Fear of Crime as a Social Fact* research that the concept of fear was first studied as a social rather than an individual phenomenon (Liska et al, 1982: 768). Liska et al considered those structural differences between cities that could influence the people’s fear of crime. Liska et al used the traditional sociological variables and compared their ‘whites’ and ‘nonwhites’ values. In the macro-dimension, there is fear of crime in the entire country rather than in its regions. The study of Hernández, Dammert, and Kanashiro (2020) showed that Latin America was a violent area with the fear of crime widely spread but not fully understood, and that Peru had the highest level of crime and crime victimization in the region (according to the international statistics on crime and justice of the European Institute for Crime Prevention and Control, the UN Office on Drugs and Crime, Vanderbilt University’s 2012 public opinion survey (LAPOP), and the Human Right Watch (2020)). The results of the study showed that the body-aimed victimization was the strongest driver of fear of crime, even greater than armed victimization. Safety measures based on social capital are negatively associated with fear of crime, which means that they are palliatives rather than real protection. On the other hand, people of higher social-economic status were more likely to fear more due to having more to lose.

The European surveys in 1979 and 1980 were conducted with the victimization approach. For instance, Spain participated in the first International Crime Survey in 1989, but not in the next two surveys in 1992 and 1996. One of the key surveys was the British Crime Survey that started in 1982 and ended in 2015 when the last report was published. This survey is important because it was based on the methodology that both operationalized Ferraro and LaGrange (1987) fear of crime concept and was the largest survey applied in different countries.

The definition of fear of crime is evolving (Liska et al, 1982; Muñoz, 2009; Gray, Jackson, Farral, 2011) and the number of related research grows every year. In 2000, there were 800 studies on the topic (Restrepo, Moreno, 2007) and in 2020, about 1900. At present, there is no general definition for fear of crime. According to Hale (1996) and Gray, Jackson and Farral (2007), fear of crime refers to the fear of being a victim of crime as opposed to the real probability of becoming a victim of crime; according to Ferraro (1995: 24), FOC is an emotional response in the form of ‘dread’ of becoming a victim of crime, or anxiety about crime in general, or symbols associated with crime (Franc, Sucic, 2014).

---

2. The ICVS is based on the National Crime Survey (NCS–1984) of the United States Department of Justice (van Dijk et al, 2007; van Dijk, 2010; Kesteren, van Dijk, Mayhew, 2014), which aimed at describing either victimization or the fear of ten criminal offenses.

Thus, there is still no agreement for the definition of fear of crime. According to Etiopo and Berthelot (2022), there are three disagreements in defining FOC: first, whether fear is different from concern, or whether they are interchangeable terms; second, whether fear of crime includes perception of risk; and third, whether crime includes anxiety, or they are absolutely different. After fifty years of attempts to conceptualize the fear of crime, these questions remain unanswered, determining the need to clarify what the fear of crime is.

### The study's methodology

We searched for relevant publications in the Jstor, Ebsco, DOAJ, Sage, and Scielo to identify different meanings of the concept of fear of crime in the well-known databases that index articles in English as well as Spanish, French, Portuguese, and Italian. Articles in other languages allowed us to see the evolution of the concept in the academic world<sup>3</sup> for fear of crime has been extensively discussed. It should be noted that in Latin-American universities, the language barrier in science is the main reason for their contributions being often ignored. This is the reason why theories and findings from this region and others non-English-speaking countries have not been spread as they should, which made us include other languages to increase the variability of the theoretical sample.

The criteria for search in the databases were as follows; the category “fear of crime” in the content or in the title, articles in languages listed, articles published between 2001 and 2021 (before 2001, there was no international terrorism, only national or regional, and two decades are a sociologically relevant period), in the sociology and/or criminology fields. Based on these criteria and the object of the study, the first sample consisted of 207 articles. Based on their content (as sociological or criminological), the final sample was reduced to 112 articles fully meeting all research criteria.

The third procedure applied to 112 articles was the ‘term frequency — inverse document frequency’ (tf-idf) technique which allows to assess the probability of meaningful words in the corpus of articles, for both each article and the whole dataset (Cheng, Chen, 2019). The tf-idf formula is as follows:  $w_{i,j} = tf_{i,j} \times \log(\frac{N}{df_i})$ , in which  $tf_{i,j}$  — frequency of  $i$  in  $j$ ,  $df_i$  — number of documents with  $i$ ,  $N$  — number of articles. This technique is a result of the traditional ‘text mining’ and ‘information retrieval’ (Antons et al., 2020) in the computational text analysis, which consisted in the identification of ‘token’-words and N-grams equal to two words maximum. Its application on English articles in the sample allowed us to study articles in other languages (based on the translation of meaningful words into English): the corpus was standardized in English to make all articles comparable.

The method for identifying tokens follows the Wang, McCallum and Wei (2007) approach for identifying a token next to another one in the same sentence. Methodologi-

3. The concept of fear of crime in other languages: peur du crime (French), o medo do crime (Portuguese), miedo al crimen or miedo al delito (Spanish), and paura del crimine (Italian).



cally, this decision was determined by the category of interest in two separate concepts, fear and crime. If two tokens had similar probability for each document just like the N-gram of these two, the article was perfectly reliable for the sample and further analysis (Kruzeck et al., 2020). Thus, the final research sample consisted of 48 related articles in sociology (34) and criminology (14); 9 from the DOAJ (sociology — 5, criminology — 4), 21 from the Sage (sociology — 11, criminology — 10), and 8 from the EBSCO, 6 from the JSTOR, and 4 from the Scielo in sociology. With the graphical tdf–tf analysis, we identified four different groups in sociology and three groups in criminology focused on the fear of crime concept (Kim, Gil, 2019).

As the corpus was consistent and with a clear aggregation, we categorized the corpus of the machine learning technique called ‘clustering analysis with the kmeans algorithm’ which grouped the related documents according to the probability of every vector. This method aims at comparing each article with other articles in each discipline. According to the above-mentioned graphical aggregation (Kin, Gil, 2019), four clusters for sociology and three clusters for criminology were identified. The kmeans algorithm was calculated by the following formula:  $J = \sum_{n=1}^N \sum_{k=1}^K r_{nk} \|x_n - \mu_k\|^2$ , in which  $k$  — number of clusters,  $n$  — number of cases,  $x$  — case, and  $\mu$  — center of the cluster.

We could identify more than a thousand vectors; therefore, it was necessary to eliminate correlated vectors and similar values over 95%. Thus, 1,011 vectors in 34 sociology articles were reduced to 146 vectors, and 490 vectors in 14 criminology articles were reduced to 47, which allowed the examining of how sociology and criminology had considered the fear of crime concept from 2001 to 2021.

The methodology applied followed the concept’s evolution to identify its features, differences, attributes, prerequisites, uses, and meanings for two decades. This methodology was first developed in nursing studies as opposed to sociology, criminology, or social sciences in general. In the early 1980s, this methodology aimed at “clarifying the range of events, situations, or phenomena over which the application of concept is considered to be appropriate” (Rodgers, 1989: 334). The best way to learn the concept’s evolution is to follow its process, which is based on the next seven steps of the methodology as revised by Walker and Avant (2011): identify and name the concept; identify surrogate terms and relevant uses of the concept; identify and select an appropriate sample for data collection; identify attributes of the concept; identify references, prerequisites, and consequences of the concept; and, if possible, identify concepts related to the concept and its model case (Rodgers 1989, 2000; Rogers et al, 2018).

With this method, we can analyze empirical concepts in the environment they belong to and during their ‘lifetime’. Rodgers developed a way to classify concepts and their uses in different disciplines, which is why we selected this approach for our research, because traditional social-science methodologies such as grounded theory, discourse analysis, or content analysis have different purposes and means for examining data (Carrie et al., 2021; Rafii et al., 2016).

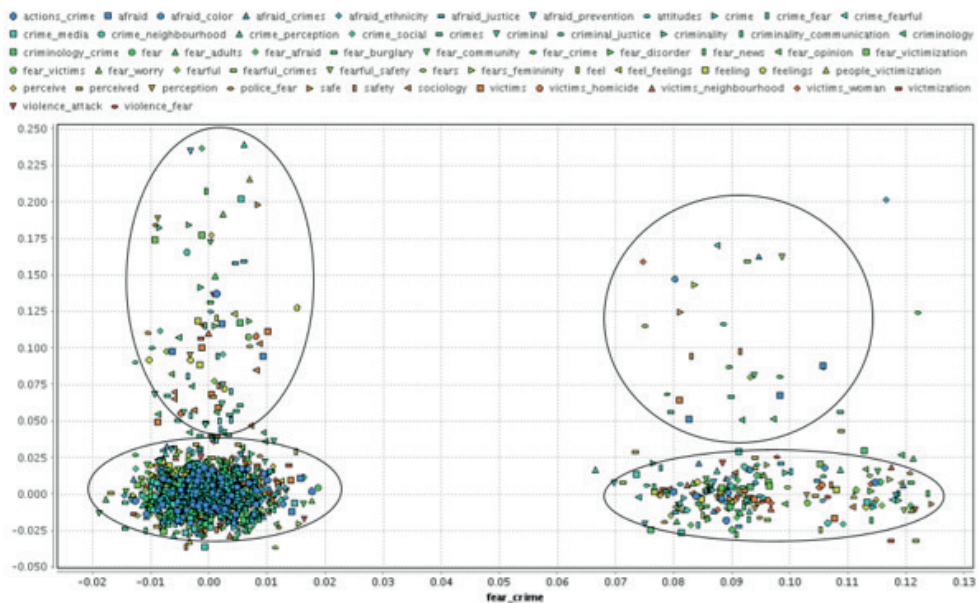


Fig. 1. Tf-idf of articles from the 'fear\_crime' vector in correlation with surrogate concepts (post vector elimination  $r > 0.95$ )

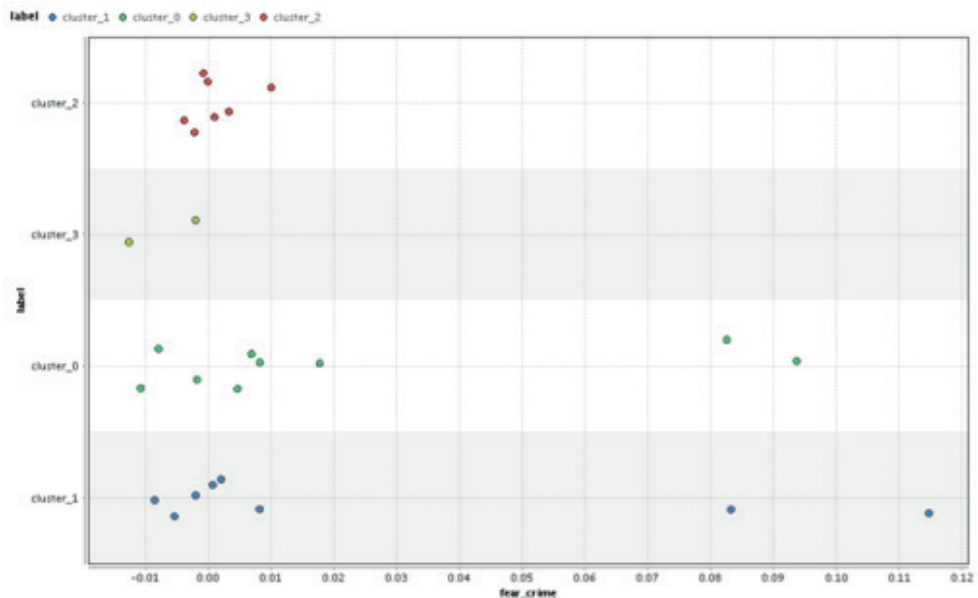


Fig. 2. Clustering ( $k = 4$ ) end of the articles from the 'fear\_crime' vector in sociology



Fig. 3. Tf-idf of items from the 'fear\_crime' vector in correlation with surrogate concepts (post vector removal  $r > 0.95$ )

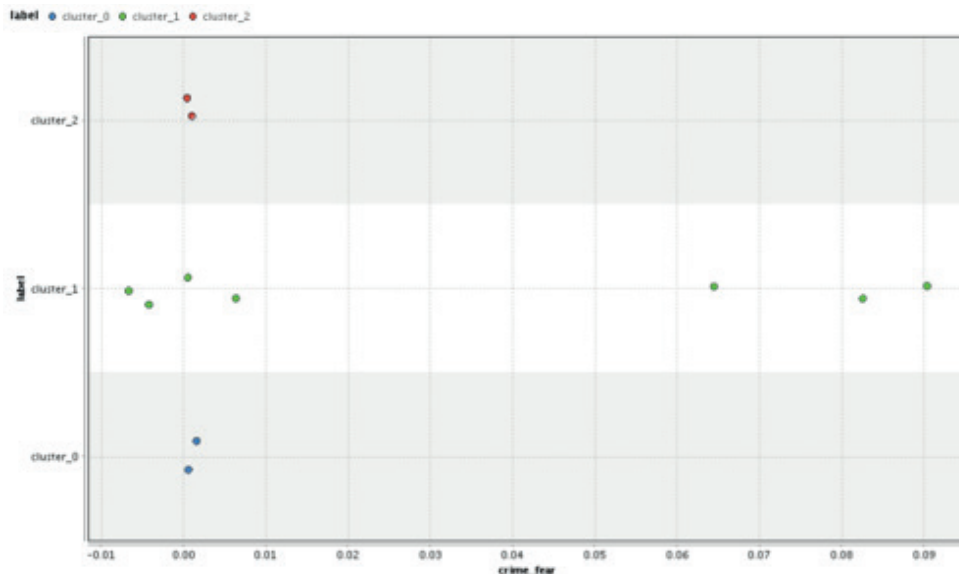


Fig. 4. Clustering ( $k = 3$ ) end of articles from the 'crime\_fear' vector in sociology

## Findings

According to the concept analysis method, it is first necessary to identify the very concept. We chose the definition of fear of crime as “the negative emotional reaction generated by crime or symbols associated with crime” (Ferraro, LaGrange, 1987: 73), although it has limitations in validity and reliability (Lim, Chun, 2015; Engström, Kronkvist, 2021) due to the concept’s multifaceted nature combining affective, cognitive, and behavioral dimensions. The fact that this definition is still applied after the thirty years of use proves its importance in the academic research (Alper, Chappel, 2012; Rader, 2017; Armbrorst, 2017). Although the participation bias is common for this type of research, future studies would attempt to minimize the data imbalance determined by the articles’ heterogeneous content.

After this concept had been introduced in criminology, it was borrowed by other disciplines such as sociology, communication studies, politics, and international relations, but we focus on criminology and sociology. Every field of knowledge has made efforts to include the fear of crime concept into its disciplinary boundaries by developing theories and methodologies to consider it empirically, and to introduce new concepts based on the original one. This is why it is important to study the evolution of any concept in order to expand its interpretations and to enhance its multidisciplinary applications.

## Sociological approach

In the sociology ‘section’, the cluster analysis showed four conglomerates based on 142 meaningful vectors associated with fear of crime, allowing us to interpret the relationship within each article and in the cluster. The clusters were called ‘mass media’, ‘security’, ‘social order’, ‘socialization’, and the ‘justice system’.

‘Mass media’ is the largest cluster. We should admit that it is difficult to explain the phenomenon of fear of crime in an empirical way because there is a contradiction with Ferraro–LaGrange’s concept about the importance of social environment in criminal acts, i.e., the environment is defined by people who act deviantly. In other words, the crimes shown the most on the mass media decontextualize information to create a new environment as ‘forgetting’ the crime situation. This is also linked to business interests for the mass media sensationalize events in the news, as all the research have shown since the development of this field. In Portuguese, Pastana (2007) defined this phenomenon as “*informação espetáculo*” (showbiz news).

The fear of crime variables and categories are difficult to operationalize (Babbie, Maxfield, 2017): scientifically speaking, they must not be related to other variables such as preconceptions, especially if they are in someone’s business interests. Articles in this cluster were strongly related to crime prevention, victims, the police, and the impact of such news on the audience. The connection of these concepts and social actors is a particular feature of these articles since they analyze crime in the legal perspective as punishable

behavior instead of the socially perceived deviant behavior. This is why the only actors identified in the news are the victim and the aggressor, while the context of the crime event is a mass-media mystification that became a part of the idea of crime, safety, aggression, and people's perception.

The risk concept developed by Beck in the 1990s is a part of this cluster due to the western interpretation of security in the macro-theory (Heber, 2011). However, if we use this macro-theory in research, we will face a challenge of learning how the concept of fear of crime was interpreted. Although the concept of risk was to explain the structural framework of fear of crime, this concept instead led to the misinterpretation of its impact and consequences for people's everyday lives at the micro-level. Often the concept of risk is replaced by the meaning of fear of crime, which determines the latter's ambiguous definition and its association with security (Krucichová, 2019). Some other studies associate fear of crime with the concept of risk (making it a tautological interpretation), which is why it is difficult to comprehend risk in the empirical perspective. According to Jackson and Gray (2010), about a quarter of respondents worried about crime also reported that (1) they took precautions, (2) which made them feel safer, and (3) neither precautions nor worries about crime reduced their quality of life. This is why the concept of risk was the less-important subcategory in this cluster.

Security is a special concept inside the cluster due to being the starting point of the Latin-American Research. Articles in English did not contribute to this category due to the above-mentioned lack of agreement in the criteria. This part of the concept method evolution in the Latin-American perspective provided a variety of concepts associated with *seguridad-inseguridad* (safe/unsafe) (Pastana, 2007; Moreno, Ponce, 2016; Ogneva-Himmelberger et al, 2019); *percepción de inseguridad* or *sensación de inseguridad* (perception of safety or a sense of insecurity); and *sentimiento de inseguridad* (feeling of insecurity) (Reid et al., 2020). Such different approaches to the same phenomenon prove the academic efforts to ensure the best empirical study of fear of crime in the region. Nevertheless, security and fear of crime are different; the latter is studied in the individual perspective, while the former is studied in the collective perspective (groups, government, law, and so on), although Latin-American scholars have tried to combine both. This can be represented in the traditional Latin-American studies that have focused on urban violence since the 1980s, or "the lost decade" (Briceño-León, 2002). In this period, violence was spreading because cities started to grow quickly, provoking an increase in violence, crime, disorder, and social-economic conflicts.

The cluster 'fear of crime and social order' is the second largest aggregation of articles on the social environment of the studied population, mainly on neighborhoods, with some exceptions focused on the cities (Prieto Curiel, Bishop, 2018; Pastana, 2007; Dammert, 2004). These studies consider relationships in specific urban areas, neighborhood networks, and people's perception of their social environment in terms of deviant behavior. Thus, articles in this cluster interpret the fear of crime phenomenon with the fundamental sociological terms such as community and social order. As a rule, these studies focus on relations between family members, families, and the neighborhoods they live

in. This is the most important change in the field of research under study: scholars aim at understanding how individuals learn both fear of crime and its influence on their definitions of fear of crime (Drinkard et al., 2019; Dammert, 2004).

Another key concept in this cluster is victimization, which adds an emphatic empirical path to the study of people's perception of fear of crime: one's and others' (family, friends, and acquaintances) experiences affect the definition of the fear of crime self-perception (Singer et al., 2018; Kohm, 2009). Moreover, the empirical focus allows us to identify and measure the correlation between the fear of crime perception and such variables as race (Alper, Chappell, 2012), gender and age (Farrall et al., 2021), education (Alper, Chappell, 2012; Maier, DePrince, 2020), and social-economic status (Hernández et al., 2020).

In the sub-category 'crime', scholars use *delito* (crime) and *crimen* (crime) in Spanish as synonyms, but sociology separates these two concepts (Sandoval, Martínez Barón, 2008; García, Solano, Ruiz, 2018; Rossi et al, 1974; Hope, 2001; Aaronson, Shaffer, 2021). The first refers only to crimes defined in criminal codes, while the second one refers to any deviant behavior (not necessarily defined in criminal codes). However, not all crimes can be considered deviant behavior, for instance, state crimes. There are different categories of crime, such as infractions, misdemeanors, felonies, criminal and civil cases that, if merged methodologically and theoretically, produce misinterpretations in the analysis, making it difficult to choose concepts, the questions' validity, and the reliability of the research. Furthermore, by emphasizing the importance of family as the fundamental social institution, this research contributes to the understanding of specific symbols associated with the general concept of crime (with multiple features, ways of behavior, tattoos, gestures, etc.) (Sreetheran, van den Bosch, 2014; Dammert, 2004).

The third important cluster is 'fear of crime and socialization'. It includes studies of the general concept of violence with the focus on youth; family is also considered important since mothers and fathers play the main role in the fear of crime definition since one's childhood (Farral et al., 2021; Cops, 2010). These studies also examine the moral aspect of criminal acts, addressing the idea that the police protect the moral community and social order due to its symbolic legitimacy to control individuals. Thereby, these studies focus on the impact of police responses and its presence in public areas on either people or the government (Dau et al., 2021).

The concept of violence is a part of this cluster in the political-institutional perspective due to the social ideals of the police as the protector of morality and of the government as the only one capable of ensuring social safety for citizens, or at least capable of convincing people of being safe. However, such a concept was only found in Brazilian articles as associated with the sociological concept of deviance defining diverse actions and the absence of social harmony (lack of social order) among people in their social environment (Nurse, 2017). Thus, violence is partially associated with FOC and not related to the sociologically relevant consequences of violence, but implies the effect of social environment and perceptions of crime (Pastana, 2007).



The relationship between the social environment and the category of violence<sup>4</sup> as focused on diverse behavior and the environment's impact on people's perception added 'social order' to the evolution of the FOC concept. This is important because social order is a core concept in sociology, which allows extending the fear of crime concept beyond Ferraro and LaGrange's definition, that is, from individuals to specific situations. This is why social contexts and social bonds are crucial for comprehending the fear of crime concept in both the social relationship (Pastana, 2007) and social order (Kohm, 2009) perspectives, adding theoretical value to one of the most important fields of studies in the evolution of the fear of crime concepts, that of the 'incivilities thesis' which refers to some social principles and the impact of faults, impolite and rude behavior, and some criminal acts. Following this thesis, sociological studies of violence can be linked to such sub-categories as victimization and crime due to its relationship with the government and police control of crime (Romero, 2014; Reid et al., 2020) as decreasing the people's perception of insecurity (Avila et al., 2016; Romero, 2014).

Finally, the 'fear of crime and the penal system' is the smallest cluster associated with people's concerns about the system's impartiality. This cluster's small size could mean that the fear of crime category keeps crossing the disciplinary borders of sociology (Singer et al., 2018; Prieto Curiel, Bishop, 2018).

Thus, in the twenty years of research, our analysis identifies three approaches in the sociological study of fear of crime, those of the vulnerability model, the deviation model, and the social integration model.

### **Criminological approach**

During the twenty years after 9/11, most researchers in the criminological field continued to use Ferraro and LaGrange's concept and methodology of fear of crime, but with some critique, expanding the original explanation to focus on specific groups, reinterpret the original fear of crime concept, and question the traditional methods of its analysis. Our cluster analysis identified three conglomerates based on both the 47 significant vectors associated with fear of crime and on the original Ferraro and LaGrange definition with some reinterpretations (Matthews, Johnson, Jenks, 2011), which led to a challenging comprehension of the fear of crime phenomenon (Cops, 2010). The most significant aspect in these articles is that researchers started to empirically explore two terms — fear and crime — separately. Cops writes that "two main clusters of criticism of the traditional measurement of fear of crime — the one-item measurement and the lack of referral to both 'fear' and 'crime'... fear of crime in this study is measured using a multi-item scale, in which the concepts 'fear' and 'crime' are explicitly used in most of the items in the scale" (2010: 391).

Based on the category of 'fear of crime, mass media and community', researchers found reasons to develop policies that would decrease both the effects of fear of crime and the role of the mass media portraying crime situations (Näsi et al, 2021). It was after Cops's findings that changing policies became a relevant part of the fear of crime concept

---

4. Violence is not a synonymus of crime (see, e.g.: Stanko, 2001: 316).

due to their impact on people's perception. The studies considered bonds between family members, communities, neighborhoods, and cities to assess fear of crime and its impact in people's responses, based on the idea of crime as a byproduct of socialization that objectivizes the symbols of crime and teaches children and teenagers to avoid dangerous situations. This was empirically proven by the most important Ngram result in this part of the research, that of 'crime\_fear' instead of the expected 'fear\_crime'.

On the contrary, the research related to the category of 'mass media' (Canallan, 2012; Banks, 2005) does not show new approaches compared to the 1970s when the impact of mass media on people's perception of crime was explained by the 'cultivation thesis' (it implies that those exposed to the media interpret social realities according to how such realities are portrayed in the media): Banks writes that "the media (primarily television) generate 'undue' or 'irrational' fear, largely through their obsession with crime news and genres, an overblown emphasis on the crime 'threat' and sensationalized coverage of spectacular (usually violent) crime" (2005: 171). This could also be explained by another category developed in the 1970s, that of the 'mean world syndrome': it comes from the idea that we all have a cognitive bias, i.e., we learn to see the world as more dangerous than it is because "the mass media tend to represent the world predominantly as uncivil, violent and threatening rather than as orderly and secure" (Lupton, Tulloch, 1999: 509). This is why the impact of mass media on the population cannot be measured properly and does not help to understand the fear of crime concept on the micro-level. The contemporary hyper-communicated world makes it difficult to find a methodology that would identify the source of information that directly affects the people's perceptions of crime.

Based on the category of 'risk society', criminological studies of fear of crime identified other aspects that affect the people's perception of crime, such as an increase in the number of murders, an unstable economy, and penal law. The last category is specific for the North American research (Lane et al., 2014; Cops, 2010) due to the impact of the 9/11 on penal law. However, there was little research associated with risk society to expand our interpretations.

On the contrary, research related to 'youth studies' has greater potential for criminology (Walsh, Schubotz, 2020; Cops, 2010). The interest in this specific social group, the largest one in many societies, created a new path to explore fear of crime for the youth group is both the most victimized and the less-scared group worldwide (Bauman, 2002; Farrall, Lee, 2009; Cops, Pleysier, Put, 2012; McKenna, Martinez-Prather, Bowman, 2016; Krulichová, Podaná, 2019). From this perspective, researchers started to focus on such topics as family and socialization and leisure activities and social capital, while still testing the traditional hypothesis of fear of crime depending on the age.

Thus, the evolution of the fear of crime concept in criminology can be defined as a path affected by both the symbolical and rational (De Groof, 2008) and focusing on teens (when symbols associated with crime are internalized) and children (when the 'altruistic fear of crime'<sup>5</sup> develops in the closest social circles (family and friends), producing

---

5. According to Warr (1992) and Warr and Ellison (2000), it is when one fears that someone also will be an object of crime.

a specific narrative for describing fear of crime and groups of young criminals (more exposed to the consequences of criminal environments)) (Cops, 2010; Näsi, 2020). The first and last clusters show that during the period under study, there was an increase in the number of victimization surveys (Cops, 2010) and a clear transition to the safety perspective (Ceccato et al., 2021). However, our methods and hypotheses should be further confirmed with more empirical data.

### Conclusion

The first findings about the evolution of the fear of crime concept in sociology and criminology as related mainly to mass media research can be explained by the fact that, since the 1970s, there have been unsatisfactory explanations of the mass media impact on people’s perceptions (for instance, studies of moral panic), which defined the mass media as one of the causes of fear of crime. Some studies continued to use the classical definition of fear of crime introduced by Ferraro and LaGrange (1987): this research perspective can be associated with the rationalistic era of the fear of crime studies in the 1990s. However, due to the intrinsic conflict in the original definition and measurement of fear of crime, some researchers used this definition critically and applied different (qualitative) methods (Gray, Jackson, Farral, 2011; Lane et al., 2014).

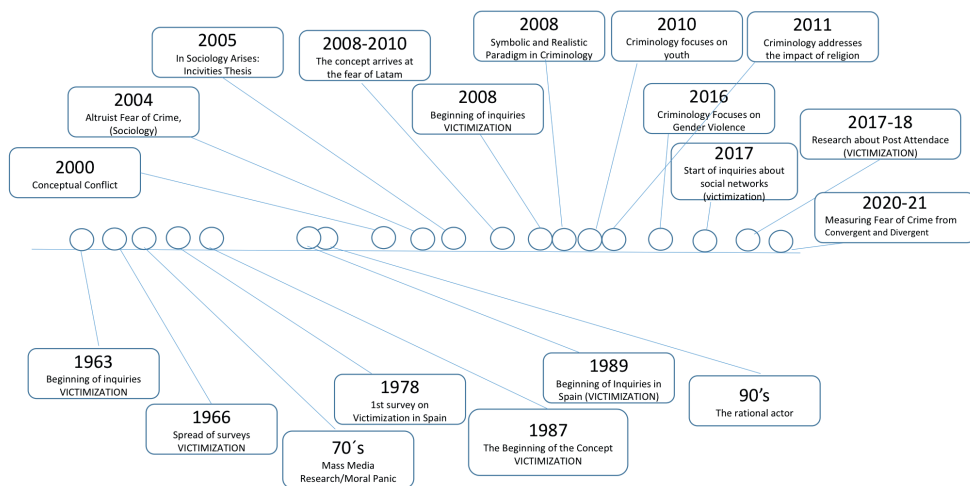


Fig. 5. The evolution of the fear of crime concept<sup>6</sup>

The study of fear of crime has changed its focus from the surveys of the people’s perceptions in general to the qualitative analysis of specific groups’s ideas (family, friends, or neighborhoods). During the period under study, new concepts such as the

6. The figure shows the evolution of the concept — how it started and spread in different fields. The figure presents a general perspective — concepts and fields associated with fear of crime in the period under study.

'altruistic fear of crime' were introduced,, which emphasizes the role of socialization, or the 'incivilities thesis', which then emphasizes youth and religion as important aspects for the understanding of the origins of fear of crime. Surprisingly, this research reorientation happened in the late 1990s in Lupton and Tulloch's work related to the rationalistic era, writing that the "fear of crime is not specifically about crime itself, but also incorporates concerns about oneself or one's intimates, or about society and social life, and is constructed through both personal biography and discourse" (Lupton, Tulloch 1999: 14). In the early 2000s, the new fear of crime concept spread in Latin America but as associated with safety, creating a new branch in this concept's evolution, differing from the symbolic paradigm and other types of its study, thus, providing more knowledge on people's perceptions of fear of crime as well as new areas for comparative research.

## References

- Aaronson E., Shaffer G. (2021) Defining Crimes in a Global Age: Criminalization as a Transnational Legal Process. *Law & Social Inquiry*, vol.46, no 2, pp. 455-486.
- Alper M., Chappell A. (2012) Untangling Fear of Crime: A Multi-Theoretical Approach to Examining the Causes of Crime-Specific Fear. *Sociological Spectrum*, vol. 2, no 4, pp. 346-363.
- Antons D., Grünwald E., Cichy P., Salge T.O. (2020) The Application of Text Mining Methods in Innovation Research: Current State, Evolution Patterns, and Development Priorities. *R&D Management*, vol. 50, no 3, pp. 329-351.
- Armborst A. (2017) Thematic Proximity in Content Analysis. *SAGE Open*, vol. 7(2).
- Ávila M.E., Martínez-Ferrer B., Vera A., Bahena A., Musitu G. (2016) Victimization, Perception of Insecurity, and Changes in Daily Routines in Mexico. *Revista de Saude Publica*, vol. 50.
- Babbie E., Maxfield M. (2017) *Research Methods for Criminal Justice and Criminology*, Boaton: Wadsworth Publishing.
- Banks M. (2005) Spaces of (In)Security: Media and Fear of Crime in a Local Context. *Crime, Media, Culture*, vol. 1, no 2, pp. 169-187.
- Bauman Z. (2002) Violence in the age of uncertainty. *Crime and insecurity. The governance of safety in Europe*, ed. by A. Crawford Cullompton: Willan Publishing, pp. 52-73.
- Beck U. (1998) *La Sociedad del Riesgo*, Barcelona: Paidós.
- Briceño-León R. (2002) La Nueva Violencia Urbana de América Latina. *Sociologias*, vol. 4, no 8, pp. 34-51.
- Callanan V.J. (2012) Media Consumption, Perceptions of Crime Risk and Fear of Crime: Examining Race/Ethnic Differences. *Sociological Perspectives*, vol. 55, no 1, pp. 93-115.
- Carrie N.L., Hutson S.P. (2021) A Concept Analysis of Dependence Using Rodgers' Evolutionary Method. *Issues in Mental Health Nursing*, vol. 42, no 5, pp. 451-462.
- Ceccato V., Langefors L., Näsman P. (2023) The Impact of Fear on Young People's Mobility. *European Journal of Criminology*, vol. 20, no 2, pp. 486-506.
- Cheng Ch., Chen H.H. (2019) Sentimental Text Mining Based on an Additional Features Method for Text Classification. *PLOS One*, vol. 14, no 6.
- Cops D. (2010) Socializing into Fear: The Impact of Socializing Institutions on Adolescents' Fear of Crime. *Young*, vol. 18, no 4, pp. 385-402.
- Cops D., Pleysier S., Put J. (2012) Worrying about the future and fear of crime among young adults: a social psychological approach. *Journal of Youth Studies*, vol. 15, no 2, pp. 191-205.
- Dammert L. (2004) ¿Ciudad sin Ciudadanos? Fragmentación, Segregación y Temor en Santiago. *Eure (Santiago)*, vol. 30, no 91, pp. 87-96.
- Dau P.M., Vandeviver C., Dewinter M. (2021) Policing Directions: A Systematic Review on the Effectiveness of Police Presence. *European Journal on Criminal Policy and Research*, vol. 29, pp. 191-225.
- De Groof S. (2008) And My Mama Said... The (Relative) Parental Influence on Fear of Crime among Adolescent Girls and Boys. *Youth and Society*, vol. 39, no 3, pp. 267-293.

- Díez J. (2021). Yihadismo global, la amenaza más persistente. *Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo*, no 2, pp 7-17.
- Doyle M. C., Gerell M., Andershed, H. (2022) Perceived Unsafety and Fear of Crime: The Role of Violent and Property Crime, Neighborhood Characteristics, and Prior Perceived Unsafety and Fear of Crime. *Deviant Behavior*, vol. 43, no 11, pp. 1347-1365.
- Drinkard A. M., Schell C. G., Adams R. (2019) Fear of Violence, Family Support, and Well-Being among Urban Adolescents. *Open Journal of Social Sciences*, vol. 7, pp. 86-105.
- Ekberg M. (2007) The Parameters of the Risk Society: A Review and Exploration. *Current Sociology*, vol 3, pp. 343-366.
- Enders W., Sandler T. (2005) After 9/11: Is It All Different Now? *The Journal of Conflict Resolution*, vol. 49, no 2, pp. 259-77.
- Engström A., Kronkvist K. (2023). Examining experiential fear of crime using STUNDA: Findings from a smartphone-based experience methods study. *European Journal of Criminology*, vol. 20, no 2, pp. 693-711.
- Etopio A. L., Berthelot E. R. (2022) Defining and Measuring Fear of Crime: A New Validated Scale Created from Emotion Theory, Qualitative Interviews, and Factor Analyses. *Criminology, Criminal Justice, Law Society*, vol. 23, no 1, pp. 46-67.
- Farrall S., Gray E., Jones M. (2021) Worrying Times: The Fear of Crime and Nostalgia. *Current Issues in Criminal Justice*, vol. 33, no 3, pp. 340-358.
- Farrall S., Lee M. (2009) Reintroducing the fear of crime. *Fear of crime. Critical voices in an age of anxiety*, edited by M. Lee, S. Farrall, London: Routledge, pp.1-11.
- Ferraro K. F. (1995) *Fear of Crime: Interpreting Victimization Risk*, Albany: State University of New York Press.
- Ferraro K. F., La Grange R. (1987) Measurement of Fear of Crime. *Sociological Inquiry*, vol. 57, no 1, pp. 70-101.
- Franc R., Susic I. (2014) Fear of Crime. *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*. A. C. Michalos (eds), Springer, Dordrecht.
- García, G. S., Solano A., Ruiz G. (2018) El objeto de estudio de la criminología y su papel en las sociedades latinoamericanas. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, vol. 23, no 1, pp. 11-31.
- Garofalo J. (1981). The Fear of Crime: Causes and Consequences. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, vol. 72, no 2, pp. 839-857.
- Gray E., Jackson J., Farrall S. (2011) Feelings and Functions in the Fear of Crime: Applying a New Approach to Victimization Insecurity. *British Journal of Criminology*, vol. 57, pp. 75-94.
- Hale C. (1996). Fear of crime: A review of the literature. *International Review of Victimology*, vol. 4, pp. 79-150.
- Haner M., Sloan M. M., Cullen F., Kulig T., Jonson Ch. (2019) Public Concern about Terrorism: Fear, Worry, and Support for Anti-Muslim Policie. *Socius*, vol. 5, pp. 1-16.
- Heber A. (2011) Fear of Crime in the Swedish Daily Press — Descriptions of an Increasingly Unsafe Society. *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention*, vol. 12, no 1, pp. 63-79.
- Hernández W., Dammert L., Kanashiro L. (2020) Fear of Crime Examined through Diversity of Crime, Social Inequalities, and Social Capital: An Empirical Evaluation in Peru. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, vol., 53, no 4, pp. 515-535.
- Hope T. (2001) Crime victimization and inequality in risk society. *Crime, Disorder and Community Safety*. R. Matthews, J. Pitts (eds), London: Routledge.
- Jackson J. (2006) Introducing fear of crime to risk research. *Risk Anal*, vol. 26, no 1, pp. 253-64.
- Jackson J. (2004) Experience and expression: Social and Cultural Significance in the Fear of Crime. *The British Journal of Criminology*, vol. 44, no 6, pp. 946-966.
- Kim S. W., Gil J. M. (2019) Research Paper Classification Systems Based on TF-IDF and LDA schemes. *Human-Centric Computing and Information Sciences*, vol. 9.
- Kohm S. (2009) Spatial Dimensions of Fear in a High-Crime Community: Fear of Crime or Fear of Disorder? *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice/La Revue Canadienne de Criminologie et de Justice Pénale*, vol. 51, no 1, pp. 1-30.

- Krulichová E. (2019) The Relationship between Fear of Crime and Risk Perception across Europe. *Criminology & Criminal Justice*, vol. 19, no 2, pp. 197–214.
- Krulichová E., Podaná, Z. (2019) Adolescent fear of crime: Testing Ferraro's risk interpretation model. *European Journal of Criminology*, vol. 16, no 6, pp. 746–766.
- Kruczek A., Basińska M. A., Janicka M. (2020) Cognitive flexibility and flexibility in coping in nurses — the moderating role of age, seniority and the sense of stress. *Int J Occup Med Environ Health*, vol. 33, no 4, pp. 507–521.
- Lane J., Rader N., Henson B., May D. (2014) *Fear of Crime in the United States: Causes, Consequences, and Contradictions*, Durham: Carolina Academic Press.
- Lee M. (2001) The Genesis of 'Fear of Crime'. *Theoretical Criminology*, vol. 5, no 4, pp. 467–485.
- Lim H., Chun Y. (2015) The Limitations and Advancements in Measuring Fear of Crime. *Journal of Public Administration and Governance*, vol. 5, pp. 140–148.
- Liska A., Lawrence J., Sanchirico A. (1982) Fear of Crime as a Social Fact. *Social Forces*, vol. 60, no 3, pp. 760–770.
- Lupton D., Tulloch J. (1999) Theorizing Fear of Crime: Beyond the Rational/Irrational Opposition. *British Journal of Sociology*, vol. 50, no 3, pp. 507–523.
- McKenna J. M., Martinez-Prather K., Bowman S. W. (2016) The Roles of School-Based Law Enforcement Officers and How These Roles Are Established: A Qualitative Study. *Criminal Justice Policy Review*, vol. 27(4), pp. 420–443.
- Maie S. L., DePrince B. T. (2020) College Students' Fear of Crime and Perception of Safety: The Influence of Personal and University Prevention Measures. *Journal of Criminal Justice Education*, vol. 31, no 1, pp. 63–81.
- Martinez-Prather K., McKenna J. M., Bowman S. W. (2016) The School-to-Prison Pipeline: How Roles of School-Based Law Enforcement Officers May Impact Disciplinary Actions. *Journal of Qualitative Criminal Justice & Criminology*, vol. 4, no 2.
- Matthews T., Johnson L. M., Jenks C. (2011) Does Religious Involvement Generate or Inhibit Fear of Crime? *Religions*, vol. 2, no 4, pp. 485–503.
- Moreno Ponce J. A. (2016) La Inseguridad Ciudadana como Proceso de "Territorialización": Aproximación Conceptual y Teórica. *Desafíos*, vol. 28, no 2, pp. 145–176.
- Muñoz C. (2009) La inseguridad y los entornos universitarios: una lectura desde la población más vulnerable. *Hallazgos*, vol. 6, no 12, pp. 169–200.
- Mythen G. (2007) Reappraising the Risk Society Thesis: Telescopic Sight or Myopic Vision? *Current Sociology*, vol. 55, no 6, pp. 793–813.
- Näsi M., Tanskanen M., Kivivuori J., Haara P., Reunanen E. (2021) Crime News Consumption and Fear of Violence: The Role of Traditional Media, Social Media, and Alternative Information Sources. *Crime & Delinquency*, vol. 67, no 4, pp. 574–600.
- Nurse A. (2017) Green Criminology: Shining a Critical Lens on Environmental Harm. *Palgrave Communications*, vol. 3.
- Ogneva-Himmelberger Y., Ross L., Caywood T., Khananayev M., Starr C. (2019) Analyzing the Relationship between Perception of Safety and Reported Crime in an Urban Neighborhood Using GIS and Sketch Maps. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, vol. 8, no 12.
- Pastana D. (2007) Medo e Opnição Pública no Brasil Contemporâneo. *Estudos de Sociologia*, vol. 12, no 22, pp. 91–116.
- Pearce J. (2013) Nuevo Pensamiento Sobre Seguridad en América Latina: Hacia la Seguridad como un Valor Democrático. *Nuevo Pensamiento Sobre Seguridad en América Latina: Hacia la Seguridad como un Valor Democrático*. C. Abello, P. Angarita (Eds.), Colombia: CLACSO–Universidad de Antioquia, pp. xii–xxvii.
- Prieto Curiel R., Bishop S. R. (2018) Fear of Crime: The Impact of Different Distributions of Victimization. *Palgrave Communications*, vol. 4, pp. 1–8.
- Rader N. (2017) Fear of Crime. *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*.
- Rafii F., Haghdoost Oskoue S., Parvizy S., Mohammadi N., Ghafouri R. (2016) Nursing Professional Regulation: Rodgers' Evolutionary Concept Analysis. *International Journal of Medical Research and Health Sciences*, vol. 5, pp. 436–442.



- Reid I.D., Appleby-Arnold S., Brockdorff N., Jakovljević I., Zdravković S. (2020) Developing a Model of Perceptions of Security and Insecurity in the Context of Crime. *Psychiatry, Psychology and Law*, vol. 27, no 4, pp. 620–636.
- Restrepo E., Moreno A. (2007) Bogotá: ¿Más Crimen?, ¿Más Miedo? Bogotá: Crime or Fear of Crime? *Desarrollo y Sociedad*, vol. 166, no 59, pp. 165–214.
- Rodgers B.L. (1989) Exploring Health Policy as a Concept. *Western Journal of Nursing Research*, vol. 11, no 6, pp. 694–702.
- Rodgers B.L., Jacelon C.S., Knafelz K.A. (2018) Concept Analysis and the Advance of Nursing Knowledge: State of the Science. *Journal of Nursing Scholarship*, vol. 50, no 4, pp. 451–459.
- Romero D. (2014) Insecurity or Perception of Insecurity? Urban Crime and Dissatisfaction with Life: Evidence from the Case of Bogotá. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, vol. 20, no 1, pp. 169–208.
- Rossi P.H., Waite E., Bose C.E., Berk R.E. (1974) The Seriousness of Crimes: Normative Structure and Individual Differences. *American Sociological Review*, vol. 39 no 2, pp. 224–237.
- Sandoval L.E., Martínez Barón, D. (2008) Una revisión al estudio de la delincuencia y criminalidad. *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, vol.16, no 1, pp. 105-117.
- Singer A.J., Chouhy C., Lehmann P.S., Walzak J., Gertz M., Biglin S. (2018) Victimization, Fear of Crime, and Trust in Criminal Justice Institutions: A Cross-National Analysis. *Crime & Delinquency*, vol. 3.
- Smith M., Zeigler S.M. (2017) Terrorism before and after 9/11 — a more dangerous world? *Research & Politics*, vol. 4, no 4.
- Sreetheran M., Bosch C.C. (2014) A Socio-Ecological Exploration of Fear of Crime in Urban Green Spaces — A Systematic Review. *Urban Forestry & Urban Greening*, vol. 13, pp. 1–18.
- Walker L.O., Avant K.C. (2011) *Strategies for Theory Construction in Nursing*. 5th Edition, Prentice Hall, New York.
- Walsh C., Schubotz D. (2020) Young Men's Experiences of Violence and Crime in a Society Emerging from Conflict. *Journal of Youth Studies*, vol. 23, no 5, pp. 650–666.
- Wang X., McCallum A., Wei X. (2007) Topical N-Grams: Phrase and Topic Discovery, with an Application to Information Retrieval. *Data Mining. ICDM 2007. 7th International Conference on IEEE*, pp. 697–702.
- Young J.K., Findley M.G. (2011) Promise and Pitfalls of Terrorism Research. *International Studies Review*, vol.13, no 3, pp. 411–431.

## Страх преступности: трансформации понятия с 2001 по 2021 годы

**Хесус-Альберто Валеро-Матас**

PhD, доцент, Департамент социологии и социальной работы Факультета образования, Университет Вальядолида, Капус в Паленсии (Испания)  
Адрес: Ла Ютера, Авенида Мадрид, 50, 34004 Паленсия, Испания. E-mail: javalero@uva.es

**Карлос Андрес Муньос-Сандоваль**

Магистр (Университет Буэнос-Айреса, Аргентина). Профессор Университета Санто Томаса (Колумбия).  
Адрес: Каррера, 9. № 51-11 PBX, Букараманга, Сантандер, Колумбия.  
E-mail: carlosandresmunoz@gmail.com

Цель статьи — общее описание корпуса научных работ, посвященных изучению понятия «страх преступности» после 11 сентября 2001 года, когда исследования безопасности

были дополнены новыми тематиками, которые существенно изменили само понимание словосочетания «страх преступности». По сути, произошла смена научных моделей изучения социального восприятия преступности. Первые годы после 11 сентября 2001 года были весьма плодотворными для социологического анализа страха преступности. Сегодня такие исследования продолжают, но данное понятие стало значительно более важным для криминологических работ. Соответственно, мы рассмотрели, как понятие «страх преступности» используется в статьях, опубликованных в рецензируемых научных журналах криминологической и социологической тематики (в базах данных Sage, Jstor, EbscoHost и других). Результаты исследования позволили объяснить логику трансформации понятия «страх преступности» в научных работах в период с 2001 по 2021 годы. Для Латинской Америки понятие страха — относительно новое, чем она серьезно отличается от других регионов мира. Более того, в Латинской Америке приняты принципиально иные трактовки страха, чем в Европе и США. Хотя Латинская Америка и США имеют много общего в контексте рассматриваемой проблематики, в статье обозначены уникальные черты латиноамериканского подхода к определению и изучению феномена страха преступности.

*Ключевые слова:* страх; преступление; страх преступности; виктимизация; социология; криминология; риск; безопасность

# Социальное участие людей старшего возраста: подходы к анализу и инструменты оценки<sup>1</sup>

*Татьяна Киенко*

Кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных технологий Южного федерального университета. Адрес: ул. Большая Садовая, 105/42; г. Ростов-на-Дону. E-mail: tskienko@sfedu.ru; tatyana\_kienko@mail.ru

Исследования социального участия людей старшего возраста не так давно вошли в поле российской социологии; концепт, подходы и эмпирические индикаторы являются дискуссионными, значительный зарубежный опыт не представлен в отечественном научном пространстве. Цель статьи — системно описать современные подходы к анализу, измерению и оценке социального участия людей старшего возраста. Среди зарубежных подходов к анализу «social participation» известны социологический и политический, в исследованиях участия людей старшего возраста применяются соотносимые, но более гибкие социально-потребительский, инклюзивный и empowerment-подходы, каждый предлагает собственное содержание концепта, арсенал методов и измерительных процедур. Социально-потребительский подход (social consumer) рассматривает социальное участие человека старшего возраста как способ удовлетворения его базовых личностно-значимых потребностей и опирается на типовые методики оценки функциональности и здоровья. Инклюзивный подход ориентирован на участие как инструмент социальной интеграции и самореализации, сочетает количественные и качественные опросные методы. Empowerment-подход обращен к пожилому человеку как к субъекту социальных изменений, опирается на критический анализ вовлеченности с опорой на методологию гражданского участия, в т.ч. через призму доступа к ресурсам, власти, самому участию. Понимание участия в старшем возрасте как многообразия видов деятельности всех уровней (от вовлечения до вовлеченности) и форм (прямых и опосредованных, публичных и непубличных) на основе интеграции социально-потребительского, инклюзивного и empowerment-подходов позволяет гибко учитывать личностные, социально-средовые и институциональные факторы участия, замечать «невидимый» вклад и переосмысливать стереотипы социальной пассивности пожилых людей, конструируя пространства участия на принципах дружелюбия к возрасту, со-продуктивности, позволяя людям старшего возраста выступать и чувствовать себя социальными субъектами.

*Ключевые слова:* люди старшего возраста, социальное участие, вовлечение, вовлеченность, социально-потребительский, инклюзивный, empowerment-подход

## Постановка исследовательского вопроса

Вопросы социального участия россиян старшего возраста представляют большой интерес для социальной политики и практики, активно входят в предметное поле отечественной социологии и социальной работы. Участие в старшем возрасте выступает фактором хорошего самочувствия, здоровья, высокого статуса и само-

1. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-00134 (<https://rscf.ru/en/project/23-28-00134/>) «Социальное участие людей старшего возраста в Российских регионах в постпандемический период» в Южном федеральном университете.

Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

оценки, контроля над жизнью и ее качества (Levasseur et al., 2010; Bruggencate, Luijk, Sturm, 2017; Duppen et al., 2019; Ide et al., 2020; Hashidate et al., 2021; Галкин, 2023 и др.); международные организации рассматривают его как цель политики активного долголетия и способ снятия структурных и возрастных неравенств (Active Ageing: A Policy Framework, 2002: 51-52). Понятие «participation in society», касающееся разных аспектов занятости, участия в жизни общества и независимой жизни применяется в Руководящих принципах активного долголетия и солидарности поколений (The Guiding Principles on Active Ageing..., 2012) и Индексе активного долголетия (ИАД)<sup>2</sup>.

Социальное участие является не только способом повышения качества жизни самих старших. Значительное число россиян старшего возраста вовлечены в формальную и неформальную занятость, творчество, обучение, спорт, волонтерские проекты и инициативы взаимопомощи, заботятся о членах своей семьи и ближайшем окружении, демонстрируют высокий уровень реципрокности, вносят заметный вклад в развитие местных сообществ, городов и регионов (Потехина, Чижов, 2016: 7; Непочатых, Стекачева, 2021; Киенко и др., 2022 и др.). В практиках участия старшее поколение решает актуальные проблемы, продвигает культуру участия, транслирует ценности патриотизма, гражданственности, коллективизма, солидарности, социальной ответственности. Роль личностного, профессионально-трудового, социокультурного потенциала, компетенций и опыта людей старшего возраста, которые составляют 24,1% населения Российской Федерации<sup>3</sup>, особенно высока в условиях глобальных трансформаций и социальных вызовов, повышенной нагрузки на экономику, трудоактивное население и системы социальной поддержки.

Социальное участие россиян старшего возраста становится стратегическим ресурсом государства и общества, но его исследования в России пока не многочисленны. Отечественные исследователи старения не имеют ориентиров в определении понятия социального участия пожилых людей, его теоретических оснований и эмпирических индикаторов. Имеется значительный зарубежный опыт, накоплен большой пул исследований социального участия людей старшего возраста, подходов и инструментов оценки, но зарубежные работы не переведены на русский язык, не представлены в обзорах, отсутствует их системное описание, сам концепт остается дискуссионным. Это тормозит развитие данного направления в России, повышает риски получения противоречивых данных и выводов, затрудняет обобщения и сравнения отечественного и зарубежного опыта, представляя серьезную методологическую проблему. Цель настоящей статьи — системно описать современные подходы к анализу, измерению и оценке социального участия людей старшего возраста.

---

2. Active Ageing Index. URL: <https://unece.org/population/active-ageing-index> (дата доступа: 17.01.2023)

3. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика. Население. Старшее поколение. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13877> (дата доступа: 17.04.2023)

## Методология и методы

Достижение цели строилось на основе систематического обзора и интерпретативного анализа научной литературы, отобранной из отечественных и мировых научных информационно-аналитических систем РИНЦ и Dimensions с привлечением других доступных ресурсов (PubMed, JSTOR, SAGE, ResearchGate, Academia, Киберленинка и др.) в период с 17 января 2023 по 17 апреля 2023 года.

Первый этап поиска осуществлялся по ключевым фразам «социальное участие» и «пожилые люди» в РИНЦ и по трем векторам поиска в Dimensions («социальное участие/social participation»; «теории социального участия/theories of social participation»; «измерения социального участия/social participation measuring» самостоятельно и в сочетаниях с запросом «пожилые люди/older people/elderly/seniors»). В обзор на основе анализа заголовков и аннотаций включались русскоязычные и англоязычные работы по теме социального участия в старшем возрасте и теоретико-методологические, концептуализирующие, сравнительные, обзорные работы по теме социального (общественного, гражданского, публичного) участия в целом. Исключались нерелевантные результаты: касающиеся других возрастных и социальных групп и лиц (кроме методологических работ), несоциальных аспектов участия (физической, психологической, цифровой и иной активности пожилых людей вне связи с вопросами социального участия, работы медицинской тематики и т. д.), постерные и стендовые доклады, тезисы конференций, симпозиумов, конгрессов, препринты, работы на других языках кроме русского и английского. На первом этапе в обзор были отобраны 20 публикаций из базы РИНЦ и 67 из Dimensions (рис. 1). Описание процесса и результатов пошагового отбора публикаций представлено в приложении 1.

На втором этапе путем изучения аннотаций и беглого просмотра полных текстов отбирались публикации, представленные в полнотекстовом бесплатном доступе, указывающие конкретные (любые) формы социального участия (исключались работы, в которых отсутствовало указание форм участия), а также методологические работы (исключались публикации, не предлагающие конкретного определения социального участия, подходов, методов оценки); дополнительно привлекались высокоцитируемые работы. В результате исключения нерелевантных работ и привлечения высокоцитируемых на втором этапе в обзор вошли 32 публикации из базы РИНЦ и 42 из Dimensions.

На третьем этапе в ходе полнотекстового анализа выявлялись определения, подходы к анализу, методы и инструменты оценки, формы социального участия в старшем возрасте. Исключались публикации общего характера, дубли, работы, в которых однозначное определение подходов и методов оценки было затруднительным. В итоге в обзор вошли 113 источников: 39 русскоязычных публикаций из базы РИНЦ и 74 англоязычных из Dimensions. Общая характеристика публикаций, включенных в обзор, представлена в приложении 2. Дополнительно в процессе обзора привлекались словари, высокоцитируемые работы.

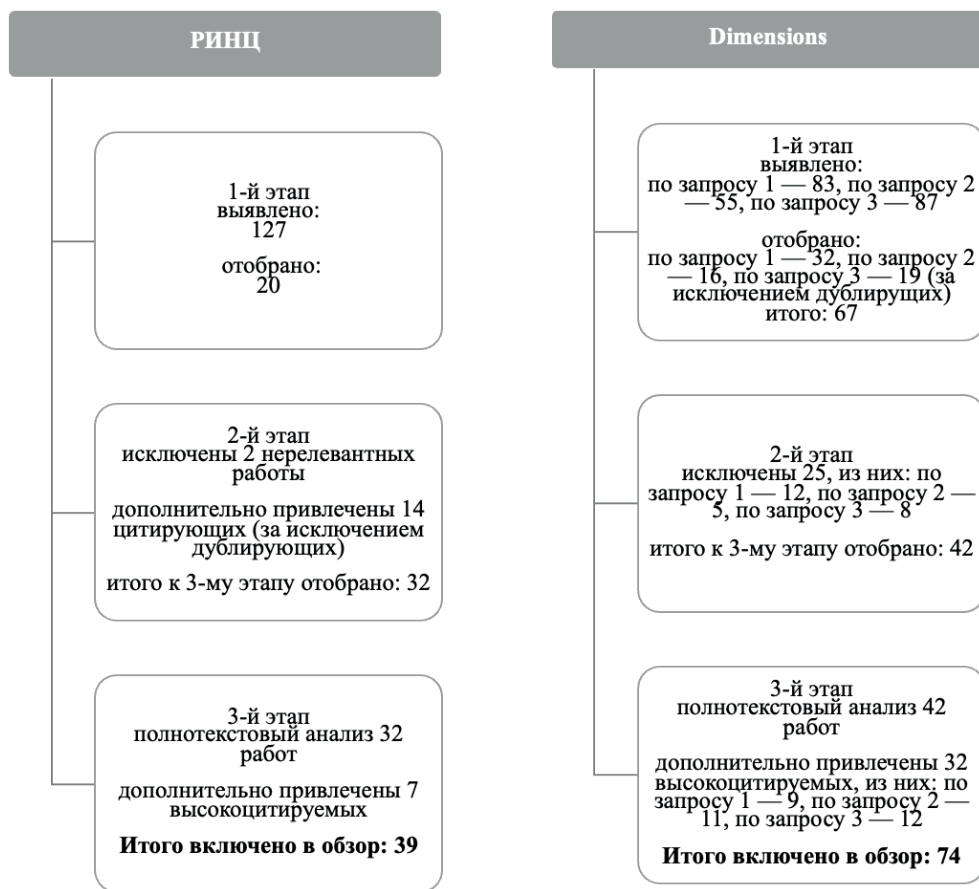


Рис. 1. Методика отбора публикаций к обзору

## Социальное участие людей старшего возраста: концепт и специфика

Социальное участие (social participation) — акт или факт вовлечения (involvement) людей в мероприятия или активности (Cambridge Dictionary<sup>4</sup>). Автор согласен с российскими учеными, которые отделяют социальное участие от гражданского или публичного, рассматривая их как части общественного (Никовская, 2017; Скалабан, 2011; Никовская, Скалабан, 2017; Певная и др., 2020). По аналогии с анализом активизма (Яницкий, 2015) предлагаем относить к гражданскому индивидуальные гражданские инициативы, реализуемые прямыми и публичными или непрямыми и непубличными методами, а к публичному — участие путем прямых и публичных методов в мас-

4. Cambridge Dictionary. Social participation. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/participation> (дата доступа: 20.01.2023)



совых публичных инициативных общественных движениях. Гражданское и публичное участие ориентированы на выражение гражданской позиции и достижение политических и социальных преобразований в вертикальных взаимодействиях.

Социальное участие шире, люди в нем стремятся не только к выражению гражданской позиции, социальным изменениям, но и к индивидуальному удовлетворению (Aroogh, Shahboulaghi, 2020), развитию и реализации потенциала (Скалабан, 2011: 137), достижению лично-значимых целей (получению услуг, поддержанию здоровья и статуса, обучению и развитию и пр.). Социальное участие реализуется с помощью разных методов и форм (как прямых и публичных, так и непрямых и непубличных) преимущественно в горизонтальных, межличностных отношениях (Никовская, 2017; Савельев, 2013: 65; Скалабан, 2011: 137), опирается на сотрудничество, взаимность, солидарность («самоорганизованную взаимность» и «гражданскую солидарность», Patnem, 1995), равноправие и общность целей и потребностей субъектов участия внутри их сообществ, отсутствие принуждения. Ключевым является совместное использование любых ресурсов (время, знания, компетенции, связи, финансовые, интеллектуальные, эмоциональные). Авторская попытка сравнительного анализа видов участия представлена в таблице (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительный анализ гражданского, публичного и социального участия

Вид участия	Тип инициатив	Формы и методы	Цель	Тип взаимодействий
гражданское	индивидуальные гражданские	прямые и публичные, непрямые и непубличные	выражение гражданской позиции, достижение политических и социальных результатов и преобразований	вертикальные
публичное	массовые публичные инициативные общественные движения	прямые и публичные	выражение гражданской позиции, достижение политических и социальных результатов и преобразований	вертикальные
социальное	индивидуальные гражданские и массовые публичные инициативные общественные движения	прямые и публичные, непрямые и непубличные	выражение гражданской позиции, достижение политических и социальных результатов и преобразований, решение лично-значимых задач	горизонтальные, межличностные

Социальное участие в старшем возрасте определяют как совместное использование ресурсов в значимой для людей деятельности, обеспечивающей взаимодействия с другими (Bukov, Maas, Lampert, 2002; Levasseur et al., 2022) в индивидуальных (дружеских, семейных, соседских, хобби и пр.) и коллективных отношениях (клубная, религиозная, волонтерская и пр. деятельность в группах, организациях, сообществах) (Amagasa et al., 2017; Aroogh, Shahboulaghi, 2020; Serrat et al., 2020). Всемирная организация здравоохранения рассматривает участие как многогранную деятельность пожилых людей в социальных, хозяйственных, культурных, духовных и гражданских делах, в дополнение к их участию в трудовой деятельности, как возможность для образования и обучения на протяжении всей жизни, участия в экономической и волонтерской деятельности, формальной и неформальной занятости, в жизни семьи, сообществ и пр. (Active Ageing: A Policy Framework, 2002: 51-52).

Социальное участие людей старшего возраста имеет свою специфику, ее понимание может существенно расширить представления о социальной активности как самих старших, так и представителей других социально-демографических групп. Во-первых, пожилые, старые люди и долгожители очень разные, их предпочтения и способы активности крайне сложно представить в общем виде. При этом практически каждый старший использует вместе с другими те или иные ресурсы, вовлекается в разные формы и пространства участия с разными мотивами, целями и смыслами. Уровень их социального участия варьирует от вовлечения до вовлеченности (Levasseur et al., 2010), от причастности до инициатив и усилий (Berry, Rodgers, Dear, 2007) с учетом пересекающихся особенностей статуса, целей, условий жизни, опыта участия и пр. Пожилые люди могут демонстрировать активное, реактивное, пассивное участие или неучастие (отказ от совместного с другими использования ресурсов) в силу состояния здоровья и мобильности, интересов и жизненного опыта, гендерного, семейно-супружеского статуса, ближайшего окружения, места, условий и образа жизни, инфраструктурных возможностей (Katagiri, Kim, 2018; Lam, Bolano, 2019; Yuying, Jing, 2022).

Во-вторых, ролевой набор и включенность людей в публичные и формальные отношения, как правило, снижается с возрастом, но сохраняется и даже усиливается значение и плотность неформальных (семейных, дружеских, соседских), скрытых от глаз, непубличных, интимных отношений. По данным отечественных исследователей, россияне в целом предпочитают неформальное участие (Воробьева, 2022), а пожилые люди в неформальной социальной активности испытывают более высокий уровень счастья (Синявская, Червякова, Карева, 2019). На неформальном уровне пожилые принимают участие в решении повседневных текущих дел в интересах членов своей семьи, ближайшего окружения, друзей и соседей, своего сообщества, двора, района (Bruggencate, Luijk, Sturm, 2017; Siette et al., 2021; Goto et al., 2022). Проявления социального участия могут быть публичными и доступными для исследования, но могут и часто реализуют-

ся неявно или непублично в неформальных пространствах дома, семьи, дружеского или соседского сообщества, церковного прихода: сообщение в Whats App о том, что информант жив и здоров с помощью пересылаемой картинки «Доброго утрачка!»; присутствие на мероприятиях локальных сообществ; прогулки, потребительские, культурно-досуговые практики; уход за супругом, детьми, внуками, оказание моральной поддержки, решение бытовых вопросов, семейный досуг и др. Некоторые практики реализуются опосредованно, например, посредством родственников, помогающих специалистов, организаций, технологий (в социальных сетях, по телефону, через письма, онлайн-сервисы). Учет социальных пространств участия, круга лиц, сетей и локаций, места и времени взаимодействий социальных субъектов по поводу совместного использования ресурсов, а также «производимых ими эффектов» (Харви, 2011: 32) поможет выявлять не только «видимые» активности, реализуемые публичными методами, но и скрытые в повседневных рутинных практиках и опосредованные. К тому же разные социальные пространства участия сопряжены с разными формами, целями, ролями и результатами: с партнерами хорошо заниматься спортом, с друзьями досугом, с детьми и внуками делать покупки или читать книги (Тое-роел, 2013).

Во включенных в обзор публикациях описаны взаимодействия пожилых людей в социальных сервисах, совместные практики получения услуг, потребительские практики, участие в решении проблем местных сообществ и повседневных задач, группы взаимопомощи, семейная, соседская и дружеская поддержка, практики межпоколенческой солидарности, волонтерство и благотворительность, путешествия или туризм, образование и творчество (музыка, театр, изобразительное искусство и пр.), публичная и непубличная культурно-досуговая, образовательная, спортивно-оздоровительная активность в клубах, центрах, салонах для пожилых, кохаузингах, местных сообществах (community), собственной семье или соседском кругу, трудовая постпенсионная занятость (бесплатная и оплачиваемая работа в формальном и неформальном секторе экономики), участие на основе информационных технологий (платформы, смартфоны, планшеты, социальные сети и пр.), гражданская и политическая активность, участие в принятии решений, развитии территорий, активизм и пр. Российские авторы помимо этого выделяют садоводство, огородничество, рыбалку (Парфенова, Галкин, 2023: 200).

Итак, социальное участие людей старшего возраста реализуется как совместное использование ресурсов в рамках социально-бытовой и потребительской, культурно-досуговой и образовательно-развивающей, спортивно-оздоровительной и коммуникативной, общественно-политической и религиозной, благотворительной и волонтерской и пр. деятельности в различных формах (явных и скрытых, прямых и косвенных, офлайн и онлайн, личных и опосредованных) и уровнях (от вовлечения, причастности до вовлеченности, инициатив и усилий) в публичных и непубличных пространствах и отношениях.

## Подходы к анализу социального участия людей старшего возраста

В исследованиях социального участия выделяется два основных подхода — социологический и политический (Carpentier, 2016; Dahlgren, Carpentier, 2013; Ананкин, 2020 и др.). Социологический отражает расширенное понимание участия как вовлечения во все виды и формы взаимодействий, в т.ч. пассивное присутствие в разных социальных пространствах, потребительские практики, процессы получения помощи. Политический подход обращен к участию как способу преодоления неравенств, расширению возможностей, гражданскому участию. Барбара Пискур и ее соавторы применительно к участию в старшем возрасте выделяют социально-потребительский (social consumer), инклюзивный (inclusion and participation) и расширяющий возможности (empowerment) подходы (Piškur et al., 2014). Социально-потребительский (social consumer) интересуется вовлечением человека старшего возраста в социальное участие с целью удовлетворения базовых личностно-значимых потребностей: поддержания жизни и ее достойного уровня, получения и совместного использования ресурсов, благ, социальных, медицинских, коммунальных и пр. услуг, а не их производства или трансляции. Для оценки участия в данном подходе важны показатели физической, психологической и социальной функциональности человека, способности к самообслуживанию, коммуникациям, труду, потребности в поддержке и ресурсах, их доступность. Инклюзивный подход связан с анализом целей, ресурсов и уровней вовлеченности и вовлечения в социальные взаимодействия и совместное использование ресурсов в целях социальной интеграции и самореализации, а не просто получения ресурсов. Empowerment-подход обращен к пожилому человеку не только как к субъекту самореализации и саморазвития, но и социальных изменений, его участие созидательно, требует реальных прав, равных возможностей, доступа к ресурсам, власти и самому участию. Empowerment-подход близок к политическому, а социологический интегрирует социально-потребительский и инклюзивный. Большинство публикаций, рассмотренных в обзоре, можно соотносить с позицией Б. Пискур или Н. Карпентье. Рассмотрим их детальнее для понимания аналитических моделей, способов интерпретации участия и применяемых инструментов и методов оценки.

### *Социальное участие в контексте дихотомии социологического и политического (sociological — political) подходов.*

В социологическом подходе участие предполагает разные уровни (от вовлечения, причастности, приверженности, доступности до вовлеченности) и формы взаимодействий, в т.ч. потребление, присутствие в социальных практиках, коммуникации с людьми, технологиями, медиатекстами (Carey, 2009: 15). Политический подход относит к участию только проактивные формы вовлеченности (engagement), «партиципаторное» и «прямое» участие, исключая вовлечение, присутствие, пассивную или косвенную (опосредованную) причастность, горизонтальные отноше-

ния, рекламные, коммерческие, потребительские практики (Carpentier, 2016), рассматривает теорию участия как совокупность дискурсов, целью которых является описание, объяснение и прогнозирование практики принятия решений субъектами, находящимися в несбалансированных властных отношениях, и исправление этих дисбалансов (Dahlgren, Carpentier, 2013: 309).

Полагаем, анализ участия в старшем возрасте должен строиться на социологическом подходе. Для пожилых людей физический, экономический, правовой, социальный доступ к потребительским, досуговым, коммуникативным, образовательным и иным ресурсам и услугам определяет включенность или исключение, право или бесправие, хотя это не всегда артикулируется. Так, близость больницы, магазина, лавочки, пешеходного перехода или необходимой для пожилого человека социальной услуги в муниципальном центре социального обслуживания (а также ее стоимость, качество, наличие некоммерческих и коммерческих альтернатив и само знание или неосведомленность о ней) может влиять на стремление или отказ от необходимых благ, услуг, форм активности. То есть потребительские практики, использование пространств или получение социальной помощи соотносятся с понятием участия не только в социологическом, но и политическом контексте (доступ, право, власть). В старшем возрасте значительная часть взаимодействий реализуется в ближайшем окружении или опосредованно, в формах непрямого и непубличного участия, что также вступает в противоречие с политическим подходом.

Однако отметим ряд идей, которые считаем важным заимствовать из политического подхода. Это трансгрессивность, возможность кумулятивного расширения участия из одной сферы к другим, от одного уровня к другому, принцип связи участия и неучастия (участие в одном поле становится возможным за счет или ценой отказа от других) (Carpentier, 2016: 78); идея альтернативных форм участия, обусловленных «разочарованием», «маргинальностью», «ощущением того, что господствующая политическая система исключает» (Dahlgren, Carpentier, 2013: 311). В социологическом подходе эти идеи ценны для анализа доступа к участию в старшем возрасте. Так, принцип связи участия и неучастия объясняет отказ от «серебряного» волонтерства при наличии работы или забот о внуках, детях, супругах, родителях. Идея альтернатив полезна при описании манипулятивных, исключающих, ограничивающих практик (Arnstein, 1969) как причин отказа от участия (неучастия), его имитаций (квазиучастия, формального присутствия без реального интереса и самостоятельной активности) или новых форм участия, причем как конструктивных, так и социально деструктивных (участие в секте, алкоголизированной среде).

*Социальное участие людей старшего возраста как вовлечение и вовлеченность: инклюзивный (inclusion and participation) подход.*

Социальное участие в русле инклюзивного подхода понимается как основа и условие социальной интеграции и самореализации пожилых людей. Особое внимание

в нем уделяется формам, факторам, степени или уровням вовлеченности, целям участия, ресурсам и ролям пожилых людей. К широко известным инструментам оценки участия относится Индекс активного долголетия (ИАД), который измеряет способность активно стареть, уровень независимой жизни, участия в оплачиваемой работе и общественной деятельности (в т.ч. социальное участие, «participation in society» как участие в волонтерской деятельности, уходе за детьми и внуками, пожилыми и политическое участие) (Active Ageing Index (AAI) in non-EU countries..., 2018). Несмотря на расширенное понимание участия в рамках политики активного старения, ИАД ориентирован на большие данные и заметные, хорошо «видимые» проактивные формы участия, поэтому не учитывает весь «богатый репертуар социальной активности и участия пожилых» (Парфенова, Галкин, 2023: 200). Российский индекс благополучия старшего поколения в подразделе «социальные измерения» (аналог социального участия) включает еще меньше параметров: участие в деятельности общественных, добровольных, благотворительных организаций и посещение культурных или развлекательных мероприятий (Павлова и др., 2018: 29). Подобные инструменты и индексы ориентированы на большие данные, не подходят для малых выборок и качественных исследований, к тому же различия подходов к участию в разных странах, культурах и средах соседства, самих статистических данных и методов их сбора ставят под вопрос сопоставимость методик оценки, требуя учета национально-культурной специфики (Hashidate et al., 2021).

В национальных опросах выделяют три уровня участия (низкий, средний и высокий, выделяя их на основе полученных данных). Японские ученые Кейко Катагири и Джу-Хён Ким называют четыре типа участия: отсутствие принадлежности, неактивное, активное рекреационное и активное социальное (Katagiri, Kim, 2018). Хелен Берри и ее соавторы на основе оценки степени вовлеченности предложили три уровня участия пожилых людей: приверженность, инициатива и усилия (Berry et al., 2007) и разработали Австралийский опросник участия в сообществах (Australian Community Participation Questionnaire, ACPQ-SF15), компактный и хорошо известный в мире (Brett et al., 2019; Siette et al., 2021 и др.). Х. Берри обнаружила 4 типа участников старшего возраста: «элита социального капитала», «работающие родители», «снижающие участие по мере старения» и «вытесненные участники» (Berry, 2008). Продуктивным видится подход германских ученых Алексея Букова и соавторов, которые предложили измерять социальное участие через цели и ресурсы, выделив коллективное (деятельность ориентирована на интересы группы, главный ресурс в ней время), производительное (направлено на оказание услуг, поддержки, его ресурс — компетенции и способности) и политическое участие (нацелено на распределение власти и ресурсов, его основной ресурс социальные знания и компетенции) (Bukov, Maas, Lampert, 2002). Ими отмечается накопительный, кумулятивный характер опыта участия и взаимопроникновение уровней, что соотносится с идеей трансгрессивности, связи участия и неучастия Н. Карпентье.



Канадские ученые Мелани Левассер и соавторы выделили шесть уровней социального участия личности в отношениях с другими (Levasseur et al., 2010): «социальное вовлечение» (involvement) включает пассивные и реактивные формы участия 1-го (подготовка к общению) и 2-го (нахождение с другими) уровней, активные формы отнесены к 3-му (взаимодействия) и 4-му уровням (совместная деятельность), проактивная деятельность характеризует «социальную вовлеченность» (engagement) 5-го (помощь другим) и 6-го уровней (вклад в общество). Такая «лестница» позволяет изучать вовлеченность активных и вовлечение менее активных пожилых людей по мере снижения здоровья и мобильности, неявные формы («квазинеучастие»), показывая, что они не исключены из участия (Dyppen et al., 2019). Разные ученые предлагают свои варианты операционализации типологии М. Левассер (Dyppen et al., 2019; Hashidate et al., 2021 и др.), имеются расхождения, особенно на уровнях вовлечения. Снижению рисков субъективности или низведения социального участия до физической функциональности может служить ориентация на классические признаки социального действия («действия» М. Вебера в переводе А. Филиппова): соотнесение с субъективным смыслом, ориентация на других (Вебер, 2008) и маркеры социального участия (взаимодействие, осознанная активность, совместное использование ресурсов). Считаем использование инклюзивного подхода с опорой на типологию М. Левассер наиболее продуктивным путем анализа участия в старшем возрасте, особенно в сочетаниях с анализом целей и ресурсов пожилых людей и их сообществ.

### *Социальное участие людей старшего возраста как расширение возможностей: empowerment-подход.*

Изучение участия как расширения прав и возможностей опирается на методологию гражданского участия и empowerment-подход, обращено к пожилому человеку как субъекту социальных изменений, а не только самореализации и саморазвития. В основе empowerment лежит ресурсный подход, взгляд на пожилого человека как обладающего потенциалом, опора на сильные стороны и вовлечение в практики социального участия. В опыте участия растут компетенции, связи, статус человека старшего возраста. В процессе взаимодействий, интеграции и обмена ресурсами вовлеченных в участие субъектов повышается опыт, статус и роль самих возрастных сообществ. Пожилые люди и их сообщества начинают совместно решать значимые социальные проблемы, менять окружающие пространства, преодолевать неравенства, становятся трансляторами культуры участия и солидарности. Однако речь идет о наличии реальных, а не формальных прав, доступа к благам, власти, изменениям и самому участию, об участии как партнерстве, делегировании полномочий, гражданском контроле, в то время как в социальной практике доминируют формы символического участия, подавления и манипулирования (Arnstein, 1969). В социальной работе, политике и практике пожилые люди могут привлекаться к участию в клубной, волонтерской деятельности, оценке программ

городского развития или социальных услуг не для реальных изменений или выявления их собственных интересов, а ради целей субъектов заботы, формальной отчетности. Это снижает мотивацию и результаты участия. Люди могут «устать быть активными» (Kamruzzaman, 2020). В случаях, когда участие не сопровождается реальным предоставлением участникам власти и полномочий, оно рискует превратиться в инструмент манипуляций, исключения и подавления, контроля вместо инклюзии (White, 1996: 143), как выразилась Шэрри Арнштейн: «Участие без перераспределения власти — это пустой и разочаровывающий процесс для бессильных» (Arnstein, 1969: 217).

В русле empowerment-подхода обсуждаются неравенства доступа людей старшего возраста к участию (Yuying, Jing, 2022; Goto et al., 2022), технологии расширения возможностей в социальной и медицинской работе, в локальных сообществах (Iwasaki, Hirai, Aminaka, 2019; Wildman et al., 2019; Lee, Song, 2015; Medical Advisory..., 2008; Kam, 2002; Kam, 2003), проблемы доступной или дружественной к возрасту среды, достойного социального обеспечения и обслуживания и пр. В самом участии сталкиваются интересы субъектов и сторон, возникают конфликты, отношения власти и подчинения, а не только освобождения, солидарности, инклюзии (White, 1996). Анализ социального участия на основе «лестницы Арнштейн» (Arnstein, 1969; White, 1996; Kamruzzaman, 2020 и др.) может способствовать оценке вклада и продуктивному использованию потенциала людей старшего возраста как мощного, но недооцененного ресурса общественных преобразований.

### *Социальное участие в старшем возрасте в контексте социально-потребительского (social consumer) подхода.*

Данный подход учитывает, что пожилые люди вовлекаются в социальное участие с целью удовлетворения собственных лично и социально значимых потребностей, в т.ч. поддержания жизни и ее достойного уровня, получения благ и услуг, совместного использования ресурсов, а не их производства пожилым человеком или возрастными сообществами. Социально-потребительский подход ориентируется на определение и обеспечение свободы и полноты социального функционирования человека старшего возраста через анализ его потребностей (в социально-медицинских, материально-технических, социокультурных и иных ресурсах и услугах) и участия в повседневных практиках (бытовых, потребительских, коммуникативных, трудовых, рекреационных и пр.). Для оценки используются методики с отсылкой или на основе Международной классификации функциональности, инвалидности и здоровья ВОЗ (МКФ)<sup>5</sup> (Internation-

5. Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). ВОЗ. Классификации. ICF. URL: <http://who-fic.ru/icf/> (дата доступа: 18.01.2023); Области применения Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). URL: <http://who-fic.ru/icf/appareas/> (дата доступа: 18.01.2023). Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) является международным стандартом ВОЗ в области измерения состояния здоровья и инвалидности как на уровне

al classification of functioning, disability and health of World Health Organization, ICF)<sup>6</sup>; шкалы участия и автономии (Participation and Autonomy Questionnaire, IPA)<sup>7</sup>; сортировки карт активности (Activity Card Sort, ACS)<sup>8</sup>; оценки жизненных привычек (Assessment of Life Habits, LIFE-H)<sup>9</sup> и др. Исследования в данном русле ведут ученые и исследовательские центры Великобритании (Sibley et al., 2006; Magasi, Post, 2010; Wilkie et al., 2011), Нидерландов (Mars et al. 2009), США (Jette, Haley, Кооуоомjian, 2002), Канады (Desrosiers, Noreau, Rochette, 2004) и др. Они выбирают и конструируют шкалы, проверяя их релевантность и состоятельность для конкретных исследовательских задач и социокультурных пространств (van Brakel et al., 2006). Одни исследователи оценивают физическую, психологическую, социальную функциональность людей старшего возраста, другие — способность к участию в повседневных активностях (передвижение, самообслуживание, контакты и пр.), третьи ищут связи участия с показателями здоровья и мобильности, удовлетворенности и счастья, благополучия и качества жизни, социальной заботы и ухода (Dawson-Townsend, 2019; Reynolds et al., 2022 и др.), четвертые планируют процессы и технологии обеспечения пожилых социальными, медицинскими, коммерческими, рекреационными и иными ресурсами. Подход особенно актуален для исследований и проектирования жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями, ослабленным здоровьем и мобильностью, для планирования, оценки и развития социальной политики старения, в т.ч. долговременного ухода, стационарной заботы, социально-медицинских вмешательств.

В два последние десятилетия социально-потребительский подход претерпевает существенные изменения в связи с переосмыслением потребительства и гражданства (*citizen consumer*), развития теорий потребительства, участия и гражданственности (Abbott, Fisk, Forward, 2000; Clarke, 2006) и со-продуктивности (Brudney, England, 1983; Needham, 2008; Bovaird et al., 2016; Mortensen, Needham, 2022 и др.). Основу гражданства составляют ценности солидарности, равенства, справедливости и участия, реализуемые в практиках справедливого распределения ресурсов и государственных услуг (здравоохранение, образование, социаль-

---

индивида, так и на уровне населения через оценку функций, структур организма, социальной активности и участия в общественной жизни. МКФ была официально одобрена всеми странами — членами ВОЗ на 54-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 22 мая 2001 г. (резолюция WHA 54.21). Показатели активности и участия по методике МКФ включают огромный спектр показателей, которые в реальных исследовательских практиках существенно урезаны, используются избирательно, прежде всего ввиду того, что весь спектр показателей невозможно практически измерить в полном объеме.

6. International classification of functioning, disability and health of World Health Organization. URL: <https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health> (дата доступа: 17.01.2023)

7. Participation and Autonomy Questionnaire (IPAQ). URL: <https://scireproject.com/outcome/impact-on-participation-and-autonomy-questionnaire-ipaq/> (дата доступа: 10.04.2023)

8. Activity Card Sort (ACS). URL: <https://strokengine.ca/en/assessments/acs/> (дата доступа: 10.04.2023)

9. Assessment of Life Habits (LIFE-H). URL: <https://strokengine.ca/en/assessments/assessment-of-life-habits-life-h/> (дата доступа: 10.04.2023)

ная поддержка). Массовые государственные услуги бывают неэффективными, произвольными и принудительными («клиенты берут то, что им дают, и благодарны за это») (Needham, 2008: 7), но их приватизация и маркетингизация в европейских странах в 1990-е гг. усилила индивидуализм, расслоение, имитацию выбора. Людей поощряют думать о себе как о клиентах, изучение голосов граждан подменяется маркетинговыми исследованиями, социальные услуги продаются, но рыночный выбор не гарантирует справедливости, вопросы демократии и общественного блага, как и само гражданство, вытесняются из общественных услуг (Needham, 2008: 9-12). На принципах со-продуктивности потребитель-гражданин осведомлен, обладает доступом к участию, принятию решений и несет за них ответственность, но на него не перекладываются все затраты и риски. Взаимодействия людей, сообществ, власти, поставщиков услуг и пр. строятся на основе доверия, диалога, активности, учета интересов и «выгод» всех сторон. В данном подходе изучается жизнь пожилых людей в пространствах социальных сервисов, государственных услуг (право выбора услуг, помощников, служб, участие в наборе персонала домов-интернатов или планировании меню для доставки на дом горячего питания) (Abbott, Fisk, Forward, 2000; Vidler, Clarke, 2005; Baur, 2012 и др.). В теориях со-продуктивности, потребительства, участия и гражданственности социально-потребительский подход соединяется с расширенным пониманием участия (социологический, инклюзивный подходы) и критическими возможностями empowerment-подхода с акцентом на права, полномочия, доступ к ресурсам, услугам и самому участию, их планированию, финансированию, проектированию, исследованиям и оценкам. Этот подход превращается в гибкий и мощный инструмент исследований и расширения прав и возможностей пожилых людей, которых принято считать объектами заботы, потребителями услуг, «благополучателями» или «клиентами», обосновывает право каждого быть субъектом участия, позволяет увидеть и услышать тех пожилых, которые исключались из дискурса о субъектности и участии.

## Выводы

В результате систематического обзора нами выявлены множественные подходы к анализу социального участия людей старшего возраста, каждый из которых предлагает собственное содержание концепта, арсенал методов и измерительных процедур. При огромной вариативности выбор инструментов измерения и оценки социального участия людей старшего возраста связан с тщательной проработкой дизайна исследования с учетом его целей, контекста и преемственности теоретических и эмпирических составляющих. Как качественные, так и количественные, как типовые, так и авторские инструменты предназначены для решения конкретных исследовательских или клинических задач, специфических социальных, культурных пространств. Механическое применение даже зарекомендовавших себя методик, несоблюдение условий, использование количественных методик в каче-

ственных исследованиях и пр. может привести к рассогласованности концепта и его эмпирических индикаторов, искажениям или отсутствию результатов.

Традиционными для анализа социального участия (social participation) в целом являются два подхода — социологический и политический. Первый к участию относит практически все виды деятельности как в пассивной, так и в активной форме (от социального потребления до активизма), второй обращен к проактивным формам гражданского участия. Автор придерживается социологического подхода, что позволяет изучать не только вовлеченность, но и вовлечение, пассивные и реактивные, неявные и опосредованные формы участия, соответственно, включать в исследовательское поле не только активных социальных субъектов публичных процессов и практик участия, но людей, испытывающих трудности в самообслуживании, передвижениях, коммуникациях, «невидимых стариков» в «невидимых» практиках, живущих вне институтов и публичных отношений, тех, кого обычно рассматривают как пассивных объектов заботы или вообще не замечают, исключая из дискурса о субъектности и участии.

В исследованиях участия людей старшего возраста применяются соотносимые с социологическим и политическим, но более гибкие социально-потребительский, инклюзивный и empowerment-подходы.

Социально-потребительский подход (social consumer) рассматривает социальное участие человека старшего возраста как способ удовлетворения его базовых лично значимых потребностей, поддержания жизни и ее достойного уровня, получения и совместного использования ресурсов, благ, социальных, медицинских, коммунальных и иных услуг, а не их производства или трансляции. Подход необходим и востребован в клинической социальной, психологической, социально-медицинской работе, социальных сервисах, системах долговременного и паллиативного ухода. Для оценки участия в данном подходе важны показатели физической, психологической, социальной функциональности, способности к самообслуживанию, коммуникациям, труду, потреблению, потребностей в поддержке, что предполагает опору на опросные методы на основе МКФ и другие типовые методики оценки функциональности, инвалидности и здоровья.

Инклюзивный подход ориентирован на анализ взаимодействий, в которых совместное использование ресурсов способствует социальной интеграции и самореализации, а не просто получению нужных ресурсов и поддержанию жизни. В данном подходе важен не только анализ форм и видов деятельности, их частоты, но и связей с социально-демографическими, средовыми и иными факторами, а также мотивов, целей, ролей пожилых людей в практиках участия, используемых ими ресурсов, уровней вовлечения и вовлеченности, оценки результативности, в т.ч. в субъективном измерении (через самооценки влияния участия на самочувствие, благополучие, включенность, саморазвитие). В данном подходе количественные опросные методы на основе авторских методик или анализ данных национальных опросов часто сочетаются с качественными методами (интервью, автобиографии, фокус-группы, кейсы, исследования-внедрения и пр.).

Empowerment-подход обращен к пожилому человеку не только как к субъекту самореализации и саморазвития, его участие рассматривается как вовлеченность, созидательная проактивная деятельность, гражданское участие с целью реализации гражданской позиции и влияния на социальные изменения. Такое участие невозможно без рассмотрения пожилого человека как наделенного силой и потенциалом, «голосом» и правами, полномочиями и возможностями для изменений. Это требует анализа не только статистических данных об участии или субъективных мнений, но и оценки доступа к ресурсам, власти, самому участию, критического поиска «невидимых» форм, неартикулируемых мотивов, скрытых факторов участия, неучастия или псевдоучастия, их взаимосвязей с учетом трансгрессивности с опорой на «лестницу Арнштейн» и методологию гражданского участия.

Продуктивной может стать обоснованная интеграция элементов социально-потребительского, инклюзивного и empowerment-подходов, например, с опорой на теории потребительства, участия и гражданственности и концепции со-продуктивности. При операционализации социального участия пожилых людей мы предлагаем использовать комплексный анализ форм и уровней, целей и ресурсов, полномочий участников, «ценностной формы участия» (Уханова, 2021: 91), условий, барьеров и возможностей с учетом принципов трансгрессивности, связи участия и неучастия (Carpentier, 2016). В поле социологического анализа попадают все формы участия (явные и скрытые, прямые и опосредованные, публичные и непубличные) всех уровней (пассивные, реактивные, активные, проактивные), если анализ социальной функциональности пожилого человека строить на уровневых подходах и расширенном понимании участия как вовлечения, а не только вовлеченности. В сочетании с принципами empowerment внимание к доступности самого участия, реальным правам и полномочиям пожилых людей в практиках участия позволит выявлять структурные неравенства, скрытые формы, мотивы и факторы участия или неучастия (отказа от социального обслуживания или практик активного долголетия в силу их недоступности, низкого качества, имитаций участия при отсутствии права выбора). Важным видится учет различных социальных пространств (локаций) участия (явных и скрытых, публичных и непубличных, прямых и опосредованных) и изучение не только позитивных, но и негативных или конфликтных, т. е. разных эффектов участия разных видов и форм для разных участников в разных ситуациях и пространствах.

Понимание социального участия в старшем возрасте как многообразия видов деятельности различных уровней и форм на основе социологического и уровневого подходов и интеграция элементов социально-потребительского, инклюзивного и empowerment-подходов позволит гибко учитывать личностные, социально-средовые и институциональные факторы, влияющие на участие в старшем возрасте, замечать «невидимый» вклад и переосмысливать стереотипы социальной пассивности людей старшего возраста, конструируя пространства участия на принципах дружелюбности к возрасту и со-продуктивности, позволяя людям старшего возраста выступать и чувствовать себя социальными субъектами.



## Литература

- Ананкин С. В. (2020). Современное понимание участия в политической науке // Известия Тульского государственного университета. № 12. С. 12-19.
- Вебер М. (2008). Основные социологические понятия // Социологическое обозрение. Т. 7. № 2. С. 86-127.
- Воробьева И. Н. (2022). Социальное участие: новые ракурсы измерения // Проблемы развития территории. Т. 26. № 2. С. 73-92.
- Галкин К. А. (2023). Активность и стратегии заботы о здоровье пожилых людей: городской и сельский контекст // Наука. Культура. Общество. Т. 29. № 1. С. 130-142.
- Киенко Т. С., Гнедьшева И. Н. (2022). Люди старшего возраста и социальное участие: явные и скрытые формы, «слепые зоны» и трансформации в условиях пандемической и постпандемической реальности // Векторы благополучия: экономика и социум. Т. 46. № 3. С. 30-42.
- Киенко Т. С., Птицына Н. А., Маркова Е. К., Певная М. В., Теленаева Д. Ф., Кайгородова Л. А., Гнедьшева И. Н., Тихомирова В. Р., Браверман Д. В., Лаптурова М. В., Акаева А. Д., Давыдова М. В., Коптева А. В. (2021). Расширение возможностей (empowerment) людей старшего возраста в практиках самоорганизации и активности. Ростов/н/Д: Фонд науки и образования.
- Колпина Л. В. (2018). Социальный активизм пожилого населения Белгородской области // Среднерусский вестник общественных наук. Т. 13. № 2. С. 37-49.
- Нацун Л. Н. (2021). Вовлеченность в социальные контакты как компонент и фактор активного долголетия // Международный демографический форум «Демография и глобальные вызовы». Материалы форума. Воронеж: ООО «Цифровая полиграфия». С. 1132-1137.
- Непочатых Е. П., Стекачева Е. С. (2021). Особенности активного долголетия граждан старшего поколения с разным уровнем социальной активности // Коллекция гуманитарных исследований. Т. 2. № 27. С. 24-33.
- Никовская Л. И. (2017). Гражданское участие и государство: рост запроса на публичность и диалог // Отечественные традиции государственного управления и современность: материалы научно-общественного Новгородского форума. Государственный университет управления. М.: ГУУ. С. 33-39.
- Никовская Л. И., Скалабан И. А. (2017). Гражданское участие: особенности дискурса и тенденции реального развития // Полис. Политические исследования. № 6. С. 43-60.
- Павлова И. А., Монастырный Е. А., Гуменников И. В., Барышева Г. А. (2018). Российский индекс благополучия старшего поколения: методология, методика, апробация // Журнал исследований социальной политики. Т. 16. № 1. С. 23-36.
- Парфенова О. А., Галкин К. А. (2023). Социальная активность и участие пожилых россиян в контексте активного долголетия // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 26. № 1. С. 200-223.
- Потехина И. П., Чижов Д. В. (2016). Потенциал старшего поколения как составляющая национального человеческого капитала (по материалам исследования в ре-

- гионах ЦФО) // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. Т. 2. № 132. С. 3-23.
- Певная М. В., Шуклина Е. А., Тарасова А. Н., Асоян Л. А. (2020). Социальное участие студенчества России и Армении в социокультурном развитии городов // Высшее образование в России. Т. 29. № 7. С. 43-55.
- Петухова И. С. (2018). Старение по месту жительства // Клиническая геронтология. Т. 24. № 9-10. С. 50-52.
- Прохорова Л. В. (2019). Пожилые люди и «серебряное» волонтерство: реальные кейсы // Вестник Новосибирского университета экономики и управления. № 3. С. 248-259.
- Савельев Ю. Б. (2013). Основные типы участия в общественной жизни европейских стран // Социологические исследования. № 12. С. 64-71.
- Синявская О. В., Червякова А. А., Карева Д. Е. (2019). Помогающие и счастливые? Влияние социальной активности на счастье людей старше 50 лет в европейских странах // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. № 6. С. 237-258.
- Скалабан И. А. (2011). Социальное, общественное и гражданское участие: к проблеме осмысления понятий // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. Т. 1. № 13. С. 130-139.
- Уханова Ю. В. (2021). Коллективные практики и потенциал гражданского участия локального сообщества (социологическое исследование в российских регионах) // Проблемы развития территории. Т. 25. № 1. С. 88-107.
- Харви Д. (2011). Пространство как ключевое слово // Философско-культурологический журнал ТОПОС. № 1. С. 10-38.
- Яницкий О. Н. (2015). Общественный активизм в России: вчера и сегодня // Власть. Т. 23. № 2. С. 53-60.
- Abbott S., Fisk M., Forward L. (2000). Social and Democratic Participation in Residential Settings for Older People: Realities and Aspiration // Ageing and Society. Vol. 20. № 3. P. 327-340.
- Active Ageing: A Policy Framework (2002). World Health Organization. URL: [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67215/WHO\\_NMH\\_NPH\\_02.8.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf?sequence=1&isAllowed=y) (дата доступа: 18.01.2023)
- Active Ageing Index (AAI) in non-EU countries and at subnational level: Guidelines (2018). UNECE. European Commission, prepared by Maria Varlamova of the National Research University, Higher School of Economics (Moscow), under contract with United Nations Economic Commission for Europe (Geneva), co-funded by the European Commission's Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion (Brussels). URL: [https://unece.org/sites/default/files/2021-07/AAI\\_Guidelines\\_final\\_RUS.pdf](https://unece.org/sites/default/files/2021-07/AAI_Guidelines_final_RUS.pdf) (дата доступа: 18.01.2023)
- Amagasa S., Fukushima N., Kikuchi H., Oka K., Takamiya T., Odagiri Y., Inoue S. (2017). Types of Social Participation and Psychological Distress in Japanese Older Adults: A Five-Year Cohort Study // PLoS ONE. Vol. 12. № 4. Article e0175392. P. 1-12.

- Arnstein S. R.* (1969). A Ladder of Citizen Participation // *Journal of the American Institute of Planners*. Vol. 35. № 4. P. 216-224.
- Anderberg P., Abrahamsson L., Berglund J. S.* (2021). An Instrument for Measuring Social Participation to Examine Older Adults' Use of the Internet as a Social Platform: Development and Validation Study // *JMIR Aging*. Vol. 4. № 2. P. e23591. URL: <https://aging.jmir.org/2021/2/e23591> (дата доступа: 18.01.2023)
- Aroogh M. D., Shahboulaghi F. M.* (2020). Social Participation of Older Adults: A Concept Analysis // *International Journal of Community Based Nursing and Midwifery*. № 8. P. 55-72.
- Belén Z. R., Montserrat G. — A.* (2019). Family as a Source of Intergenerational Solidarity. Special Attitude to Senior Societies: Example of Spain // *Logos et Praxis*. Vol. 17. № 4. P. 95-109.
- Berry H. L., Rodgers B., Dear K. B. G.* (2007) Preliminary Development and Validation of an Australian Community Participation Questionnaire: Types of Participation and Associations with Distress in a Coastal Community // *Social Science and Medicine*. Vol. 64 № 8. P. 1719-1737.
- Berry H.* (2008). Social Capital Elite, Excluded Participators, Busy Working Parents and Aging, Participating Less: Types of Community Participators and their Mental Health // *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*. Vol. 43. № 7. P. 527-537.
- Bovaird T., Stoker G., Jones T., Loeffler E., Roncancio M. P.* (2016). Activating Collective Co-Production of Public Services: Influencing Citizens to Participate in Complex Governance Mechanisms in the UK // *International Review of Administrative Sciences*. Vol. 82. № 1. P. 47-68.
- Bowes A., McColgan G.* (2013). Telecare for Older People: Promoting Independence, Participation, and Identity // *Research on Aging*. № 35. P. 32-49.
- Brett L., Georgiou A., Jorgensen M., Siette J., Scott G., Gow E., Lockett G., Westbrook J.* (2019). Ageing Well: Evaluation of Social Participation and Quality of Life Tools to Enhance Community Aged Care (Study Protocol) // *BMC Geriatrics*. № 19 Article. 78. P. 1-8.
- Baur V. E.* (2012). Participation & Partnership: Developing the Influence of Older People in Residential Care Homes. URL: <https://research.vu.nl/en/publications/participation-amp-partnership-developing-the-influence-of-older-p> (дата доступа: 10.04.2023).
- Brudney J. L., England R. E.* (1983). Toward a Definition of the Coproduction Concept // *Public Administration Review*. № 43. P. 59-65.
- Bruggencate T., Luijk K. G., Sturm J.* (2017). Social Needs of older People: A Systematic Literature Review // *Ageing and Society*. Vol. 38. № 9. P. 1745-1770.
- Bukov A., Maas I., Lampert T.* (2002). Social Participation in Very Old Age: Cross-Sectional and Longitudinal Findings from BASE // *The Journals of Gerontology: Series B*. Vol. 57. № 6. P. 510-517.
- Burholt V., Nash P., Naylor D., Windle G.* (2010). Training Older Volunteers in Gerontological Research in the United Kingdom: Moving Towards an Andragogical and Emancipatory Agenda // *Educational Gerontology*. Vol. 36. № 9. P. 753-780.

- Carey M. (2019). Some Limits and Political Implications of Participation within Health and Social Care for Older Adults // *Ageing & Society*. Vol. 39. № 8. P. 1691-1708.
- Carpentier N. (2016). Beyond the Ladder of Participation: An Analytical Toolkit for the Critical Analysis of Participatory Media Processes // *Javnost — The Public*. Vol. 23. № 1. P. 70-88.
- Celdrán M., Serrat R., Villar F., Montserrat R. (2022). Exploring the Benefits of Proactive Participation among Adults and Older People by Writing Blogs // *Journal of Gerontological Social Work*. Vol. 65. № 3. P. 320-336.
- Cheng S. — T., Chan W., Chan A. C. M. (2008). Older People's Realisation of Generativity in a Changing Society: The case of Hong Kong // *Ageing & Society*. Vol. 28. № 5. P. 609-627.
- Clarke J. (2006). Consumers, Clients or Citizens? Politics, Policy and Practice in The Reform of Social Care // *European Societies*. Vol. 8. № 3. P. 423-442.
- Dadswell A., Wilson C., Bungay H., Munn-Giddings C. (2017). The Role of Participatory Arts in Addressing the Loneliness and Social Isolation of Older People: A Conceptual Review of the Literature // *Journal of Arts & Communities*. Vol. 9. № 2. P. 109-128.
- Dahlgren P., Carpentier N. (2013). The Social Relevance of Participatory Theory // *Comunicazioni Sociali*. № 3. P. 301-315. URL: [http://www.vitaepensiero.it/scheda-articolo\\_digital/nico-carpentier-peter-dahlgren/the-social-relevance-of-partecipatory-theory-001200\\_2013\\_0003\\_0301-166635.html](http://www.vitaepensiero.it/scheda-articolo_digital/nico-carpentier-peter-dahlgren/the-social-relevance-of-partecipatory-theory-001200_2013_0003_0301-166635.html) (дата доступа: 02.02.2023)
- Dawson-Townsend K. (2019). Social Participation Patterns and their Associations with Health and Well-Being for Older Adults // *SSM — Population Health*. № 8. Article. 100424. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235282731830380X?via%3Dihub> (дата доступа: 15.03.2023)
- Derhun F. M., Scolari G. A. S, Puig-Llobet M., Salci M. A., Baldissera V. D. A., Carreira L. (2019). Participation in University Activities for the Elderly: Motivations of Brazilian and Spanish Seniors // *Revista Brasileira de Enfermagem*. Vol. 72. № 2. P. 104-110.
- Desrosiers J., Noreau L., Rochette A. (2004). Social Participation of Older Adults in Quebec // *Aging Clinical and Experimental Research*. № 16. P. 406-412.
- Doppler J., Gradl C., Sommer S., Rottermann G. (2018). Improving User Engagement and Social Participation of Elderly People Through a TV and Tablet-Based Communication and Entertainment Platform // *Miesenberger K., Kouroupetroglou G. (eds.) Computers Helping People with Special Needs. ICCHP 2018. Lecture Notes in Computer Science*. Springer. Vol. 10897. P. 365-373.
- Duppen D., Lambotte D., Dury S., Smetcoren A. — S., Pan H., De Donder L. (2019). Social Participation in the Daily Lives of Frail Older Adults: Types of Participation and Influencing Factors // *The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences*. Vol. 75. № 9. P. 2062-2071.
- Fan Q. (2016) Utilizing ICT to prevent loneliness and social isolation of the elderly. A literature review // *Cuadernos de Trabajo Social*. Vol. 29. № 2. P. 185-200.
- Feldman P. H., Oberlink M. R. (2003). Developing Community Indicators to Promote the Health and Well-Being of Older People // *Family & Community Health*. Vol. 26. № 4. P. 268-274.

- Fočić A. (2017). Overcoming Social Exclusion and Promoting Dignity of Older People in a Post-War Country//International Journal of Integrated Care. Vol. 17. № 5. Article 491. P. 1-8.
- Fu J., Jiang Z., Hong Y., Liu S., Kong D., Zhong Z., Luo Y. (2021). Global Scientific Research on Social Participation of Older People from 2000 to 2019: A Bibliometric Analysis//International Journal of Older People Nursing. Vol. 16. № 1. Article e12349. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/opn.12349> (дата доступа: 15.03.2023)
- Greenfield E. A. (2016). Support from Neighbors and Aging in Place: Can NORC Programs Make a Difference?//The Gerontologist. Vol. 56. № 4. P. 651-659.
- Goto R., Ozone S., Kawada S., Yokoya S. (2022). Gender-Related Differences in Social Participation Among Japanese Elderly Individuals During the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Survey//Journal of Primary Care & Community Health. № 13. P. 1-6.
- Han H., Hengyuan Z., Yonggang T. (2022). Patterns of Social Participation and Impacts on Memory among the Older People//Frontiers in Public Health. № 10. Article 963215. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.963215/full> (дата доступа: 15.03.2023)
- Hashidate H., Shimada H., Fujisawa Y., Yatsunami M. (2021). An Overview of Social Participation in Older Adults: Concepts and Assessments//Physical Therapy Research. Vol. 24. № 2. P. 85-97.
- Hennessy C. H. (2017). The Functions of Leisure in Later Life: Bridging Individual and Community-Level Perspectives//Innovation in Aging. Vol. 1. № 1. P. 1174-1175.
- Hirano M., Kawahara K., Saeki K. (2015). Development of a Social Activities Scale for Community-Dwelling Older Women Requiring Support in Japan: A Preliminary Study//Public Health Nursing. Vol. 32. № 5. P. 508-516.
- Hirano M., Saeki K., Ueda I. (2020.) Development of a Social Activities Scale for Community-Dwelling Older People Requiring Support//Nursing Open. Vol. 7. № 6. P. 1887-1895. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/nop2.578> (дата доступа: 10.04.2023)
- Hodgkin S. (2012). 'I'm Older and More Interested in My Community': Older People's Contributions to Social Capital//Australasian Journal on Ageing. Vol. 31. № 1. P. 34-9.
- Ide K., Tsuji T., Kanamori S., Jeong S., Nagamine Y., Kondo K. (2020). Social Participation and Functional Decline: A Comparative Study of Rural and Urban Older People, Using Japan Gerontological Evaluation Study Longitudinal Data//International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol. 17. № 2. Article 617. P. 1-13.
- Iwasaki R., Hirai K., Aminaka K. (2019). Why don't Older Persons attend Senior Salons? Interviews with Older Persons Living in a Rural Area of Japan//Japanese Journal of Health and Human Ecology. Vol. 85. № 4, P. 141-149.
- Jenkin C. R., Eime R. M., van Uffelen J. G. Z., Westerbeek H. (2021). How to Re-Engage Older Adults in Community Sport? Reasons for Drop-Out and Re-Engagement//Leisure Studies. Vol. 40. № 4. P. 441-453.
- Jette A. M., Haley S. M., Kooyoomjian J. T. (2002). Late-Life FDI Manual. URL: [https://www.bu.edu/sph/files/2011/06/LLFDI\\_Manual\\_2006\\_rev.pdf](https://www.bu.edu/sph/files/2011/06/LLFDI_Manual_2006_rev.pdf) (дата доступа: 10.04.2023).



- Kahlert D.* (2016). Built Environment, Physical Activity and Social Participation of Older People // *Lifelogging* / S. Selke (ed.). Springer VS: Wiesbaden. P. 189-204.
- Kam P. — K.* (2002). Senior Volunteerism and Empowerment // *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*. Vol. 12. № 1. P. 112-133.
- Kam P. — K.* (2003). Powerlessness of Older People in Hong Kong // *Journal of Aging & Social Policy*. Vol. 15. № 4. P. 81-111.
- Kamruzzaman P.* (2020). Exploring the Nexus Between Participation and Empowerment // *Journal of Development Policy and Practice*. Vol. 5. № 1. P. 32-53.
- Kanamori S., Kai Y., Aida J., Kondo K., Kawachi I., Hirai H., Shirai K., Ishikawa Y., Suzuki K.* (2014). Social Participation and the Prevention of Functional Disability in Older Japanese: the JAGES cohort study // *PLoS One*. Vol. 9. № 6. Article e99638. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24923270/> (дата обращения: 10.04.2023).
- Katagiri K., Kim J.H.* (2018). Factors Determining the Social Participation of Older Adults: A Comparison Between Japan and Korea Using EASS 2012 // *PLoS One*. Vol. 13. № 4. Article. e0194703.
- Komatsu H., Yagasaki K., Oguma Y., Saito Y., Komatsu Y.* (2020). The Role and Attitude of Senior Leaders in promoting Group-Based Community Physical Activity: A Qualitative Study // *BMC Geriatrics*. № 20. Article 380. P. 1-9.
- Kosurko A., Herron R. V., Grigorovich A., Bar R. J., Kontos P., Menec V., Skinner M. W.* (2022). Dance Wherever You Are: The Evolution of Multimodal Delivery for Social Inclusion of Rural Older Adults // *Innovation in Aging*. Vol. 6. № 2. Article igabo58. P. 1-12.
- Kozerska A.* (2015). Life Satisfaction among People Aged 60 and over, Participating in Restricted Social Networks in Poland: Related Variables // *Problems of Education in the 21st Century*. Vol. 67. № 1. P. 29-39.
- Lam J., Bolano D.* (2019). Social and Productive Activities and Health Among Partnered Older Adults: A Couple-Level Analysis // *Social Science & Medicine*. № 229. P. 126-133.
- Lee S.J., Song M.* (2015). Successful Aging of Korean Older Adults based on Rowe and Kahn's Model: A Comparative Study According to the Use of Community Senior // *Facilities Journal of Korean Academy of Nursing*. Vol. 45. № 2. P. 231-239.
- Leonard R., Johansson S.* (2007). Policy and Practices Relating to the Active Engagement of Older People in the Community: A Comparison of Sweden and Australia // *International Journal of Social Welfare*. Vol. 17. № 1. P. 37-45.
- Levasseur M., Richard L., Gauvin L., Raymond E.* (2010). Inventory and Analysis of Definitions of Social Participation Found in the Aging Literature: Proposed Taxonomy of Social Activities // *Social Science & Medicine*. Vol. 71. № 12. P. 2141-2149.
- Levasseur M., Lussier-Therrien M., Biron M.L., Raymond É., Castonguay J., Naud D., Fortier M., Sévigny A., Houde S., Tremblay L.* (2022). Scoping Study of Definitions of Social Participation: Update and Co-Construction of an Interdisciplinary Consensual Definition // *Age and Ageing*. Vol. 51. № 2. Article afab215. P. 1-13.
- Litwin H., Shiovitz-Ezra S.* (2006). The Association between Activity and Wellbeing in Later Life: What Really Matters? // *Ageing & Society*. Vol. 26. № 2. P. 225-242.



- Magasi S., Post M. W.* (2010). A Comparative Review of Contemporary Participation Measures' Psychometric Properties and Content Coverage // Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Vol. 91. № 9. P. 17-28.
- Mars G. M. J., Kempen G. I. J. M., Post M. W. M., Proot I. M., Mesters I., van Eijk J. T. M.* (2009). The Maastricht Social Participation Profile: Development and Clinimetric Properties in Older Adults with a Chronic Physical Illness // Quality of Life Research. Vol. 18. № 9. P. 1207-1218.
- Medical Advisory Secretariat. Social isolation in community-dwelling seniors: an evidence-based analysis (2008). Ontario Health Technology Assessment Series. Vol. 8. № 5. P. 1-49. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3377559/> (дата доступа: 01.02.20023)
- Meliou E., Mallett O., Rosenberg Sh.* (2018). Being a Self-Employed Older Woman: From Discrimination to Activism // Work Employment and Society. Vol. 33. № 3. P. 529-538.
- Mikulionienė S., Gaižauskaitė I., Dirvanskienė R.* (2022). Measuring Social Embeddedness of Older Adults // Filosofija. Sociologija. Vol. 33. № 2. P. 175-188.
- Mortensen N. M., Needham C.* (2022). I do not Want to be One of her Favourites' Emotional Display and the Co-Production of Frontline Care Services. // Public Management Review. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14719037.2021.2013071> (дата доступа: 01.04.20023)
- Needham C.* (2008). Citizens, Consumers and Co-producers // Kurswechsel. № 2. P. 7-16. URL: [http://www.beigewum.at/wordpress/wp-content/uploads/2008\\_2\\_007-016.pdf](http://www.beigewum.at/wordpress/wp-content/uploads/2008_2_007-016.pdf) (дата доступа: 12.04.2023)
- Neves B. B., Vetere F.* (eds.) (2019). Ageing and Digital Technology, Designing and Evaluating Emerging Technologies for Older Adults. Springer Singapore.
- Putnam R. D.* (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital // Journal of Democracy. Vol. 6. № 1. P. 65-78.
- Percy K.* (2019). «An Alternative Ageing Experience»: An Account and Assessment of the University of the Third Age in the United Kingdom // The University of the Third Age and Active Ageing. International Perspectives on Aging / M. Formosa (ed.). Springer. P. 33-43.
- Pillemer K., Wells N. M., Meador R. H., Schultz L., Henderson C. R., Cope M. T.* (2017). Engaging Older Adults in Environmental Volunteerism: The Retirees in Service to the Environment Program // The Gerontologist. № 57. P. 367-375.
- Pinto J., Neri A.* (2017). Trajectories of Social Participation in Old Age: A Systematic Literature Review. // Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Vol. 20. № 2. P. 259-272.
- Piškur B., Daniēls R., Jongmans M. J., Ketelaar M., Smeets R. J., Norton M., Beurskens A. J.* (2014). Participation and Social Participation: Are they Distinct Concepts? // Clinical Rehabilitation. № 28. P. 211-220.
- Reynolds K. A., Sommer J., Mackenzie C. S., Koven L.* (2022). A Profile of Social Participation in a Nationally Representative Sample of Canadian Older Adults: Findings from

- the Canadian Longitudinal Study on Aging // Canadian Journal on Aging. Vol. 41. № 4. P. 505-513.
- Saito M., Kondo N., Aida J., Kawachi I., Koyama S., Ojima T., Kondo K. (2017). Development of an Instrument for Community-Level Health Related Social Capital Among Japanese Older People: The JAGES Project // Journal of Epidemiology. Vol. 27. № 5. P. 221-227.
- Serrat R., Scharf T., Villar F., Gómez C. (2020). Fifty-Five Years of Research into Older People's Civic Participation: Recent Trends, Future Directions // The Gerontologist. Vol. 60. № 1. P. e38-e51.
- Setterlund D., Tilse C., Worall L., Hickson L., Wilson J. (2002). Participation and Older People: Meaning, Theory and Practice // Asia Pacific Journal of Social Work and Development. Vol. 12. № 2. P. 44-59.
- Sibley A., Kersten P., Ward C.D., White B., Mehta R., George S. (2006). Measuring Autonomy in Disabled People: Validation of a New Scale in a UK Population // Clinical Rehabilitation. Vol. 20. № 9. P. 793-803.
- Siette J., Berry H., Jorgensen M., Brett L., Georgiou A., McClean T., Westbrook J. (2021). Social Participation Among Older Adults Receiving Community Care Services // Journal of Applied Gerontology. Vol. 40 № 9. P. 997-1007.
- Sugarhood P., Eakin P., Summerfield-Mann L. (2017). Participation in Advanced Age: Enacting Values, an Adaptive Process // Ageing and Society. Vol. 37. № 8. P. 1654 — 1680.
- The Guiding Principles on Active Ageing and Solidarity between Generations (2012). Council Declaration on the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations: The Way Forward. European Union. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2017468%202012%20INIT/EN/pdf> (дата доступа: 10.01.2023)
- Toepoel V. (2013). Ageing Leisure and Social Connectedness: How could Leisure Help Reduce Social Isolation of Older People // Social Indicators Research. Vol. 113. № 1. P. 355-273.
- Tomioka K., Kurumatani N., Hosoi H. (2015). Social Participation and the Prevention of Decline in Effectance among Community-Dwelling Elderly: A Population-Based Cohort Study // PLoS One. Vol. 10. № 9. Article e0139065.
- Trang Nguyen T.H., Levasseur M. (2023). How Does Community-Based Housing Foster Social Participation in Older Adults: Importance of Well-Designed Common Space, Proximity to Resources, Flexible Rules and Policies, and Benevolent Communities // Journal of Gerontological Social Work. Vol. 66. № 1. P. 103-133.
- van Brakel, W.H., Anderson A.M., Mutatkar R.K., Bakirtzief Z., Nicholls P.G., Raju M.S., Das-Pattanayak R.K. (2006). The Participation Scale: Measuring a Key Concept in Public Health // Disability and Rehabilitation. Vol. 28. № 4. P. 193-203.
- Vidler E., Clarke J. (2005). Creating Citizen-Consumers: New Labour and the Remaking of Public Services // Public Policy and Administration. Vol. 20. № 2. P. 19-37.
- Wildman J.M., Valtorta N., Moffatt S., Hanratty B. (2019). What Works here doesn't Work There': The Significance of Local Context for a Sustainable and Replicable As-

- set-Based Community Intervention Aimed at Promoting Social Interaction in Later Life // *Health & Social Care in the Community*. Vol. 27. № 4. P. 1102–1110.
- Wiles J. L., Jayasinha R. (2013). Care for Place: The Contributions Older People Make to Their Communities // *Journal of Aging Studies*. Vol. 27. № 2. P. 93–101.
- Wilkie R., Jordan J. L., Muller S., Nicholls E., Healey E. L., van der Windt D. A. (2011). Measures of Social Function and Participation in Musculoskeletal Populations: Impact on Participation and Autonomy (IPA), Keele Assessment of Participation (KAP), Participation Measure for Post-Acute Care (PM-PAC), Participation Objective, Participation Subjective (POPS), Rating of Perceived Participation (ROPP), and The Participation Scale. *Arthritis Care and Research (Hoboken)*. Vol. 63. № 11. P. 325–336. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/acr.20641> (дата доступа: 10.04.2023)
- White S. C. (1996). Depoliticising Development: The Uses and Abuses of Participation // *Development in Practice*. Vol. 6. № 1. P. 142–155.
- Yuying Z., Jing C. (2022). Gender Differences in the Score and Influencing Factors of Social Participation among Chinese Elderly // *Journal of Women & Aging*. Vol. 34. № 4. P. 537–550.

## Social Participation of the Elderly: Approaches to Analysis and Assessment Tools<sup>10</sup>

*Tatyana S. Kienko*

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor of the Department of Social Technologies of the Southern Federal University. Address: Bolshaya Sadovaya Str., 105/42, Rostov-on-Don, Russia  
E-mail: [tskienko@sfedu.ru](mailto:tskienko@sfedu.ru); [tatyanakienko@mail.ru](mailto:tatyanakienko@mail.ru)

Studies of older people's social participation have only recently entered the field of Russian sociology, although the concept, approaches, and empirical indicators are debatable; additionally, significant foreign experience is not represented in the domestic scientific space. The purpose of the article is to systematically describe modern approaches to the analysis, measurement, and assessment of social participation of older people. Among the foreign approaches to the analysis of social participation, the sociological and political are well known; in the studies of older people's participation, the correlated but more flexible socio-consumer, inclusive, and empowerment approaches are used, each offering its own content of the concept and assessment tools. The social consumer approach considers the social participation of an older person as a way to meet their basic personal and significant needs, and relies on standard methods in assessing functionality and health. The inclusive approach focuses on participation as a tool for social integration and self-realization, and combines quantitative and qualitative survey methods. The empowerment approach addresses seniors as actors of social changes, and relies on a critical analysis of engagement, including access to resources, power, and participation itself, based on the methodology of citizen participation. The understanding of participation in old age as a variety of activities of different levels (from involvement to engagement) and forms (direct and mediated, public, and nonpublic) on the basis of integration of social-consumer, inclusive, and

10. The research was carried out at the expense of the grant of the Russian Science Foundation No. 23-28-00134 (<https://rscf.ru/en/project/23-28-00134/>) "Social participation of older people in Russian regions in the post-pandemic period" at Southern Federal University.

empowerment approaches will allow taking into account personal, socio-environmental, and institutional participation factors flexibly, to notice “invisible” contributions, and to reconsider stereotypes of social passivity of older people. This leads to the designing of participation spaces on the principles of age-friendliness and co-productivity, allowing older people to perform and feel like social actors.

Keywords: older people, social participation, involvement, engagement, social consumer, inclusive, empowerment approach

## References

- Abbott S., Fisk M., Forward L. (2000) Social and Democratic Participation in Residential Settings for Older People: Realities and Aspiration. *Ageing and Society*, vol. 20, no 3, pp. 327-340.
- Active Ageing: A Policy Framework* (2002) World Health Organization. URL: [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67215/WHO\\_NMH\\_NPH\\_02.8.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf?sequence=1&isAllowed=y) (accessed 18 January 2023)
- Active Ageing Index (AAI) in non-EU countries and at subnational level: Guidelines* (2018) UNECE. European Commission, prepared by Maria Varlamova of the National Research University, Higher School of Economics (Moscow), under contract with United Nations Economic Commission for Europe (Geneva), co-funded by the European Commission's Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion (Brussels). URL: [https://unece.org/sites/default/files/2021-07/AAI\\_Guidelines\\_final\\_RUS.pdf](https://unece.org/sites/default/files/2021-07/AAI_Guidelines_final_RUS.pdf) (accessed 18 January 2023)
- Amagasa S., Fukushima N., Kikuchi H., Oka K., Takamiya T., Odagiri Y., Inoue S. (2017) Types of Social Participation and Psychological Distress in Japanese Older Adults: A Five-Year Cohort Study. *PLoS ONE*, vol. 12, no 4, article e0175392, pp. 1-12.
- Anankin S.V. (2020) Sovremennoe ponimanie uchastiya v politicheskoy nauke. [Modern understanding of participation in political science]. *Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta* [Proceedings of the Tula State University], no 12, pp. 12-19. (in Russian).
- Arnstein S. R. (1969) A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, vol. 35, no 4, pp. 216-224.
- Anderberg P., Abrahamsson L., Berglund J. S. (2021) An Instrument for Measuring Social Participation to Examine Older Adults' Use of the Internet as a Social Platform: Development and Validation Study. *JMIR Aging*, vol. 4, no 2, pp. e23591. URL: <https://aging.jmir.org/2021/2/e23591> (accessed 18 January 2023)
- Aroogh M. D., Shahboulaghi F. M. (2020) Social Participation of Older Adults: A Concept Analysis. *International Journal of Community Based Nursing and Midwifery*, no 8, pp. 55-72.
- Baur V. E. (2012) *Participation & Partnership: Developing the Influence of Older People in Residential Care Homes*. URL: <https://research.vu.nl/en/publications/participation-amp-partnership-developing-the-influence-of-older-p> (accessed 10 April 2023).
- Belén Z. R., Montserrat G. — A. (2019) Family as a Source of Intergenerational Solidarity. Special Attitude to Senior Societies: Example of Spain. *Logos et Praxis*, vol. 17, no 4, pp. 95-109.
- Berry H. L., Rodgers B., Dear K. B. G. (2007) Preliminary Development and Validation of an Australian Community Participation Questionnaire: Types of Participation and Associations with Distress in a Coastal Community. *Social Science and Medicine*, vol. 64, no 8, pp. 1719-1737.
- Berry H. (2008) Social Capital Elite, Excluded Participators, Busy Working Parents and Aging, Participating Less: Types of Community Participators and their Mental Health. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, vol. 43, no 7, pp. 527-537.
- Bovaird T., Stoker G., Jones T., Loeffler E., Roncancio M. P. (2016) Activating Collective Co-Production of Public Services: Influencing Citizens to Participate in Complex Governance Mechanisms in the UK. *International Review of Administrative Sciences*, vol. 82, no 1, pp. 47-68.
- Bowes A., McColgan G. (2013) Telecare for Older People: Promoting Independence, Participation, and Identity. *Research on Aging*, no 35, pp. 32-49.
- Brett L., Georgiou A., Jorgensen M., Siette J., Scott G., Gow E., Luckett G., Westbrook J. (2019) Ageing Well: Evaluation of Social Participation and Quality of Life Tools to Enhance Community Aged Care (Study Protocol). *BMC Geriatrics*, no 19, article 78, pp. 1-8.

- Brudney J.L., England R.E. (1983) Toward a Definition of the Coproduction Concept. *Public Administration Review*, no 43, pp. 59-65.
- Bruggencate T., Luijk K.G., Sturm J. (2017) Social Needs of older People: A Systematic Literature Review. *Ageing and Society*, vol. 38, no 9, pp. 1745-1770.
- Bukov A., Maas I., Lampert T. (2002) Social Participation in Very Old Age: Cross-Sectional and Longitudinal Findings from BASE. *The Journals of Gerontology: Series B*, vol. 57, no 6, pp. 510-517.
- Burholt V., Nash P., Naylor D., Windle G. (2010) Training Older Volunteers in Gerontological Research in the United Kingdom: Moving Towards an Andragogical and Emancipatory Agenda. *Educational Gerontology*, vol. 36, no 9, pp. 753-780.
- Carey M. (2019) Some Limits and Political Implications of Participation within Health and Social Care for Older Adults. *Ageing & Society*, vol. 39, no 8, pp. 1691-1708.
- Carpentier N. (2016) Beyond the Ladder of Participation: An Analytical Toolkit for the Critical Analysis of Participatory Media Processes. *Javnost — The Public*, vol. 23, no 1, pp. 70-88.
- Celdrán M., Serrat R., Villar F., Montserrat R. (2022) Exploring the Benefits of Proactive Participation among Adults and Older People by Writing Blogs. *Journal of Gerontological Social Work*, vol. 65, no 3, pp. 320-336.
- Cheng S. — T., Chan W., Chan A. C. M. (2008) Older People's Realisation of Generativity in a Changing Society: The case of Hong Kong. *Ageing & Society*, vol. 28, no 5, pp. 609-627.
- Clarke J. (2006) Consumers, Clients or Citizens? Politics, Policy and Practice in The Reform of Social Care. *European Societies*, vol. 8, no 3, pp. 423-442.
- Dadswell A., Wilson C., Bungay H., Munn-Giddings C. (2017) The Role of Participatory Arts in Addressing the Loneliness and Social Isolation of Older People: A Conceptual Review of the Literature. *Journal of Arts & Communities*, vol. 9, no 2, pp. 109-128.
- Dahlgren P., Carpentier N. (2013) The Social Relevance of Participatory Theory. *Comunicazioni Sociali*, no 3, pp. 301-315. URL: [http://www.vitaepensiero.it/scheda-articolo\\_digital/nico-carpentier-peter-dahlgren/the-social-relevance-of-partecipatory-theory-001200\\_2013\\_0003\\_0301-166635.html](http://www.vitaepensiero.it/scheda-articolo_digital/nico-carpentier-peter-dahlgren/the-social-relevance-of-partecipatory-theory-001200_2013_0003_0301-166635.html) (accessed 02 February 2023)
- Dawson-Townsend K. (2019) Social Participation Patterns and their Associations with Health and Well-Being for Older Adults. *SSM — Population Health*, no 8, article 100424. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235282731830380X?via%3Dihub> (accessed 15 March 2023)
- Derhun F.M., Scolari G. A. S, Puig-Llobet M., Salci M. A., Baldissera V. D. A., Carreira L. (2019) Participation in University Activities for the Elderly: Motivations of Brazilian and Spanish Seniors. *Revista Brasileira de Enfermagem*, vol. 72, no 2, pp. 104-110.
- Desrosiers J., Noreau L., Rochette A. (2004) Social Participation of Older Adults in Quebec. *Ageing Clinical and Experimental Research*, no 16, pp. 406-412.
- Doppler J., Gradl C., Sommer S., Rottermann G. (2018) Improving User Engagement and Social Participation of Elderly People Through a TV and Tablet-Based Communication and Entertainment Platform. K. Miesenberger, G. Kouroupetroglou (eds.) *Computers Helping People with Special Needs*. ICCHP 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol. 10897, pp. 365-373.
- Duppen D., Lambotte D., Dury S., Smetcoren A. — S., Pan H., De Donder L. (2019) Social Participation in the Daily Lives of Frail Older Adults: Types of Participation and Influencing Factors. *The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences*, vol. 75, no 9, pp. 2062-2071.
- Weber M. (2008) Osnovnye sociologicheskie ponyatiya [Basic sociological concepts]. *Sociologicheskoe obozrenie* [Russian Sociological Review] vol. 7, no 2, pp. 86-127 (in Russian).
- Fan Q. (2016) Utilizing ICT to prevent loneliness and social isolation of the elderly. A literature review. *Cuadernos de Trabajo Social*, vol. 29, no 2, pp.185-200.
- Feldman P.H., Oberlink M.R. (2003) Developing Community Indicators to Promote the Health and Well-Being of Older People. *Family & Community Health*, vol. 26, no 4, pp. 268-274.
- Fočić A. (2017) Overcoming Social Exclusion and Promoting Dignity of Older People in a Post-War Country. *International Journal of Integrated Care*, vol. 17, no 5, article 491.
- Fu J., Jiang Z., Hong Y., Liu S., Kong D., Zhong Z., Luo Y. (2021) Global Scientific Research on Social Participation of Older People from 2000 to 2019: A Bibliometric Analysis. *International Journal*



- of *Older People Nursing*, vol. 16, no 1, Article e12349. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/opn.12349> (accessed 15 March 2023)
- Galkin K. A. (2023) Aktivnost' i strategii zaboty o zdorov'e pozhilyh lyudej: gorodskoj i sel'skij kontekst [Activity and strategies for caring for the health of the elderly: urban and rural context]. *Nauka. Kul'tura. Obshchestvo* [Science. Culture. Society], vol. 29, no 1, pp. 130-142. (in Russian).
- Greenfield E. A. (2016) Support from Neighbors and Aging in Place: Can NORC Programs Make a Difference? *The Gerontologist*, vol. 56, no 4, pp. 651-659.
- Goto R., Ozone S., Kawada S., Yokoya S. (2022) Gender-Related Differences in Social Participation Among Japanese Elderly Individuals During the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Survey. *Journal of Primary Care & Community Health*, no 13, pp. 1-6.
- Han H., Hengyuan Z., Yonggang T. (2022) Patterns of Social Participation and Impacts on Memory among the Older People. *Frontiers in Public Health*, no 10, article 963215: 1-15. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.963215/full> (accessed 15 March 2023)
- Harvi D. (2011) Prostranstvo kak Klyuchevoe Slovo [Space is the keyword]. *Filosofsko-kul'turologicheskij zhurnal TOPOS* [Philosophical and cultural journal TOPOS] no 1, pp. 10-38 (in Russian).
- Hashidate H., Shimada H., Fujisawa Y., Yatsunami M. (2021) An Overview of Social Participation in Older Adults: Concepts and Assessments. *Physical Therapy Research*, vol. 24, no 2, pp. 85-97.
- Hennessy C. H. (2017) The Functions of Leisure in Later Life: Bridging Individual and Community-Level Perspectives, *Innovation in Aging*, vol. 1, no 1, pp. 1174-1175.
- Hirano M., Kawahara K., Saeki K. (2015). Development of a Social Activities Scale for Community-Dwelling Older Women Requiring Support in Japan: A Preliminary Study. *Public Health Nursing*, vol. 32, no 5, pp. 508-516.
- Hirano M., Saeki K., Ueda I. (2020.) Development of a social activities scale for community-dwelling older people requiring support. *Nursing Open*, vol. 7, no 6, pp. 1887-1895. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/nop2.578> (accessed 10 April 2023)
- Hodgkin S. (2012) 'I'm Older and More Interested in My Community': Older People's Contributions to Social Capital. *Australasian Journal on Ageing*, vol. 31, no 1, pp. 34-9.
- Ide K., Tsuji T., Kanamori S., Jeong S., Nagamine Y., Kondo, K. (2020) Social Participation and Functional Decline: A Comparative Study of Rural and Urban Older People, Using Japan Gerontological Evaluation Study Longitudinal Data. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 17, no 2, article 617, pp. 1-13.
- Iwasaki R., Hirai K., Aminaka K. (2019) Why don't Older Persons attend Senior Salons? Interviews with Older Persons Living in a Rural Area of Japan. *Japanese Journal of Health and Human Ecology*, vol. 85, no 4, pp. 141-149.
- Jenkin C. R., Eime R. M., van Uffelen J. G. Z., Westerbeek H. (2021) How to Re-Engage Older Adults in Community Sport? Reasons for Drop-Out and Re-Engagement. *Leisure Studies*, vol. 40, no 4, pp. 441-453.
- Jette A. M., Haley S. M., Kooyoomjian J. T. (2002) Late-Life FDI Manual. URL: [https://www.bu.edu/sph/files/2011/06/LLFDI\\_Manual\\_2006\\_rev.pdf](https://www.bu.edu/sph/files/2011/06/LLFDI_Manual_2006_rev.pdf) (accessed 10 April 2023)
- Kahlert D. (2016) Built Environment, Physical Activity and Social Participation of Older People. *Lifelogging*. S. Selke (ed.), Springer VS, Wiesbaden, pp. 189-204.
- Kam P. — K. (2002) Senior Volunteerism and Empowerment. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, vol. 12, no 1, pp. 112-133.
- Kam P. — K. (2003) Powerlessness of Older People in Hong Kong. *Journal of Aging & Social Policy*, vol. 15, no 4, pp. 81-111.
- Kamruzzaman P. (2020) Exploring the Nexus Between Participation and Empowerment. *Journal of Development Policy and Practice*, vol. 5, no 1, pp. 32-53.
- Kanamori S., Kai Y., Aida J., Kondo K., Kawachi I., Hirai H., Shirai K., Ishikawa Y., Suzuki K. (2014) Social Participation and the Prevention of Functional Disability in Older Japanese: the JAGES cohort study. *PLoS One*, vol. 9, no 6, article e99638. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24923270/> (accessed 10 April 2023)
- Katagiri K., Kim J. H. (2018) Factors Determining the Social Participation of older Adults: A Comparison Between Japan and Korea Using EASS 2012. *PLoS One*, vol. 13, no 4, article e0194703.



- Kienko T. S., Gnedysheva I. N. (2022) Lyudi starshego vozrasta i social'noe uchastie: yavnye i skrytye formy, «slepye zony» i transformacii v usloviyah pandemicheskoi i postpandemicheskoi real'nosti [Older people and social participation: explicit and hidden forms, "blind spots" and transformations in pandemic and post-pandemic reality]. *Vektory blagopoluchiya: ekonomika i socium* [Vectors of well-being: economics and society], vol. 46, no 3, pp. 30-42. (in Russian).
- Kienko T. S., Ptitsyna N. A., Markova E. K., Pevnaya M. V., Telepaeva D. F., Kaigorodova L. A., Gnedysheva I. N., Tikhomirova V. R., Braverman D. V., Lapturova M. V., Akaeva A. D., Davydova M. V., Kopteva A. V. (2021) *Rasshirenie vozmozhnostej («empowerment») lyudej starshego vozrasta v praktikah samoorganizacii i aktivnosti* [Empowerment of older people in the practices of self-organization and activity], Rostov/n/D: Fond nauki i obrazovaniya [Foundation for Science and Education] (in Russian).
- Kolpina L. V. (2018) Social'nyj aktivizm pozhilogo naseleniya Belgorodskoj oblasti [Social activism of the elderly population of the Belgorod region]. *Srednerusskij vestnik obshchestvennykh nauk* [Central Russian Bulletin of Social Sciences], vol. 13, no 2, pp. 37-49. (in Russian).
- Komatsu H., Yagasaki K., Oguma Y., Saito Y., Komatsu Y. (2020) The Role and Attitude of Senior Leaders in promoting Group-Based Community Physical Activity: A Qualitative Study. *BMC Geriatrics*, no 20, article 380, pp. 1-9.
- Kosurko A., Herron R. V., Grigorovich A., Bar R. J., Kontos P., Menec V., Skinner M. W. (2022) Dance Wherever You Are: The Evolution of Multimodal Delivery for Social Inclusion of Rural Older Adults. *Innovation in Aging*, vol. 6, no 2, article igab058, pp. 1-12.
- Kozerska A. (2015) Life Satisfaction among People Aged 60 and over, Participating in Restricted Social Networks in Poland: Related Variables. *Problems of Education in the 21st Century*, vol. 67, no 1, pp. 29-39.
- Lam J., Bolano D. (2019) Social and Productive Activities and Health Among Partnered Older Adults: A Couple-Level Analysis. *Social Science & Medicine*, no 229, pp. 126-133.
- Lee S. J., Song M. (2015) Successful Aging of Korean Older Adults based on Rowe and Kahn's Model: A Comparative Study According to the Use of Community Senior. *Facilities Journal of Korean Academy of Nursing*, vol. 45, no 2, pp. 231-239.
- Leonard R., Johansson S. (2007) Policy and Practices Relating to the Active Engagement of Older People in the Community: A Comparison of Sweden and Australia. *International Journal of Social Welfare*, vol. 17, no 1, pp. 37-45.
- Levasseur M., Richard L., Gauvin L., Raymond E. (2010) Inventory and Analysis of Definitions of Social Participation Found in the Aging Literature: Proposed Taxonomy of Social Activities. *Social Science & Medicine*, vol. 71, no 12, pp. 2141-2149.
- Levasseur M., Lussier-Therrien M., Biron M. L., Raymond É., Castonguay J., Naud D., Fortier M., Sévigny A., Houde S., Tremblay L. (2022) Scoping Study of Definitions of Social Participation: Update and Co-Construction of an Interdisciplinary Consensual Definition. *Age and Ageing*, vol. 51, no 2, article afab215, pp. 1-13.
- Litwin H., Shiovitz-Ezra S. (2006) The Association between Activity and Wellbeing in Later Life: What Really Matters? *Ageing & Society*, vol. 26, no 2, pp. 225-242.
- Magasi S., Post M. W. (2010) A Comparative Review of Contemporary Participation Measures' Psychometric Properties and Content Coverage. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, vol. 91, no 9, pp. 17-28.
- Mars G. M. J., Kempen G. I. J. M., Post M. W. M., Proot I. M., Mesters I., van Eijk J. T. M. (2009) The Maastricht Social Participation Profile: Development and Clinimetric Properties in Older Adults with a Chronic Physical Illness. *Quality of Life Research*, vol. 18, no 9, pp. 1207-1218.
- Medical Advisory Secretariat. Social isolation in community-dwelling seniors: an evidence-based analysis. (2008) *Ontario Health Technology Assessment Series*, vol. 8, no 5, pp. 1-49. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3377559/> (accessed 01 February 20023)
- Meliou E., Mallett O., Rosenberg Sh. (2018) Being a Self-Employed Older Woman: From Discrimination to Activism. *Work Employment and Society*, vol. 33, no 3, pp. 529-538.
- Mikulionienė S., Gaizauskaitė I., Dirvanskienė R. (2022) Measuring Social Embeddedness of Older Adults. *Filosofija. Sociologija*, vol. 33, no 2, pp. 175-188.

- Mortensen N. M., Needham C. (2022). I do not Want to be One of her Favourites: Emotional Display and the Co-Production of Frontline Care Services. *Public Management Review*. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14719037.2021.2013071> (accessed 1 April 2023)
- Natsun L. N. (2021) Vovlechnost' v social'nye kontakty kak komponent i faktor aktivnogo dolgoletiya. [Involvement in social contacts as a component and factor of active longevity]. *Mezhdunarodnyj demogra-ficheskiy forum «Demografiya i global'nye vyzovy»*. *Materialy foruma*. [International Demographic Forum "Demography and Global Challenges". Forum materials], Voronezh, pp. 1132-1137 (in Russian).
- Nepochatyh E. P., Stekacheva E. S. (2021) Osobennosti aktivnogo dolgoletiya grazhdan starshego pokoleniya s raznym urovnem social'noj aktivnosti [Features of active longevity of older citizens with different levels of social activity] *Kollekciya gumanitarnyh issledovanij* [Collection of Humanitarian Studies], vol. 2, no 27, pp. 24-33 (in Russian).
- Needham C. (2008) Citizens, Consumers and Co-producers. *Kurswechsel*, no 2., pp. 7–16. [http://www.beigewum.at/wordpress/wp-content/uploads/2008\\_2\\_007-016.pdf](http://www.beigewum.at/wordpress/wp-content/uploads/2008_2_007-016.pdf) (accessed 12 April 2023)
- Neves B. B., Vetere F. (eds.) (2019) *Ageing and Digital Technology, Designing and Evaluating Emerging Technologies for Older Adults*, Singapore: Springer.
- Nikovskaya L. I. (2017) Grazhdanskoe uchastie i gosudarstvo: rost zaprosa na publichnost' i dialog. [Civic participation and the state: the growth of a request for publicness and dialogue]. *Otechestvennye tradicii gosudar-stvennogo upravleniya i sovremennost': materialy nauchno-obshchestvennogo Novgorodskogo foruma*. [Domestic traditions of state administration and modernity: materials of the scientific and public Novgorod Forum], Moscow: State University of Management, pp. 33-39 (in Russian).
- Nikovskaya L. I., Skalaban I. A. (2017) Grazhdanskoe uchastie: osobennosti diskursa i tendencii real'nogo razvitiya [Civic Participation: Features of Discourse and Real Development Trends] *Polis. Politicheskie issledovaniya* [Polis. Political studies], no 6, pp. 43–60. (in Russian).
- Parfenova O., Galkin K. (2023) Sotsial'naya aktivnost' i uchastiye pozhilykh rossiyan v kontekste aktivnogo dolgoletiya [Social activity and participation of older Russians in the context of active ageing]. *Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii* [The Journal of Sociology and Social Anthropology], vol. 26, no 1, pp. 200–223. (in Russian).
- Putnam R. D. (1995) Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy*, vol. 6, no 1, pp. 65–78.
- Pavlova I. A., Monastyryny E. A., Gumennikov I. V., Barysheva G. A. (2018) Rossijskiy indeks blagopoluchiya starshego pokoleniya: metodologiya, metodika, aprobaciya [Russian index of well-being of the older generation: methodology, technique, approbation]. *Zhurnal issledovanij social'noj politiki* [Journal of Social Policy Research], vol. 16, no 1, pp. 23-36. (in Russian).
- Percy K. (2019) «An Alternative Ageing Experience»: An Account and Assessment of the University of the Third Age in the United Kingdom. M. Formosa (ed.). *The University of the Third Age and Active Ageing. International Perspectives on Aging*. Springer, pp. 33-43.
- Petuhova I. S. (2018) Starenie po mestu zhitel'stva [Aging at the place of residence]. *Klinicheskaya gerontologiya* [Clinical gerontology], vol. 24, no 9-10, pp. 50-52 (in Russian).
- Pevnaya M. V., Shuklina E. A., Tarasova A. N., Asoyan L. A. (2020) Social'noe uchastie studenchestva Rossii i Armenii v sociokul'turnom razvitii gorodov [Social participation of Russian and Armenian students in the socio-cultural development of cities]. *Vysshee obrazovanie v Rossii* [Higher Education in Russia], vol. 29, no 7, pp. 43-55. (in Russian).
- Pillemer K., Wells N. M., Meador R. H., Schultz L., Henderson C. R., Cope M. T. (2017) Engaging Older Adults in Environmental Volunteerism: The Retirees in Service to the Environment Program. *The Gerontologist*, no 57, pp. 367–375.
- Pinto J., Neri A. (2017) Trajectories of Social Participation in Old Age: A Systematic Literature Review. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, vol. 20, no 2, pp. 259-272.
- Piškur B., Daniëls R., Jongmans M. J., Ketelaar M., Smeets R. J., Norton M., Beurskens A. J. (2014) Participation and Social Participation: Are they Distinct Concepts? *Clinical Rehabilitation*, no 28, pp. 211–220.
- Potekhina I. P., Chizhov D. V. (2016) Potencial starshego pokoleniya kak sostavlyayushchaya nacional'nogo chelovecheskogo kapitala (po materialam issledovaniya v regionah CFO)

- [The potential of the older generation as a component of national human capital (based on research in the regions of the Central Federal District)]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i social'nye peremeny* [Monitoring of public opinion: economic and social changes], vol. 2, no 132, pp. 3-23 (in Russian).
- Prokhorova L.V. (2019) Pozhilye lyudi i «Serebryanoe» volonterstvo: real'nye kejsy. [Elderly people and "Silver" volunteering: real cases]. *Vestnik Novosibirskogo universiteta ekonomiki i upravleniya* [Bulletin of the Novosibirsk University of Economics and Management], no 3, pp. 248-259. (in Russian).
- Reynolds K. A., Sommer J., Mackenzie C. S., Koven L. (2022) A Profile of Social Participation in a Nationally Representative Sample of Canadian Older Adults: Findings from the Canadian Longitudinal Study on Aging. *Canadian Journal on Aging*, vol. 41, no 4, pp. 505-513.
- Saito M., Kondo N., Aida J., Kawachi I., Koyama S., Ojima T., Kondo K. (2017) Development of an Instrument for Community-Level Health Related Social Capital Among Japanese Older People: The JAGES Project. *Journal of Epidemiology*, vol. 27, no 5, pp. 221-227.
- Savel'ev Yu. B. (2013) Osnovnye tipy uchastiya v obshchestvennoj zhizni evropejskih stran [The main types of participation in the public life of European countries]. *Sociologicheskie issledovaniya* [Sociological research], no 12, pp. 64-71 (in Russian).
- Serrat R., Scharf T., Villar F., Gómez C. (2020) Fifty-Five Years of Research into Older People's Civic Participation: Recent Trends, Future Directions. *The Gerontologist*, vol. 60, no 1, pp. e38-e51.
- Setterlund D., Tilse C., Worall L., Hickson L., Wilson J. (2002) Participation and Older People: Meaning, Theory and Practice. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, vol. 12, no 2, pp. 44-59.
- Sibley A., Kersten P., Ward C. D., White B., Mehta R., George S. (2006) Measuring Autonomy in Disabled People: Validation of a New Scale in a UK Population. *Clinical Rehabilitation*, vol. 20, no 9, pp. 793-803.
- Siette J., Berry H., Jorgensen M., Brett L., Georgiou A., McClean T., Westbrook J. (2021) Social Participation Among Older Adults Receiving Community Care Services. *Journal of Applied Gerontology*, vol. 40, no 9, pp. 997-1007.
- Sinyavskaya O.V., Chervyakova A. A., Kareva D. E. (2019) Pomogayushchie i schastlivye? Vliyanie social'noj aktivnosti na schast'e lyudej starshe 50 let v evropejskih stranah [Helpful and happy? The impact of social activity on the happiness of people over 50 in European countries]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i social'nye peremeny* [Monitoring of public opinion: Economic and social changes], no 6, pp. 237-258 (in Russian).
- Shuklina E. A., Pevnaya M.V. (2020) Metodologicheskie osnovy mezhdisciplinarnykh issledovanij social'nogo uchastiya molodezhi postsovetskih stran v sociokul'turnom razvitii goroda [Methodological basis of interdisciplinary studies for social participation of youth in post-soviet countries in the socio-cultural development of the city]. *Vestnik Surgutskogo gos. ped. un-ta* [Bulletin of the Surgut State Pedagogical University], no 5, pp. 101-113. (in Russian).
- Skalaban I. A. (2011) Social'noe, obshchestvennoe i grazhdanskoe uchastie: k probleme osmysleniya ponyatij [Social, public and civic participation: to the problem of understanding concepts]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya* [Bulletin of Tomsk State University. Philosophy. Sociology. Political Science], vol. 1, no 13, pp. 130-139 (in Russian).
- Sugarhood P., Eakin P., Summerfield-Mann L. (2017) Participation in Advanced Age: Enacting Values, an Adaptive Process. *Ageing and Society*, vol. 37, no 8, pp. 1654 — 1680.
- The Guiding Principles on Active Ageing and Solidarity between Generations* (2012). Council Declaration on the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations: The Way Forward. European Union. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2017468%202012%20INIT/EN/pdf> (accessed 12 January 2023)
- Toepoel V. (2013) Ageing Leisure and Social Connectedness: How could Leisure Help Reduce Social Isolation of Older People. *Social Indicators Research*, vol. 113, no 1, pp. 355-273.
- Tomioka K., Kurumatani N., Hosoi H. (2015) Social Participation and the Prevention of Decline in Effectance among Community-Dwelling Elderly: A Population-Based Cohort Study. *PLoS One*, vol. 10, no 9, article e0139065.

- Trang Nguyen T. H., Levasseur M. (2023) How Does Community-Based Housing Foster Social Participation in Older Adults: Importance of Well-Designed Common Space, Proximity to Resources, Flexible Rules and Policies, and Benevolent Communities. *Journal of Gerontological Social Work*, vol. 66, no 1, pp. 103-133.
- Ukhanova Yu. V. (2021) Kollektivnyye praktiki i potencial grazhdanskogo uchastiya lokal'nogo soobshchestva (sociologicheskoe issledovanie v rossijskih regionah) [Collective practices and potential for civic participation of local community (sociological research in Russian regions)]. *Problemy razvitiya territorii* [Problems of Territory's Development], vol. 25, no 1, pp. 88-107. (in Russian).
- van Brakel, W. H., Anderson A. M., Mutatkar R. K., Bakirtzief Z., Nicholls P. G., Raju M. S., Das-Pattanayak R. K. (2006) The Participation Scale: measuring a key concept in public health. *Disability and Rehabilitation*, vol. 28, no 4, pp. 193-203.
- Vidler E., Clarke J. (2005) Creating Citizen-Consumers: New Labour and the Remaking of Public Services. *Public Policy and Administration*, vol. 20, no 2, pp. 19-37.
- Vorob'eva I. N. (2022) Social'noe uchastie: novye rakursy izmereniya [Social participation: New aspects of measurement]. *Problemy razvitiya territorii* [Problems of Territory's Development], ol. 26, no 2, pp. 73-92. (in Russian).
- Wildman J. M., Valtorta N., Moffatt S., Hanratty B. (2019) What Works here doesn't Work There': The Significance of Local Context for a Sustainable and Replicable Asset-Based Community Intervention Aimed at Promoting Social Interaction in Later Life. *Health & Social Care in the Community*, vol. 27, no 4, pp. 1102-1110.
- Wiles J. L., Jayasinha R. (2013) Care for Place: The Contributions Older People Make to Their Communities. *Journal of Aging Studies*, vol. 27, no 2, pp. 93-101.
- Wilkie R., Jordan J. L., Muller S., Nicholls E., Healey E. L., van der Windt D. A. (2011) Measures of Social Function and Participation in Musculoskeletal Populations: Impact on Participation and Autonomy (IPA), Keele Assessment of Participation (KAP), Participation Measure for Post-Acute Care (PM-PAC), Participation Objective, Participation Subjective (POPS), Rating of Perceived Participation (ROPP), and The Participation Scale. *Arthritis Care and Research (Hoboken)*, vol. 63, no 11, pp. 325-336. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/acr.20641> (accessed 10 April 2023)
- White S. C. (1996) Depoliticising Development: The Uses and Abuses of Participation. *Development in Practice*, vol. 6, no 1, pp. 142-155.
- Yanitsky O. N. (2015) Obshchestvennyy aktivizm v Rossii: vchera i segodnya [Public activism in Russia: yesterday and today]. *Vlast'* [Power], vol. 23, no 2, pp. 53-60 (in Russian).
- Yuying Z., Jing C. (2022) Gender Differences in the Score and Influencing Factors of Social Participation among Chinese Elderly. *Journal of Women & Aging*, vol. 34, no 4, pp. 537-550.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### Описание процесса и результатов пошагового отбора публикаций

Поиск на русском языке по запросу «социальное участие» в сочетаниях с фразой «пожилые люди» в РИНЦ не дал результатов. Запрос по ключевой фразе «социальное участие» выявил 15 результатов, первый и самый полный из которых на момент обращения содержал 127 статей<sup>11</sup>. В ходе изучения заголовков и аннотаций отобраны 20 публикаций: 6 касались людей старшего возраста и 14 посвящены концепту социального (общественного, гражданского, публичного) участия, под-

11. РИНЦ(а). Социальное участие: поиск по ключевому слову. URL: <https://www.elibrary.ru/keywords.asp> (дата доступа: 22.01.2023).

ходам и методам его оценки. На втором этапе в процессе беглого просмотра текстов были исключены 2 публикации (не касались пожилых людей, социального участия), дополнительно привлечены релевантные статьи, цитирующие отобранные в подборке РИНЦ<sup>12</sup> (из выявленных 226 критериям поиска за исключением дублей соответствовали 14). На третьем этапе в ходе полнотекстового анализа привлечены еще 7 релевантных высоко цитируемых работ, итого из базы РИНЦ в обзор вошли 39 статей на русском языке (из них 31 касалась концепта и методологии социального, общественного, гражданского, публичного участия; 8 прямо или косвенно участия пожилых людей) (см. Рис. 1).

В Dimensions ввиду обширности базы научных публикаций была проведена серия запросов с последующим исключением дублей. Первый по ключевым фразам «социальное участие» и «пожилые люди» с альтернативами переводов (older people/ elderly/ seniors) раздельно, по каждому получено соответственно более 3,2/ 3,5/ 1,69 тыс. результатов. В целях оптимизации поиска запрос был сужен до сочетания всех вариантов переводов одновременно, получены 83 результата<sup>13</sup>. После просмотра заголовков и аннотаций отобраны 32 релевантные публикации, из них в ходе беглого просмотра текстов на втором этапе исключены 12 нерелевантных (6 не указывали форм участия либо касались участия лиц, осуществляющих уход за пожилыми, дружественных сред, цифровых технологий, физической активности и пр., 5 на иных языках (польском, корейском, испанском), 1 препринт). В ходе анализа полных текстов на третьем этапе были дополнительно привлечены 9 высоко цитируемых работ. Итого в обзор включены 29 публикаций по данному поисковому запросу.

Второй запрос был проведен по ключевым фразам «теории социального участия» и «пожилые люди» (theories of social participation; older people/ elderly/ seniors) раздельно (247/ 213/ 174 результата соответственно)<sup>14</sup>. Из 247 результатов самого продуктивного запроса (theories of social participation; older people) отобраны 55 публикаций из области исследований «Human Society» (социология, социальная работа, демография, антропология, политические науки и пр.), из них к полнотекстовому анализу по установленным критериям отобраны 16, на втором этапе исключены 6 (2 на иных языках (корейский, голландский), 4 не указывали конкретных форм участия либо касались пенсионеров в возрасте 50-60 лет). В ходе анализа полных текстов на третьем этапе были дополнительно привлечены 12 высоко цитируемых работ, итого в обзор включены 22 публикации.

---

12. РИНЦ(б). Социальное участие: поиск по ключевому слову. Список статей, цитирующих публикации в подборке. URL: [https://www.elibrary.ru/cit\\_itembox\\_items.asp](https://www.elibrary.ru/cit_itembox_items.asp) (дата доступа: 22.01.2023).

13. Dimensions(a). URL: [https://app.dimensions.ai/discover/publication?search\\_mode=content&search\\_text=social%20participation%3B%20seniors%3B%20older%20people%3B%20elderly&search\\_type=kws&search\\_field=text\\_search](https://app.dimensions.ai/discover/publication?search_mode=content&search_text=social%20participation%3B%20seniors%3B%20older%20people%3B%20elderly&search_type=kws&search_field=text_search) (дата доступа: 17.01.2023).

14. Dimensions(b). URL: [https://app.dimensions.ai/discover/publication?search\\_mode=content&search\\_text=theories%20of%20social%20participation%3B%20older%20people&search\\_type=kws&search\\_field=text\\_search&and\\_facet\\_for=80015&order=times\\_cited](https://app.dimensions.ai/discover/publication?search_mode=content&search_text=theories%20of%20social%20participation%3B%20older%20people&search_type=kws&search_field=text_search&and_facet_for=80015&order=times_cited) (дата доступа: 17.01.2023).



Третий запрос проведен по сочетаниям фраз «измерения социального участия» (social participation measuring) и «пожилые люди» (older people). Из 87 публикаций<sup>15</sup> в результате просмотра заголовков и аннотаций отобраны 19, на втором этапе исключены 8 (3 не определяли понятия и форм социального участия, 2 дубля, 3 тезиса научных мероприятий). На третьем этапе дополнительно привлечены 12 высоко цитируемых публикаций, итого в обзор вошли 23 работы. Таким образом, по результатам всех запросов из Dimensions отобраны 74 работы, в целом в обзор вошли 113 источников (39 русскоязычных из информационно-аналитической системы РИНЦ и 74 англоязычных из Dimensions), которые дополнялись в процессе работы высоко цитируемыми публикациями.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### Общая характеристика публикаций, включенных в обзор

Из 113 работ, включенных в обзор 33% (31 русскоязычная и 7 англоязычных) обращались к категории и методологии участия без привязки к целевой группе пожилых людей и 67% (8 русскоязычных и 67 англоязычных) касались социального участия в старшем возрасте. Публикации, направленные непосредственно на вопросы участия пожилых людей, отражают широкую географию и динамику исследовательского интереса к проблеме. Первые статьи (до 1990 г.) принадлежат авторам из США и Канады, с 1990-х гг. появляются работы в Великобритании, Германии, Израиле, Австралии. С 2000-х гг. проблему продолжают активно разрабатывать авторитетные исследовательские коллективы и авторы из США, Канады, Великобритании, Австралии, Германии, параллельно в число лидеров входят Китай и Нидерланды. В последние десять — пятнадцать лет кроме традиционных лидеров (США, Канада, Австралия, Великобритания) интерес к теме растет практически во всех европейских странах (Австрия, Германия, Италия, Испания, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция), в России, Бразилии и особенно интенсивно в странах Восточной Азии (Корея, Китай, Тайвань, Япония), сегодня по числу публикаций лидирует Япония. Движение исследовательского интереса к теме с Запада на Восток связано с демографическими процессами роста численности старшего поколения в структуре населения стран и континентов, с процессами урбанизации и переходом от тесных неформальных связей «знакомых» людей в традиционных обществах к случайным формальным отношениям «чужаков» в современных городах (Han, Hengyuan, Yonggang, 2022: 2), с тенденциями нуклеаризации семьи, снижения семейной поддержки и институционализации социальной заботы. Эти изменения требуют новых инструментов заботы о пожилых людях, прежде всего с опорой на их собственные ресурсы,

15. Dimensions(c). URL: [https://app.dimensions.ai/discover/publication?search\\_mode=content&search\\_text=social%20Participation%20Measuring%2C%20older%20people&search\\_type=kws&search\\_field=text\\_search&order=times\\_cit](https://app.dimensions.ai/discover/publication?search_mode=content&search_text=social%20Participation%20Measuring%2C%20older%20people&search_type=kws&search_field=text_search&order=times_cit) (дата доступа: 17.01.2023).



сохранения их функциональности и здоровья, стимулирования активности, самостоятельности и социальной включенности. Однако стоит отметить ограничения данного заключения целями обзора и методикой отбора публикаций.

Из 75 работ, касающихся участия пожилых людей в 59 указывались методологические подходы, в 16 только методы оценки без прямой отсылки к теориям, но в 12 из них теоретические основания определялись нами имплицитно. Авторы чаще всего апеллируют к идеям и принципам социологии и психологии старения и гражданского участия, опираются на классические теории старения: активности (activity theory) (Fočić, 2017; Нацун, 2021; Han, Hengyuan, Yonggang, 2022; Киенко, Гнедышева, 2022), успешного старения (successful aging) (Lee, Song, 2015), селективности (socioemotional selective theory, selective optimization with compensation theory) (Neves, Vetere, 2019; Kozerska, 2015 и др.), разъединения (social disengagement theory), непрерывности жизненного пути (continuity theory) (Han, Hengyuan, Yonggang, 2022; Neves, Vetere, 2019), теории символического интеракционизма (Drehun et al., 2019), социального капитала (Saito et al., 2017), баланса социальных ролей (Han, Hengyuan, Yonggang, 2022), иерархической компенсации (Hirano, Saeki, Ueda, 2020) и др. Активно используются идеи социально-экологической (socio-ecological) и энвайронментальной (environmental) геронтологии, старения на месте (aging in place), заботы о месте (care for place), дружественной к возрасту (age-friendly) среды (Feldman, Oberlink, 2003; Wiles, Jayasinha, 2013; Greenfield, 2016; Kahlert, 2016; Петухова, 2018; Douglas, Barrett, 2020; Jenkin et al., 2021), генеративности (Cheng, Chan, Chan, 2008), межпоколенческой солидарности (Belén, Montserrat, 2019; Douglas, Barrett 2020), теории «икигай» (Hirano, Kawahara, Saeki 2015; Hirano, Saeki, Ueda, 2020). Ряд авторов обращаются к принципам андрагогики и геронтогики (Abbott, Fisk, Forward, 2000; Burholt et al., 2010), теории коммуникации, интеграции науки и технологий, концепции «невидимых пользователей» (Carey, 2019; Neves, Vetere, 2019) и участия на основе технологий (Bowes, McColgan, 2013; Doppler et al., 2018; Celdrán et al., 2022; Kosurko et al., 2022). Большое внимание уделено критическому анализу (Setterlund et al., 2002; Carey, 2019; Потехина, Чижов, 2016; Киенко, Гнедышева, 2022; Парфенова, Галкин, 2023 и др.), empowerment-подходу и участию в сообществах (Kam, 2002, Kam, 2003; Leonard, Johansson, 2007; Medical Advisory..., 2008; Hodgkin, 2012; Lee, Song, 2015; Iwasaki, Hirai, Aminaka, 2019; Wildman et al., 2019), теориям потребительства, участия и гражданственности (Abbott, Fisk, Forward, 2000; Clark, 2006; Baur, 2012), со-продуктивности (Brudney, England, 1983; Needham, 2008; Bovaird et al., 2016; Mortensen, Needham, 2022).

Исследования участия в старшем возрасте с опорой на ведущие социальные теории старения позволяют получать существенные научные результаты. Так, анализ вовлечения пожилых людей в помогающие практики в оптике теорий обмена обнаруживает мотивы взаимности, потребность проявлять заботу о других в ответ на оказанную некогда поддержку. Теории компенсации объясняют роль участия в социальных программах и общения с помогающими специалистами как альтернативы семейного участия в ситуациях одиночества, ослабления мобиль-

ности и здоровья. Опора на принципы социально-экологических и энвайронментальных теорий позволяет выявлять поддерживающие и ограничивающие факторы пространственной, социальной, культурной среды, соседства, локальных сообществ. Теории преемственности, жизненного курса, активного старения обнаруживают связи участия в старшем возрасте с предшествующим образом и стилем жизни, биографическими особенностями, «переходами» на протяжении жизни. Проблемы накапливающихся и пересекающихся возрастных неравенств, затрудняющих доступ к участию, становятся явными при их рассмотрении через призму теорий структурных неравенств и интерсекциональности (в пересечениях пола, национальности, образования, профессии, региона и условий проживания).

Из 113 публикаций 65% носили эмпирический характер и 35% теоретический и теоретико-эмпирический (обзоры, критические статьи, книги). Имеется обширный пул обзорных работ, что свидетельствует об актуальности проблемы и задач концептуализации социального участия старших (Levasseur et al., 2010; Fan, 2016; Pinto, Neri, 2017; Amagasa et al., 2017; Dadswell et al., 2017; Aroogh, Shahboulaghi, 2020; Hashidate et al., 2021; Fu et al., 2021; Mikulionienė, Gaižauskaitė, Dirvanskienė, 2022; Levasseur et al., 2022; Trang Nguyen, Levasseur, 2023 и др.). Среди англоязычных публикаций эмпирические составили две трети или 77%, а теоретические 33% (обзорные или критические статьи и книги), в то время как соотношение работ на русском языке примерно равное (43,6% эмпирических и 56,4% теоретических), что свидетельствует об определенных различиях научной культуры и традиций. Из 74 эмпирических работ, включенных в обзор в 47,3% использованы качественные методы (35 статей, 7 на русском и 28 на английском языках), в 40,5% количественные (30 статей, 10 на русском и 20 на английском языках), в 12,2% смешанные (9 англоязычных статей). Среди качественных методов измерения социального участия представлены интервью (Abbott, Fisk, Forward, 2000; Hirano, Kawahara, Saeki, 2015; Greenfield, 2016; Sugarhood, Eakin, Summerfield-Mann, 2016; Iwasaki, Hirai, Aminaka, 2019; Komatsu et al., 2020; Belén, Montserrat, 2019; Jenkin et al., 2021 и др.), фокус-группы (Feldman, Oberlink, 2003; Cheng, Chan, Chan, 2008; Doppler et al., 2018), виньеттография и нетнография (Neves, Vetere, 2019), кейсы и проектные методы (Burholt et al., 2010; Fočić, 2017; Прохорова, 2019), автобиографический отчет (autobiographical account) (Meliou, Mallett, Rosenberg, 2018), ведение журнала жизни (lifelogging) (Kahlert, 2016) и др. Среди количественных часто встречается анализ данных национальных социальных обследований (Litwin, Shiovitz-Ezra, 2006; Kozerska, 2015; Lee, Song, 2015; Saito et al., 2017; Han, Hengyuan, Yonggang, 2022), авторские опросы (Kanamori et al., 2014; Tomioka, Kurumatani, Hosoi, 2016; Anderberg, Abrahamsson, Berglund, 2021; Колпина, 2018; Киенко, Гнедышева, 2022) или основанные на признанных методиках (Индекс активного долголетия (ИАД), Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), Австралийский или Маатрихтский опросники участия и др.). Ученые используют разные подходы к определению, анализу, измерению социального участия в старшем возрасте с учетом целей ухода в клинической практике (Brett et al., 2019: 2) и методологии исследований.

## «Польский крестьянин в Европе и Америке»: социально-политические, биографические и научные контексты»

*Елена Рождественская*

Доктор социологических наук, профессор департамента социологии факультета социальных наук  
Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики»,  
ведущий научный сотрудник Института социологии (ФНИСЦ) РАН  
Адрес: ул. Мясницкая, до. 20, Москва, 101000.  
E-mail: erozhdestvenskaya@hse.ru

*Виктория Семенова*

Доктор социологических наук, профессор ГАУГН,  
главный научный сотрудник Института социологии (ФНИСЦ) РАН  
Адрес: ул. Кржижановского 24/35, к.5, Москва, 117218  
E-mail: victoria-sem@yandex.ru

Авторы фокусируются на истории известного социологического труда «Польский крестьянин в Европе и Америке», а также на биографиях обоих авторов — Уильяма Томаса и Флориана Знанецкого. Наложение биографического анализа на социально-политический контекст и работа в жанре научной биографии позволяют понять не только предысторию создания этого крупного социологического проекта, но и уточнить место социолога-интеллектуала в социальной жизни. Обращение к нелинейной судьбе этого произведения продиктовано драматизмом его реализации и восприятия научной публикой. Авторы с опорой на сложившиеся научные комментарии реконструируют этот процесс: от описания социально-политического контекста, обстоятельств научных карьер обоих авторов до биографических фактов и контура их общего труда.

Обсуждая процесс ретрансляции научного знания, авторы рассматривают рецепцию идей У. Томаса и Ф. Знанецкого в ходе восприятия и укоренения качественно-интерпретативной социологии в России. Здесь существенный интерес приобретают сами способы трансляции понятий и идей, т.е. не только перевод отдельных научных трудов, но сам порядок встраивания идей в контекст «принимающей» научной среды. Более конкретно рассматривается феномен асимметрии (больше Знанецкого, меньше Томаса), которая сопровождала дальнейшую научную судьбу обоих авторов, причем в контекстах различных национальных научных школ, и прежде всего России.

*Ключевые слова:* «Польский крестьянин в Европе и Америке», научные биографии, Уильям Томас, Флориан Знанецкий, Чикагская школа, российская качественная социология

### Социально-политические и биографические контексты

В рамках любой научной школы возникает важная задача — определиться с ключевыми концепциями, важнейшими текстами, их раскрывающими, с синклитом имен, ее представляющих. Для российской качественной социологии таким текстом является многотомный труд У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке». Мы обращаемся в этой статье к биографиям обоих авто-

ров, поскольку в зеркале научной биографии можно понять, как формировался крупный исследовательский и интеллектуальный проект, который сегодня признан классическим. Но продиктовано это обращение нелинейной судьбой не только самого произведения, драматическим образом формировавшегося замысла, проблематики, издания и восприятия научной публикой. Со временем в истории социологии и процессе рецепции этого классического труда в России произошла интересная абберрация — у складывавшегося по инициативе У. Томаса авторского тандема постепенно в памяти последующих поколений в большей степени осталось имя Ф. Знанецкого. Как это произошло?

Итак, известнейший труд Томаса и Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке», визитная карточка ранней американской социологии в формате Чикагской школы 1920-х годов, фокусировался на проблеме, которая и сегодня является центральной — проблеме миграции. Эта широко цитируемая работа побуждает обратиться к реконструкции ее происхождения. Подобную задачу можно решить разнообразными путями, среди которых нам кажется наиболее важным изучение собственно биографических аспектов интеллектуального пути обоих авторов, а также рецепция научных сюжетов, помещенных авторами в центр рассмотрения, в российской социологии. Но прежде о социально-политическом значении «Польского крестьянина в Европе и Америке» в целом в контексте американской научной школы.

Труд «Польский крестьянин в Европе и Америке»<sup>1</sup> интересен с точки зрения поиска Чикагской школой социологии своей идентичности. Норберт Уилли, посвятивший анализу Чикагской школы ряд текстов (Wiley, 1979, 1986, 2006, 2007), приписывает этой монументальной работе особый смысл: «Эта книга определила исследовательское поле Чикагской школы и объяснила, что такое социология. Это также очень политическая книга, поскольку представляет собой ответ на радикальные антииммигрантские, нативистские настроения того периода. Томас и Знанецкий выбрали американского аутсайдера для своих исследований, и их анализ с его эгалитарными выводами показывает, что с поляками обходились несправедливо в американской жизни» (Wiley, 2015: 41). По сути, Уилли формулирует политический импульс этой работы как совместный продукт эгалитарных установок и самого У. Томаса, и польского национализма Ф. Знанецкого, простимулированный идеологией нативизма<sup>2</sup> в период примерно с 1915 по 1925 год, который затем трансформировался в движение «американизации» (Ibid., со ссылками на работы: Ross, 1994; Hawes, 1968; Cravens, 1988; Pickus, 2005). Иными словами, Уилли рассматривает ключевые идеи Чикагской школы с политической точки зрения как ответ на угрозу демократии со стороны таким образом понимаемой американизации (в духе нативизма). Это и сформировало то, что называется в науке «школой». В таком свете теоретические положения Чикагской школы приобретают характер политического заявления.

1. Далее в сокращенном виде ПК.

2. Нативизм — движение, политика, идеология защиты титульного этноса против иммиграции.

Книга ПК стала переходным этапом между формированием Чикагской школы в первые годы ее существования и устойчиво-успешным последующим функционированием. Томас и Знанецкий, столкнувшись с проблемой принудительной американизации, представили в своем проекте аргумент, который будет подхвачен либеральными социологами (особенно в Университете Чикаго) в течение следующих 10–20 лет. Авторы противостояли подходу «упорядочения и запрещения» (Thomas, Znaniecki, 1918–1920: 3). Предполагалось, что иммигрантам из «низших групп» следует предоставлять гражданство второго класса, придерживаясь небольших квот. Напротив, социально-психологическая теория «Я», разрабатываемая Томасом и подразумевающая схему «установки–ценности», оказалась эгалитарной точкой зрения. Акцент на семиотическом или символическом характере взаимодействия и сделал Чикагскую школу столь великолепной (Wiley, 2015: 68). Заслуга этой школы состояла в том, что они дали политическую оценку Конституции Соединенных Штатов, а также сформулировали продуктивную для социальной теории идею. В политическом плане это помогло остановить распространение фашизма в Соединенных Штатах сразу после Первой мировой войны. Хотя все еще не было ясно, в каком смысле чернокожие были равны белым, если «все люди равны». Так, Н. Уилли пафосно заключает, что, когда представители социальной науки, возглавляющие Чикагскую школу, объяснили, что происходит с онтологией «Я», уравнивающей всех индивидов, они разрешили проблему гражданской войны (Wiley, 2015: 67).

Но если Чикагская школа была адекватна 1920-м годам, то, увы, она плохо адаптировалась к 1930-м годам. Великая депрессия, поворот к макропроблемам и классам оказались трудным для объяснений представителями Чикагской школы. Впрочем, Уилли находит важный аргумент: с его точки зрения, Гитлер вынашивал не только планы мировой экспансии, «но еще более был озабочен статусом, этнической принадлежностью, расой, религией и, предположительно, биологической основой их различий. Другими словами, он был близок движению американизации и нативизма в Соединенных Штатах. Или, иными словами, Гитлер являл собой более серьезную версию той же угрозы, которой Чикагская школа занималась в 1920-х годах (Wiley, 2015: 68). Не сильно преувеличивая, можно сказать, что Чикагская школа «вакцинировала» США против немецкого национал-социализма, преодолевая собственный этнический фашизм.

Итак, исследования ПК несли в себе важный эмансипаторный посыл, смещающий фокус от биологизаторства к социальному характеру взаимодействия, однако биографический импульс этой работы вовсе не кажется столь очевидным с точки зрения интеллектуальной логики ее авторов.

## Уильям Томас

Уильям Томас провел 1895–1907 годы в Чикагском университете, сначала изучая, а потом преподавая сравнительную этнологию непромышленных обществ. Будучи специалистом по институционализму в социальной психологии, Томас из-

учал социальные обычаи и практики. Что же развернуло автора к масштабному замыслу «Польского крестьянина...»? Хотя об интеллектуальном и биографическом пути Томаса написан ряд текстов (Faris, 1948; Young, 1963; Janowitz, 1966; Deegan and Burger, 2008), все же рассмотрим некоторые факты его биографии подробнее

До 1893 года Томас был профессором английского языка, и когда он приехал в Чикаго, намереваясь стать социологом, его первое исследование было из области биологии: докторская диссертация «О различии в метаболизме полов» касалась почти исключительно биологических различий. Однако в ней Томас представил биологию в диалоге с социальным исследованием. В статье «Области и метод народной психологии» (1896) он настаивал на том, что биологический анализ, в частности, новая биологическая психология Вундта должны быть дополнены исследованием социальной среды. Впрочем, уже следующая книга Томаса «Источники социального происхождения» (1909) содержала теорию социальной эволюции с точки зрения внимания, контроля, привычки, кризиса и подражания — терминов, которыми оперирует прагматическая психология Джеймса, Дьюи, Болдуина и других. Проблема личности и группы в ней упоминается, но не занимает центрального места. В комментариях к «Источникам социального происхождения» Томас выступал за историцистскую и процессуальную теорию культуры, которая критиковала имманентный эволюционизм Спенсера, опираясь в основном на Вестермарка, Тэйлора, Моргана, Риверса и других основателей современной антропологии. Таким образом, в работах Томаса до 1910 года мы видим удивительно мало из того, что привело бы к появлению ПК. Скорее, Томаса интересовала тогда собственно социальная реальность, а не теории ее развития.

Тем не менее непосредственные основы польского проекта, как показал Р. Хэрл (Haerle, 1991), были заложены около 1910 года. Спонсор Томаса — бизнесмен по недвижимости Хелен Калвер, с которой Томас был знаком с середины 1890-х годов, заключает с ним соглашение о финансировании независимых исследований по «расовой психологии» в течение одного квартала в год» на сумму около 7000 долларов США на срок 5 лет. Большая часть этих денег была использована Томасом в его поездках по Европе в 1910–1914 годах, по их результатам он напишет программную статью «Расовая психология» (Thomas, 1912), в которой фактически было предложено сотрудничество европейским ученым. Речь шла об эмпирическом, сравнительном и индуктивном исследовании, в котором было бы полезно использовать документы как источник информации, а также подчеркивалась важность индивидуальной психологии при анализе институтов. Но в этой статье еще нет постановки проблемы, для решения которой потребуются более поздняя концепция «организации жизни» социального «Я»: в ней мало обсуждаются традиция, контроль и дезорганизация.

Выбор в качестве кейса Польши не был столь однозначным и, мало того, единственным — авторы А. Эббот и Р. Иглофф (Abbott, Egloff, 2008: 229) ссылаются на переписку Уильяма Томаса с Сэмюэлем Харпером, экспертом по русскому



и украинскому крестьянству, которая показывает: с середины 1912 года Томас планировал серию публикаций, возможно, с отдельными авторами, о европейских крестьянах: поляках, русских, венграх, словаках, румынах, итальянцах, ирландцах и евреях. Это были бы, по его словам, «энциклопедии», но с некоторой интерпретацией фактов. Эта энциклопедическая серия в целом могла бы служить массивом данных для размышлений об иммиграции или сравнения с положением афроамериканцев в США. Реализуя идею этого проекта, Томас провел в Европе часть 1910–1911 годов, и с июля 1912 года до середины весны 1913 года, возвращаясь в Чикаго только весной. Первый год он находился в основном в Вене, а второй — в Польше. К концу осени 1912 года он ограничил проект изучением России, Польши (в первую очередь), Италии и Германии, тогда как С. Харпер больше внимания уделял только России.

Однако спустя девять месяцев Европа находилась уже в состоянии войны. У Томаса не осталось выбора: война означала, что в Европе не могут быть собраны дополнительные документы, поэтому их поиск переместился в Америку. Единственными группами, доступными для исследования, оказались польские иммигранты в Чикаго, поскольку Томас еще до войны вступил в контакт с их эмигрантскими организациями. Одновременно Флориан Знанецкий с 1911 по 1914 год был главой общества защиты эмигрантов в Варшаве. Таким образом, обоюдная встроенность в сеть мигрантских контактов сыграла решающую роль, а война лишь сделала миграцию неизбежным фокусом исследования. Наконец, сравнительная расовая психология уже перестала быть теоретическим основанием, потребовалась новая теория, которой стала «Социальная психология».

Как пишет Эббот и Иглофф, отъезд Томаса из Чикаго в апреле 1918 года превратил его в легенду для многих поколений социологов: знаменитость без академического статуса, уволенный из университета за аморальное поведение<sup>3</sup>, ученый, собравший уникальные данные (Abbott, Egloff, 2008: 218). К тому же Томас был абсолютно равнодушен к авторскому праву на свои идеи. «Я не считаю себя настолько значимым. Я не хочу, чтобы меня заметили. Меня не волнует, публикуются ли мои слова» (Raushenbush, 1979: 92).

В переписке ученый выражал смущение относительно многолетних дебатов о том, кто писал те или иные разделы труда ПК. Он не стал публично опровергать ложную атрибуцию труда «Перенесенные черты старого мира» Роберту Парку и Герберту Миллеру. Также Томас предложил передать соавторство в исследовании «Неприспособленная девушка» (*The Unadjusted Girl*) Мириам Ван Уотерс без каких-либо ограничений и уточнений (Abbott, Egloff, 2008: 219). Показательно, что авторство знаменитой формулы «Если люди определяют ситуации как реаль-

3. Томас покинул Чикагский университет в апреле 1918 года. И причиной тому был скандал, связанный с адюльтером. Обнаруженный в городском отеле с женщиной, чей муж находился на военной службе за границей, Томас был обвинен в аморальном поведении в соответствии с законом Манна и уволен из университета несколько дней спустя. Затем был вынесен оправдательный приговор благодаря давлению со стороны филантропа Хелен Калвер, которая была не только главным спонсором этого проекта — «Польского крестьянина...» — но и основным донором университета.

ные, они реальны по своим последствиям» оспаривается до сих пор<sup>4</sup> (Thomas, Thomas, 1928: 572), а его масштабный институциональный вклад в американскую социальную науку — основание научной школы «Культура и личность» благодаря его деятельности в научном совете по социологии в конце 1920-х — начале 1930-х годов — почти полностью забыт.

Дело Мириам Ван Уотерс раскрывает и другие качества Томаса — его «интеллектуальное бродяжничество». Причина, по которой он наделил Этель Стургс Даммер, своего личного спонсора, правом передать Ван Уотерс все его материалы по исследованию «Неприспособленная девушка», заключалась в том, что он увлекся психоанализом и хотел написать об этом книгу. На протяжении всей своей жизни Томас постоянно менял свои интеллектуальные пристрастия (см.: Murray, 1988), научные дисциплины (от классической филологии до английской литературы и народной психологии с социологией) и места жительства (Илк Гарден, штат Виргиния, Морристаун, штат Теннесси, Кноксвилл в Берлине, Геттинген, Оберлин, Чикаго, Нью-Йорк, Беркли, не считая нескольких длинных европейских турне). Как пишут Эббот и Иглофф: «Это бродяжничество Томаса разочаровало многих, кто изучал его творчество: если бы он был более систематичен, если бы доводил свои исследования до конца, если бы только вышел за пределы интерпретации и занялся анализом и теорией... Если бы он только играл по новым академическим правилам о принадлежности идей... Томас выглядит для нас как... бродяга, кочующий с одного места на другое, с одной идеи или автора на другую» (Abbott, Egloff, 2008: 255). Впрочем, он полагал себя «творческим человеком», поскольку «[В] творческом человеке эта беспорядочность выражается в постановке и решении задач, в создании новых идей» (Thomas, 1917: 180).

Очевидно, что Томас никогда не был системным теоретиком, не стремился построить фундаментальную концепцию, использовал понятия эклектично и часто противоречиво, ради интерпретации как способа познания социальной реальности. Томас никогда не употреблял слово «теория» для обозначения концептуальных схем, скорее, в качестве «точки зрения». В начале 1920-х годов Томас обсуждал бихевиоризм, психоанализ и спиритуализм с разными собеседниками — Флорианом Знанецким, Дороти Свайн Томас, Робертом Парком (Abbott, Egloff, 2008: 220). Мы бы назвали его сегодня «всеядным постмодернистом», значение личности и наследия которого — во влиянии на умы, на десятки последователей с 1910 по 1940 год. Это был период, когда социальные науки еще были далеки от привычного нам институционализированного формата, привлекая множество дилетантов и филантропов. Но в зеркале его научной биографии отразилось формирование крупного исследовательского и интеллектуального проекта, который сегодня признан классическим.

---

4. «Теорема Томаса», как назвал апофтегму Р. Мертон (Merton, 1995), также приписывается Дороти Свайн Томас (вторая супруга и соавтор Томаса) и Знанецкому (см. цитату Говарда Беккера в: Thomas, 1986: 327). Основная идея сначала появляется у Томаса в концепции «определения ситуации», которая датируется 1917 годом.

## Флориан Знанецкий

В начале 1913 года Томас встречается с Флорианом Знанецким, главой Общества защиты эмигрантов в Варшаве. Он приглашает Знанецкого в качестве исследователя и соавтора в Чикаго, куда последний и перебрался в сентябре 1914 года. Так 32-летний философ Знанецкий стал научным помощником Томаса, а после 1915 года — его сотрудником вплоть до 1920 года. Весьма вероятно, что именно Знанецкий написал вступительную статью про «первичные группы» для ПК и основной проект текста методологической аргументации (подробное обсуждение авторства см. в диссертации Е. Thomas, 1986: 5).

Во время работы над ПК, как пишет Уилли, Томас пытался помочь Знанецкому получить докторскую степень и способствовал тому, чтобы Знанецкий мог посещать семинары в департаменте социологии (Wiley, 2015: 53). Однако через месяц профессора попросили Томаса передать Знанецкому, что он больше не может приходить на занятия. Очевидно, они посчитали, что Знанецкий уже достаточно образован и широко известен своими публикациями, чтобы сидеть в аудитории как студент. Тем не менее последствия были серьезны, поскольку это означало, что Знанецкий не сможет получить степень в департаменте социологии, а без нее — академическую работу в Америке. Другая проблема заключалась в том, что он не был принят большой польской общиной в Чикаго. Как он сам писал позже: «Я испытал полное разочарование в американских поляках, которые, как мне показалось при первом контакте, не сохранили ни одной из положительных черт поляков в Польше и, напротив, приобрели в огромном количестве то негативное, что в настоящее время ассоциируется у европейцев с американским обществом. Не только стандарты интеллектуальных ценностей были очень низкими, но и любые их требования оказались монополизированы образованными или полуобразованными иммигрантами, которые и смотрели на меня как на нежелательного конкурента» (Znaniecki, 1920: 6).

Если бы Знанецкий был принят местной польской общиной, это могло бы помочь ему и в Чикагском университете расширить круг этнически близких коллег. Но вместо этого он оказался нежелательным и в университете, и в городе. Другой негативный момент — утратившая силу рекомендация Томаса, из-за удара по его репутации истории с адюльтером и потерей Томасом работы в Чикагском университете.

Нет сомнений в том, что Знанецкий внес большой интеллектуальный вклад в ПК и подготовил существенные части текста, но, по мнению Эббота и Иглоффа, Знанецкий вряд ли был автором центральной концепции ПК (Abbott, Egloff, 2008: 231). В прошлом творчестве Знанецкого не обнаруживалось постоянного интереса к анализу документов. Его предыдущие, да и последующие работы, его концепция культурных систем, демонстрируют склонность к абстрактному теоретизированию, но не к интерпретации. Одно из косвенных доказательств, которое приводят упомянутые авторы, это описание читаемых именно Томасом в 1914 году курсов (Abbott, Egloff, 2008: 232): это «Социальное происхождение», «Психическое развитие расы» и «Иммигрант», курс «Пол в социальном происхождении» был заменен

на «Проституция», курс «Разум негра» он уступил Роберту Парку (который переименовал его в «Негр в Америке»), новые курсы «Социальные отношения», «Психология дивергентных типов» и «Еврей». Все три новых курса Томаса явно корреспондировали с его исследовательской программой о европейских крестьянах. Так, в курсе «Социальные отношения» подчеркивалась важность «этнографических материалов, биографий и личных документов»; курс «Дивергентные типы» охватывал, среди прочего, «цыган, парий», «бедных белых», «русское» сообщество нищих, а также «бродяг, хобо, преступников, проститутток, ментальных инвалидов и гениев» (Ibid.). Преамбула к описанию курсов гласила, что они нацелены на то, чтобы:

- 1) определить и проиллюстрировать метод,
- 2) анализировать основные элементы социальных установок, привычек и способов поведения,
- 3) определить расовые и индивидуальные темпераменты и установки,
- 4) описать и объяснить процессы социального взаимодействия, с помощью которых
- 5) индивиды и группы людей обретают самосознание и демонстрируют моральные различия и индивидуальность, и
- 6) социальные отношения индивидов — их настроения, привычки и техники — модифицируются, обобщаются и передаются в виде обычаев, условностей и традиций в качестве социального наследования,
- 7) изучать с помощью биографий, писем, психоаналитических записей и других личных документов внутреннюю жизнь, разнообразные типы человеческого поведения, представленные у индивидов и изолированных групп, определять влияние традиционных барьеров, социального давления и профессиональных интересов на естественные склонности и темпераменты, а также роль этих факторов в формировании характера индивидуумов и черт групп, рас и национальностей (Abbott, Egloff, 2008: 233).

В этом описании в целом уже присутствуют все определяющие характеристики ПК: использование формата кейсов, биографических и этнографических материалов, одновременное внимание к индивидуальному и групповому сознанию и их совместный анализ, акцент на процессе и темпоральности, отдельный сюжет девиантных типов.

### **«Польский крестьянин в Европе и Америке» как издание**

«Польский крестьянин в Европе и Америке» представляет собой текст из 2200 страниц, первоначально в пяти томах (Thomas, Znaniecki, 1918–1921). Его публикация была осложнена тем фактом, что Томас покинул Чикагский университет в апреле 1918 года, в середине этого издательского процесса (причиной был упомянутый скандал, связанный с адюльтером)<sup>5</sup>. Позже Томаса оправдали, в основном

---

5. Н. Уилли привлекает внимание к этому вроде частному событию, но имевшему колоссальные последствия для судьбы многоотника ПК и расклада научных сил в самой Чикагской школе. Он

благодаря давлению со стороны филантропа Хелен Калвер, которая была не только главным спонсором этого проекта, но и основным донором университета<sup>6</sup>. В результате университет получил довольно щедрое финансирование, на средства которого Томас смог издать первые тома ПК. Остальные три тома ПК были опубликованы издателем Ричардом Бадгером в Бостоне. Средства от контракта Томаса с Бадгером уже давно были исчерпаны, но Бадгер выпустил «Пол и общество», «Источники по социальному происхождению» и тома 3, 4 и 5 ПК в собственной редакции, допечатывая экземпляры до 1930-х годов. К концу 1920-х годов Томас смог договориться о новом отредактированном издании ПК в двух томах в издательстве Кнопф (Thomas, Znaniecki, 1927).

Первоначальный издательский план ПК, весьма затратный, состоял из восьми томов, и его дизайн сильно отличается от пятитомной версии, впоследствии переработанной и опубликованной в двухтомнике издательства Кнопф. Эти сокращения, произведенные из-за сомнений относительно прибыли многотомника, содержательно затронули в большей степени характеристики Польши в целом, но не сюжеты о крестьянстве.

Книга, которая возникла в результате этого сложного процесса, имеет ряд разделов. Первый — основной — касается «сообщества первичной группы», этим термином Томас и Знанецкий обозначали сообщество, где индивиды подчинены правилам расширенной семьи. Анализ был основан на более чем 700 письмах польских семей, адресованных польским иммигрантам в Америке. Объявления о сборе писем появились в польских газетах в Чикаго, и Томас и Знанецкий платили от 10 до 20 центов за страницу письма. Письма были переписаны, переведены и опубликованы серийно по принадлежности к одной семье (в некоторых случаях представлены десятки писем членов одного семейства), каждая серия сопровождалась комментарием авторов издания. Как и все документальные данные в ПК, для экономии места письма напечатаны 10 кеглем.

Анализ «первичной группы» традиционного общества занял первые два тома ПК. Третий том описывал историю жизни Владека Вишневого, молодого человека из крестьян, который стал учеником, затем подмастерьем и, наконец, мастером-

---

пишет, что «это повредило книге настолько, что издательство Чикагского университета отменило свое соглашение о публикации последних трех из пяти томов, заставив Томаса и Знанецкого найти другого издателя. Пресса также решила не рекламировать первые два тома, которые уже были напечатаны. Томас и Знанецкий должны были искать другой способ распространения. Университет уничтожил персональное дело Томаса (об этом пишет также Janowitz, 1966: IX). Другими словами, Томас действительно стал социальным изгоем после того дня в отеле «Бреверт» в центре Чикаго. Если бы Томас не был пойман на отношениях с женой офицера американской армии в годы Первой мировой войны, или если бы университет не был так жесток с ним, он бы продолжил свою звездную карьеру в департаменте социологии. И Знанецкий, возможно, перешел бы к нему. Это поставило бы команду Томаса и Знанецкого рядом с Парком и Берджессом, тем самым укрепив департамент еще больше — что существенно изменило бы историю американской социологии» (Wiley, 2015:43).

6. Х. Калвер передала около 40 000 долларов на проект ПК. Первоначальная договоренность с печетелями составляла до 7000 долл. США в год в течение пяти лет (Haerle, 1991). В целом Х. Калвер предоставила университету более миллиона долларов в 1890-х годах, в основном в виде пожертвований на инфраструктуру исследований в области биологии (Abbott, Egloff, 2008: 228).

пекарем еще до того, как, чтобы избежать судьбы своих братьев и сестер и поддерживать своих пожилых родителей, эмигрировал в Америку. Двухсотстраничному тексту — собранию писем Владека предшествует введение на ста страницах, а также непрерывный комментарий и интерпретации в сносках. Это самый читаемый и во многом самый убедительный из всех томов многотомника, прежде всего благодаря тому, что он точно отражает тип определенного сознания и конфигурацию социальных миров, незнакомых большинству читателей.

Том четвертый — анализ социальной дезорганизации и реорганизации в Польше. Здесь представлены рассказы и письма из местных польских газет, собранные во время полевой работы. Они касались самых разнообразных сюжетов: криминальные истории, школьные очерки, описания радикальных групп, манифестации старых и новых ценностей. Нарративы были организованы вокруг таких социальных институтов, как семья, сообщество, церковь, усадьба, пресса и кооператив. Но авторы никогда не рассматривали эти институты как фиксированные системы правил, а скорее, как меняющиеся под влиянием смещения ценностей и взглядов социальные схемы. По сути, это монументальная интерпретативная записная книжка, содержащая в основном биографический материал об индивидах и социальных группах, исследующая массовый процесс социальных изменений путем изучения смещающихся моделей индивидуального и общественного сознания, которые и осуществляют подобные изменения.

В пятом томе ПК анализировались схожие изменения, но уже относительно дезорганизации и реорганизации социальной жизни иммигрантов в Америке. В качестве источника рассматривались документы различных местных церквей, Польского национального альянса и других заметных общественных и религиозных организаций. Для изучения процессов «дезорганизации» использовались документы учреждений социального обеспечения, общества юридической помощи, судов по уголовным делам и делам несовершеннолетних, а также коронерской службы.

В многотомник ПК вошел методологический текст, хотя и созданный после окончания работы над двумя первыми томами, но в результате помещенный в начало. Он состоит из трех разделов: общее обсуждение философии науки, формальная теория взаимосвязи индивидуальной и групповой психологии с опорой на понятия «установка» и «социальная ценность», и перспективы изучения теории организаций в различных социальных науках. Аргументация, разработанная в методологической части (и повторенная во введении к истории жизни Владека), предоставила концептуальный словарь для описания взаимообусловленности индивидов и социальных групп в процессе социальных изменений. В отличие от аргументации друга Томаса — Джорджа Герберта Мида, она была привязана или укоренена в актуальных на тот момент социальных проблемах и соответствовала тогдашней социологии — теории организации, дезорганизации и реорганизации, а также динамичным взглядам на социальную мотивацию. Свои мысли по поводу дезорганизации и реорганизации Томас назвал точкой зрения на смены социальных ценностей в тигле социальных изменений. Научный потенциал



подобной аргументации был негативно оценен Гербертом Бламером в 1938 году (Blumer, 1939), но справедливости ради стоит сказать, что реальная сила подобных идей проявляется не сразу, а в результате бесконечного повторения при анализе конкретных эмпирических материалов и документов, составляющих тело текста. Это по совокупности постепенно приводит читателя к осознанию масштаба изменений, в которые вовлечены отдельные индивиды и социальные группы.

Как полагает Ферис, критические замечания к ПК имеют отношение к замыслу, который следовало бы существенно сократить, и к эмпирике, слишком обширной для обработки (количество писем). Кроме того, методология анализа писем и историй жизни не была достаточно четко интегрирована в авторскую теорию установки и ценностей. Из-за этой слабой интеграции большинство читают в основном «методологическую записку/аргумент», то есть раздел теории, и лишь просматривают последующие 2164 страницы по этнографии и личным документам (Faris, 1967: 18).

Помимо схемы «установка–ценность» у Томаса и Знанецкого была вторая, более конкретная и, возможно, менее убедительная теория «четырёх желаний», в перспективе — теория мотивации, которая сделала бы ненужным обращение к человеческим инстинктам. Возможно, Томас и Знанецкий не довели свои идеи до логического завершения. После того, как книга была опубликована, оба автора в каком-то смысле конкурировали в своих публичных заявлениях и выясняли, кто действительно написал книгу. Это добавило путаницы и способствовало амбивалентному восприятию работы их современниками-коллегами. Так, Парк и Берджесс не включили отрывки из «Польского крестьянина...» в свое «Введение в науку о социологии» (1921 и 1924 гг.). А Норберт Уилли полагал, что это приводило к принижению значения фактически основного достижения Чикагской школы того времени (Wiley, 2015: 55). Тем не менее именно Парк способствовал поддержке в 1927 году восстановления Томаса в позиции президента Американского социологического общества (Huges, 1980).

Итак, что оставили с точки зрения научного наследия Томас и Знанецкий? Они предложили методологию эмпирических исследований, операционализирующую теорию установок-ценностей для анализа личных документов. Они собрали значительное количество писем эмигрантов и реконструировали одну длинную историю жизни, которая принципиально основывалась на субъективности респондентов. Этот подход открыл доступ к польской эмигрантской общине и показал, как осуществить теоретизирование этой субкультуры. Представление об установке авторов ПК было довольно близко понятию Мида о социальном, а также понятию Гуссерля о значении или «интенции». Понятие ценности, в свою очередь, было примерно таким же, как антропологическое понятие Боаса о культуре. Иными словами, они определили область социологии, прояснив ее предмет. Сообщение, установка и ценность имели в их интерпретации более широкие значения, чем те, которые используются сегодня. В настоящее время установка означает нечто вроде предрасположенности к действию, Томас и Знанецкий же используют этот термин шире, отсылая к различным аспектам разума, а не только предрасположенности. В ПК ценность

также означала любые культурные символы, то есть когнитивные, эмоциональные, эстетические, то есть имела более абстрактный, обобщенный смысл, чем сегодня.

### **Российская рецепция «Польского крестьянина в Европе и Америке»: больше Знанецкого, меньше Томаса**

Становление поля качественных исследований как за рубежом, так и в России предполагают экспорт и импорт разнообразных научных подходов и идей. Это обстоятельство оказалось конгруэнтно духу и смыслу обсуждаемого труда «Польский крестьянин в Европе и Америке». Фактически это направление так и развивалось: как миграция теоретической мысли между Северной Америкой и Европой, как миграции/эмиграции отдельных значимых фигур (Apitzch, Inowlocki, 2000). В случае с качественно-интерпретативной социологией процесс экспорта и импорта (миграции) научного знания был осложнен методологической ориентацией практического знания на укорененность/локальность, социально-культурный контекст определенной социальной среды, на культурную дифференциацию, что приводит к культурному, лингвистическому и методологическому разнообразию всего поля, но, с другой стороны, затрудняет его становление как единой парадигмы (Flick, 2014). Как следствие, в этом процессе методологического взаимодействия национальных школ существенный интерес приобретают сами способы трансляции понятий и идей, т.е. не только перевод отдельных научных трудов, но сам «порядок экспорта», процедура встраивания идей в контекст «принимающей» среды, перевод не буквы, но смысла научного знания, соответствующего/несоответствующего определенному культурному контексту. В данном случае это вопрос о том, как новые направления и способы эмпирического социологического мышления, выработанные в одном социокультурном пространстве, воспринимаются и адаптируются в рамках иного социального контекста.

Если обратиться к темпоральному аспекту «вхождения» идей ПК в пространство российского социального знания, то произошло это достаточно поздно, начиная с 70–80-х годов прошлого века. Подобный процесс можно рассматривать в трех измерениях: 1) с позиции контекста, как доперестроечной и постперестроечной социокультурной ситуации в области гуманитарного знания (например, дискурс «критики буржуазной социологии», отношение научного сообщества к заимствованию «западного», господство «единомыслия» как единой идеологии и методологии познания); 2) с позиции запаздывающих гуманитаристских трендов в развитии профессионального сообщества и сложностей восприятия инновационных социологических трудов (например, устоявшаяся в социологии ориентация на марксистскую методологию в теории и традиции позитивизма в практике социальных исследований); 3) с позиции внутренней дифференциации профессионального сообщества на отдельные кружки или школы в восприятии нового, «инового», что обусловлено более конкретным индивидуализированным критерием — типом личности «человека знания» (выражение Знанецкого — см.: Знанецкий, 2013).

В данном случае темпоральный подход представляется наиболее адекватным, характеризующим процесс трансляции в соответствии с изменением общего социального климата, поскольку в научном дискурсе России имена Томаса и Знанецкого упоминались в ходе импортирования с Запада новых социологических воззрений и технологий параллельно процессу расширения прежних жестко ограниченных идеологических рамок социального знания.

В позднесоветский период, с конца 1970-х — до начала 1990-х годов, такие работы появлялись в рамках популярного тогда дискурса «критики буржуазной социологии». Поэтому важную роль в специфике данного процесса «импорта» идей сыграли «посредники», талантливые интерпретаторы концепций и понятий, присутствующих в первичных текстах, хорошо знакомые с западной социологией (Кон, 1979; Ионин, 1979). В своих работах они якобы в критическом ключе знакомили российскую аудиторию с историей западной социальной мысли и тем самым доносили идеи и воззрения, незнакомые русскому читателю. Все это преподносилось скорее в форме информационного источника, знания о «другом», новом методологическом направлении, существовавшем «где-то у них» в 20–40-х годах, и в качестве «незнаемого» и «чуждого» для устоявшейся парадигмы марксистско-ленинской социологии имело слабое отношение к теории, а тем более практике тогдашних отечественных исследований<sup>7</sup>.

В публикациях 1990-х — начала 2000-х в социологическом дискурсе стал популярен термин «гуманистическая социология», соотносимый в первую очередь с именами и наследием Томаса и Знанецкого. Интерес к понятию возник и институционализировался в социологии как обозначение направления в американской эмпирической социологии вследствие изменений как общесоциального контекста и под влиянием процессов демократизации в социальной жизни, так и изменений в социологическом знании и идеологии в связи с переориентацией на полипарадигмальный дискурс (В. А. Ядов). В социологических учебниках появился отдельный раздел — гуманистическая социология, где имена авторов ПК присутствовали в одном ряду с другими представителями Чикагской школы.

Необходимо подчеркнуть, что даже теперь, в иное социальное время, ПК как работу нельзя отнести к разряду наиболее обсуждаемых и цитируемых в корпусе современной российской социологической литературы. До настоящего времени ПК не переведен на русский язык полностью, а другие работы Томаса и Знанецкого представлены только в сокращенном переводе<sup>8</sup>.

---

7. Внутри профессионального сообщества единицами оказались те, у кого знакомство с подобными идеями буквально перевернуло их мировоззрение. Среди них — тогда молодой, а теперь известный исследователь Виктор Воронков. Как отмечает теперь Воронков в своем интервью, «я познакомился с работами Леонида Ионина конца 70-х (!), он писал о феноменологической перспективе в социологии (конечно, в жанре критики), о понимающей социологии (по этой теме он защищался). Изложенные там идеи меня захватили. Я только поражался, как равнодушно прошла мимо них советская социология, и сам Ионин в том числе» (Воронков, 2009).

8. Так, первая переведенная на русский язык статья Ф. Знанецкого появилась в журнале «Социологические исследования» в 1989 году, это была сутубо эмпирическая работа: «Мемуары как объект

Складывается парадоксальная картина: большинство учебных стандартов по истории социологии содержат главу о «гуманистической социологии», где имена Томаса и Знанецкого сопряжены с идеями Чикагской школы и исторически рассматриваются в рамках истории американской социологии 1920–1940-х годов, а самих текстов на российском рынке нет. Концептуально это можно связать с онтологическими различиями натурализма и культурализма как школ социального знания, в ходе которых формировались теоретические и методологические представления авторов о предмете социологии как науки. В свое время Знанецкий сформулировал свое представление о социологии как «частной науке о культуре с собственным эмпирическим полем» (Знанецкий, 1996: 68), которая обладает «специальным» углом зрения на взаимодействие человека и культуры и базируется на четырех «полях» социальной реконструкции: теории социальных действий, теории социальных групп, теории социальных персонажей и теории социальных систем (Знанецкий, 1996). При этом надо сказать, что Знанецкому в российском поле «повезло» больше, чем Томасу. Его методологические работы появились значительно раньше, о чем упоминалось выше, да и национальная близость российской и польской социологии позволила его имени легче вписаться в контекст отечественной социологии. Имя Уильяма Томаса и его позиция «интеллектуального бродяжничества» привели к тому, что его вклад по-прежнему больше ограничивается опосредованным для русского читателя знанием: больше «именем», чем работами, несмотря на известность их общего труда. Он скорее известен как автор «теоремы Томаса»<sup>9</sup>.

Показательно, что в суммировании итогов развития польской национальной школы качественных исследований, имеющей славную традицию биографики через национальные конкурсы (Томпсон, 1994: 51–62), современные исследователи-качественники, описывая вклад Знанецкого в связи с многотомным трудом ПК, вообще не затрагивают фигуры Томаса. Авторы объясняют склонность польских исследователей к собиранию автобиографий сугубо влиянием Знанецкого на польскую социологию, а также политической ситуацией в Польше: в течение всего XIX века Польша была нацией без государства (Konecki et al., 2005). «Первая и Вторая мировые войны уничтожили многие архивы, библиотеки и другие культурные ресурсы. Почти все конкурсы, в которых востребованы автобиографии,

---

исследования» (Знанецкий, 1989), где впервые в русскоязычной социологической литературе биография была упомянута как возможный объект анализа и интерпретации индивидуальных данных, его более широкие теоретико-методологические разработки были опубликованы в сокращенном переводе значительно позднее: «Исходные данные социологии» (Знанецкий, 1996) как перевод 3-й главы книги «Метод социологии» (Znanienski, 1934) и «Методологические заметки» (Томас, Знанецкий, 1996) как введение к книге «Польский крестьянин в Европе и Америке».

9. До сих пор опубликована на русском только одна глава из криминологической книги У. Томаса «Неприспособленная девушка» (“The Unadjusted Girl”) (в переводе В. Николаева в журнале «Личность. Культура. Общество» в 2009 году (Томас, 2009)). Другие его значимые произведения, посвященные ситуативному анализу (The Scope and Method of Folk-Psychology (1896), The Gaming Instinct (1901), Sex and Society (1907), The Child in America (1928), Primitive Behaviour: An Introduction to the Social Science (1937), W. Thomas On Social Organization and Social Personality. Selected papers (1966)), так и остаются недоступными для русскоязычного читателя.

были связаны с патриотическими мотивами и отдельными перипетиями в истории страны. Патриотические рассказы оказались не только иллюстрацией недавнего прошлого конкретной нации, но и возможностью заполнить пробелы в исторических документах (Szczepanski, 1971: 587–588). В этом контексте строительства нации и государства выбор фигуры Знанецкого понятен.

Но то, что выглядит деколонизирующим поворотом в Польше, в российском научном поле нуждается в объяснении. Одно из них — предпосланный выше биографический анализ обеих фигур, перипетии их историй жизни, научных репутаций. И, разумеется, большую роль сыграла почти постмодернистская биография Томаса с его невписанностью в университетский истеблишмент, «номадическим» характером, пренебрежением авторством и пр. Его научная карьера была аномальной для своего времени. И со временем имя Знанецкого стало доминировать в этом авторском тандеме.

Кроме того, общие методологические разработки этих авторов — У. Томаса и Ф. Знанецкого — до сих пор присутствуют в российском поле только как знание «из вторых рук», в изложении и интерпретациях тех исследователей, кто имеет возможность ознакомиться с англоязычными текстами напрямую и транслировать их русскоязычному читателю с определенной личностной оценкой.

Возможно, основополагающим стимулом к методологическому «повороту» в поле качественно-интерпретативной парадигмы стали в первую очередь не переводы оригинальных текстов, но первые исследовательские проекты, осуществленные в стратегии качественных исследований при существенном влиянии труда «Польский крестьянин...». Имеется в виду в первую очередь коллективный проект по социальной мобильности россиян в трех поколениях (Судьбы людей: Россия XX века, 1996). Только с середины 1990-х методологическая концепция гуманистического знания дала стимул к появлению нового направления непосредственно в практике социологических исследований. На этой волне расширяется интерес к методологическому наследию ПК, чей вклад оценивается весьма высоко (Rozhdestvenskaya, Semenova, 2019). Следуя логике изучения адаптационного поведения польских мигрантов в условиях новых форм социальной организации и разрушения старого порядка социальных связей, исследователи начинают изучать влияние объективных факторов, и прежде всего социально-культурных трансформаций сквозь призму их субъективной интерпретации как объектно-субъектный процесс, где индивиды выступают как социальные агенты инновационных процессов соответственно своему толкованию событий. Такие исследования открыли новые познавательные возможности: позволили изучать локальные, немассовые процессы, частным случаем которых являются новые инновационные социальные явления, которые первоначально не приобретают форм массового поведения, особенно в условиях резких социальных изменений. Поисковая стратегия была сфокусирована на субъективной стороне процессов: что заставляло одних оставаться на прежних позициях, а других — резко менять свою социальную позицию? Как принималось решение? Каким образом это отразилось на их ценностном сознании?

Теперь уже с этой, эмпирической точки зрения, российские социологи и стали рассматривать и оценивать значимость основного труда Ф. Знанецкого и У. Томаса. Особенно высокую оценку исследователей-практиков получала его работа с первичными данными, она служила основанием и образцом для разработки собственных исследовательских стратегий. Труд «Польский крестьянин...» «содержал как сам первичный материал, то есть письма, так и его анализ по самым разным направлениям», — пишет В. Ф. Чеснокова, оценивая его значимость для практиков (Чеснокова, 2010: 193). «Но всеобщее признание Ф. Знанецкий получил не за материал и даже не за его анализ, а за методологическое введение к первому тому. Именно там появились понятия, ставшие в один ряд с самыми популярными концептами социологии XX века: ценность и установка. Они стимулировали бесчисленное количество эмпирических исследований, вошли практически во все социологические работы XX века» (Чеснокова, 2010: 193-194). Ее позиция такова: после ПК социологическая наука существенно обновилась и вышла из него обновленной. Она действительно превратилась в эмпирическую науку.

Современный этап интереса к работам американских авторов закономерно фокусируется уже на более сложном аспекте их методологической позиции — на принципах анализа первичных данных и прежде всего на обсуждении концепции аналитической индукции, принципов систематизации и классификации, которые входят в качестве отдельных направлений во все учебные пособия, посвященные гуманистической социологии, как руководство к практическому действию. Такие работы носят скорее учебный характер и ориентированы на то, чтобы на примере исследовательской тактики Томаса и Знанецкого в ПК описать весь ход исследовательского проекта от выбора источников личностной информации до стратегии проведения поля и способа анализа полученных данных (Девятко, 2009; Семенова, 2009; Рождественская, 2012).

Со временем в России появились и собственные методологические разработки, свои учебники по качественным методам (Семенова, 1998; Семенова, 2009; Рождественская, 2004; Готлиб, 2002 и др.) и свои периодические издания (журналы ИНТЕР, «Лабораториум»), вместе с тем в начале пути экспорт качественно-интерпретативных подходов из стран Западной Европы и Америки проходил и через фигуры авторов ПК, которые оказались знаковыми для этого процесса.

## Заключение

Интеллектуальные биографии Томаса и Знанецкого обнаруживают переплетения и взаимовлияния, которые оставили значительный след на конфигурации их общего труда. Социально-политическое значение их уже ставшего классическим труда заключается в том, что в контексте американского нативизма они предложили и обосновали совсем иной гуманистический взгляд на этносоциальную структуру в Америке 1920-х годов, в которой царили фашизоидные националистические настроения с ранжированием этногрупп. В научном плане этим



трудом — ПК — утверждался акцент на социальном взаимодействии, в отличие от популярных биологизаторских веяний. В современных терминах Томас и Знанецкий объясняли связь между структурой и агентностью, которая тесно связана с проблемой микро-макро. Установка увязана с агентностью, и ценность ассоциирована со структурой. Знанецкий, который слушал лекции Э. Дюркгейма в Париже, выстроил вместе с Томасом теорию, отличную от структуралистского подхода Дюркгейма, преуменьшавшего значение агентности. Можно сделать вывод, что Томас и Знанецкий теоретизировали ключевые вопросы социальной теории и работали с опережением своего времени.

Отдельное внимание в тексте нами уделено собственно биографиям обоих авторов ПК, поскольку эти события, с одной стороны, лимитировали их научные замыслы, как, например, Первая мировая война или микрособытие личной жизни Томаса, имевшее последствия и для него самого, и для научной карьеры Знанецкого в Америке. С другой стороны, видны непредсказуемые последствия этих событий в той почти постмодернистской конфигурации образа жизни и творчества Томаса, которые дали ему новые регистры свободы. Безусловно, обстоятельства научной биографии обоих авторов наложили свой отпечаток на рецепцию их труда как в самой Чикагской школе, так и на последующее развитие международной качественной социологии.

Наследие У. Томаса и Ф. Знанецкого с запозданием и со сложностями входило в российскую социологию на волне изменений как в стране, так и в поле профессионального социологического знания: первоначально только информационно, в качестве «иног» знания, непривычного и малоприменимого в рамках национального контекста. Только со временем оно стало достоянием теоретического и эмпирического знания. В теоретическом плане эти имена стали значимыми в рамках истории мировой социологии как одно из направлений социал-реформаторской традиции Чикагской школы (Ионин, 2004). А для социологов-практиков это наследие используется либо как пример эмпирической ориентации американской социологической школы, позволяющей собрать социальную информацию, имеющую не только прикладную, но и теоретическую ценность (Баразгова, 1997), либо как деколонизирующие основания польской школы качественных исследований, выстраивающие нациестроительные стратегии посредством биографических конкурсов. Привлечение внимания к научным биографиям обоих авторов позволило обнаружить причины той асимметрии, которая сопровождала дальнейшую научную судьбу обоих авторов, причем в контекстах различных национальных научных школ, и линии рецепций их основного труда.

## Литература

- Абельс Х. (1998). Романтика, феноменологическая социология и качественное социальное исследование // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 1. № 1. С. 114-138.

- Барзгова Е. С. (1997). Уильям Томас и Флориан Знанецкий: методологические ориентации Чикагской школы. Курс лекций. Американская социология (традиции и современность). Екатеринбург: Деловая книга, Бишкек: Одиссей.
- Беккер Г. (1961). Современная теория священного и светского // Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория в ее преемственности и изменении. М.: Изд-во иностранной литературы.
- Воронков В. (2009). О политизации общественных наук // Журнальный зал. № 1(63). URL: [http://magazines.russ.ru/nz/2009/1/vv3.html#\\_ftn1](http://magazines.russ.ru/nz/2009/1/vv3.html#_ftn1) (дата доступа: 01.01.2018).
- Ганжа А. О., Зотов А. А. (2002). Гуманистическая социология Флориана Знанецкого // Социологические исследования. № 3. С. 112-120.
- Готлиб А. (2002). Введение в социологическое исследование: качественный и количественный подходы. Самара: Самарский университет.
- Девятко И. Ф. (2009). Методы социологического исследования: Учебное пособие. М.: УрГУ.
- Знанецкий Ф. (1989). Мемуары как объект исследования // Социологические исследования. № 1. С. 106-109.
- Знанецкий Ф. (1996). Исходные данные социологии // Американская социологическая мысль: Тексты / В. И. Добреньков (ред.). М.: Изд. Международного ун-та бизнеса и управления. С. 60-76.
- Знанецкий Ф. (2013). Социальная роль человека знания. Раздел 2. Технологи и мудрецы // Эпистемология и философия науки. Т. XXVIII. № 3. С. 213-228.
- Ионин Л. Г. (1979). Понимающая социология. Исторический и критический анализ. М.: Наука.
- Ионин Л. Г. (2004). Философия и методология эмпирической социологии. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ.
- Кон И. (ред.) (1979). История буржуазной социологии начала XIX — начала XX века. М.: Наука.
- Мещеркина Е. Ю., Семенова В. В. (ред.). Биографический метод: история, методология, практика. М.: ИС РАН. С. 51-62.
- Рождественская Е. Ю. (2004). Устная история и биография: женский взгляд // Устная история, биография и женский взгляд / Е. Ю. Рождественская (ред.). М.: Институт социологии РАН. С. 13-38.
- Рождественская Е. Ю. (2012). Биографический метод в социологии. М.: Изд. дом ВШЭ.
- Судьбы людей: Россия XX века (1996). Биографии семей как объект социологического исследования. М.: Институт социологии РАН.
- Семенова В. (1998). Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: Добросвет.
- Семенова В. В. (2009). Качественные методы в социологии // Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. М.: Омега-Л.
- Томас У., Знанецкий Ф. (1996). Методологические заметки // Американская социологическая мысль: Тексты / В. И. Добреньков (ред.). М.: Изд. Международного ун-та бизнеса и управления. С. 333-355.

- Томас У. (2009). Неприспособленная девушка // Личность. Культура. Общество / Пер. В. Г. Николаева. Т. 50. С. 62-77.
- Томпсон П. (1994). Гуманистическая традиция и жизненные истории в Польше // Биографический метод: история, методология, практика / Е. Ю. Мещеркина, В. В. Семенова (ред.). М.: ИС РАН. С. 51-62.
- Чеснокова В. Ф. (2010). Язык социологии: курс лекций / В. Ф. Чеснокова. М.: ОГИ.
- Abbott A., Egloff R. (2009). The polish peasant in Oberlin and Chicago // The American Sociologist. Vol. 39. P. 217-258.
- Apitzsch U., Inowlocki L. (2000). Biographical analysis: A 'German' school? // The Turn to Biographical Methods in Social Science / P. Chamberlayne, J. Bornat, T. Wengraf (eds.). London: Routledge.
- Blumer H. (1939). An appraisal of Thomas and Znaniecki's the Polish Peasant in Europe and America // Social Science Research Council Bulletin. Vol. 44. New York. P. 103-106.
- Cravens H. (1988). The triumph of evolution: The heredity-environment controversy, 1900-1941. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.
- Deegan M. J., Burger J. S. (1981). W. I. Thomas and social reform // Journal of the History of the Behavioral Sciences. Vol. 17. P. 114-125.
- Faris E. (1948). In Memoriam: William Isaac Thomas, 1863-1947 // Sociology and Social Research. Vol. 32. P. 755-759.
- Flick U. (2014). An Introduction to Qualitative Research. 5th Edition. London: Sage Publications.
- Hawes J. M. (1968). Social scientist and immigration restrictions // Journal of World History. Vol. 11. P. 467-482.
- Haerle R. K. (1991). William Isaac Thomas and the Helen Culver Fund for Race Psychology // Journal of the History of the Behavioral Sciences. Vol. 27. P. 21-41.
- Hughes E. (1980). Letter to Norbert Wiley, August 15, 1980.
- Janowitz M. (1966). Introduction // W. I. Thomas on social organization and social personality / M. Janowitz (ed.). Chicago: University of Chicago Press. P. vii-lviii.
- Konecki K., Kasperczyk A., Marciniak L. (2005). Polish Qualitative Sociology: The General Features and Development [43 paragraphs] // Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. Vol. 6. № 3. Art. 27. Available at: <http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:0114-fqso503270> (accessed 17 November 2022).
- Merton R. K. (1995). The Thomas theorem and the Matthew effect // Social Forces. № 74. P. 379-424.
- Murray S. O. (1988). W. I. Thomas, Behaviorist Ethnologist // Journal of the History of the Behavioral Sciences. № 24. P. 381-391.
- Pickus N. (2005). True faith and allegiance: Immigration and American civic nationalism. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Raushenbush W. (1979). Robert E. Park. Durham: Duke University Press.
- Rozhdestvenskaya E., Semenova V. (2019). Florian Znaniecki heritage in the context of Russian discourse // Sociological Review. Vol. 68. № 4. P. 149-169

- Ross W. (1994). *Forging new freedoms: Nativism, education, and the constitution, 1917–1927*. Omaha, NE: University of Nebraska Press.
- Szczepański J. (1971). *Odmiany czasu terazniejszego*. Warszawa: Książka i Wiedza.
- Thomas E. A. (1986). *The Sociology of W.I. Thomas in relation to 'The Polish Peasant'*. Unpublished PhD Dissertation. Iowa: University of Iowa.
- Thomas W.I. (1896). The scope and method of folk psychology// *American Journal of Sociology*. № 1. P. 434–445.
- Thomas W.I. (1897). On a difference in the metabolism of the sexes// *American Journal of Sociology*. № 3. P. 31–63.
- Thomas W.I. (1901). "The Gaming Instinct" // *American Journal of Sociology*. № 6. P. 750–763.
- Thomas W.I. (1904). The psychology of race-prejudice// *American Journal of Sociology*. № 9. P. 593–611.
- Thomas W.I. (1907). *Sex and Society: Studies in the Social Psychology of Sex*. Chicago: University of Chicago Press.
- Thomas W.I. (1912). Race psychology: standpoint and questionnaire// *American Journal of Sociology*. № 17. P. 725–775.
- Thomas W.I., Thomas D. S. (1928). *The child in America*. New York: Knopf.
- Thomas W.I. (1936). *Primitive Behavior. An Introduction to the Social Sciences*. New-York: McGraw-Hill Book Company, Inc.
- Thomas W.I. (1966). *On Social Organization and Social Personality. Selected papers*. Phoenix Books/The University of Chicago Press.
- Thomas W.I., Znaniecki F. (1918–1920). *The Polish Peasant in Europe and America (Vol.5)*. Boston: Richard G. Badger.
- Thomas W.I., Znaniecki F. (1918–1921). *The Polish Peasant in Europe and America. Vols 1, 2, Chicago: University of Chicago Press. Vols 3–5, Boston: Richard G. Badger.*
- Thomas W.I., & Znaniecki F. (1927). *The Polish Peasant in Europe and America (2nd ed.)*. New York: Knopf.
- Wiley N. (2015). *The Chicago School: A Political Interpretation// Blue Ribbon Papers: Interactionism: The Emerging Landscape*. Emerald Publishing. Vol.36. P. 39–74.
- Wiley N. (1979). The rise and fall of dominating theories in American sociology// *Contemporary issues in theory and research / W.E. Snizek et al. (eds)*. Westport, CT: Greenwood Press. P. 47–79.
- Wiley N. (1986). Early American sociology and the Polish peasant// *Sociological Theory*. № 5(Spring). P. 21–40.
- Wiley N. (2006). Peirce and the founding of American sociology// *Journal of Classical Sociology*. Vol. 6. № 1. P. 23–50.
- Wiley N. (2007). Znaniecki's key insight: The merger of pragmatism and neo-Kantianism// *Polish Sociological Review*. № 4. P. 133–144.
- Young K. A. (1963). *The contribution to W.I. Thomas to Sociology*. Los Angeles: University of Southern California Press.

- Znanięcki F. (1920). Intellectual America // The Atlantic Monthly. №125(February). P. 188–199.
- Znanięcki F. (1934). The Data of Sociology, In: Znanięcki F. V. The Method of Sociology, N. Y. P. 90–136.

## “The Polish Peasant in Europe and America”: socio-political, biographical and scientific contexts

*Elena Rozhdestvenskaya*

Professor, Dr. of Sociology Hab., Faculty of Social Sciences in National Research University Higher School of Economics (HSE), Leading Researcher in Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences, Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, 101000 Russian Federation  
E-mail: erozhdestvenskaya@hse.ru

*Victoria Semenova*

Doctor of Sociological Sciences, Professor GAUGN (State Academic University for the Humanities), Chief Researcher in Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences, Moscow  
Address: Krzhizhanovskogo Street, 24/35, korpus 5, Moscow, 117218, Russia  
E-mail: victoria-sem@yandex.ru

The authors focus on the history of the famous sociological work *The Polish Peasant in Europe and America*, as well as on the biographies of both authors, William Thomas and Florian Znanięcki. The combination of biographical analysis with socio-political context and the work in the genre of scientific biography makes it possible to understand not only the background of the creation of this major sociological project, but also to clarify the role of the sociologist-intellectual in social life. The appeal to the nonlinear fate of this work was stimulated by the drama of its realization and perception by the scientific public. The authors, relying on contemporary scientific commentaries, reconstruct this process from the description of the socio-political context, the strategies of the scientific careers of both authors till biographical facts, and the result of their common work.

Discussing the process of transition of scientific knowledge, the authors consider the reception of the ideas of W. Thomas and F. Znanięcki during the process of perception and rooting of qualitative-interpretive sociology in Russia. Here, the ways of concepts and ideas transitioning themselves acquire significant interest, i.e., not only the translation of certain scientific works, but the very order of embedding ideas in the context of the ‘host’ scientific environment. More specifically, we consider the phenomenon of asymmetry (more Znanięcki, less Thomas), which accompanied the further scientific fate of both authors in the context of various national scientific schools, and primarily in Russia.

Keywords: *Polish Peasant in Europe and America*, scientific biography, William Thomas, Florian Znanięcki, Chicago School, Russian qualitative sociology

### References

- Abbott A., & Egloff R. (2009) The polish peasant in Oberlin and Chicago. *The American Sociologist*, 39. P. 217–258.
- Abel’s H. (1998) Romantika, fenomenologicheskaja sociologija i kachestvennoe social’noe issledovanie [Romance, phenomenological sociology and qualitative social research]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, no 1, pp.114–138.
- Abbott A., & Egloff R. (2009) The polish peasant in Oberlin and Chicago. *The American Sociologist*, 39. P. 217–258.

- Apitzsch U., Inowlocki L. (2000) Biographical analysis: A 'German' school? *The Turn to Biographical Methods in Social Science* (eds. Chamberlayne P., Bornat J., Wengraf T.). London: Routledge.
- Barazgova E. S. (1997) *Uil'jam Tomas i Florian Znaneckij: metodologicheskie orientacii chikagskoj shkoly. Kurs lekcij. Amerikanskaja sociologija (tradicii i sovremennost')* [William Thomas and Florian Znanecki: Methodological Orientations of the Chicago School. Lecture course. American Sociology (Tradition and Modernity)], Ekaterinburg: «Delovaja kniga», Bishkek: «Odissey».
- Bekker G. (1961) *Sovremennaja teorija svjashhennogo i svetskogo* [Modern Theory of Sacred and Secular] Bekker G., Boskov A. *Sovremennaja sociologicheskaja teorija v ee preemstvennosti i izmenenii* [Modern sociological theory in its continuity and change]. M.: Publishing house of foreign literature.
- Blumer H. (1939) An appraisal of Thomas and Znanecki's the Polish Peasant in Europe and America. *Social Science Research Council Bulletin, no 44*, New York, pp.103-106.
- Chesnokova V. F. (2010) *Yazyk sotsiologii: kurs lektsiy* / V. F. Chesnokova. M.: OGI.
- Cravens H. (1988) *The triumph of evolution: The heredity-environment controversy, 1900-1941*. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.
- Deegan M. J., & Burger J. S. (1981) W. I. Thomas and social reform. *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, no 17, pp. 114-125.
- Devjatko I. F. (2009) *Metody sociologicheskogo issledovaniya* [Methods of sociological research]. Uchebnoe posobie [Textbook]. M., UrGU.
- Faris E. (1948) In Memoriam: William Isaac Thomas, 1863-1947. *Sociology and Social Research*, no 32, pp. 755-759.
- Flick U. (2014) *An Introduction to Qualitative Research*. 5th Edition, Sage Publications, London.
- Ganzha A. O., Zotov A. A. (2002) Gumanisticheskaja sociologija Floriana Znaneckogo [Humanist sociology by Florian Znanecki]. *Sociological research*. no 3, pp. 112-120.
- Gotlib A. (2002) *Vvedenie v sociologicheskoe issledovanie: kachestvennyj i kolichestvennyj podhody* [Introduction to Sociological Research: Qualitative and Quantitative Approaches]. Samara: Samarskij universitet.
- Haerle R. K. (1991) William Isaac Thomas and the Helen Culver Fund for Race Psychology. *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, no 27, pp. 21-41.
- Hawes J. M. (1968) Social scientist and immigration restrictions. *Journal of World History*, no 11, pp. 467-482.
- Hughes E. (1980) *Letter to Norbert Wiley*, August 15, 1980.
- Ionin L. G. (1979) *Ponimajushhaja sociologija. Istoricheskij i kriticheskij analiz* [Ponimajushhaja sociologija. Istoricheskij i kriticheskij analiz]. M: Nauka.
- Ionin L. G. (2004) *Filosofija i metodologija jempiricheskoy sociologii* [Philosophy and methodology of empirical sociology]. M.: Izdatel'skij dom GU VShJe.
- Janowitz M. (1966) Introduction. Janowitz M. (ed.). *W. I. Thomas on social organization and social personality* (pp. vii-lviii). Chicago: University of Chicago Press.
- Kon I. (ed.) (1979) *Istorija burzhuznoj sociologii nachala XIX- nachala XX veka* [History of bourgeois sociology of the beginning of the 19th century - the beginning of the 20th century]. M: Nauka.
- Konecki K., Kacperczyk A. & Marciniak L. (2005) Polish Qualitative Sociology: The General Features and Development [43 paragraphs]. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 6(3), Art. 27. Available at: <http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:0114-fqso503270> (accessed 17 November 2022).
- Merton R. K. (1995) The Thomas theorem and the Matthew effect. *Social Forces*, no 74, pp. 379-424.
- Meshherkina E., Semenova V. (eds) (1994) *Biograficheskij metod: istorija, metodologija, praktika* [Biographical method: history, methodology, practice], M.: Sociology Institute RAN.
- Murray S. O. (1988) W. I. Thomas, Behaviorist Ethnologist. *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, no 24, pp.381-391.
- Pickus N. (2005) *True faith and allegiance: Immigration and American civic nationalism*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Rauschenbush W. (1979) *Robert E. Park*. Durham: Duke University Press.
- Ross W. (1994) *Forging new freedoms: Nativism, education, and the constitution, 1917-1927*. Omaha, NE: University of Nebraska Press.



- Rozhdestvenskaja E. Ju. (2004) Ustnaja istorija i biografija: zhenskij vzgljad [Oral history and biography: a female perspective]. Rozhdestvenskaja E. Ju. *Ustnaja istorija, biografija i zhenskij vzgljad* [Oral history, biography and female perspective]. M.: Institut sociologii RAN, pp. 13-38.
- Rozhdestvenskaja E. Ju. (2012) *Biograficheskij metod v sociologii* [Biographical method in sociology]. M.: Izd.Dom VShJe.
- Rozhdestvenskaja E., Semenova V. (2019). Florian Znaniecki heritage in the context of Russian discourse. *Sociological Review*, vol. 68, no. 4, pp. 149-169.
- Semenova V. (1998) *Kachestvennye metody: vvedenie v gumanisticheskiju sociologiju* [Qualitative Methods: An Introduction to Humanistic Sociology], M: Dobrosvet.
- Semenova V.V. (2009) *Kachestvennye metody v sociologii* [Qualitative methods in sociology]. Jadov V. A. *Strategija sociologicheskogo issledovanija* [Sociological research strategy]. M: Omega-L.
- Sud'by ljudej: Rossija XX veka* [Fates of people: Russia of the XX century] (1996) *Biografii semej kak ob#ekt sociologicheskogo issledovanija* [Biographies of families as an object of sociological research]. M.: Institut sociologii RAN.
- Szczepański J. (1971) *Odmiany czasu terazniejszego*. Warszawa: Książka i Wiedza.
- Thomas E. A. (1986) *The Sociology of W.I. Thomas in relation to 'The Polish Peasant'*. Unpublished PhD Dissertation. Iowa: University of Iowa.
- Tomas W.I. (2009) *Neprisposoblennaja devushka* [The Unadjusted Girl]. *Personality. Culture. Society* / Translated by Nikolaev V. G., T.50, pp. 62-77.
- Tomas W.I., Znaniecki F. (1996) *Metodologicheskie zametki* [Methodological notes]. *Amerikanskaja sociologicheskaja mysl': Teksty* [American Sociological Thought: Texts] / Ed. V. I. Dobren'kov). M.: Izd. Mezhdunarodnogo un-ta Biznesa i Upravljenija, pp. 333-355.
- Thomas W.I. (1896) The scope and method of folk psychology. *American Journal of Sociology*, 1, pp. 434-445.
- Thomas W.I. (1897) On a difference in the metabolism of the sexes. *American Journal of Sociology*, no 3, pp. 31-63.
- Thomas W.I. (1901) "The Gaming Instinct". *American Journal of Sociology*, no 6, pp. 750-63.
- Thomas W.I. (1904) The psychology of race-prejudice. *American Journal of Sociology*, no 9, pp. 593-611.
- Thomas W.I. (1907) *Sex and Society: Studies in the Social Psychology of Sex*. Chicago: University of Chicago Press.
- Thomas W.I. (1912) Race psychology: standpoint and questionnaire. *American Journal of Sociology*, no 17, pp. 725-775.
- Thomas W.I., & Thomas D. S. (1928) *The child in America*. New York: Knopf.
- Thomas W.I. (1936) *Primitive Behavior. An Introduction to the Social Sciences*. New-York: McGraw-Hill Book Company, Inc.
- Thomas W.I. (1966) *On Social Organization and Social Personality*. Selected papers. Phoenix Books/ The University of Chicago Press.
- Thomas W.I., & Znaniecki F. (1918-1920) *The Polish Peasant in Europe and America*, Vol.5. Boston: Richard G. Badger.
- Thomas W.I., & Znaniecki F. (1918-1921) *The Polish Peasant in Europe and America*. Vols 1, 2, Chicago: University of Chicago Press. Vols 3-5, Boston: Richard G. Badger.
- Thomas W.I., & Znaniecki F. (1927) *The Polish Peasant in Europe and America* (2nd ed.). New York: Knopf.
- Tompson P. (1994) *Gumanisticheskaja tradicija i zhiznennye istorii v Pol'she* [Humanistic tradition and life stories in Poland]. Meshherkina E., Semenova V. (eds) *Biograficheskij metod: istorija, metodologija, praktika* [Biographical method: history, methodology, practice], M.: IS RAN, pp.51-62.
- Voronkov V. (2009) O politizacii obshhestvennyh nauk [On the politicization of the social sciences]. *Journal room*, no 1(63). Available at: [http://magazines.russ.ru/nz/2009/1/vv3.html#\\_ftn1](http://magazines.russ.ru/nz/2009/1/vv3.html#_ftn1) (accessed 01.01.2018).
- Wiley N. (1979) The rise and fall of dominating theories in American sociology. Snizek W. E. et al. (eds). *Contemporary issues in theory and research*. Westport, CT: Greenwood Press, pp. 47-79.

- Wiley N. (1986) Early American sociology and the Polish peasant. *Sociological Theory*, no 5(Spring), pp. 21–40.
- Wiley N. (2006) Peirce and the founding of American sociology. *Journal of Classical Sociology*, no 6 (1), pp. 23–50.
- Wiley N. (2007) Znaniecki's key insight: The merger of pragmatism and neo-Kantianism. *Polish Sociological Review*, no 4, pp. 133–144.
- Wiley N. (2015) The Chicago School: A Political Interpretation. Blue Ribbon Papers: *Interactionism: The Emerging Landscape*. Emerald Publishing, Vol.36, pp. 39-74.
- Young K. A. (1963) *The contribution to W. I. Thomas to Sociology*. Los Angeles: University of Southern California Press.
- Znaniecki F. (1920) Intellectual America. *The Atlantic Monthly*, 125(February), pp. 188–199.
- Znaniencki F. (1934). The Data of Sociology, In: Znaniecki F.V. *The Method of Sociology*, N.Y. p. 90-136.
- Znanecki F. (1989) Memuary kak ob#ekt issledovanija [Memoirs as an object of research]. *Sociological research*, no 1, pp.106-109.
- Znanecki F. (1996) Ishodnye dannye sociologii [Sociology's initial data]. *Amerikanskaja sociologicheskaja mysl': Teksty* [American Sociological Thought: Texts] / Ed. V. I. Dobren'kov). M.: Izd. Mezhdunarodnogo un-ta Biznesa i Upravljenija, pp. 60-76.
- Znanecki F. (2013) Social'naja rol' cheloveka znanija [The Social Role of the Man of Knowledge]. Razdel 2. *Tehnologi i mudrecy. Jepistemologija i filosofija nauki* [Section 2. Technologies and sages. Epistemology and Philosophy of Science]. Т. HHY11, no 3, pp. 213-228.

## Еще одна из рода утопий, или Как возможна социальная справедливость в мире влюбленных в дальнего своего<sup>1</sup>

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: НУССБАУМ М. (2023). ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭМОЦИИ: ПОЧЕМУ ЛЮБОВЬ ВАЖНА ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ / Пер. с англ. С. Порфирьевой. М.: Новое литературное обозрение. — 632 с. ISBN 978-5-4448-1923-4

*Ирина Троцук*

Доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник,  
Центр фундаментальной социологии,  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  
Профессор, кафедра социологии, Российский университет дружбы народов  
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000  
E-mail: irina.trotsuk@yandex.ru

Марта Нуссбаум — известный американский философ и невероятно плодовитый автор, опубликовавший более двадцати монографий и пятисот статей<sup>2</sup> по широкому спектру вопросов «достойной жизни» — от хрупкости добра и поэтической справедливости, любви к стране и воспитания гуманизма до разумности эмоций и новой религиозной нетерпимости (и это далеко не исчерпывающий список). К сожалению, на русский язык переведены только две ее работы — «Не ради прибыли: зачем демократии нужны гуманитарные науки» (2014) и «Политические эмоции: почему любовь важна для справедливости» (2023). Первая книга тематически сфокусирована и призвана доказать как ущербность трактовки образования как исключительно инструмента экономического роста, так и ценность гуманитарных наук и искусств для высокого качества жизни и процветания демократических государств. Только что опубликованная вторая книга также подчеркивает важность образования и искусств, сострадательного гражданства и стремления к общему благу, опирается на личные наблюдения за жизнью в США и Индии, отстаивает идеи социальной справедливости и равенства, но на более высоком уровне обобщений, с опорой на предшествующие изыскания автора и добавляя важнейший эмоциональный «ингредиент» социального порядка — любовь. В статье представлена попытка обозначить несомненные достоинства этой прекрасной в своей исследовательской, идейной и иллюстративной насыщенности книги, а также ее (более сомнительные) ограничения, обусловленные, в первую очередь, тем, что книга требует от читателя достаточно высокой осведомленности о своем концептуальном фундаменте (из предшествующих работ Нуссбаум<sup>3</sup>), а прошедшее с момента ее опубликования десятилетие своеобразно отразилось на ее идейном, понятийном и иллюстративном материале.

*Ключевые слова:* Марта Нуссбаум, (политические) эмоции, (социальная) справедливость, социальный порядок, достойное общество, (пост)гуманизм, моральные принципы, (политическая) любовь, публичная сфера, (не)равенство, патриотизм

1. Публикация подготовлена в рамках исследовательского проекта «Стратегии нормализации повседневности в чрезвычайных ситуациях: инерция аффекта и открытость вызовам» Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ в 2023 году в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

2. Официальная страница М. Нуссбаум на сайте юридического факультета Чикагского университета // <https://www.law.uchicago.edu/faculty/nussbaum>.

3. В список литературы включены 32 работы Нуссбаум, в сносках она отправляет читателя к 27.

*Любить — не мед водой разводить  
Люби, как и воздуха, много не бывает  
Люби, Пахом, не откладывай на потом!  
(Сорокин, 2020)<sup>4</sup>*

*Но все, что им нужно, — это только любовь, Все,  
что им нужно, — любовь. Но все, что им нужно, это  
только любовь, И я говорю тебе: Люби ее, пацан!  
(Из песни К. Орбакайте)*

«Принято считать, что эмоции и политика — это опасное сочетание, свойственное исключительно агрессивным (фашистским) обществам» — с этой фразы начинается аннотация к книге Марты Нуссбаум. Если держащий ее в руках читатель — представитель «широкой аудитории», без специальной подготовки в области социальных наук, то его, вероятно, смутит резкий переход от позитивно-эмоционального контекста любви и справедливости в названии книги к негативно-оценочным эпитетам в аннотации. Если же книгу возьмет социолог, то эмоционально ситуация вряд ли изменится, в отличие от оснований для некоторого недоумения. Во-первых, в российском научном дискурсе не принято квалифицировать эмоции подобным образом: имплицитно название книги подразумевает, что эмоции могут быть политическими, экономическими (странно), религиозными (допустим), психологическими (тавтология) и т. д., но ни в повседневной рутине, ни в иных жизненных мирах (в шютцевском смысле) мы так не дифференцируем наши чувства. Во-вторых, хотя понятие справедливости в научном, юридическом и обыденном смыслах не отличается однозначностью (см. подробнее: Троцук, 2019), общепринятым ее основанием считается целерациональность (в веберовском смысле), и несколько странно дополнять справедливость любовью — не менее многозначным понятием даже в контексте аффективного или ценностно-рационального состояния. В-третьих, в сфере политического давно сложился вполне институционализированный категориальный аппарат, отражающий ее эмоциональную компоненту, например, веберовские харизма и аффективное действие, лебонотардовские эмоциональное заражение и массовая истерия и т. д. В-четвертых (перечень можно продолжить, но остановимся), читатель с социологической подготовкой сразу вспомнит о принципиальной антипсихологической установке ряда отцов-основателей нашей дисциплины (из учебников по истории социологии) и о проблематичности проведения четких демаркационных линий между социологией и социальной психологией, о необходимости которых так часто говорят члены комиссий на защите студенческих квалификационных работ (из личного опыта).

Согласно аннотации, задача книги — «доказать, что любые политические принципы нуждаются в эмоциональной поддержке», на примере ярких «кейсов» — политических лидеров, «сумевших связать политические эмоции со стремлениями

4. В сборнике придуманных автором пословиц нет раздела «Справедливость», но есть разделы «Счастье» и «Любовь».

к всеобщему миру и справедливости, а не с воинственными проектами, направленными против других наций», — и на основе «антропологических исследований, которые утверждают, что склонность к выстраиванию пагубных иерархий и дискриминации укоренена в человеческой природе»; автор «предлагает противопоставить этим склонностям культивирование любви и расширенного сострадания» посредством прежде всего публичного искусства (с. 4). Уже из названия и аннотации очевидно, что книгу отличает утопически-прекраснодушный настрой (конечно, такая «позитивная» философия более привлекательна, чем «негативная»), что можно объяснить как принципиальной гуманистической позицией автора, так и временем опубликования монографии: в 2013 году у нас было значительно больше оснований для оптимистического взгляда в будущее и веры в справедливое социальное устройство, чем сегодня. С позиций нынешнего дня эмоционально-фундированная политико-гуманистическая версия справедливого социального порядка кажется избыточно утопической (как многие философские проекты прекрасной жизни, по убедительности часто уступающие художественным антиутопиям), тем более что по ряду оснований она была опровергнута событиями последнего десятилетия. Поэтому читать книгу даже интереснее, чем в год ее выхода: любой читатель, ориентируясь на общеизвестный новостной ряд, может оценить степень, качество и вектор (эмоциональный и рациональный) исполнения авторских «пророчеств».

Попробуем реконструировать аргументацию автора, следуя как структуре книги, так и ее сквозным тематическим линиям. Кстати, в книге есть не только Предисловие к русскому переводу и первая глава, не включенная в первую часть, где разъясняются основные идеи, главные вопросы и стратегии поиска ответов на них, но также Введения ко второй и третьей частям, которые вместе с заключительными главами всех трех частей выполняют те же разъяснительно-суммирующие функции. Поэтому ленивый или слишком занятой читатель может ограничиться прочтением этих структурных разделов для понимания позиции автора и ее концептуальных и практических оснований.

Итак, Нуссбаум убеждена, что «политическая жизнь пронизана эмоциями», «они играют важную роль в самых разных политических режимах», и первые наши ассоциации с эмоциями в автократиях — «страх и групповая ненависть» во имя «контроля и манипуляции», а в демократиях — «хаос, опасности, страх, гнев, ненависть и жажда мести», что в обоих случаях заставляет нас «с подозрением относиться к эмоциям» (с. 9) (вероятно, все же к эмоциям в политической сфере, потому что в повседневной жизни мы «живем эмоциями»). Нуссбаум ограничивает предметное поле книги «демократическими нациями» (их синонимом в книге выступают «либеральные общества»), «стремящимися к справедливости и равным возможностям для всех» (с. 17), «существование которых может быть поддержано только постоянным участием граждан в проектах, способствующих общему благосостоянию», и «эти проекты не могут продвигаться авторитарной директивой сверху, но должны поддерживаться людьми, которых они заботят»

(с. 9). Это похвальная гуманистическая позиция, но ее формулировка вызывает вопросы. Так, «демократическая нация» — не само собой разумеющееся понятие, ведь многие авторитарные режимы гордо именуют себя демократиями, причем в книге США — оплот самой демократической демократии. Тоталитарные и авторитарные режимы не менее успешно, чем демократические, придумывают и реализуют проекты по солидарному повышению общего благосостояния, нередко при искренней эмоциональной и идейной поддержке граждан. А «забота» граждан может быть не менее целерациональной (а не политически-эмоциональной), чем решения самых авторитарных режимов: скажем, низовые самоорганизационные инициативы российских сельских жителей, конечно, могут быть мотивированы теплым чувством общности и братской любви к односельчанину своему, но все же в большей степени это рациональная стратегия совместного выживания.

Нуссбаум выстраивает свою позицию на двух основаниях — концептуальном и эмпирическом. В первом случае речь идет о теориях, элементы которых она занимает, критикует, уточняет или дорабатывает. Хотя в книге об этом не говорится прямо, в устойчивых концептуальных «дихотомиях» Нуссбаум определенно выбирает конкретные «полюса», пусть и с некоторыми смещениями. Так, между абстрактными политическими принципами справедливо организованного общества и «более хаотичными и менее абстрактными» эмоциями она выбирает скорее середину — «принципы должны быть связаны с образами и нарративами, которые покоряют сердца людей» посредством «диалога в публичной риторике и публичном искусстве», потому что иначе «политическому проекту (это понятие в книге не расшифровывается) не удастся мотивировать реальных людей испытывать любовь... и он потерпит неудачу из-за отсутствия поддержки» (с. 10).

Между социально-конструктивистской и биологизаторской трактовками эмоций Нуссбаум выбирает скорее вторую, подтверждая примерами из жизни животного мира, что «мы — существа, имеющие потребности и нуждающиеся в любви» (с. 10), но «склонность к стигматизации и дискриминации заложена в человеческой природе, а не является наследием порочной истории» (с. 27) (если у нас порочная природа, то вряд ли следовало надеяться на непорочную историю). Нуссбаум несколько противоречит себе: когда она говорит о «публичных эмоциях», которые следует «направить в правильное русло, т. е. на службу открытости, равенства, утешения и искоренения рабства», чтобы они не «привносили или усугубляли разрозненность, иерархическое разделение или различные проявления пренебрежения и ограниченности» (с. 16), такое культивирование эмоций явно носит социально-конструктивистский характер. Кроме того, и это может смутить читателя-социолога, настроенного на эмпирическую интерпретацию всех используемых понятий, Нуссбаум не уточняет значение многих принципиальных для книги конструкций, поэтому слова «народ», «нация» и «всякое общество» используются как синонимы; не прописывает связь и различия между эмоциями, которые призваны обеспечить «стабильность политической культуры» и «сохранность главных ценностей в трудные периоды» (с. 16), имея при этом «некое оцениваю-



щее содержание» (с. 22), и этими ценностями (ценности — это рациональная «надстройка» над эмоциональным «базисом»?)). Отмечено лишь, что «все политические принципы — хорошие или плохие — нуждаются в эмоциональной поддержке, которая поможет обеспечить их стабильность с течением времени; и все достойные (каков критерий достойности?) общества должны избегать разобщенности и пагубных иерархий, культивируя сочувствие и любовь» (с. 17).

С этим гуманистическим призывом не поспоришь, но ведь «культивация» нужных эмоций часто не срабатывает даже на индивидуальном уровне (скажем, в отношениях родителей и детей), а в книге говорится о своего рода переносе эмоций «большинства, склонного проявлять сочувствие и сострадание» по отношению к близким (ограниченному кругу), на уровень обобщенных других (социально дальних, включая «всю нацию»). Другим аспектом «культивирования» эмоций выступает «сдерживание тех сил, что скрываются в каждом обществе и в конечном счете во всех нас, — стремление защитить свое хрупкое “я” через унижение и подчинение... отвращение, зависть, желание отметить другого клеймом позора» (с. 17). Но и с этим мы плохо справляемся даже в отношениях с родными, и многие «супердемократические» общества в прошедшее десятилетие проявили себя не лучшим образом (миграционный кризис, позитивная расовая, гендерная, национальная и сексуальная дискриминация и т. д.). В целом Нуссбаум придерживается позиции Дж. Ролза (Ролз, 2010): эмоции должны поддерживать политические принципы и социальные институты не только целерационально, но и одобряя основные идеи справедливости (моральные чувства), однако считает отличием своей концепции от ролзовской более «строгие формулировки нормативных предложений» в интересах борьбы с дискриминацией и стигматизацией (с. 27).

Эмпирическая основа книги — реальные «кейсы», призванные подкрепить концептуальные построения автора и обозначить реальные возможности избежать множества опасностей эмоциональных образов в политической сфере, в частности, «воинственных проектов» (конструирование образа внутреннего или внешнего врага) по достижению партикулярного, а не «всеобщего мира и справедливости» (с. 11). В качестве «кейсов» выступают: «Новый курс» президента США Ф. Д. Рузвельта в разгар Великой депрессии (публичные образы тяжелого экономического положения, сплотившие граждан состраданием на основе чувства общей уязвимости и стремления к «экономической справедливости для всех»); создание образа единой новой нации Дж. Неру и М. Ганди; деятельность «великого ненасильственного революционера» М. Л. Кинга (во что вылился его призыв к «некарательным стратегиям» борьбы за справедливость, мы наблюдаем в политически санкционированных экономических, ценностных и эмоциональных последствиях деятельности движения «Black Lives Matter», которые плохо соотносятся даже с понятием социального порядка) и т. д. Свой «нормативный политический проект» Нуссбаум разрабатывает применительно к США и Индии, что объясняет как опытом жизни в обеих странах, так и их оценкой — как «примеров успешной либеральной демократии, объединенной политическими идеалами, а не чувством

этнического единообразия», несмотря на сохраняющееся «сильное неравенство» (вероятно, некоторые читатели оспорили бы и успешность, и либеральность, и демократичность, признав только последнюю характеристику).

Представленные в книге «кейсы» призваны показать, во-первых, что для справедливого социального порядка недостаточно голых абстракций (политических идеалов) — необходимы нарративы и символы (особенно поэтические), опирающиеся на общую культурную память (при ее наличии) и имеющие эвдемонический характер (содержащие личностно одобряемый образ достойной жизни). Однако в массовом информационном обществе те, кто «вызывают в нас глубокие эмоции», «входит в наш круг заботы» и «связан с нами через наше представление о ценной жизни», далеко не всегда члены нашего близкого социального круга — это могут быть представители референтных групп и совсем не адепты социальной справедливости и достойной жизни (часто онлайн-«звезды» — люди с сомнительными ценностями и уголовно наказуемым образом жизни, завораживающие своими доходами). Во-вторых, что «все основные эмоции, поддерживающие достойное общество, либо уходят корнями в любовь, либо являются формой любви... сильной привязанностью к вещам, не контролируемым нашей волей... которая своей главной целью ставит уважение» (с. 36). Эта воодушевляющая идея скорее апеллирует к утопически желательному, чем отражает реальное положение дел, пусть даже «блестящие исследования» когнитивных психологов, приматологов, антропологов, нейробиологов и психоаналитиков, по мнению Нуссбаум, подтверждают ее «нормативный философский проект». Возможно, согласиться с реалистичностью этого проекта читателю с развитым социологическим воображением мешают не менее блестящие эмпирические исследования, убедительно доказывающие острый недостаток любви/уважения в нашей жизни и иные эмоциональные основания социального порядка, притом что большинство людей не может дать определение и даже не особенно задумывается о значении таких слов, как «справедливость», «любовь» и «достойное общество».

Нуссбаум понятие любви не проясняет, а скорее еще больше запутывает (см. например: Illouz, 2016; Swidler, 2001), определяя ее как «не постоянное переживание, а отношение, включающее в себя калейдоскоп самых разных чувств, действий и реакций, в том числе сильную сосредоточенность на другом человеке». В публичной сфере «любовь» (как таковая и ее политическая версия) означает, что публичная культура «не может быть отстраненной и бесстрастной, если мы хотим сохранить хорошие принципы и институты. В ней должно быть достаточно всеобъемлющей любви, достаточно поэзии и музыки, достаточно доступа к духу привязанности и игры, чтобы отношения людей друг к другу и к нации, в которой они живут, не стали просто мертвой рутинной» (с. 479).

Структура книги усиливает аргументацию автора за счет наличия трех частей: в исторической и теоретико-методологической частях по три главы, а в самой объемной части — четыре, представляющие собой убеждающе-иллюстративное описание публичных эмоций. Первая часть «История» может разочаровать чита-

теля, ожидающего хронологической реконструкции «аффективного поворота»: сначала здесь проанализирована литературная основа, либретто и музыкальные особенности оперы В. А. Моцарта «Женитьба Фигаро», «одного из главных предвестников Французской революции, посвященной переходу от феодализма к демократии, показанному на примере выстраивания чувств» (с. 41); затем рассмотрены споры о социальном единстве, эгалитарных обществах и «новом (очищенном) патриотизме» в концепциях Ж.-Ж. Руссо и И. Г. Гердера — опера и споры названы «предтечей того типа либерализма, который позднее будут развивать Дж. С. Милль и Р. Тагор»; а также идея «религии человечества» О. Конта, «которая могла бы побудить к альтруизму и обеспечить стабильность требовательных политических принципов». Идеи всех упомянутых мыслителей названы «замечательными», но опирающимися на «несовершенную психологию, с которой мы не можем сегодня согласиться» (с. 41).

Весьма спорно утверждение Нуссбаум, что «ключевые идеи гораздо точнее выражаются в музыке» (с. 53), чем в либретто «Женитьбы Фигаро», ведь в первом случае доминирует эмоциональная трактовка, а во втором — вербально-лингвистическая, и ее ограничения обычно заданы более институционально-жестко. Вероятно, редкий читатель согласится с тем, что «Женитьба Фигаро» — крайне полезное пособие, напоминающее нам о том, что людей нужно принимать такими, какие они есть, а не участвовать в нереалистичных проектах, которые в конце концов заставят нас ненавидеть реальную человеческую природу» (с. 178). Сомнительна и общепринятость «политического прочтения пьесы П. О. К. Бомарше», согласно которому «к пятому акту Фигаро становится апостолом нового типа гражданственности, свободной от иерархии» (с. 58) — многие зрители не увидят в опере Моцарта «критический анализ роли мужского статуса» (с. 59) и не услышат «музыку, изобретшую демократическую взаимность» (с. 66). Столь же сомнительно, что в кинофильме «Побег из Шоушенка» замершие под звуки оперы заключенные в тюремном дворе слышали в музыке «идею своего рода внутренней свободы, свободы духа, которая заключается в том, чтобы не думать об иерархии, не стремиться избежать контроля со стороны других и не стремиться контролировать их», «свободы как счастье иметь равного человека рядом с собой» (с. 65) — люди могли замереть по самым разным причинам (реакция на неожиданность, красивое звучание, знакомая музыка, личные воспоминания, с ней связанные, ужас перед наказанием того, кто включил оперу на полную громкость, и т. д.).

Постоянно делая отсылки к неоднозначному образу Керубино, Нуссбаум излагает идеи философов-современников оперы Моцарта, подтверждающие, что «демократическая взаимность нуждается в любви, уважения недостаточно... оно не может быть стабильным и устойчивым... а любовь находится глубоко в человеческом сердце и затрагивает его самые сильные чувства, включая страсть и юмор» (с. 76). У Ж.-Ж. Руссо она рассматривает идею гражданской религии, объединяющей людей «прочными узами патриотических чувств, подобным узам любви, которые со временем сделают эгалитарные институты стабильными» (с. 77): такая

религия «основана на некоторых квазирелигиозных догматах, включая святость общественного договора и законов» (с. 78), т. е. речь идет о любви к нации и ее законам, единодушном политическом братстве, гомогенном политическом режиме и торжественных публичных церемониях и гимнах, однако, «несмотря на сильную ненависть Руссо к феодальному порядку», для него «гражданская любовь, как и феодальная любовь, в основе своей имеет подчинение и иерархию» (с. 79).

Нуссбаум полагает, что более близка моцартовской «эротичной и драгоценной гражданской любви» концепция игривого, а не агрессивно-кровожадного «реформированного патриотизма» И. Г. Гердера. Он считает нужным ради всеобщего мира и справедливости прививать гражданам следующие эмоциональные «убеждения»: отвращение к войне, спокойное отношение к воинской славе, отвращение к лживому государственному искусству (критическая гражданская позиция), патриотизм мирного сосуществования (отрицание национального самоопределения через соперничество), приверженность справедливым принципам торговли (отказ от монополии и усмирение алчности), удовольствие от полезной деятельности (с. 83–84) (за исключением последнего принципа, все остальные основания «достойного общества» сегодня вряд ли бы признали правительства многих стран). У О. Конта Нуссбаум заимствует идею перехода от уровня отдельных стран к глобальной справедливости, но видит в его теории «подводные камни, предрассудки и даже абсурдность» (с. 98) (нравственный контроль, осуществляемый небольшой группой философов-позитивистов, отношение к людям как «к покорным роботам», «взаимозаменяемым машинам», или пренебрежение индивидуальностью, безразличие к традиционным культурам мира, восприятие своих идей как неуязвимых перед критикой и др.), устранить которые можно, обратившись к работам Дж. С. Милля и Р. Тагора, что оставит в концепции Конта только «положительные, благовидные» моменты: воспитание в людях неэгоцентричного понимания счастья посредством культивирования духа всеобщего братства в поэзии, музыке и изобразительном искусстве; создание «организованной системы поклонения самому человечеству»; развитие системы образования — «чтобы научиться поступать правильно и... чувствовать надлежащим образом» (с. 108).

Нуссбаум импонирует идея Милля о моральном прогрессе, который разовьет у людей чувство общности и, значит, должное уважение к счастью каждого (с. 115). Помочь такому прогрессу могут политические реформы, которые будут «способствовать развитию соответствующих моральных чувств» (с. 116) при поддержке системы образования (правда, Нуссбаум не разделяет идею Милля о государственных экзаменах, а не государственном финансировании, считая бесплатное образование основой политического равенства) и светской религии, «культивирующей общее сочувствие» (с. 117). У Тагора Нуссбаум поддерживает и антиконтовские тезисы (свобода творчества и критический дух, самовыражение и любовь, плюрализм и отвержение расовых, религиозных и гендерных различий, отказ от контроля и однородности, скепсис по отношению к традициям, обычаям и ритуалам прошлого), и вполне контовские идеи (культивирование сочувствия как

ядро новой светской религии, необходимость формирования единого мирового сообщества). В концепциях обоих — Милля и Тагора — соглашается с формулировкой «нашей основной этической проблемы»: «ограниченное сочувствие в сочетании со стадной покорностью заставляет людей слепо следовать традициям, где сочувствие распространяется на очень ограниченный круг людей» (с. 164).

Вторая часть книги знакомит читателя с «нормативным описанием достойного общества, к которому стоит стремиться», — его Нуссбаум разрабатывает на основе анализа «политических свобод и любви в наши дни... в духе Милля и Тагора [и Моцарта], а не Руссо и Конта» (с. 172). Это описание конструируется из элементов ее теории «возможностей», концепции Дж. Ролза, «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта, европейских социальных демократий, устремлений индийской конституции и императива тесного взаимодействия мотивационного (воздействие на психологию граждан через политическую риторику, песни, символы, информацию и образование) и институционального (институции «репрезентируют понимание ценного типа эмоций, например, достойная налоговая система») аспектов публичных эмоций (с. 43). Затем Нуссбаум оценивает реализуемость своего проекта, исходя из имеющихся ресурсов и психологических препятствий (обусловленных нашей животной природой).

Ограниченность предшествующей исследовательской традиции Нуссбаум связывает с неглубоким психологическим подходом (даже сострадание «было недостаточно хорошо проанализировано») и с непониманием, что «сострадание и альтруизм — часть нашего животного наследия» (с. 173), а «телесное (!) отвращение и стыд постоянно угрожают созданием социальных иерархий» (с. 174). Нуссбаум рассуждает в духе постгуманизма, называя животных «не-людьми», «другими альтруистическими существами», «имеющими право на нашу поддержку их действий и стремлений» (по поводу «долга справедливости» по отношению к растениям она сомневается) (с. 186), потому что они, как и мы, «заботятся и скорбят, переживают сострадание и утрату, совершают альтруистические действия» (с. 211). Здесь следует вспомнить, что до сих пор ведутся споры о том, насколько мы правильно интерпретируем поведение животных — не слишком ли антропоморфизируем их инстинктивные реакции и адаптацию к человеческому окружению. Впрочем, и сама Нуссбаум периодически противоречит декларируемой универсалистско-биологизаторской трактовке эмоций, отмечая, что у любого государства есть своя «культура эмоций», «способность людей к выражению сочувствия сильно варьирует в зависимости от культуры, в которой они живут» (с. 178), «сфера образования станет главной сценой, на которой будет происходить формирование (!) политически подходящего сочувствия и борьбы с неподобающими формами ненависти, отвращения и стыда» (с. 191), «склонности к плохому поведению скорее всего являются результатом взаимодействия внутренних, врожденных склонностей со структурными особенностями человеческой жизни (смертность, нужда, взаимозависимости)» (с. 255), а в основе социальной стигматизации («радикально сегментированного мира») лежит «проецируемое отвращение», возвращаемое

презентацией «иных» как квазиживотных (выдумки, проекции, ложь), хотя основанием такого антропоотрицания утверждается «глубинный страх смерти и беспомощности» (с. 279).

«Животная» часть рассуждений Нуссбаум вызывает наибольшие сомнения: сложно увидеть «зачатки моральных ориентиров, поддерживающих справедливые институты, в нашем животном наследии», хотя справедливо утверждение о двойственной природе наших ограничений — биологически-социальной (с. 242). Вряд ли оправданна и идеализация животного мира, для которого «нехарактерны некоторые виды плохого поведения (геноцид, садистские пытки, этнические чистки)» (с. 243), поскольку животные пожирают себе подобных далеко не только из чувства голода. А от фразы «ни одно животное, кроме человека, не отрицает, что оно животное, не ненавидит свою животную сущность, не избегает себе подобных потому, что они животные», веет двусторонним снобизмом: с одной стороны, почему мы в этом так уверены (пример — волки-одиночки); с другой стороны, бодипозитивное движение может быть свидетельством принятия своей физиологически-животной сути.

Критика либертарианских идей выглядит более обоснованной, но предложенная взамен «правдоподобная теория тех сил, что являются причиной дискриминации и ее плачевных последствий» (с. 248) не менее «наивна» — ее похвальный гуманистический пафос не всегда оправдан. Скажем, не похоже, что «групповая ненависть и отвращение — это основная часть того (дискриминации, стигматизации и изоляции), чему наши нации согласны противостоять», — многие (со)общества/государства прекрасно себя чувствуют, культивируя эти чувства, и культура мало что способна (если даже намерена) противопоставить «некоторым важным человеческим склонностям к плохому поведению» (с. 251). Нуссбаум говорит именно о склонностях («радикальном зле»), поскольку, следуя Канту, считает «нашу животную природу в основе своей нейтральной», и «искуситель, невидимый враг внутри, — это что-то определенно человеческое, это склонность к соревновательному честолюбию, которая проявляется всякий раз, когда люди оказываются в группе» (с. 253–254).

Основная стратегия преодоления социальных несовершенств в книге — это, по сути, безусловная любовь к ближнему и дальнему, но признается и необходимость других «инструментов». Например, отвращение к стигматизированным группам предлагается преодолевать игрой воображения, «через поэтический дух... очеловечивая и возвышая точку зрения отколовшихся, презираемых», «примеривая на себя точку зрения разных персонажей» (с. 287) (в социологии мы, видимо, называем этот поэтический навык «социологическим воображением»). В подтверждение приводятся эксперименты С. Аша и С. Милгрэма, согласно которым (в духе Х. Арендт<sup>5</sup>) «зло таится в нормальных людях, оказавшихся в условиях, в которых они отказываются от личной ответственности... и личной сво-

---

5. См., напр.: Degerman, 2019; Heins, 2007; Nelson, 2006.



боды воли и становятся проводниками чужого замысла» (с. 295–296), особенно если воспринимают тех, над кем имеют власть, обезличенно (с. 299). Нуссбаум делает вывод о необходимости развивать и поддерживать культуру инакомыслия и критическое мышление для «предотвращения ужасных поступков», и эту задачу должны решать система образования<sup>6</sup> и политическая культура, «максимизирующие личную ответственность и восприятие других как полноценных автономных человеческих существ» (с. 300). Причем «активное культивирование эмоций» может и должно «сосуществовать с защитой открытого критического пространства (обсуждений)». В подтверждение рассмотрена расовая дискриминация в США, которая была устранена «не только через законы и институты, но в том числе через публичные празднования, риторику, символику, искусство и широкий спектр убедительных эмоциональных стратегий» (с. 191–192), но в обществе сохраняется плюрализм мнений относительно позитивной дискриминации (с. 193). Последние несколько лет — расцвет движения «Black Lives Matter» и институционализация множества правил, требований и практик, дискриминирующих «нечерных» (см. Ellefsen, 2022), — явно противоречат убеждению Нуссбаум в разрешении «расового вопроса» в США и «торжестве идеалов плюрализма», «права и свободы на инакомыслие» (с. 328)<sup>7</sup>.

Третья часть книги «посвящена анализу текущей ситуации и недавней истории, в основном в США и Индии», через призму патриотических эмоций, которые Нуссбаум считает необходимым культивировать в форме «гуманного и вдохновляющего патриотизма, защищенного от опасности... агрессивных и воинственных своих форм» (с. 44). Самым важным чувством для мотивации и поддержания альтруистических действий и эгалитарных институтов она считает сострадание, выраженное в «сострадательном гражданстве». Для его обретения по мере взросления люди должны учиться «трагическому и комическому созерцанию различных перипетий жизни» — трагедия дает понимание общей незащитности, комедия помогает принять неупорядоченность жизни с гибкостью и милосердием, а не ненавистью, противостоя трем основным угрозам сострадательному гражданству — страху, зависти и стыду (с. 45). Признавая универсальность эмоций как политических инструментов, Нуссбаум уточняет, что разные типы обществ/режимов используют разные наборы и разные типы эмоций, например, призывая

6. Подробнее см. в: Нуссбаум, 2014.

7. См., напр.: Мюррей, 2021. С. 211: «Как это было и в случае с феминизмом... в тот момент, когда расовое равенство было большим, чем когда-либо в истории... появилась новая пылкая риторика и новый набор идей. Точно так же, как популярная ветвь феминизма вместо прославления женщин обратилась к демонизации мужчин, часть “черных исследований” начали атаковать людей, цвет кожи которых не был темным. Дисциплина, направленная на дестигматизацию, начала стигматизировать». С. 308–309: «Мы создали мир, в котором прощение стало практически невозможным, в котором грехи отца могут быть возложены на сына... мир, где действия могут иметь такие последствия, какие мы никогда не могли себе вообразить, где вина и стыд ближе, чем когда бы то ни было, и где нет никаких средств к искуплению... мир, в котором проявляется один из величайших видов власти — власти осуждать и потенциально разрушать жизнь других людей по причинам, которые могут быть, а могут и не быть искренними», что влечет разочарование в «новой религии справедливости».

стыдиться чрезмерной жадности и эгоизма, но не цвета кожи, физических недостатков, религиозной веры и т. д. Кроме того, в третьей части Нуссбаум возвращается к обозначенному в первой главе разведению идеального и действительного: политическое конструируется реальными людьми, поэтому каждое общество характеризуется определенной степенью достигнутой справедливости, что не исключает необходимости постоянных усилий по ее поддержанию и приближению к идеалу.

Задача третьей части — применить ту аналитическую стратегию, что была разработана во второй части, «в контексте реальных обществ», т. е. главное требование к «культивированию публичных эмоций» — контекстуальность: «лидеры, стремящиеся обеспечить эмоциональную поддержку значимых проектов, должны взаимодействовать с людьми такими, какие они есть — с их особыми, исторически и социально сформированными предпочтениями и заботами... Хорошие общественные эмоции действительно воплощают общие принципы, но облачают их в одежды конкретного исторического повествования» (с. 302–303). В качестве «кейсов» рассмотрены важные политические «действия» «опытных лидеров и стратегов», которые «претворяли мечты в реальность, отчасти используя красоту идеалов для мотивации реальных людей» (с. 578): инаугурационные речи американского президента А. Линкольна, речь М. Л. Кинга на марше в Вашингтоне, образ жизни М. Ганди, речь У. Черчилля как «парадигмальный случай мудрого политического укрощения страха» и др. Все эти примеры призваны подтвердить, что «люди не влюбляются в абстрактные идеи... без множества вспомогательных инструментов в форме метафоры, символа, ритма, мелодии, конкретных географических особенностей и т. д.». Например, чтобы «патриотические эмоции (форма любви — к нации) становились необходимой опорой для ценных проектов, предполагающих жертвенность ради других» (с. 311), далеко не всегда нужен героизм эпических сражений или демонизация оппонентов — не менее эффективны сострадание к беднейшим, решимость искоренить несправедливость, преданность делу и надежда на лучшее. «Патриоты часто не любят реальность, предпочитая облагороженную версию прошлого и настоящего. Они боятся, что изображение нации такой, какая она есть, подорвет любовь. Но на самом деле они говорят о том, что человеческое сердце не может выдержать реальности, что... родители не могут обнимать детей, которые не соответствуют их идеализированной картине достижений», тем самым «обрекая разум, пойманный на крючок совершенства, на отчаяние» (с. 384). Поэтому патриотическое воспитание должно учить не патриотизму, а любви, и «закон и институциональная структура являются необходимыми опорами всего хорошего в патриотизме (конституционные права и независимая судебная власть, свобода слова и печати)», т. е. инструментами защиты инакомыслия и инаковости (с. 385).

Нуссбаум полагает, что образования, законодательства и институтов недостаточно для формирования «хороших моральных принципов» в диалоге с подкрепляющим их эмоциональным опытом — необходима поддержка искусства (в ши-

роком смысле слова, включая планирование городских пространств<sup>8</sup>). Например, трагедия (ужасные бедствия, затрагивающие всех) — «эффективное средство преодоления сегментации в социальной жизни», которое «порождает ценный диалог о вине и социальных изменениях» (с. 399) и «показывает пределы человеческих амбиций, но не таким образом, который ведет к параличу воли» (с. 400). Поэтому важно правильно «репрезентировать бедствия в публичной сфере» и вводить «качественные произведения в учебную программу государственных школ» (с. 417) — «чтобы двигаться вперед» на основе «национальных идеалов (несомненно) и более выразительного квазиэротического чувства национальной любви (сомнительно)» (с. 424). Так, Нуссбаум предлагает изображать «трагическое положение в несколько обобщенной и абстрактной форме, чтобы люди... выбирали общую и справедливую политику, а не облегчение страдания конкретных людей... Обобщенные переживания сострадания прокладывают мост к хорошим принципам и сами по себе являются эмоциями, в которых принципы заложены как часть их содержания... и могут фактически подорвать враждебные стереотипы» (с. 476).

В заключительной главе, систематизирующей содержание предшествующих пятисот страниц, политическая любовь определена как «полиморфная»: «Любовь родителей к детям, любовь к товарищам, романтическая любовь — все это способно по-разному вдохновлять публичную культуру. Мы не должны удивляться или разочаровываться, если разные группы граждан проявляют разные эмоции по поводу одного и того же публичного выступления или произведения искусства (здесь чувствуется, что книга написана до эпохи «культуры отмены»)... Все это формы любви, и все они по-разному эффективны для поощрения сотрудничества и бескорыстного поведения. Виды любви, побуждающие к хорошему поведению, скорее всего, будут иметь некоторые общие черты: отношение к объекту любви как к цели, а не как к инструменту; уважение к человеческому достоинству возлюбленного; готовность ограничить свои алчные желания в пользу любимого... альтруистичность и отказ от навязчивого поиска личного статуса и чести в пользу взаимности и уязвимости» (с. 573–574). Кроме того, «в каждой любви есть место идеалу, и в политической любви его не меньше, чем в любви родительской или личной. Когда мы любим людей, мы хотим быть добрыми к ним, а это обыкновенно значит быть лучше, чем мы есть иногда или даже всегда. Личной любви, как и политической любви, угрожает ограниченность, пристрастность и нарциссизм, поэтому любовь — это постоянная борьба» (с. 577).

Помимо обозначенных выше вопросов и сомнений, которые вызывают некоторые утверждения Нуссбаум, следует отметить и отсутствие в книге инструкций по реализации предложенного «нормативного политического проекта». Безусловно, от философского текста этого не требуется, но Нуссбаум высказывает в адрес своих предшественников те же упреки, что отражают особенности ее книги. Так, Гердер «мало говорит о том, как должен быть реализован его проект, кроме того

---

8. См. подробнее в: Харви, 2018. Харви ставит вопрос иначе — можно ли воспринимать город с позиций социальной справедливости.

что новые отношения должны поощряться публичной риторикой и словами политических лидеров» (с. 93); «идеи Милля наивны и не подкреплены эмпирическими исследованиями» (с. 124); проект религии человечества Конта «оставлял желать лучшего» (с. 163). «Проекты Милля и Тагора несовершенны» и «идеалистичны», их авторы не смогли «сформулировать образ достойного общества» (с. 165), определить «надлежащий баланс между солидарностью и индивидуальными экспериментами», «между выполнением общей задачи и свободой... быть несогласным», объяснить характер распространения новой «религии» и причины ее будущего доминирования (с. 166). Ю. Хабермас «даже близко не подходит к описанию того, чем являются эмоции и как они работают, его видение настолько морализованно и абстрактно, что нельзя быть уверенным, что оно совместимо с реальной жизнью» (с. 336).

Впрочем, и высокая оценка работ предшественников как «поэтических размышлений» применима к книге Нуссбаум<sup>9</sup> — благодаря ее содержательным акцентам (на поэтичности, чувственности, художественном творчестве) и стилю повествования: многочисленные эпитеты, редко встречающиеся в научном дискурсе (скажем, когда чье-то произведение оказывается «трогательным и самокритичным, забавным и безмятежным», гуманизм — «страстным», гражданин — «сильным и непокорным, бросающим вызов мертвым традициям»), и метафоричные конструкции («Тагор и Моцарт — родственные души», «Ганди — блестящий кузнец символов», «эмоции — ингредиент, который действует, как закваска», «советский реализм и его многочисленные вгоняющие в сон родственники» и др.), иногда созвучные религиозным доктринам («мир прекрасен, но в то же время хаотичен, и большая часть страданий в нем может быть облегчена более разумным использованием нашего времени в этом мире» — с. 178). Поэтичность делает текст еще более затягивающим, но не может отвлечь от постоянно возникающего вопроса — насколько реализуемы прекрасные призывы автора, скажем, «развитием внутреннего эмоционального мира расширять гражданский кругозор», а развитием «чувства солидарности не устранять чувство собственной уникальности».

Не только данная книга, но и в целом концепция Нуссбаум воспринимается неоднозначно. Например, Р. Брайдотти выделяет три течения в постгуманизме (Брайдотти, 2021: 76) (реактивный — проистекает из моральной философии; аналитический — основан на исследованиях науки и техники; критический — антигуманистическая философия субъективности), себя относит к критическим постгуманистам, а Нуссбаум<sup>10</sup> — к реактивным постгуманистам. Причина — Нуссбаум «тщательно разрабатывает защиту современного гуманизма как гарантии демократии, свободы и уважения человеческого достоинства и отвергает саму идею кризиса европейского гуманизма, не говоря уже о вероятности его исторического

9. «В отличие от многих других философов, Нуссбаум — элегантный и лиричный автор, не одобряющий общепринятый стиль философских работ — как “научный, абстрактный, стерильный” и отстраненный от проблем своего времени» (Aviv, 2016).

10. На основе таких работ, как: Nussbaum, 1999; 2006.

упадка... защищает необходимость всеобщих гуманистических ценностей в качестве снадобья от фрагментации и релятивистского дрейфа... в результате глобализации... Для Нуссбаум абстрактный универсализм — единственная установка, позволяющая предоставить прочные основания для таких моральных ценностей, как сострадание и уважение к другим... Меня очень радует, что Нуссбаум подчеркивает значение субъективности, но то, что она заново связывает его с универсалистской верой в индивидуализм, фиксированные идентичности, устойчивые локации и моральные обязательства, меня радует куда меньше... Принимая такой развоплощенный универсализм, представления Нуссбаум о том, что считается человеком, оказываются парадоксальным образом ограниченными... Она заполняет этический вакуум глобализованного мира классическими гуманистическими нормами» (Брайдотти, 2021: 77-78).

Кого-то из читателей подобный универсализм может смутить применительно к объяснению социальной справедливости антропологически-эволюционным эмоциональным аспектом. Действительно, в последние годы появляется все больше свидетельств того, что «у людей в ходе эволюции сформировалась активная заинтересованность в делах других... каждый может существенно выиграть за счет честного взаимовыгодного поведения», и подобное сотрудничество на принципах справедливости основано как на общественных установлениях, так и эмоциях (Буайе, 2019: 218, 208). Однако Нуссбаум предлагает слишком универсалистский взгляд на эмоциональную подоплеку социального порядка, тогда как другие исследователи фокусируются на значительно меньших «кейсах» (скажем, не конструирование новой нации, а специфика эмоционального труда в разных профессиональных сферах (см. например: Weinberg, 2021)), что позволяет разрабатывать и использовать более эмпирически адекватный категориальный аппарат (эмоциональная нагрузка, эмоциональное выгорание, эмоциональные нормы компании и гендерная сегрегация профессии, а не общества в целом).

Профессиональные читатели книги отмечают и другие ее ограничения: «разрыв между академической философией и эмоциональной жизнью обычных людей», «игнорирование роли религии в сфере политических эмоций», «на удивление бесстрастный и плотный текст, который вряд ли заставит сердце читателя забиться чаще, а потому возникает вопрос: могут ли философы не только обсуждать эмоции, но и реально воздействовать на них?» (Evans, 2013); «непонятно, как соотносятся публичные и личные эмоции (например, как представители власти и политические лидеры должны относиться к вопросам прощения в рамках политического либерализма)», «почему монархия несовместима с идеалами политического либерализма (многие европейские монархи давно не претендуют на квазибожественное восприятие своими детьми-поддаными)», «сомнительно, что либертарианские политические идеалы и эмоции столь фундаментально несовместимы с политическим либерализмом... тем более что Нуссбаум разделяет идею либертарианцев о недопустимости государственного принуждения для порождения любви или симпатии (любого типа)» (Varden, 2014). Кроме того, хотя декла-

ративно Нуссбаум придерживается скорее биологизаторской трактовки эмоций (см. например: Уилсон, 2020; Черчленд, 2021; de Waal, 2009), из текста все же следует (имплицитно и эксплицитно), что моральные принципы и подкрепляющие их (публичные) эмоции обусловлены и биологически, и социально (Плампер, 2018; Симонова, 2016, 2014; Шёк, 2008; Haidt, 2001; Keltner et al., 2022; Moors, 2020), т. е. «воспитание и культура формируют наши представления о том, как вести себя, когда мы что-то чувствуем, но наши чувства сами по себе развились в процессе эволюции» (Ферт-Годбехер, 2022: 13).

Еще один фактор, влияющий на восприятие книги российским читателем, — временной: дело не в том, что за прошедшее десятилетие книга утратила актуальность, а в том, что изменился объективный контекст ее восприятия, и речь идет не только о пандемии новой коронавирусной инфекции, породившей множество массово-психотических явлений. Для российской социологии в целом характерно сдержанно-подозрительное отношение к психологизму и эмоциям. В западной социологии можно говорить о своего рода институционализации «аффективного/эмоционального поворота» уже в 1970–1980-е годы (см. Симонова, 2016; Collins, 2004; Jasper, 2011; Turner, Stets, 2005), когда обвинения в «психологизировании» стали бессмысленны — после признания, что «все общества имеют свои эмоциональные стандарты» (Зорин, 2016: 15), «культурные правила предписывают людям, как переживать и выражать эмоции» (Харрис, 2020: 19) и «правила, касающиеся типа, интенсивности, длительности, своевременности и уместности чувств, — это руководящие принципы общества, подсказки от невидимого режиссера» (Хокшильд, 2019: 145). В России «эмоциональный поворот» начался значительно позже и в существенно меньших масштабах, поэтому многие принципиальные для социологии эмоций работы стали доступны российскому читателю (были переведены на русский), когда в западной традиции нейтрально-позитивное изучение эмоций начало меняться на несколько негативно-оценочно-настороженное, но многие актуальные сегодня вопросы в книге Нуссбаум еще не затронуты.

Во-первых, проблема определения самого понятия «эмоция»: это «не более чем обертка, в которую англоязычные представители западного мира пару сотен лет назад упаковали определенный набор переживаний... Существует едва ли не столько же определений эмоций, сколько людей, их изучающих. Некоторые включают голод и физическую боль в классификацию, другие — нет. Нельзя утверждать, что концепция эмоций верна, так же как нельзя утверждать, что понятие страстей ошибочно. Сам термин “эмоция” — всего лишь обновленная упаковка с сомнительно выраженными очертаниями» (Ферт-Годбехер, 2022: 11-12). «В конце концов слово “эмоция” так прочно вошло в язык и культуру, что, употребляя его, мы задумываемся не больше, чем когда произносим слово “рука”. Разница в том, что... уже в 1981 году специалисты насчитали аж 101 определение понятия “эмоция” в психологии, и с тех пор все только усложнилось... Однако мир состоит не из одной Европы... Эта западная концепция мало что значила для африканского народа ашанти или японцев XIX века» (Там же: 161-162).



Во-вторых, намечилось окончание противостояния социально-конструктивистского и универсально-биологического подхода к эмоциям. С одной стороны, исследователям все сложнее обосновать приоритетность любого из них, и теперь задача — их корректное соотношение. С другой стороны, акцент сместился с анализа внутренних механизмов эмоций на способы управления ими, т. е. с изучения «эмоциональных режимов» на их создание и изменение. «Мы вышли на новый виток понимания эмоций... но в результате сформировались в том числе ошибочные идеи, например, понятие базовых эмоций (врожденных (см. например: Экман, 2020))... Те, кто склонен верить в борьбу за социальную справедливость... как правило, опираются на идеи конструктивизма... Те, кто не согласен с ними, часто оказываются универсалистами, считают мир эмоций статичным и неизменным, а всех, кто выступает против “нормы”, — угрозой... В научной литературе... границы между теориями о врожденном и культурном происхождении эмоций постепенно стираются. Мы обязаны этим успеху исследователей, осмелившихся пойти против научной парадигмы П. Экмана (Ekman, 1992; Ekman, Oster, 1979), К. Лутц (Lutz, 1988) и их последователей, а также... неудачным попыткам наделить машины настоящими человеческими эмоциями» (Ферт-Годбехер, 2022: 248, 260, 263).

В-третьих, любовь, к которой призывает Нуссбаум, перестает восприниматься как нечто безусловно позитивное. Одни авторы ссылаются на исторические события, утверждая, что, например, «побудительным мотивом для крестоносцев, по всей видимости, стало глубокое чувство любви к ближнему в августинианском понимании. Беда в том, что Августин имел в виду отнюдь не “возлюби только того ближнего, с которым согласен”. В связи с чем возникает вопрос: как эта любовь к ближнему уживалась с насилием в человеке XI века? К счастью — по крайней мере, для крестоносцев, — у Августина был ответ и на этот вопрос, и заключался он в концепции справедливой войны... Покуда причины вашей войны правильны, т. е. пока вы сражаетесь за Господа, а не ради личной выгоды или из ненависти, она справедлива» (Там же: 92-93).

Другие авторы отмечают своего рода вырождение любви в современном мире, что противоречит идее Нуссбаум о развитии публичной сферы с помощью творческого потенциала любви. «В обществе индивидуализации любовь... способствует еще большему эгоцентризму индивидов... Любовь уничтожает публичную сферу, делая невозможным или очень сложным коллективное политическое действие... Чем больше людей, для которых внутренний мир и семейный очаг становятся смыслом жизни, тем меньше людей, готовых вообще быть активными в публичной сфере... Даже на уровне аффектов публичная сфера начинает восприниматься как холодная, безличная и непредсказуемая; частная же сфера через идеи романтического союза ассоциируется с теплом и близостью... Во время национальных катаклизмов власть говорит: “Идите домой, позаботьтесь о своих семьях”» (Вилисов, 2022: 190-191). Применительно к современному обществу даже вводится понятие «негативные отношения» (Шлоуз, 2019) — отказ все большего количества людей от любовных от-

ношений или сознательный выбор «не связываться» (только ситуативные сексуальные, в том числе виртуальные, и кратковременные связи). И Нуссбаум «попадает в типичную ловушку социальных теоретиков любви, которые сразу предпринимают попытку отделить плохую любовь (нарциссизм) от хорошей (открытость к изменениям)... но есть сомнения, что такое разделение возможно» (Вилисов, 2022: 210).

Книга однозначно рекомендуется к прочтению широкой аудиторией по целому ряду причин — и уже отмеченным выше (иное звучание в свете нынешних реалий; систематизация концептуальных споров, проникших в медийный дискурс и подкрепляющих социальные стереотипы; известные исторические примеры, рассмотренные в своеобразном эмоционально-ценностном контексте и др.), и заслуживающим отдельного упоминания: привлечение убедительных «кейсов» для честного признания возможностей и опасностей патриотизма как философской идеи и политического принципа; личный пример отказа от «культуры отмены» — обращение к русскому читателю с призывом к «собственным размышлениям об извечных проблемах» и выражение ему «уважения, любви и искренних пожеланий мира и справедливости во всем мире» (с. 13); критика эконометрической трактовки счастья людей как «вместилищ удовлетворенности» (с. 183) и др. Неподготовленному читателю книга может показаться избыточно сложной (терминологически) и несколько запутанной: Нуссбаум старается избегать повторов, постоянно отсылая любопытных или неудовлетворенных читателей к другим своим работам, но книга все равно производит впечатление скорее сборника статей<sup>11</sup>, чем монографии, — повторяются сноски, пояснения, примеры и аргументы, и ситуацию не спасает ни хороший перевод, ни увлекательные автобиографические описания, хотя благодаря им текст легко и увлекательно читается.

Из предшествующего повествования может сложиться впечатление о негативном восприятии книги, но это совершенно не так. Если кому и можно предъявлять претензии в пессимистическом настрое после ее прочтения, то не автору, а «родителям» и исполнителям неудавшихся политических проектов — в соответствии с идеей Дж. Скотта о провальных благих намерениях государственных мужей (см. например: Scott, 1997, 2008). Однако Нуссбаум (само)критично воспринимает свой философский «цех»: «в разное время в разных местах великие демократические лидеры понимали, как важно культивировать надлежащие эмоции (и бороться с теми, что препятствуют общественному прогрессу)»<sup>12</sup>, но «либеральная политическая философия в целом уделяла этому недостаточно много внимания»<sup>13</sup>, хотя,

---

11. Что, в частности, позволяет называть книгу «масштабным трудом со сложной и эклектичной архитектурой... по отдельности фрагменты анализа Нуссбаум кажутся иногда не очень убедительными, но в совокупности образуют цельное, хотя и разнородное пространство» (Зыгмонт, 2023).

12. Понимать и действовать, исходя из этого понимания, — разные вещи, и в политике предвыборные обещания/декларации и реальные политические решения часто далеки друг от друга (как идеал и жизнь).

13. За отсутствие или недостаточные «попытки углубиться в психологические истоки нетерпимости», за «обходжение стороной вопроса психологии достойного общества» (с. 18) достается многим предшественникам Нуссбаум, но, скажем, И. Канту в меньшей степени, чем Дж. Локку.

вероятнее всего, упрекаемые философы признавали объективные ограничения контроля эмоций в принципе и в социально-политической жизни в частности.

Книга и в 2013 году была крайне полемичной, начиная с задачи, которую Нуссбаум в ней якобы решила — ответила на вопрос «может ли достойное общество (критерии? помимо множества целей и «человеческого развития как предоставления людям возможности жить яркой и полноценной жизнью» (с. 182), тогда критерии яркости и полноценности?) сделать что-то большее для обеспечения стабильности и мотивации, чем предложили Локк и Кант, не становясь при этом нелиберальным и диктаторским в духе Руссо (только Руссо?)» (с. 21). Нуссбаум постоянно подчеркивает, что в фокусе ее внимания находятся общества не совершенные, а стремящиеся к совершенству, что порождает вопрос и о критериях совершенства («хорошее общество» весьма различается в трактовке разных политических режимов), и об индикаторах столь прекраснодошного стремления.

Многие утверждения и понятия Нуссбаум просто не вполне понятны: почему в основе дискриминации лежат эмоции отвращения, а не, например, рациональная оценка недостаточности ресурсов и их распределения среди «своих»; почему критерием работающей концепции справедливости выступает вера граждан в ее правильность (пацифизм населения еще не остановил ни один военный конфликт, развязанный «сверху»); как добиться баланса между любовью и преданностью идеалам социальной справедливости с критической политической культурой, особенно в кризисные периоды; почему не оговаривается разрыв между конституционными идеалами (прекрасны до тех пор, пока их не меняют) и реалиями (например, согласно Конституции, Россия — социальное и правовое государство, с чем многие граждане могут аргументированно не согласиться); насколько творческие люди, «которым государство предоставит широкую возможность для выражения своих взглядов на ключевые политические ценности», компетентны, чтобы так-вые выражать, и почему не могут быть убежденными «служителями политической элиты в советском духе»; почему в рамках критической политической культуры юмор должен носить характер «осмеяния помпезной демонстрации патриотических чувств» (с. 24) — таковые могут быть искренними, а юмор — «государственным»<sup>14</sup>; можно ли решить проблемы дискриминации и стигматизации в не очень

---

14. См., напр.: Добренко, Джонссон-Скрадоль, 2022. Госсмех: сталинизм и комическое. М.: Новое литературное обозрение. Под госсмехом в книге понимается «смех начальника, санкционированный государством смех... апроприированный государством смех... Он не только не смешон и опирается на массовый вкус и неразвитое чувство юмора... но и противостоит стереотипам, согласно которым смех якобы всегда анти тоталитарен, демократичен и разрушает иерархию и страх. Нет, смех может быть инструментом устрашения и укоренения иерархии, мощным инструментом тоталитарной нормализации и контроля» (с. 13). «Вторая мировая война оставила после себя огромное количество материала, позволяющего понять, как популярный юмор в самых разных формах использовался не только воюющими сторонами, но и враждебными друг другу идеологиями. Во время Первой мировой войны комедийные жанры использовались «для мобилизации боевого духа на войне»; популярная комическая культура поддерживала «прагматический патриотизм». Двадцать лет спустя два главных противника делали все возможное для того, чтобы использовать военную пропаганду для цементирования ценностных основ своего общественного устройства, в чем юмору отводилась особая роль» (с. 138).

«хорошо организованном обществе» (критерии хорошей организации?); должны ли богатые страны выполнять «некоторые обязанности по поддержке развития и процветания людей в более бедных странах» (с. 187), прежде чем выполнят их для своего населения или после; как добиться того, чтобы «публичные эмоции были одновременно ограниченными и поверхностными по сравнению с всеобъемлющими доктринами, которых придерживаются граждане» (с. 204), если приверженность доктринам часто требует особого «эмоционального режима», а в чрезвычайных ситуациях даже самые поверхностные эмоции могут стать глубинными в интересах социальной мобилизации; чем выражение «кристаллизация эмоционального опыта в институциональной форме» отличается от понятия «эмоциональный режим» и т. д.

Все перечисленное выше — не замечания, а вопросы, обусловленные как читательским недопониманием авторской аргументации, так и полемичностью текста — вследствие его утопичности<sup>15</sup> и мозаичности, не говоря уже о специфических примерах, слишком «кейсовых» для широких философских обобщений с призывами к действию и эмоционально-этическому выбору. Сегодня, спустя десятилетие после первого опубликования, книга воспринимается еще более неоднозначно, потому что в прежде однозначно позитивных «кейсах» обнаружилось множество негативных элементов и последствий, прямо противоречащих их авторской интерпретации. Впрочем, способность вызывать множество ассоциаций, аллюзий, вопросов, сомнений и даже протестов читателя — качество однозначно заслуживающей прочтения книги.

## Литература

- Брайдотти Р.* (2021). Постчеловек / Пер. с англ. Д. Хамис, под ред. В. Данилова, М.: Издательство Института Гайдара.
- Буайе П.* (2019). Анатомия человеческих сообществ. Как сознание определяет наше бытие. М.: Альпина нон-фикшн.
- Вилисов В.* (2022). Постлюбовь. Будущее человеческих интимностей. М.: АСТ.
- Добренко Е., Джонсон-Скрадоль Н.* (2022). Госсмех: сталинизм и комическое, М.: Новое литературное обозрение.

---

Кроме того, «современная тенденция в изучении смеха — интерес к политическим аспектам комического... и “говорить о смешном в двадцатом веке не значит предложить альтернативу столетию ужасов, войн и геноцида... смех часто представлялся как путь к ужасу”» (с. 22).

15. Нуссбаум отвергает этот упрек: «нет необходимости извиняться за то, что прекрасные мечты занимают центральное место в этой книге; и нет никаких причин (кроме уродливого цинизма, который противоречит сложности истории) полагать, что красота означает нереальность». Жесткость высказывания смягчает гуманистическое признание: «книга говорит еще и о том, что реальное прекраснее возвышенного нереального» (с. 578), поэтому «то, что объединяет людей, должно быть более реальным, чем имитация, иначе сила эгоизма возьмет верх», и «идеалы реальны — даже если нам не удастся их достичь, они задают направление нашего поиска» (с. 591).

- Зорин А. Л.* (2016). Появление героя: из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века, М.: Новое литературное обозрение.
- Зыгмонт А.* (2023). В черном окне громоздится политическая любовь // <https://gorky.media/reviews/v-chernom-okne-gromozditsya-politicheskaya-lyubov/?ysclid=lim3ivm401777127385>.
- Мюррей Д.* (2021). Безумие толпы. Как мир сошел с ума от толерантности и попыток угодить всем / Пер. с англ. Н. А. Ломтевой. М.: РИПОЛ классик.
- Нуссбаум М.* (2014). Не ради прибыли: зачем демократии нужны гуманитарные науки / Пер. с англ. М. Бендет; под науч. ред. А. Смирнова. М.: Издательский дом Высшей школы экономики.
- Павлюткин И.* (2014). Необъявленный кризис в образовании и воспитание граждан мира // Вопросы образования. № 3. С. 269–282.
- Плампер Я.* (2018). История эмоций / Пер. с англ. К. Левинсона. М.: Новое литературное обозрение.
- Ролз Дж.* (2010). Теория справедливости / Пер. с англ. под науч. ред. и с предисл. В. В. Целищева. М.: Издательство ЛКИ.
- Симонова О. А.* (2014). Социология эмоций и социология морали: моральные эмоции в современном обществе // Социологический ежегодник-2013–2014: Сб. научных трудов / Под ред. Н. Е. Покровского, Д. В. Ефременко. М.: ИНИОН. С. 148–187.
- Симонова О. А.* (2016). Базовые принципы социологии эмоций // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология. Социология. Педагогика. № 4. С. 12–27.
- Симонова О. А.* (2016). Эмоциональный поворот в социологии: Развитие теории и отдельных исследовательских областей // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. Т. 3. № 3. С. 105–130.
- Сорокин В. Г.* (2020). Русские народные пословицы и поговорки. М.: Издательство АСТ; CORPUS.
- Троцук И. В.* (2019). Справедливость в социологическом дискурсе: семантические, эмпирические, исторические и концептуальные поиски // Социологическое обозрение. Т. 18. № 1. С. 218–249.
- Уилсон Э.* (2020). Эусоциальность: Люди, муравьи, голые землекопы и другие общественные животные / Пер. с англ. М. Исакова. М.: Альпина нон-фикшн.
- Ферт-Годбехер Р.* (2022). Эмоция: великолепная история человечества / Пер. с англ. О. Быковой; науч. ред. В. Северцев, Т. Тарасенко, Е. Костина. М.: Манн, Иванов и Фербер.
- Харви Д.* (2018). Социальная справедливость и город / Пер. с англ. Е. Ю. Герасимовой. М.: Новое литературное обозрение.
- Харрис С.* (2020). Приглашение в социологию эмоций / Пер. с англ. О. А. Симоновой. М.: Издательский дом ВШЭ.
- Хокшильд А. Р.* (2019). Управляемое сердце: коммерциализация чувств. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС.

- Черчленд П. (2021). Совесть. Происхождение нравственной интуиции / Пер. с англ. М. Десятовой. М.
- Шёк Г. (2008). Зависть: Теория социального поведения. М.: ИРИСЭН.
- Экман П. (2020). Эволюция эмоций / Пер. с англ. О. Чекчуриной. СПб.: Питер.
- Aviv R. (2016). The Philosopher of Feelings. <https://www.newyorker.com/magazine/2016/07/25/martha-nussbaums-moral-philosophies>.
- Collins R. (2004). Interaction Ritual Chains, Princeton: Princeton University Press.
- de Waal F. (2009). The Age of Empathy: Nature's Lessons for a Kinder Society. New York: Harmony Books.
- Degerman D. (2019). Within the Heart's Darkness: The Role of Emotions in Arendt's Political Thought // European Journal of Political Theory. Vol. 18. № 2. P. 153–173.
- Ekman P. (1992). An Argument for Basic Emotions // Cognition and Emotion. Vol. 6. P. 169–200.
- Ekman P., Oster H. (1979). Facial Expressions of Emotion // Annual Review of Psychology. Vol. 30. P. 527–554.
- Ellefsen R. (2022). Black Lives Matter: The Role of Emotions in Political Engagement // Sociology. Vol. 56. № 6. P. 1103–1120.
- Evans J. (2013). Book Review: Political Emotions: Why Love Matters for Justice by Martha C. Nussbaum. <https://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2013/12/11/book-review-political-emotions-why-love-matters-for-justice>.
- Haidt J. (2001). The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment // Psychological Review. Vol. 108. P. 814–834.
- Heins V. (2007). Reasons of the Heart: Weber and Arendt on Emotion in Politics // European Legacy. № 12. P. 715–728.
- Illouz E. (2016). Why Love Hurts. A Sociological Explanation. Cambridge: Polity Press.
- Illouz E. (2019). The End of Love: A Sociology of Negative Relations. New York: Oxford University Press.
- Jasper J. (2011). Emotions and Social Movements: Twenty Years of Theory and Research // Annual Review of Sociology. Vol. 37. № 1. P. 285–303.
- Keltner D., Sauter D., Tracy J. L., Wetchle E., Cowen A. (2022). How Emotions, Relationships, and Culture Constitute Each Other: Advances in Social Functionalist Theory // Cognition and Emotion. Vol. 36. P. 388–401.
- Lutz C. A. (1988). Unnatural Emotions: Everyday Sentiments on a Micronesian Atoll and Their Challenge to Western Theory. Chicago: University of Chicago Press.
- Moors A. (2022). Demystifying Emotions: A Typology of Theories in Psychology and Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nelson D. (2006). The Virtues of Heartlessness: Mary McCarthy, Hannah Arendt, and the Anesthetics of Empathy // American Literary History. Vol. 18. № 1. P. 86–101.
- Nussbaum M. (1999). Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education. Cambridge: Harvard University Press.
- Nussbaum M. (2006). Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Membership. Cambridge: Harvard University Press.



- Scott J. (1997). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press.
- Scott J. (2008). *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*. New Haven: Yale Press.
- Swidler A. (2001). *Talk of Love: How Culture Matters*. Chicago: University of Chicago Press.
- Turner J. H., Stets E. J. (2005). *The Sociology of Emotions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Varden H. (2014). Review: *Political Emotions: Why Love Matters for Justice*. <https://ndpr.nd.edu/reviews/political-emotions-why-love-matters-for-justice>.
- Weinberg J. (2021). Emotional Labor and Occupational Wellbeing in Political Office // *British Journal of Politics and International Relations*. Vol. 23. № 3. P. 430–450.

## The Other Kind of Utopia, Or How Social Justice Is Possible in the World of Those Loving One's Non-Neighbor

Book review: Nussbaum M. (2023) *Political Emotions: Why Love Matters for Justice*. Transl. from English by S. Porfirieva, Moscow: New Literary Review, 632 p.

### Irina Trotsuk

Doctor of Sociological Sciences, Centre for Fundamental Sociology,  
National Research University Higher School of Economics  
Professor, Sociology Chair,  
Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University)  
Address: Myasnitskaya Str., 20, Moscow, Russian Federation 101000  
E-mail: irina.trotsuk@yandex.ru

Martha Nussbaum is a famous American philosopher and an incredibly prolific author who published more than twenty books and five hundred articles on a wide range of issues of “good living” — from the fragility of goodness and poetic justice, love of country and cultivating humanity to the intelligence of emotions and the new religious intolerance (and this is not an exhaustive list). Unfortunately, only two books have been translated into Russian — *Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities* (2014) and *Political Emotions: Why Love Matters for Justice* (2023). The first book is thematically focused and aims at proving both the flawed interpretation of education as an exclusively tool for economic growth and the value of the humanities and arts for the high quality of life and prosperity of democratic states. The second book also emphasizes the importance of education and the arts, compassionate citizenship and the pursuit of the common good, is based on personal observations of life in the United States and India, promotes the ideas of social justice and equality, but on a higher level of generalizations, relying on the author's previous research and adding the most important emotional “ingredient” of social order — love. The article is an attempt to show the undoubted strengths of this great book (rich in research, concepts and illustrations) and its (more doubtful) limitations which are due primarily to the book's implicit expectation of the reader's awareness of its conceptual foundations (previous works of Nussbaum), and the past decade's peculiar effect on its ideological, conceptual and illustrative content.

**Keywords:** Martha Nussbaum, (political) emotions, (social) justice, social order, good living, (post) humanism, moral principles, (political) love, public sphere, (in)equality, patriotism

## References

- Aviv R. (2016) *The Philosopher of Feelings*. <https://www.newyorker.com/magazine/2016/07/25/martha-nussbaums-moral-philosophies>.
- Boyer P. (2019) *Anatomiya chelovecheskikh soobshchestv. Kak soznaniye opredelyayet nashe bytiye* [Anatomy of human communities. How consciousness determines our being], Moscow: Alpina non-fiction.
- Bridotti R. (2021) *Postchelovek* [Posthuman]. Per. from English. D. Khamis, ed. V. Danilova, Moscow: Gaidar Institute Publishing House.
- Churchland P. (2021) *Sovest'. Proiskhozhdeniye нравstvennoy intuitsii* [Conscience. The origin of moral intuition]. Per. from English. M. Desyatova, Moscow.
- Collins R. (2004) *Interaction Ritual Chains*, Princeton: Princeton University Press.
- de Waal F. (2009) *The Age of Empathy: Nature's Lessons for a Kinder Society*, New York: Harmony Books.
- Degerman D. (2019) Within the Heart's Darkness: The Role of Emotions in Arendt's Political Thought. *European Journal of Political Theory*, vol. 18, no 2, pp. 153–173.
- Dobrenko E., Johnsson-Skradol N. (2022) *Gossmekh: stalinizm i komicheskoye* [Gossmekh: Stalinism and the comic], Moscow: New Literary Review.
- Ekman P. (1992) An Argument for Basic Emotions. *Cognition and Emotion*, vol. 6, pp. 169–200.
- Ekman P. (2020) *Evolyutsiya emotsiy* [The evolution of emotions] Per. from English. O. Chekchurina, Sankt-Peterburg: Piter.
- Ekman P., Oster H. (1979) Facial Expressions of Emotion. *Annual Review of Psychology*, vol. 30, pp. 527–554.
- Ellefsen R. (2022) Black Lives Matter: The Role of Emotions in Political Engagement. *Sociology*, vol. 56, no 6, pp. 1103–1120.
- Evans J. (2013) Book Review: *Political Emotions: Why Love Matters for Justice by Martha C. Nussbaum*. <https://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2013/12/11/book-review-political-emotions-why-love-matters-for-justice>.
- Firth-Godbecher R. (2022) *Emotsiya: velikolepnaya istoriya chelovechestva* [Emotion: a magnificent history of mankind]. Per. from English. O. Bykova; eds. V. Severtsev, T. Tarasenko, E. Kostina, Moscow: Mann, Ivanov and Ferber.
- Haidt J. (2001) The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment. *Psychological Review*, vol. 108, pp. 814–834.
- Harris S. (2020) *Priglaseniye v sotsiologiyu emotsiy* [An invitation to the sociology of emotions]. Per. from English. O. A. Simonova, Moscow: HSE Publishing House.
- Harvey D. (2018) *Sotsial'naya spravedlivost' i gorod* [Social justice and the city]. Per. from English. E. Yu. Gerasimova, Moscow: New Literary Review.
- Heins V. (2007) Reasons of the Heart: Weber and Arendt on Emotion in Politics. *European Legacy*, no 12, pp. 715–728;
- Hochschild A. R. (2019) *Upravlyayemoye serdtse: kommertsializatsiya chuvstv* [Controlled Heart: The Commercialization of Feelings], Moscow: Publishing house "Delo" RANEPa.
- Illouz E. (2016) *Why Love Hurts. A Sociological Explanation*, Cambridge: Polity Press.
- Illouz E. (2019) *The End of Love: A Sociology of Negative Relations*, New York: Oxford University Press.
- Jasper J. (2011) Emotions and Social Movements: Twenty Years of Theory and Research. *Annual Review of Sociology*, vol. 37, no 1, pp. 285–303.
- Keltner D., Sauter D., Tracy J. L., Wetchle E., Cowen A. (2022) How Emotions, Relationships, and Culture Constitute Each Other: Advances in Social Functionalist Theory. *Cognition and Emotion*, vol. 36, pp. 388–401;
- Lutz C. A. (1988) *Unnatural Emotions: Everyday Sentiments on a Micronesian Atoll and Their Challenge to Western Theory*, Chicago: University of Chicago Press.
- Moors A. (2022) *Demystifying Emotions: A Typology of Theories in Psychology and Philosophy*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Murray D. (2021) *Bezumiye tolpy. Kak mir soshel s uma ot tolerantnosti i popytok ugodit' vsem* [Crowd madness. How the world went crazy with tolerance and trying to please everyone]. Per. from English N. A. Lomteva, Moscow: RIPOL classic.

- Nelson D. (2006) The Virtues of Heartlessness: Mary McCarthy, Hannah Arendt, and the Anesthetics of Empathy. *American Literary History*, vol. 18, no 1, pp. 86–101.
- Nussbaum M. (1999) *Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education*, Cambridge: Harvard University Press;
- Nussbaum M. (2006) *Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Membership*, Cambridge: Harvard University Press.
- Nussbaum M. (2014) *Ne radi pribyli: zachem demokratii nuzhny gumanitarnyye nauki* [Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities] Per. from English. M. Bendet; ed. A. Smirnova, Moscow: Publishing House Higher School of Economics
- Plumper I. (2018) *Istoriya emotsiy* [History of emotions] Per. from English. K. Levinson, Moscow: New Literary Review.
- Rawls J. (2010) *Teoriya spravedlivosti* [Theory of Justice] Per. from English, ed. and with preface. V.V. Tselishchev, Moscow: Publishing house LKI.
- Scott J. (1997) *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*, New Haven: Yale University Press.
- Scott J. (2008) *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*, New Haven: Yale Press.
- Shek G. (2008) *Zavist': Teoriya sotsial'nogo povedeniya* [Envy: A Theory of Social Behavior], Moscow: IRISEN
- Simonova O. A. (2014) Sotsiologiya emotsiy i sotsiologiya morali: moral'nyye emotsii v sovremennom obshchestve [Sociology of emotions and sociology of morality: moral emotions in modern society]. *Sociological Yearbook 2013–2014*. Ed. N. E. Pokrovsky, D.V. Efremenko, Moscow: INION, pp. 148–187.
- Simonova O. A. (2016) Bazovyye printsipy sotsiologii emotsiy [Basic principles of the sociology of emotions] *Bulletin of St. Petersburg University. Series 12: Psychology. Sociology. Pedagogy*, no 4, pp. 12–27.
- Simonova O. A. (2016) Emotsional'nyy povorot v sotsiologii: Razvitiye teorii i otdel'nykh issledovatel'skikh oblastey [Emotional Turn in Sociology: Development of Theory and Individual Research Areas]. *Social and Humanitarian Sciences. Domestic and foreign literature. Series 11: Sociology*, vol. 3, no 3, pp. 105–130.
- Sorokin V. G. (2020) *Russkiye narodnyye poslovitsy i pogovorki* [Russian folk proverbs and sayings], Moscow: Publishing house AST; CORPUS.
- Swidler A. (2001) *Talk of Love: How Culture Matters*, Chicago: University of Chicago Press.
- Trotsuk I. V. (2019) Spravedlivost' v sotsiologicheskom diskurse: semanticheskiye, empiricheskiye, istoricheskiye i kontseptual'nyye poiski [Justice in sociological discourse: semantic, empirical, historical and conceptual searches]. *Russian Sociological Review*, vol. 18, no 1, pp. 218–249.
- Turner J. H., Stets E. J. (2005) *The Sociology of Emotions*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Varden H. (2014) Review: *Political Emotions: Why Love Matters for Justice*. <https://ndpr.nd.edu/reviews/political-emotions-why-love-matters-for-justice>.
- Vilisov V. (2022) *Postlyubov'. Budushcheye chelovecheskikh intimnostey* [Post-love. The future of human intimacy], Moscow: AST.
- Weinberg J. (2021) Emotional Labor and Occupational Wellbeing in Political Office. *British Journal of Politics and International Relations*, vol. 23, no 3, pp. 430–450.
- Wilson E. (2020) *Eusotsial'nost': Lyudi, murav'i, golye zemlekopy i drugiye obshchestvennyye zhivotnyye* [Eusociality: People, ants, naked mole rats and other social animals]. Per. from English. M. Isakova, Moscow: Alpina non-fiction.
- Zorin A. L. (2016) *Poyavleniye geroya: iz istorii russkoy emotsional'noy kul'tury kontsa XVIII — nachala XIX veka* [The Emergence of a Hero: From the History of Russian Emotional Culture of the Late 18th — Early 19th Century], Moscow: New Literary Review.
- Zygmunt A. (2023) In the black window political love piles up [In the black window political love piles up] <https://gorky.media/reviews/v-chernom-okne-gromozditsya-politicheskaya-lyubov/?yclid=lim3ivm401777127385>.

## Angeli et caelum: рождение схоластических полиса и космоса<sup>1</sup>

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: CASAS G. (2022). LA DÉPOLITISATION DU MONDE: ANGÉLOGIE MÉDIÉVALE ET MODERNITÉ. PARIS: LIBRAIRE PHILOSOPHIQUE J. VRIN ET ÉDITIONS DE L'ÉHESS.

*Фёдор Нехаенко*

Стажер-исследователь, Центр фундаментальной социологии, НИУ ВШЭ.  
Адрес: ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр. 1, Москва, 105066, Российская Федерация,  
E-mail: t.a.nnkmail.ru@gmail.com

Средневековая англология представляет собой признанную область исследований, которую ученые сравнивают с «лабораторией»<sup>2</sup> и «мыслительным экспериментом»<sup>3</sup>: в схоластической мысли ангелы превратились в идеальный и лишенный множества догматических характеристик предлог для обсуждения абстрактных проблем, будь то язык, перемещение в пространстве или познание идеальных субъектов. Тем не менее волна чисто философских исследований затмила другую проблему — политическое и, шире, антропологическое измерение англологии. Если открыть оглавления двух самых цитируемых англоязычных сборников по ангелам<sup>4</sup>, то читатель найдет только две главы из 22, посвященные политическим импликациям ангельской иерархии. Одна из них принадлежит Сильвену Пирону, ведущему специалисту по Петру Оливи, и научному руководителю (вместе с медиевистом Тобиасом Хоффманном) диссертации Жислена Касаса, предмета моей рецензии.

Естественно, французская медиевистика всегда была более заинтересована в условиях человеческого мышления и прикладных проблемах, чем немецкая или английская. Более того, Касас и Пирон состоят в «Groupe d'Anthropologie Scolastique», основанной Аланом Буро с целью изучения «схоластической эпистемы»<sup>5</sup>, в рамках которой схоластика становится неотъемлемым аналитическим основанием для представлений о средневековом человеке, обществе и государстве. Столь

1. Публикация подготовлена в рамках исследовательского проекта «Стратегии нормализации повседневности в чрезвычайных ситуациях: инерция аффекта и открытость вызовам» Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ в 2023 году в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

2. Suarez-Nani T. (2018). Space and Movement in Medieval Thought: The Angelological Shift // Space, Imagination and the Cosmos from Antiquity to the Early Modern Period / F. Bakker, D. Bellis, C. Palmerino (eds). Berlin: Springer. P. 86.

3. Perler D. (2008). Thought Experiments: The Methodological Function of Angels in Late Medieval Epistemology // Angels in Medieval Philosophical Inquiry: Their Function and Significance / M. Lenz, I. Iribarren (eds). London: Routledge. P. 143–144.

4. Lenz M., Iribarren I. (eds) (2008). Angels in Medieval Philosophical Inquiry: Their Function and Significance. London: Routledge; Hoffmann T. (ed.). (2012). A Companion to Angels in Medieval Philosophy. Leiden: Brill.

5. Boureau A. (2007). L'Empire du livre: Pour une histoire du savoir scolastique (1200–1380). Paris: Les Belles Lettres. P. 169.

краткий историографический этюд — это вынужденная мера для того, чтобы заранее определить ряд формальных и структурных решений, принятых Касасом. Не только тема, вынесенная в название, отражает новую<sup>6</sup> попытку отказаться от дискретности истории, дабы найти основание современных представлений о политике и науке в лесах схоластики, но и методология легко определяется той средой, в которой диссертация была подготовлена.

Монография открывается ссылками на К. Шмитта, Э. Петерсона, Дж. Агамбена и М. Фуко, формирующего методологическое ядро книги. Питерсон и Агамбен цитируются, чтобы подчеркнуть утверждение Касаса о политическом измерении ангелологии (р. 13–14), а «политическая теология» Шмитта превращается в средневековую «политизацию теологии» (р. 20, 22). Развивая незаконченный проект Фуко о пасторской власти (*pastorat*), объединявшей политику и природу в один универсум (*continuum théologico-cosmologique*)<sup>7</sup>, Касас утверждает, что ключевой разрыв между полисом и космосом произошел именно в Средневековье благодаря переосмыслению статуса ангельской иерархии (р. 9–10, 17). Работы Фуко давно использовались французскими историками в качестве методологического инструмента<sup>8</sup>, но Касас идет дальше, позволяя «Безопасности, территории, населению» определять вектор собственного исследования, что ограничивает возможности для рассмотрения материала, который может не соответствовать гипотезе, основание которой составляет фукольдиданский ограниченный и обзорный анализ пасторской власти в Средние века. Зависимость от Фуко могла предопределить как исключение некоторых источников, не соответствующих гипотезе Касаса, так и абстрактное завершение книги, выходящее за пределы «современности», о чем мы поговорим ниже.

Неотъемлемой заслугой автора является последовательная внешняя организация текста: чтобы доказать автономизацию политики и науки, Касас посвящает две части работы «деполитизации космоса» и «политизации ангелов». Первая часть проливает свет на отказ от концепции ангелов-двигателей небесных сфер в пользу теории естественного движения за счет *impetus*<sup>9</sup>, открывающего дорогу современной физике (р. 27–28), а вторая описывает концептуализацию светской бюрократической системы на основе ангельской иерархии (р. 29). Хотя двухчастная структура прекрасно соответствует амбициозной гипотезе, но реализация столь сложного проекта далека от идеальной. Тогда как в первых трех главах Касас последовательно анализирует три разных ответа Альберта Великого, Фомы Ак-

---

6. Буро назвал временной промежуток, идентичный исследованию Касаса, «историей мечты о государстве» (*l'histoire du rêve de l'État*). См.: Boureau A. (2006). *La Religion de l'Etat: La construction de la République étatique dans le discours théologique de l'Occident médiéval (1250–1350)*. Paris: Les Belles Lettres. P. 16.

7. Foucault M. (2004). *Sécurité, territoire, population*. Cours au Collège de France, 1977–1978 / F. Ewald, A. Fontana, M. Senellart (eds). Paris: Gallimard/Le Seuil. P. 239.

8. Недавно вышел целый сборник, посвященный отношению историков к Фуко (*Boquet D., Dufal B., Labey P. (eds) (2013). Une histoire au présent. Les historiens et Michel Foucault*. Paris: CNRS).

9. Толчок, импульс.

винского и Роберта Килвардби на вопрос от собрата-доминиканца о том, являются ли ангелы двигателями небесных сфер, вторая часть представляет собой сборник разных этюдов о концепте иерархии и французской политической теологии, которые не связаны ни хронологически, ни содержательно, а источники в последней главе вновь поднимают проблему ангелов-двигателей (р. 281–289), уже решенную в первой части. Более того, три последние главы не формируют единого тезиса о политизации светской иерархии. Таким образом, монография распадается на части, имеющие самостоятельную ценность, но подтверждение исходной гипотезы требует дополнительной работы.

В целом эта проблема характерна для столь масштабных проектов, хронология которых затрагивает одновременно Античность, Средневековье и Новое время. За амбициозность и претенциозность авторам приходится платить убедительностью и детальностью рассмотрения нюансов проблемы. Несмотря на это, я считаю, что в первой части Касас столь виртуозно справился с поставленной задачей, что даже читатель, далекий от схоластики, прочтет ее с интересом.

Сама идея рассмотреть разные ответы трех доминиканцев на один и тот же вопрос позволяет обнаружить возможные решения, а также проследить эволюцию каждой позиции на примере учеников и последователей (р. 33). Исходя из жесткой демаркации между теологией и философией, Альберт полагает, что существуют два независимых порядка рассмотрения проблемы, представленные Дионисием Ареопагитом и Авиценной (р. 39, 43). Наделенные свободой ангелы отличаются от двигателей небесных сфер, которые образуют цепь природных причин, необходимо эманулирующих (*fluxus*) из первой причины, а та осуществляет управление миром (*regimen* или *gubernatio mundi*) (р. 57, 62, 67) так, что в ней соединяются политическое руководство и метафизическое творение (р. 67, 76). Дитрих Фрайбергский и Бертольд из Мосбурга, последователи немецкого богослова, развивают последнюю дистинкцию, отделив природный детерминизм небесного движения от ангельского волюнтаризма и божественных чудес (р. 83–84, 89, 92). Их целью все же остается защита и автономизация перипатетической философии в рамках христианской теологии (р. 93–94).

Фома противоречит своему учителю, а также братьям-доминиканцам, рассматривая ангелов-двигателей небесных сфер в теологическом дискурсе (р. 97, 99, 108). Ангелы являются бестелесными медиаторами всего природного движения, воздействуя на сферы посредством нефизической и лишенной количественного измерения силы (*contactum virtutis*) (р. 103–105, 111). Они осуществляют власть (*imperium*) над телами таким образом, что порядки (*ordines*) провидения и природы, которые Альберт намеренно различает, совпадают в движении-властвовании (р. 112–114). Как и многие другие аспекты томистской ангелологии, концепция ангелов-двигателей небесных сфер была осуждена в Париже в 1277 году (р. 115, 120).

Среди поборников Фомы Гервей Наталис и Годфри из Фонтейна подчеркивают свободу воли ангелов, движущих сферы (р. 122, 124–125), а Ричард из Медиявилла предвосхищает финальную позицию Роберта Килвардби, отказавшегося



от гипотезы двигателей (р. 131). Согласно Ричарду, ангелы обеспечивают циркуляцию сфер с помощью форм, которые они извлекают из потенции неба к движению, следовательно, физическое основание движения планет заложено в самих телах, а не во внешней силе (р. 127–129). Завершает экспозицию эволюции томизма Франциск из Марки. Два последних «последователя» Фомы принадлежат к ордену францисканцев, враждовавшему с доминиканцами<sup>10</sup>. И если Ричард был самым лояльным из миноритов к ангельскому доктору, то Франциск вел критическую дискуссию в основном с собратьями Дунсом Скотом, Петром Ауреолом и Уильямом Оккамом<sup>11</sup>.

Касас не приводит аргументов, подтверждающих связь или хотя бы преемственность между философами из конфликтующих нищенствующих орденов с разными взглядами. Тем не менее Франциск утверждает, что благодаря *virtus derelicta*<sup>12</sup> пассивные небеса продолжают движение по инерции даже после того, как ангелы прекращают на них воздействовать (р. 131–135, 138). В то время как все авторы пытаются сохранить после 1277 года теорию ангелов-двигателей, Касас заключает, что ангелы постепенно теряют свои власть и значение в космосе, превращаясь во внешнюю и вторичную причину движения (р. 139–140).

Касас демонстрирует, что логическим завершением идей Ричарда и Франциска станет концепция магистра искусств Жана Буридана (р. 131), но в третьей главе показывает альтернативную логику «деполитизации мира». Остается открытым вопросом, какая из этих схем сделала возможной концепцию Буридана. Причем за всю монографию не упомянуты ни Уильям Оккам, ни Фома Брэдвардин, оказавшие влияние на Буридана<sup>13</sup>. Касас не учитывает эти проблемы, как и исторические обстоятельства существования и развития мендикантской схоластики. Он абстрагирует идеи и концепты из исторической реальности так, что вопрос преемственности и влияния становится вторичным.

Согласно Касасу, Роберт Килвардби, разрушая перипатетическую границу между подлунным и надлунным мирами, полагает, что причиной небесного движения является вес планет (р. 144, 147). Доминиканец легитимирует физическое исследование космоса, невозможное для аристотелевской физики, заключенной в рамки подлунного мира (р. 158–160, 163). Жан Буридан же объясняет небесное движение с помощью концепции импетуса, который в качестве *vis impressa*<sup>14</sup> Бог вкладывает в сферы при творении (р. 167, 169, 171). Поправляя своего учителя, Николай Орем определяет импетус как причину ускорения движения, ограничен-

10. См.: *Rovighi S. V.* (1952). LA CONTROVERSIA SULLA PLURALITA' DELLE FORME NEL SECOLO XIII // *Rivista di Filosofia Neo-Scolastica*. Vol. 44. No. 3. P. 246, 250.

11. См.: *Friedman R. L., Schabel C.* (2001). Francis of Marchia's Commentary on the Sentences: Question List and State of Research // *Mediaeval Studies*. Vol. 63. P. 35–37; *Lambertini R.* (2006). Francis of Marchia and William of Ockham: Fragments from a Dialogue // *Vivarium*. Vol. 44. № 1. P. 184–185.

12. Оставшаяся сила.

13. См.: *Goddu A.* (1984). *The Physics of William of Ockham*. Leiden: Brill. P. 228–232; *Read S.* (2002). *The Liar Paradox from John Buridan back to Thomas Bradwardine* // *Vivarium*. Vol. 40. № 2. P. 189–190.

14. Запечатленная сила.

ную во времени и равную пропорции между мощностью толчка со стороны Бога или интеллигенции (французский епископ сохраняет обе возможности) и силой сопротивления гравитации (р. 173, 177, 178). В итоге ангелы-двигатели сохраняют гипотетический статус, но одновременно становятся бесполезными (*inutile*), освобождая место для автономного и физического исследования космоса (р. 180–181).

Вторая часть монографии разделена на три главы, раскрывающие эволюцию термина «иєрарχία», применение ангельской иерархии к феодальному порядку и окончательное отделение полиса от космоса. В отличие от первой, вторая часть не обладает ни последовательной хронологией, ни конкретным кейсом, который мог бы удержать внимание читателя. Касас спокойно перемещается из XIII века в IX без подробного объяснения связи между авторами различных эпох, а три главы не образуют единого аргумента. Средневековая интеллектуальная культура *grosso modo* лишена представления об аутентичности и новизне, поэтому читателя может удивить скрупулезное изучение в первой главе незаметных изменений, которые схоласты постепенно внедряли в дионисийское определение иерархии, состоящее из божественных уподобления (*ἐνέργεια*), мысли (*ἐπιστήμη*) и порядка (*τάξις*) (р. 185–186).

Латинские авторы со времен первого перевода Хилдуина транслитерировали неологизм Дионисия (*hierarchia*) и разбили его на две части *sacer* (*ιερός*) и *principatus* (*ἀρχή*), чтобы прояснить значение термина (р. 197–198). Второй переводчик Дионисия на латынь Скот Эриугена подчеркивает связь иерархии с духовенством (*sacerdotium*) (р. 199), а Анастасий Библиотекарь — редактор и корректор перевода Эриугены — политизируя концепт иерархии, переводит греческое «μυστήριον» как «*ministerium*» вместо «*sacramentum*», распространяя исходное греческое слово «таинство» на различные ранги, должности и функции клириков и ангелов (р. 199–201). Гуго Сен-Викторский продолжает экспансию иерархии за пределы мира ангелов и утверждает, что Бог распределяет власть (*imperium*) между всеми тварями, а те приобщаются к божественному правлению благодаря благодати (р. 203–206). В начале XIII века Алан Лилльский добавляет рациональное, легитимное и сакральное измерения иерархии: по мнению Касаса, второй элемент исключает возможность демонической антииерархии (р. 211–212, 233). Тем не менее Касас не учитывает, что Алан описывает псевдоиерархию демонов, исполняющую функции, обратные ангельской иерархии, в том числе распространение ересей. Это не только фактическая ошибка, но и значительная проблема для полноты авторской гипотезы, поскольку данный концепт вскрывает обратную сторону аргументации Касаса, допускающей исключительно сакральное значение иерархии, которое затем будет перенесено на светское квазигосударство.

Игнорируя связь сфер, иерархии и демонов в сочинениях Гийома Овернского и Геррика из Сен-Кантена<sup>15</sup>, Касас упрощает политическую теологию XIII века,

15. Французский исследователь заинтересован только в добрых ангелах, а демоны, то есть падшие и лишенные благодати ангелы, оказываются исключенными из рассмотрения по умолчанию. Мы же имеем свидетельства, демонстрирующие связь демонов и космологии в схоластическом мышлении.

увлеченную поиском «врага» (еретика, мага или демона) и конструирующую антиидентичность. Цитируя множество источников после Алана, включающих Филиппа Канцлера<sup>16</sup>, Бонавентуру, Альберта Великого, Касас демонстрирует постепенную интеграцию действия в представление об иерархии (р. 227). Альберт завершает развитие институционального измерения иерархии, в которое включены как деятельность, так и знание ангелов (р. 229–230, 234–238), а для Фомы иерархия воплощает божественное провидение, которое может быть реализовано исключительно в практике управления (*gubernatio*) (р. 243–245).

Следующая глава разрывает хронологию первой, моментально сменяя один век за другим и отправляя нас назад в XI век к описанной Жоржем Дюби трехчленной иерархии общества Адальберона и Герарда (р. 249). Ни один из двух теологов не цитирует эксплицитно определение иерархии Дионисия (р. 254), поэтому Касас переходит к открытой учеником Дюби Осерской школе, где в IX веке была утверждена иерархическая модель посредничества клира между ангельской и светской иерархиями (р. 255–257). В повествовании Касаса за IX веком следует XIII: Фома объединяет феодальную и дионисийскую иерархии в теории управления (*gubernatio*) различными порядками (*ordines*), должностями (*officia*) и действиями (*actus*) (р. 258–260), а Гийом Овернский описывает первую параллельную классификацию ангельских чинов и королевских сословий (р. 267–269). Гийом не пытается воспроизвести подлинную иерархию французский монархии, но стремится отразить процесс постепенного формирования государственной бюрократии Капетингов, выражая связь небесной и земной монархий (р. 273–278). Через 40 лет Иоанн Пеккам, автор французского неологизма «*gerarchie*», совершит обратный ход и объяснит ангельские чины с помощью терминологии, заимствованной из светской бюрократической иерархии, тем самым «политизируя» ангелологию (р. 279–283).

В последней главе медиевист возвращается к вопросу о роли ангелов в тексте Гийома Овернского, чем окончательно нарушает линейность повествования. Сохраняя неоплатоническую идею, согласно которой у каждой планеты есть своя душа, ответственная за ее движение, Гийом освобождает ангельскую иерархию от космического детерминизма: в отличие от душ и сфер, ангелы не ответственны за движение небес, но осуществляют управление миром (*gubernatio*) (р. 288–293, 295). Движение сфер и управление миром разделяются как космология и политика, поэтому астрологическое представление о детерминации жизни в подлунном мире небесными сферами и душами заслуживает, согласно Гийому, осуждения (р. 294). Финальный источник Касаса — Эгидий Римский — объединяет идеи Гийома и Фомы: он включает людей и земную монархию в ангельскую иерархию и утверждает, что ангелы политически участвуют в движении сфер, командуя ими

---

16. Касас считает, что вклад Филиппа состоит в добавлении термина «*debitum*» и отрицании демонического порядка в рамках дионисийского определения иерархии (р. 222, 233), однако текст Филиппа подозрительно похож на до сих пор не транскрибированный манускрипт комментария на «Сентенции» Гуго Сен-Шерского (Vat. lat. 1098. II.9. F. 52v).

и актуализируя потенцию к движению без прямого соприкосновения (р. 299, 301, 304–306).

Заключение только усиливает впечатление формального различия между последовательностью первой части и сложностью второго раздела: в рамках «longue durée» Касас переходит к краткому анализу представлений о трехчленной иерархии К. Луазо и космических сферах И. Кеплера, дабы поставить акцент на преемственности Средних веков и Ренессанса (р. 309–312), а затем завершает исследование небольшой ремаркой о «post-modernité» (р. 314–317). Автор все же не доказывает связь трех эпох и не демонстрирует соединение в единый комплекс деполитизированного космоса и политизированной иерархии.

Предыдущие критические ремарки затрагивали внутреннюю логику и последовательность текста, но для меня рецензия — это повод вступить с автором в содержательный диалог за пределами пересказа книги и обсуждения формальных аспектов работы. Поэтому в финальной части рецензии я сформулирую две проблемы, которые, на мой взгляд, не позволяют считать гипотезу Касаса полностью доказанной и требуют дальнейшего изучения. Во-первых, если вторая часть монографии имеет неоспоримое основание, к которому автор постоянно возвращается, несмотря на отсутствие линейности повествования — *Corpus Areopagiticum*, то первая часть лишена фундамента. Существовала ли теория, доказывающая идентификацию ангелов и двигателей? Касас оставляет только намеки на еврейских и арабских перипатетиков (р. 34, 44), но не анализирует латинскую рецепцию их теории или западных предшественников трех доминиканцев, с которыми они могли бы полемизировать, однако без объекта критики невозможно оценить вклад собратьев в «деполитизацию». Показательно, что во второй части Касас выстроил долгий исторический экскурс, ведущий к концепции иерархии Фомы, но в первом разделе теория Фомы возникает *ex nihilo*<sup>17</sup>. Из-за этого в истории, сконструированной Касасом, теряет значение революционность Фомы, который отказался от душ, «анимирующих» сферы, заменил их внешней причиной, то есть силой (*virtus*) воздействия ангелов, и, как следствие, совершил важный шаг на пути научного прогресса и естественного объяснения небесного движения<sup>18</sup>.

Более того, если для Авиценны или Аверроэса столь важный в книге Касаса вопрос идентификации библейских ангелов и философских интеллигенций не мог быть поставлен по религиозным причинам<sup>19</sup>, то минимальный анализ латинской

17. Вместе с тем Фома имел предшественника из Ордена проповедников в лице Ричарда Фишакра, который в комментарии на «Сентенции» (са. 1245) предвосхитил и потенциально вдохновил развитие теории ангелов-двигателей Фомы, Гервея и Годффри.

18. *Mottoni B. F., Suarez-Nani T.* (2002). Hiérarchies, miracles et fonction cosmologique des anges au XIIIe siècle // *Mélanges de l'école française de Rome*. Vol. 114. № 2. P. 751. Касас ограничивается ссылкой на статью о «деанимации небес» Р. Дейлса (р. 176), но нигде не обсуждает новизну томистского подхода в истории Средних веков.

19. Хотя, конечно, оба философа отождествляли ангелов, интеллигенции и сферы (см.: *Suarez-Nani T.* (2006). Individualität und Subjektivität der Engel im 13h. Jahrhundert: Thomas von Aquin, Heinrich von Gent und Petrus Johannis Olivi // *Das Mittelalter*. Vol. 11. № 1. S. 30), сам Маймонид интегрировал представление об интеллигенциях Аль-Фараби и Авиценны в христианскую ангелологию, что только уси-

рецепции «Путеводителя растерянных»<sup>20</sup> Маймонида эксплицирует те контр-аргументы, которые так подробно описывает Касас в первой части. Игнорируя иудейского философа, как и более широкое значение той мощи, с которой средневековые переводы с арабского и иврита влияли на западную культуру, мы потенциально упускаем контекст, в котором христианские богословы вынуждены были искать альтернативные объяснения небесного движения.

Маймонид заявляет, что различие между интеллигенцией Аристотеля (*intellegentia*) и христианским ангелом (*angelus*) является номинальным (*in nomine*), поскольку они выполняют работу и двигателя (*motor*), и посланника (*nuncius*)<sup>21</sup>. С одной стороны, ангелы воплощают все силы (*virtutes*), включая телесные (*virtus in corpus*), поэтому Маймонид называет их также формами (*forma*), дарителем форм (*dator formarum*) и душами сфер (*anima*)<sup>22</sup>. С другой стороны, Маймонид политически трактует Танах, рассуждая о способе властвования (*potestatis modus*) и должностях (*officia*) ангелов<sup>23</sup>. В то же время андалусский философ ставит под сомнение доказательность (*demonstratio*) астрономии (*scientia firmamenti*), поскольку Бог актом свободной воли может умножить количество интеллигенций и управляемых ими звезд<sup>24</sup>. Текст Маймонида преследует, как призрак, книгу Касаса, так как на нескольких страницах иудейский экзергет соединяет перипатетизм и Священное Писание так, что ангелы приобретают два ряда параллельных функций. Латинский перевод «Путеводителя» выражает комплекс проблем, в рамках которого предопределяет как позицию сторонников анимации планет, так и тех, кто вслед за Фомой будет защищать концепцию внешних движущих сил со стороны ангелов-моторов. На основании собственной теории ангелов-интеллигенций Маймонид формулирует даже неточность перипатетической астрономии, которую Касас обсуждает, разбирая сочинения Роберта Килвардби (р. 155–160). Однако это лишь предварительная гипотеза, требующая детального анализа рецепции Маймонида среди источников Касаса и подчеркивающая значение, которое приобретает поиск исторического основания любой теоретической критики.

Далее, поскольку французский медиевист нигде не описывает подробно ограничения исследования и методологию, невозможно избежать вопросов, ка-

---

лишает его значение для монографии Касаса (Zonta M. (2011). Maimonide e gli angeli // Angeli: Ebraismo Cristianesimo Islam (La quarta prosa) / G. Agamben, E. Coccia (ed.). Vicenza: Neri Pozza. P. 365).

20. Трактат был написан на арабском, затем переведен на иврит, а с иврита на латынь: латинский фрагмент третьей книги под названием «*Liber de parabola*» был подготовлен еще в 1220-е года, а первые упоминания «Путеводителя» принадлежат Роланду Кременскому и Гийому Овернскому в начале 1230-х годов (см.: Schwartz Y. (2019). Persecution and the Art of Translation: Some New Evidence Concerning the Latin Translation of Maimonides' Guide of the Perplexed // *Revue des Études Hébraïques et Juives*. Vol. 22. P. 52–53). К сожалению, в настоящий момент критически издана только первая из трех частей полного латинского перевода «*Dux neutrorum*» (см.: *Moses Maimonides* (2019). *Dux Neutorum Vel Dubiorum*, Pars I / D. Di Segni (ed.). Leuven: Peeters), поэтому для дальнейшего разбора второй части я буду использовать средневековый манускрипт из Ватикана.

21. Vat. lat. 1124. II.7. F. 48r.

22. Ibid. II.5. F. 46v, 48v.

23. Ibid. II.6. F. 47v, 48v.

24. Ibid. II.12. F. 50r.

сающихся игнорирования альтернативных линий интеллектуальной истории. Воссозданная Касасом эволюция теории импетуса формирует иллюзию, что единственным источником переворота в схоластической физике стал постепенный отказ от концепции ангелов-двигателей Аквината в сочинениях Роберта Килвардби, Ричарда из Медиавилла, Франциска из Марки и Жана Буридана. Тем не менее Касас не упоминает важнейшего христианского перипатетика и предшественника схоластической физики Иоанна Филопона, создавшего первый вариант теории импетуса и еще в VI веке отрицавшего гипотезу ангелов-двигателей. Критикуя распространенное в греческой патристике объяснение движения каждой небесной сферы (ἀστέρων ἕκαστων) посредством ангелов (ἄγγελοι κινούσιν), Иоанн отвергает догматически и теоретически гипотезу, сводящую ангелов к «подобию тягловых животных» (ύλοζυγίων δίκην). Философ полагает излишним принудительное (μη βία; φθορᾶς αἰτίαν) ангельское движение и утверждает, что Бог при творении вкладывает силу движения во все тела (θεὸς κινήτικὴν ἐνθεΐναι δύναμιν), включая планеты, а обратному тезису невозможно найти подтверждения в Священном Писании<sup>25</sup>. Натурализм Филопона мог достичь латинского Запада либо непосредственно благодаря парафразу Авиценны его главным критиком Аль-Газали<sup>26</sup>, переведенным на латынь и получившим ложную репутацию последователя Авиценны<sup>27</sup>, либо опосредованно через латинский перевод «*De motibus celorum*» аль-Битруджи<sup>28</sup>.

Концепция естественного движения развивалась благодаря, а не вопреки греческой и арабской науке. Если принимать во внимание теорию Филопона, то теряет значение вклад Фомы и Ричарда, так как импетус становится элементом рецепции, а не внутреннего развития схоластики. Кроме того, теория импетуса поддерживалась одними и теми же мыслителями (Ибн Синой, аль-Газали), которые были ответственны за распространение представлений об ангелах-двигателях<sup>29</sup>. Даже краткое рассмотрение истоков становления импетуса ставит под вопрос связь доминиканцев с идеями францисканцев и магистров искусств, которым была посвящена первая часть книги, а фигура Петра Оливи, вынесенная в маленькую сноску о «деиерархизации платонической иерархии» (р. 194–195), ответственна за слепое пятно экспозиции и физического импетуса, и ангельской иерархии.

25. *Ioannes Philoponus* (1897). *Joannis Philoponi De officio mundi libri VII/G*. Reichardt (ed.). Lipsia: Bibliotheca Teubneriana. P. 28–29.

26. *Zimmermann F.* (2010). *Philoponus' Impetus Theory in the Arabic Tradition // Philoponus and the Rejection of Aristotelian Science / R. Sorabji* (ed.). Ithaca: Cornell University Press. P. 169.

27. *Minnema A. H.* (2013). *The Latin Readers of Algazel, 1150–1600*. PhD Thesis. Knoxville: University of Tennessee. P. 132, 151, 153.

28. *Dales R. C.* (1980). *The De-Animation of the Heavens in the Middle Ages // Journal of the History of Ideas*. Vol. 41. № 4. P. 538–539; *Hentschel K.* (2009). *Zur Begriffs- und Problemgeschichte von «Impetus» // Das Wagnis des Neuen. Kontexte und Restriktionen der Wissenschaft / H. R. Yousefi* (ed.). Bautz: Nordhausen. S. 496–497.

29. *Davidson A. H.* (1992). *Alfarabi, Avicenna, and Averroes, on Intellect: Their Cosmologies, Theories of the Active Intellect, and Theories of Human Intellect*. Oxford: Oxford University Press. P. 121, 133–134.



Схожим образом Касас рассматривает теории только трех защитников Фомы после осуждения 1277 года (Эгидия Римского, Ричарда из Медиавилла и Годфри из Фонтейна), но игнорирует Иоанна Парижского, чьи взгляды нарушают последовательность исторического нарратива второй части рецензируемой монографии, поскольку парижский богослов исключал возможность аналогии между небесной, церковной и светской иерархиями, развивая идеи ангельского доктора<sup>30</sup>. На мой взгляд, тексты, выходящие за пределы исходной гипотезы, становятся наиболее полезными источниками рефлексии, а демаркация строгих ограничений исследования и детальные сноски исключили бы подобные контраргументы, иллюстрирующие вариативность интеллектуальной истории.

Мои замечания не способны умалить значение и масштаб диссертации. Касас поставил перед собой огромную задачу и, возможно, заново открыл путь для исследований влияния ангелологии на средневековые науку и политику, хотя многолетняя «*Le système du monde*» П. Дюхема, первопроходца в изучении средневековой науки и главного оппонента Касаса, начала издаваться более ста лет назад. Естественно, масштаб замысла и разнообразие материала оставляют многое за скобками, а также заведомо исключают возможность охватить все ответвления средневековой философии, затрагивающие проблематику книги. На мой взгляд, ключевая ошибка Касаса состоит в том, что он не смог ясно и отчетливо выстроить внутреннюю структуру и рамки исследования. Невзирая на критический тон моей рефлексии, я верю, что прекрасная и заслуживающая внимания диссертация Касаса найдет не только своего читателя, но и отклик в сердцах исследователей.

## Angeli et Caelum: the Birth of Polis and Cosmos in Medieval Scholastics

Review of the book: Casas G. (2022) *La dépolitisation du monde: Angéologie médiévale et modernité*, Paris: Libraire philosophique J. VRIN et Éditions de l'EHESS.

*Fedor V. Nekhaenko*

Research assistant, Centre for Fundamental Sociology, NRU HSE

Address: 21/4 Staraya Basmannaya Ulitsa, Building 1, Moscow, Russian Federation, 105066

E-mail: t.a.nnkmail.ru@gmail.com

---

30. *Luscombe D.E.* (1988). Thomas Aquinas and Conceptions of Hierarchy in the Thirteenth Century// Thomas von Aquin Werk und Wirkung im Licht neuerer Forschungen / A. Zimmermann (ed.). Berlin: De Gruyter. P. 276–277.

## Цензура и цензоры в русском литературном процессе второй половины 1850–1860-х годов<sup>1</sup>

РЕЦЕНЗИЯ НА: *Зубков К. (2023). Просвещать и карать: Функции цензуры в Российской империи середины XIX века. М.: Новое литературное обозрение. — 520 с. (Серия: «Научное приложение», вып. CCL). ISBN 978-5-4448-1956-2*

*Андрей Тесля*

Кандидат философских наук, (1) старший научный сотрудник Института истории Санкт-Петербургского государственного университета; (2) старший научный сотрудник, научный руководитель Центра исследований русской мысли Института образования и гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Адрес: (1) Менделеевская линия, 5, Санкт-Петербург, 199034; (2) ул. Чернышевского, 56, г. Калининград, 236016, Российская Федерация  
E-mail: mestr81@gmail.com

Новая работа Кирилла Зубкова посвящена конкретно-историческому рассмотрению переплетения литературы и цензуры в России в середине XIX века, в основном фокусируясь на 1850–1860-х годах и двух фигурах — Гончарова и Островского<sup>2</sup>. Выбор этих двух имен более чем обоснован. В случае Гончарова в центре оказываются вопросы, связанные с совмещением положения литератора и цензора, в случае Островского для исследователя открываются сюжеты, пребывающие несколько на периферии осмысления, а именно специфики театральной цензуры, различия центра и периферии, заметного увеличения числа субъектов, которые влияют на восприятие и осмысление театрального произведения — актеров, декораторов, театральных афиш и т. д. Важно и то обстоятельство, что фактически между образованным обществом, литературными кругами и чиновничеством среднего и высокого уровня в середине XIX века не получится провести границы, это во многом если и не одни и те же люди, то люди одного круга<sup>3</sup>. Это обусловлено в том числе и тем обстоятельством, что возможности частной службы для

1. Работа выполнена в рамках гранта № 19-18-00073 «Национальная идентичность в имперской политике памяти: история Великого княжества Литовского и Польшо-Литовского государства в историографии и общественной мысли XIX–XX вв.» Российского научного фонда.

2. Работа отчасти продолжает сюжеты, ранее рассмотренные автором в исследовании эволюции русской драматургии 1850–1870-х годов через призму истории Уваровской премии. См.: *Зубков К. (2021). Сценарии перемен: Уваровская награда и эволюция русской драматургии в эпоху Александра II. М.: Новое литературное обозрение.*

3. Показателен в этом отношении дневник Валуева времен его пребывания в должности министра внутренних дел — множество суждений и реакций, фиксируемых в дневнике, легко представить в текстах современника со сходным образованием и достатком, не находящимся на государственной службе, что и закономерно, поскольку он остается частью одной и той же среды. Примечателен контраст с отстоящим на два десятилетия дневником государственного секретаря Половцова — где позиция будет во многом определять характер суждений. Впрочем, не стоит утрировать различие во времени — во многом разница связана с индивидуальностью персонажей: так, за два десятилетия до Валуева дневник Корфа носит отчетливо-чиновнический характер, летопись его служения в качестве государственного секретаря.

лиц образованного общества в 1840-е и даже в 1850-е при условии сохранения статуса практически отсутствуют. Идеиное размежевание «власти» и «общества» происходит с 1860-х годов — за счет возрастания публичной сферы, в свою очередь связанной с новыми формами деятельности, которые возникнут за пределами обычной триады предшествующих десятилетий: военная служба, гражданская и помещичьи частные дела, соединенные с той или иной службой «по выборам» (уездного и губернского дворянства).

Если, как отмечает, в частности, К. А. Соловьёв, характеризуя высшую бюрократию Империи последних десятилетий XIX — начала XX века, мировоззрение ее типичных членов не может быть противопоставлено верхам образованного общества, вроде профессуры или адвокатуры — ведь они являются такими же читателями «Вестника Европы», обсуждают не просто те же сюжеты, а тем же образом — то их позиция во власти радикально меняет характер публичных высказываний<sup>4</sup>. Этого различия не получится провести применительно к началу 1850-х годов — за исключением совсем небольшой литературной среды. Выбранный период в первую очередь интересен тем, что в это время отношения между литературой и цензурой претерпевают быструю трансформацию — если в начале 1830-х годов для литератора положение цензора не представляло какой-либо принципиальной проблемы (как, например, для С. Т. Аксакова), то к концу 1860-х отношения литературы и цензуры представляются антагонистическими — и осмысление цензуры и цензурного ведомства почти исключительно как препятствия будет оставаться неизменным вплоть до конца Империи<sup>5</sup>.

Основные положения рецензируемой работы можно свести к следующим:

(1) Цензура исторически оказывает не только негативное (в запретительном смысле) воздействие на литературу, она и побуждает, стимулирует появление тех или иных конкретных произведений и их комплексов, и имеет еще более широкий эффект — учет ее существования авторами и другими участниками литературного процесса. При этом они обладают разной степенью осведомленности, понимания устройства цензуры в конкретный момент времени и направлений цензурной политики, поэтому их «учет» цензуры зачастую оказывается далеко не тождественным самой цензуре.

(2) На протяжении первой половины XIX века цензура легитимна в глазах практически всех участников литературного процесса. Ее необходимость не ста-

---

4. Соловьёв К. А. (2018). Политическая система Российской империи в 1881–1905 гг.: проблема законотворчества. М.: Политическая энциклопедия.

5. Отметим попутно, что для самих деятелей цензурного ведомства будет характерно регулярное возвращение мыслями к предшествующему положению вещей, устремление переопределить положение цензуры по отношению к литературе в позитивном плане. Особенно показателен период, когда Главное управление по делам печати МВД возглавлял М. П. Соловьёв — см., напр., переписку М. П. Соловьёва с В. В. Розановым (*Ломоносов А. В.* (2021). В. В. Розанов: ближние и дальние. Переписка В. В. Розанова: исследования и материалы. М.: Пашков дом. С. 276–319) или любопытные зарисовки бесед с Соловьёвым В. Г. Короленко, сохраненные последним в дневнике (*Короленко В. Г.* (1928). Дневник. 1898–1903 // Полное собрание сочинений: Посмертное издание. Дневник. Т. IV. Полтава: Государственное издательство Украины: по указателю).

вится под сомнение, дискуссия идет почти исключительно о конкретных формах, степени жесткости и чувствительности к тем или иным темам и сюжетам, формам ответственности разных участников (в том числе ответственности цензоров). Перелом в отношениях приходится на 1860-е годы, после кратковременного периода взаимных надежд на «сердечное согласие» власти и образованного общества на пути к переустройству страны.

(3) Политическая роль цензуры оказывается, по меньшей мере, двойственной: «с одной стороны, цензоры действительно пытались ограничить писателей, заставляя их не писать на актуальные темы или писать лишь в том духе, который был выгоден правительству. С другой стороны, в силу этих ограничений любое высказывание писателя должно было пройти через цензуру и быть или одобрено, или запрещено — это уже само по себе включало любое произведение в орбиту политических вопросов. Стремясь деполитизировать литературу, цензоры ее политизировали» (с. 16).

(4) Восприятие «свободы» или «ограничений» оказывается определяемым фокусом внимания — так, говоря о публичной свободе в Англии, самые разные участники обсуждения оказываются нечувствительными к театральной цензуре (которая сохранится вплоть до второй половины XX века), поскольку театр будет связан с воздействием на широкую публику, далеко выходящую за круги образованного общества — и, с точки зрения последнего, не могущую быть оставленной без тех или иных форм контроля за потенциально опасными высказываниями и представлениями, в том числе связанными с эмоциональным заражением.

(5) По мере того, как цензура (понимаемая в смысле правового института) становится все менее активной — возрастает чувствительность к другим формам ограничения свободы слова, до этого оказывающимися в тени прямой репрессии, таким как залогов, вносимые за право издания, штрафы, накладываемые в судебном или административном порядке за нарушение правил печати, издательская олигополия и т.п.<sup>6</sup>

Впрочем, главная ценность исследования — не столько в общей схеме, страдающей избыточной прямолинейностью и непроясненностью положения о «свободе» литературы/автора. Отметим, что и сам автор не претендует ни на оригинальность, ни на особенную значимость этих общих положений, воспроизводящих уже расхожие в современной науке представления. Это для него в первую очередь лишь рамка, необходимая для анализа конкретного и побуждающая, остается надеяться, уже в следующих работах вернуться к уточнению, тонкой настройке общего описания. В связи с этим остановимся на двух эпизодах, представляющих особенно удачно

---

6. При этом отметим, что зачастую эти и тому подобные формы ограничения (фактического или правового) описываются посредством все того же понятия «цензура», что вносит и теоретическую путаницу, и вместе с тем является примечательным отражением публицистической позиции, уже сформированной в отношении цензуры — и проецируемой на иные феномены в том числе и постольку, поскольку при определении их вне отождествления с цензурой их критика оказывается затруднительной в силу неопределенности конструкции «свободы» (печати, литературы, высказывания) — и понятной недостижимости абсолютной свободы.

проанализированными автором — одним связанным в первую очередь с Гончаровым и другим, относящимся к творческой истории произведений Островского.

Гончаров дважды служил в цензурном ведомстве — сначала вступив в должность цензора в 1856 году (и оставаясь на этой службе до 1860 года), а затем приняв предложение стать членом Главного управления по делам печати, центрального органа цензуры после передачи ее из Министерства народного просвещения в ведение Министерства внутренних дел. Стоит напомнить, что в промежутке он некоторое время руководил «Северной почтой», получив опыт основания правительственной газеты, долженствующей стать одним из заметных участников общественной дискуссии (и потерпевшей в силу сложности положения и редакции, и авторов — закономерную неудачу, после чего следующие опыты будут двигаться в сторону «официозов», близких к правительственной позиции, но сохраняющих необходимую свободу маневра в силу неофициального характера). Если в двух первых главах первой части исследования Зубков останавливается на эпизодах из первой части цензурской службы Гончарова, то третья глава посвящена его деятельности уже в Главном управлении. На этом посту ему, в частности, довелось участвовать в обсуждении допущения к печати двух пьес, затрагивающих один из самых острых вопросов этого времени — положение дел в Северо-Западном крае Российской империи в свете Январского восстания 1863 года и так называемой «обрусительной политики», а именно драмы Я. П. Полонского «Разлад. Сцены из последнего польского восстания» (1864) и рассматриваемой более чем полтора года спустя пьесы крупного деятеля Северо-Западного края из администрации виленского генерал-губернатора К. П. Кауфмана генерала А. Д. Столыпина «София» (1865).

Гончаров покровительствует пьесе Полонского — дающего близкую к официальной трактовку событий восстания 1863 года, в частности характеризующей польское восстание в Северо-Западном крае как не имеющее опоры в народе. За польским движением признается его героический характер — и при этом обреченность, поскольку оно оторвано от «земли»:

Когда-нибудь в защиту полонизма  
Из этого народа восстанет Минин.  
Что ж будет! Для одних князей Пожарских  
Без земского Кузьмы — спасенья нет...

Пьеса, прочитанная автором на вечере у министра, получит разрешение и будет напечатана в «Эпохе» братьев Достоевских, а в декабре 1865 года Гончаров рассматривает пьесу Столыпина «София», сопоставляя ее с произведением Полонского. У Столыпина пьеса строится на конфликте политической привязанности и любовного чувства — главная героиня, София/Зося, дочь польского пана и давно умершей русской дворянки, воспитанная в польской культуре, влюбляется в русского офицера, участвующего в подавлении восстания. Она разрывается между разными привязанностями, в ней звучит «голос крови», где «русская» составляющая, идущая от матери, предстает более глубокой, чем отцовская — она интуитивно

отзывается как на близкое на скромное православное богослужение, противопоставляя его латинской мессе: «дрожащий голос старика на клиросе глубже проникал в мою душу, чем самые дивные звуки органа!..» Но в конце концов автор разрешает конфликт за счет убедительного нарастания свидетельств моральной правоты русского — мятущаяся, знающая о подготовляемом с участием ее отца плане тайного нападения на казармы, где находится ее возлюбленный, она получает однозначное решение, когда узнает от крестьянки о гибели от рук мятежников православного священника. Она осознает не только «коварство» поляков, но и их вражду к «меньшей братии», народу — и тем самым ее итоговый выбор в пользу одновременно любви, матери, империи и народа оказывается и политически-лояльным существующей власти, и выбором в служении народу как народному большинству, т. е. демократическим.

Несмотря на весь патриотизм сочинения Столыпина, пьеса вызывает сомнения у Гончарова, при этом не только эстетические, но и политические — и именно в их соединении. Гончаров акцентирует, что сама идея воспитания посредством театра, отражение шиллеровских идей — вряд ли допускает в этой ситуации прямолинейное проведение. Его версия желательной «обрусительной» политики представит не прямым утверждением образцов поведения (которые к тому же могут скорее задеть публику), сколько постановками русского репертуара — внедрением и поощрением русского театра, в первую очередь за счет представлений, отнюдь не связанных со злободневностью — от пьес Шаховского и Загоскина до опер Верстовского и Глинки<sup>7</sup>. Он подчеркивает возможный нежелательный эффект постановки пьесы Столыпина, где зрители «укажут против одного примера Софьи, преданной русским интересам, сотни примеров фанатизма и, с их точки зрения, героизма женщин против жадных и продажных доводц, приведут примеры вешателей и убийц, зверски-фанатичных, погибших позорно, а с их точки зрения, геройской смертью, укажут множество людей, обманутых и увлеченных, но отдавших все состояние на восстание, приведут примеры отчаянной отваги безумной и доверчивой молодежи — и таким образом опрокинут добрую цель пьесы, представив ее умышленным сокрытием истины или односторонним, случайно взятым исключением» (с. 182)<sup>8</sup>. В итоге пьеса будет разрешена к постановке, но нестандартным образом — министр даст разрешение в частном порядке, уже в январе 1866 года она будет сыграна в Вильне, а офи-

---

7. В этом же отзыве Гончаров прямо утверждает, что театр может «способствовать исподволь и постепенно к усилению одной национальности на счет другой, но только в совокупности с прочими мерами, а не сам собою, и притом не прямыми, а косвенными и незаметными путями» (с. 184).

8. Отметим попутно ту часть авторского комментария на отзыв Гончарова, где Зубков толкует высказывание цензора в том духе, «что в Северо-Западном крае (а не в Царстве Польском) “численно преобладают поляки”, иными словами, воспринимал подавляющее большинство местных жителей не как временно забывших о своей русской сущности жертв польского угнетения, а как представителей совершенно другого народа» (с. 183). Как видно из отзыва Гончарова — и как вытекает из самой сути обсуждения — речь идет о предполагаемой реакции аудитории, театральной, т. е. речь о составе публики в Вильно (той, которая как раз и предполагалась как объект перевоспитания посредством театра), а отнюдь не о национальной принадлежности, актуальной или потенциальной, большей части обитателей Северо-Западного края.



циальное разрешение получено уже задним числом, в июле того же года (с. 187). Валуев, чье политическое положение все ухудшалось в это время, очевидно, не пожелал вступать в конфликт с властями Северо-Западного края, запрещая театральную постановку. И это также характеризует специфику цензурных инструментов, где позиция одного из важных представителей цензурного ведомства заключается в отстаивании более тонких инструментов воздействия на общественное мнение и «перевоспитание» неблагонамеренных подданных и где в логике общественной педагогики единство эстетических и политических аргументов предстает не просто объяснимым, но и совершенно необходимым.

Сходные проблемы с другого ракурса предстают в разборе цензурной истории пьес второй половины 1860-х годов, связанных с фигурой Ивана Грозного. Привлекательность фигуры Ивана Грозного и для беллетристики, и для драматургии была общим местом по крайней мере с появления IX тома «Истории...» Карамзина. В начале 1860-х было несколько попыток провести через цензуру пьесы, где выводился Грозный (в частности, «Псковитянка» Л. А. Мея), однако с 1866 года наступила целая череда положительных решений, связанная прежде всего с постановкой на сцене императорского театра с санкции монарха «Смерти Ивана Грозного» гр. А. К. Толстого. Это решение вывело на сцену и ранее отклоненные цензурой упомянутую выше «Псковитянку» (негативное решение по ней выносилось до этого дважды, в 1861 и 1865 годах), «Опричников» И. И. Лажечникова, а еще до того была разрешена к постановке сценическая переработка «Князя Серебряного». С постановками «Смерти Ивана Грозного» и связан последовавший вскоре очередной пересмотр цензурной политики — и запрет на постановку «Царя Федора Иоанновича» Толстого и «Василисы Мелентьевой» Островского и Геденова.

Если постановка в Петербурге «Смерти Ивана Грозного» имела сильный и соответствующий в целом ожиданиям властей эффект, то последовавшие события привели к осознанию негативных последствий, никак не связанных с текстом пьесы как таковой. Прежде всего постановка в Воронеже — выполненная по какой-то самодельной редакции, в дешевых декорациях и с сомнительной актерской игрой — спровоцировала скандал, поскольку обнажила всю сложность публичного представления монарха. В рамках трагического фигура царя могла не просто оказываться этически «неоднозначной», но он выступал и прямо как тиран, однако именно возвышенное создавало несоизмеримость между ним и зрителями, и в своей несоизмеримости, как подчеркивает Зубков, одновременно производило единство публики, преодолевая сословные различия (с. 445). Однако там, где трагический эффект возвышенного разрушался недостатками постановки (а на петербургскую постановку была выделена более чем внушительная сумма в 30 000 рублей) — там дистанция разрушалась, и фигура монарха оказывалась комической, слабой, нелепой или какой-либо еще, но главное — соотносимой со зрителем, т. е. в пространстве его критики, а не созерцания непостижимого явления, «величия» (пусть и во злодействе). Это приведет к решению императора воспретить дальнейшие постановки «Смерти Ивана Грозного» в провинции.

Примечательно цензурное обсуждение «Царя Федора Иоанновича» в мае 1868 года. Так, цензор К. фон Никльгейм писал: «Сама верность истории, в которой Федор Иоаннович известен как существо кроткое, но бессильное, лишенное всякого величия, в трагедии гр. Толстого возбуждает жалость к нему, несовместимую с царским достоинством и не соответствующую народному идеалу о венценосце» (с. 464). А цензор Ф. М. Толстой отчетливо сформулировал, почему изображение «тиранств» Грозного на сцене возможно, в отличие от кротости его сына: «Ужасы, изображенные в трагедии “Смерть Иоанна Грозного”, возбуждают в массах публики чувство страха, как всякое проявление громадной силы; напротив, слабость и скудоумие, несмотря на нежность художественных красок, употребленных поэтом, легко могут возбудить в толпе чувство неуважения к личности царя» (с. 464-465).

Аналогичные сомнения пришли и на пьесу Островского и Геденова. При том что цензоры были в целом благорасположены и признавали эстетическую ценность произведения, именно театральное ее бытование вызывало сомнения, в том числе и потому, что пьеса своеобразным образом уравнивала царя и его подданного — перед лицом женщины царь оказывался тем, кем «вертит» предмет его влечения — тем самым он лишался несоизмеримости. Это привело к тому, что пьесу признали невозможной без специального разрешения к постановке в провинции. Но, как показывает Зубков, на деле пьеса ставилась, например, в Керчи (1870) и в Екатеринбурге (1871), поскольку местные власти не знали о наложенных ограничениях.

Эта история показательна с точки зрения осознания цензурным ведомством тех проблем, с которыми пришлось столкнуться в рамках репрезентации монарха в меняющихся условиях. Театр (с быстрым ростом провинциальных постановок) оказывался создающим неожиданные и неконтролируемые эффекты не в силу злонамеренности постановщиков или недостатков текста, а самой сложности изображаемого. По существу, единственно возможным регистром передачи выступало трагическое, не допускающее низведения в другие драматические жанры, но при этом само трагическое требовало и от актеров, и от постановщиков качеств, которые трудно было контролировать. И здесь остается отметить степень чуткости и понимания проблем со стороны цензурного ведомства — предпочитающего логику запрета риску снижения царского образа.

В заключение упомянем некоторые другие сюжеты, анализируемые автором. Это и вопросы влияния цензуры на повествовательную технику Гончарова, и цензорская повседневность конца 1850-х годов, цензурная история «Взбаламученного моря» Писемского (и разбор вопроса, отчего Писемский желал получить от Валуева повторное цензурное разрешение при отдельном книжном издании романа), и роль цензуры в формировании репутации Островского, а также цензурные причины, обусловившие деформацию первоначального замысла драматической хроники Островского «Козьма Захарьич Минин, Сухорук». Перед нами выдающаяся работа, где множество тем, ранее рассмотренных в отдельно опубликованных ав-

тором статьях, приобретает существенно новое, объемное и многостороннее звучание за счет уже одного того, что они объединяются в единый рассказ — о ролях и значении цензуры в русском литературном процессе середины XIX века.

## Censorship and censors in the russian literary process of the 2nd half of the 1850s–1860s

Book review: *Zubkov K.* (2023). *Enlighten and Punish: The Functions of Censorship in the Russian Empire in the Middle of the 19th Century*. Moscow: New Literary Review. — 520 s. (Series: “Scientific Application”, vol. CCL). ISBN 978-5-4448-1956-2. (In Russian).

### *Andrey A. Teslya*

Candidate of Philosophical Sciences, Senior Research Fellow, Institute of History St Petersburg University; Senior Research Fellow, Scientific Director Research Center for Russian Thought, Institute for Humanities, Immanuel Kant Baltic Federal University.

Address: Mendeleevskaya liniya, 5, Saint Petersburg, 199034; (2) Chtrnyshevskogo Str. 56, Kalinigrad, 236016, Russia E-mail: [mestr81@gmail.com](mailto:mestr81@gmail.com).



Маргарет Арчер  
(20 января 1943 — 21 мая 2023)

## Magraret Archer. In memoriam

Margaret Archer was one of Britain's leading sociologists and also played a major role on the world stage.

My collaboration with her was both intellectual and practical. We shared an attachment to the critical realist philosophy of Roy Bhaskar (1944-2014), which she developed into fundamental analyses of structure and culture, and later of reflexivity and what she called the 'internal conversation'. We diverged somewhat on what Anthony Giddens called structuration, which she conceptualised in more dualist terms as morphogenesis and morphostasis, and had a friendly argument in a chapter in a book on Giddens<sup>1</sup>.

---

1. Clark J., Modgill Celia, Modgil Sohan (eds.) (1990). Anthony Giddens. Consensus and Controversy. London: Falmer Press.

I first met her, I think, in 1986 when she, as incoming President of the International Sociological Association, and her Warwick colleague James Beckford invited me to follow James as editor of the journal *Current Sociology*. She had herself edited the journal, at Tom Bottomore's invitation, from 1973 to 1981. Reporting on the journal, I saw her at annual meetings of the ISA Executive (in late-communist Poland and Bulgaria) and the quadrennial conference in Madrid in 1990. This suffered both from the heat (and the attention of pickpockets) and from other local machinations, which she exposed to us at the Executive meeting with forensic precision and considerable dramatic verve. Thanks to her skill, the conference passed off successfully, including her presidential address, 'Sociology for One World', which was one of the starting points of sociology's engagement with globalisation<sup>2</sup>.

Together we mourned our mutual friends, the philosopher and sociologist Gillian Rose (in 1995) and in 2014 Roy Bhaskar and another realist philosopher, Andrew Collier. We had collaborated on editing a Festschrift for Andrew, published in 2004<sup>3</sup>, presenting preliminary versions to him in 2003 when he was already seriously ill.

I wrote about reflexivity in that volume, not knowing that it would play such an important part in Margaret's subsequent work. It is perhaps worth saying that as we learn more and more about the cognitive capacities of other animals, and even insects, it may be that the internal conversation and reflexivity are among the few things unique to humans.

At the end of *The Reflexive Imperative*, Margaret announced 'that *homo academicus* is dead and that what should appear on his death certificate is "morphogenesis"<sup>4</sup>. It survives her own death and her achievement will continue to inspire future generations.

*William Outhwaite*

Кончина Маргарет Арчер — печальное и очень важное событие для мировой социологии. Мы с грустью наблюдаем, как уходит целое поколение известных социологов, не просто сделавших успешную карьеру в академических институтах, но и действительно выдающихся мыслителей. Арчер хотела видеть социологию мировой, единой наукой для одного большого социального мира<sup>5</sup>, и она сделала очень много, чтобы эти слова не были пустыми. Время сейчас наступает другое,

2. The GDR sociologist Artur Meier, then chair of the ISA's Publications Committee, documented his own reflections on the period in his racy autobiography. *Meier A.* (2002). *Liebesglück und Wissenschaftslust: ein (un)ordentliches Leben in dreieinhalb Deutschlands*. Berlin: Trafo.

3. Archer Margaret S. and William Outhwaite (eds). (2004) *Defending Objectivity. Essays in Honour of Andrew Collier*. Cambridge University Press.

4. *Archer M.* (2012). *The Reflexive Imperative in Late Modernity*. Cambridge University Press. P. 312. She went on: 'He died from the speed of change that precludes hierarchical sclerosis...we now live by relational and not positional, let alone material goods...and we are moved by what we care about, which is ideational, not material.'

5. [https://www.isa-sociology.org/uploads/files/presidential\\_address\\_m\\_archer.pdf](https://www.isa-sociology.org/uploads/files/presidential_address_m_archer.pdf)

но кто знает, как вспомнят Арчер грядущие социологи? Теория не так просто проверяется практикой, да, впрочем, и не подтверждается тоже.

Я услышал об Арчер много десятилетий назад, еще студентом, от своего отца Фридриха Рафаиловича Филиппова, который сотрудничал с ней в исследовательском комитете по социологии образования Международной Социологической Ассоциации. Отзывался он об Арчер очень тепло, а когда я узнал, что она стала президентом МСА, то по-новому стал смотреть на социологию образования. Но амбиции Арчер были куда более масштабными; пожалуй, в начале 1980-х ее социологические размышления о философии социальных наук могли быть у нас поняты и приняты лучше, если бы только можно было заглянуть на полтора десятилетия вперед. Главные свершения еще предстояли.

Темперамент исследователя и полемиста у нее был совершенно замечательным. В 1994 году в Билефельде, во время очередного Всемирного социологического конгресса я случайно услышал, как Рихард Гратхофф, знаменитый в ту пору социолог-теоретик, человек необыкновенно искушенный как в истории социологии, так и в околонучных битвах, рассказывал об успехе Арчер в полемике против кого-то из оппонентов: «*Sie hat ihn buchstäblich geschlachtet*» («Она его буквально забила [как забивают скотину на бойне]»). Он громко и с особенным удовольствием повторил это: *buchstäblich geschlachtet*. Годом позже в университете Уорика я с опаской запросился на встречу. Но все обошлось, «молнии не ударяют в долины». Арчер была, не в пример прочей профессуре Уорика, деловитой и дружелюбной. С этой встречи я увез в Москву, кроме доброй и благодарной памяти, порядочный кусок текста о реализме и морфогенезе, который мы с огромными трудами — о них теперь приятно вспоминать — перевели и опубликовали на русском<sup>6</sup>, добавив к более ранним переводам Уильяма Аутвейта и Роя Баскара (которого мы в те годы называли Бхаскаром) еще один важнейший текст английского критического реализма. В общем, можно сказать, что реализм как философская концепция для социологии у нас тогда «не пошел», не стал модным. Но и недооценивать его мы не станем. Пожалуй, речь идет о серьезной, не прерывающейся, годами длящейся рецепции.

Вспоминая о Маргарет Арчер, мы думаем о сохранении традиции и о культуре мысли, наконец, об этосе ученого, — обо всем, что — вопреки всем неудачам скудных времен — должно быть важно для членов цеха во всех странах во все времена.

*Александр Филиппов*

---

6. Арчер М. (1994). Реализм и морфогенез // Социологический журнал. № 4. С. 50-68.